В. И. ДАЛЬ
(1801—1872)

В.И.ДАЛЬ

/КАЗАК ЛУГАНСКИЙ/

ИЗБРАННЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ

МОСКВА
ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПРАВДА»
1983

84 Р1
Д 15

Составление Н. Н. Акоповой

Предисловие Л. П. Козловой

Примечания В. П. Петушкова

Иллюстрации В. Л. Гальдяева

Даль Владимир Иванович

Д 15 Избранные произведения / Сост. Н. Н. Акоповой; Предисл. Л. П. Козловой; Прим. В. П. Петушкова; Ил. В. Л. Гальдяева.— М.: Правда, 1983.— 448 с., ил.

В издание входят избранные повести, рассказы, очерки и сказки известного лингвиста, фольклориста, этнографа и писателя Владимира Ивановича Даля (1801—1872), написанные им в 1832—1857 годах («Бедовик», «Денщик» и др.; сказки: «О Иване Молодом Сержанте...», «О Шемякином суде...», «О Георгии Храбром...» и др.)

Д $\frac{4702010100-498}{080(02)-83}$ 498—83

84 Р 1
Д 15

В. И. ДАЛЬ

Имя Владимира Ивановича Даля живет в нашем сознании прежде всего как имя создателя знаменитого «Толкового словаря живого великорусского языка», богатейшей сокровищницы русского слова и народной мудрости. Словарь его по богатству и ценности фактического материала, по тонкости языковых наблюдений остается неисчерпаемым источником для изучения русского языка.

Не менее примечательным трудом Даля является его сборник «Пословицы русского народа», включающий более тридцати тысяч пословиц, поговорок и метких слов. Многие пословицы, собранные Далем, можно назвать истинными произведениями искусства, в которых правдиво и ярко запечатлена жизнь русского народа.

Известность Даля как лингвиста, фольклориста и этнографа вышла за пределы России, но немногие сейчас знают, что В. И. Даль является также автором очерков, рассказов, повестей из русской народной жизни и когда-то широко популярных русских народных сказок.

Наиболее ценным из литературно-художественного наследия В. И. Даля являются его произведения, связанные с направлением «натуральной школы», которое полноправным героем русской литературы сделало простого мужика, крестьянина, крепостного. В. Г. Белинский, ратуя за демократизацию, народность литературы, считал, что значение литературного творчества В. И. Даля заключается в том, что он знал и любил русского мужика, что «он умеет мыслить его головою, видеть его глазами, говорить его языком. Он знает его добрые и его дурные свойства, знает горе и радость его жизни, знает болезни и лекарства его быта...» [1].

[1] Белинский В. Г. Полное собрание сочинений, т. 10, М., изд. АН СССР, 1956, стр. 80 (в последующих ссылках на это издание указывается — Белинский В. Г., том и стр.).

В. Г. Белинский видел, конечно, идейную ограниченность творчества Даля, выразившуюся в отсутствии социальных выводов в его произведениях, в некоторой идеализации русского помещичьего быта. Но В. Г. Белинского, как революционного демократа, в очерках и повестях Даля привлекало прежде всего то, что в них затрагивались вопросы крестьянской жизни, они были проникнуты симпатией к мужику, изображали людей из народа не сусально, не приукрашенно.

В. И. Даль был близким другом Пушкина, безотлучно находился у постели смертельно раненного поэта, написал о нем теплые, сердечные воспоминания, передал потомкам последние слова великого русского поэта.

Родился В. И. Даль 10 ноября (старого стиля) 1801 года в местечке Лугани (отсюда псевдоним: Казак Луганский), Екатеринославской губернии,— ныне г. Ворошиловград.

Отец, Иоганн Даль, родом датчанин, мать, Мария Фрейтаг,— дочь петербургского чиновника. Екатерина II вызвала Иоганна Даля из Германии на должность библиотекаря. Он был лингвистом, знал новые европейские языки и древнееврейский язык. Впоследствии Иоганн Даль окончил в Иене медицинский факультет, получил степень доктора медицины и вновь возвратился в Россию. До конца своих дней работал как врач-практик. Весьма образованной, знающей несколько языков была и мать Даля. В первые годы учебы сына она оказала большое влияние на формирование его нравственного сознания.

Тринадцати лет, в 1814 году, В. И. Даль был определен в Морской кадетский корпус, который он окончил в семнадцать лет. В своей автобиографической записке, уже в семидесятилетнем возрасте, В. И. Даль писал о постановке воспитания в этом корпусе:

«Инспектор классов был того убеждения, что знания можно вбить в ученика только розгами или серебряною табакеркою в голову. Лучшие годы жизни, убитые мною при корпусном воспитании, не могли поселить во мне никаких добрых нравственных наклонностей, ими я обязан домашнему воспитанию» [1]. Многие черты и эпизоды из жизни в Морском корпусе отражены писателем в повести «Мичман Поцелуев».

По окончании Морского корпуса, в 1819 году, В. И. Даль был направлен на службу в Черноморский флот, в г. Николаев. Но

---

[1] В. И. Даль. Автобиографическая записка.— «Русский архив», 1872, № 10, стлб. 2250.

там он прослужнл не более трех лет. Вследствие неурядиц с начальством В. И. Даль был сиачала переведен в Кроиштадт, а вскоре он совсем оставил морскую службу.

Иитерес к русскому быту, фольклору, языку появился у Даля еще в юиостн. В Морском корпусе он усилеиио заинмался литературой, писал стихи. 1819 год можио считать иачалом работы В. И. Даля над словарем. Проезжая по Новгородской губернии, он запнсал занитересовавшее его слово «замолаживать» («ииаче пасмурнеть, клоиниться к неиастью»). С тех пор, странствуя по огромиым просторам России, В. И. Даль ие расставался со своими записями, постояннио пополияя их иовыми словами, меткими изречеииями, пословицами и поговорками, иакопив и обработав к концу жизни двести тысяч слов.

Но творческий путь Даля определился ие сразу. Выйдя в отставку, он решнл идти по стопам отца. В 1826 году В. И. Даль поступил иа медициский факультет Дерптского уииверситета. В 1828 году началась Турецкая войиа, н Даль, еще ие кончивший курса, был прнзваи в действующую армию. В 1829 году ои успешио сдал экзамен иа степеиь доктора медициины. Сиова на несколько лет его жизнь оказалась связаииой с армией.

В 1832 году В. И. Даль поступнл ордииатором в Петербургский воеиио-сухопутиый госпиталь и вскоре стал широко известен в Петербурге как врач-окулнст, прославившийся еще и тем, что одииаково хорошо делал глазиые операции как правой, так и левой рукой. Но иеприятности сопутствовали Далю и здесь. Нежелаиие мириться с бюрократизмом, царившим в высшей воеиио-медицинской сфере, борьба против фальши и обмана иажилн Далю миого врагов. В скором времеии он иавсегда оставил воеино-медициискую службу.

В Петербурге В. И. Даль через Жуковского, которого зиал еще по Дерпту, близко позиакомился с Пушкииым, Гоголем, Крыловым.

К 1830 году отиосятся первые лнтературиые опыты В. И. Даля: в 21-м иомере «Московского телеграфа» был напечатаи его рассказ «Цыгаика».

Известность В. И. Далю как писателю принес сборник русских сказок[1]. В целом этот сборник отличался демократизмом и яркой сатирической иаправлеииостью против власть имущих. Осиовиыми положительиыми героями своих сказок Даль избрал

---

[1] «Русские сказки, из предаиия народного изустиого иа грамоту граждаискую переложеиные, к быту житейскому приноровлениые и поговорками ходячими разукрашеииые Казаком Владнмиром Лугаиским. Пяток первый», СПб., 1832, стр. 201.

мужика, солдата или бездомного бедняка. Сказочник ориентировался на простых слушателей, на тех, кто поймет и сочувственно отнесется к его героям. Во вступлении к первой сказке «Об Иване Молодом Сержанте» он писал: «...кто сказку мою слушать собирается, тот пусть на русские поговорки не прогневается, языка доморощенного не пугается; у меня сказочник в лаптях; по паркетам не шатывался, своды расписные, речи затейливые только по сказкам одним и знает». А кому не нравятся эти сказки, «тот садись за грамоты французские, переплеты сафьяновые, листы золотообрезные, читай бредни высокоумные!»

Народный колорит сказок был усилен Далем множеством пословиц, поговорок, метких образных словечек, введенных в текст сказок.

В сказке «Об Иване Молодом Сержанте» Даль явно симпатизирует герою ее, простому солдату, преодолевшему все преграды, расставленные ему злыми и завистливыми царедворцами, которых сказочник насмешливо называет «фельдмаршалом Кашиным», «генералом Дюжиным», «губернатором графом Чихирь Пяташная Голова». Ирония направлена и по адресу неблагодарного царя Дадона, поверившего в клеветнические измышления своих коварных и наглых прислужников. В награду за подлые дела царь жалует своим министрам «по кресту на петлицу, по звезде на пуговицу, по банту за спину». Нарисовав образ смелого, выносливого и смекалистого сержанта, В. И. Даль не без сожаления, хотя и с долей мягкого юмора, отмечает, что одно у его героя плохо — с детства он привык произносить слово «виноват». Выдержал Иван самые трудные испытания, не спал трое суток, но когда заснул и его неожиданно окликнули: «Спишь, Иван?» — он второпях ответил: «Виноват». «Вот что нашего брата на русской земле и губит, — заключает сказочник, — вот за что нашего брата и бьют, да видно еще мало...»

В сказке «О похождениях черта-послушника, Сидора Поликарповича» весьма недвусмысленно делается намек на непосильные тяготы царской военной службы, которой даже черт не выдерживает. Эта сказка была истолкована III отделением как антицерковная, подтачивающая устои христианской морали. Упрекали Даля и за то, что он черта наградил христианским именем.

Интересна и не вошедшая в «Пяток первый» сказка «О бедном Кузе Бесталанной Голове». Даль не побоялся сказать в ней о тяжелой участи бедняка, который, не видя иного выхода, решается идти в науку к нечистой силе.

Сатирический характер сказок и сочувственное изображение в них героев из простого народа обратили на себя внимание передовых слоев общества. «Русские сказки. Пяток первый» были с

одобрением встречены А. С. Пушкиным. Через год после их выхода поэт послал В. И. Далю свой рукописный экземпляр «Сказки о рыбаке и рыбке» с надписью: «Твоя — от твоих! Сказочнику Казаку Луганскому — сказочник Александр Пушкин». Биограф В. И. Даля П. И. Мельников-Печерский указывал также, что Пушкин не только восхищался сказками Даля, но под влиянием их написал эту свою знаменитую сказку.

Сатира сказок насторожила правительственные круги и вызвала их прямое недовольство. Автор был заподозрен в неблагонадежности, по приказу Николая I арестован, а сказки «Пяток первый» запрещены. Только по просьбе В. А. Жуковского, бывшего тогда воспитателем царского наследника, В. И. Даль был освобожден из-под ареста.

Сказки «Пятка первого» не вошли и в издание сочинений 1846 года и были перепечатаны только в Собрании сочинений В. И. Даля 1861 года.

Неурядицы с медицинским начальством, осложнения, вызванные появлением сказок, неудача с устройством в Дерптский университет, где Далю обещано было место профессора русского языка и словесности, заставили его летом 1833 года переехать из Петербурга в Оренбург, где он стал чиновником особых поручений при военном губернаторе Оренбургского края В. А. Перовском. Семь лет пробыл В. И. Даль в Оренбургском крае, исколесив его вдоль и поперек. Не раз сопровождал Перовского в разъездах по Уралу, участвовал в трагическом Хивинском походе 1839—1840 годов, где погибла большая часть русского отряда. За время пребывания в Оренбургском крае Даль всячески содействовал развитию русско-казахских отношений, бескорыстно оказывал населению медицинскую помощь, завоевал доверие и симпатии казахов. Он проявил сочувственное отношение к Исатаю Таймонову и поэту-воину Махамбету Утемисову, возглавлявшим восстание казахов против хана Джангера Букеева.

Казахская тематика нашла свое выражение и в литературном творчестве В. И. Даля. Он создал также много ценных этнографических очерков и зарисовок из жизни и быта народов Турции, Польши, Молдавии. Но наибольшего внимания, изучения и едва ли не первого правдивого воплощения в литературе были удостоены казахи.

Первым значительным художественным произведением, написанным Далем после «Русских сказок», была повесть «Бикей и Мауляна» (1836). Рассказывая трагическую историю жизни казахского юноши Бикея и его любимой, Мауляны, выступивших против традиционных, уродующих жизнь человека нравов и обычаев, В. И. Даль рисует их поборниками человеческого достоинст-

ва и справедливости. Бикей постоянно поддерживает дружеские отношения с русскими, оказывающими на самого Бикея благотворное влияние, борется против национальной самоизоляции баев-казахов. Обаятелен и образ Мауляны, сильной, волевой казахской красавицы, сумевшей отстоять свою любовь. Эта лучшая казахская повесть В. И. Даля сильна не психологической разработкой характеров, не композиционным планом и построением сюжета, а своей правдивостью и точностью изображения быта казахского народа. В. И. Даль в изображении жизни казахов отличался от романтически приподнятой трактовки казахского сюжета у В. А. Ушакова в его повести «Киргиз-кайсак» и от антихудожественной, дидактической и авантюристической манеры Ф. Булгарина в «Иване Выжигине». В произведениях В. И. Даля, изображающих жизнь народностей России, уже заложены были черты нового литературного стиля, который особенно ярко проявится в творчестве писателей «натуральной школы». К циклу казахских повестей примыкают и повесть В. И. Даля «Майна», рассказ «Осколок льду», талантливый очерк «Уральский казак» и другие.

В. Г. Белинский, давая оценку творчества В. И. Даля, подметил тонкую наблюдательность, правду «частностей» в повестях из жизни народностей России: «Многие рассказы очень занимательны, легко читаются и незаметно обогащают вас такими знаниями, которые, вне этих рассказов, не всегда можно приобрести и побывавши там, где бывал Даль. Так, в рассказах «Майна», «Бикей и Мауляна» знакомит он нас с нравами и бытом кайсаков...» [1].

Но не сказки и повести из жизни различных народностей России поставили В. И. Даля в ряды писателей, содействовавших делу демократизации русской литературы. К лучшим произведениям В. И. Даля относятся его повести, рассказы и очерки из народного быта, написанные им в 40-е годы.

Конец 30-х—40-е годы XIX века в России характеризуются дальнейшим ростом освободительного движения, обострением социальных противоречий, борьбой вокруг крестьянского вопроса. В 1839 году крестьянские волнения охватывают двенадцать губерний. Даже III отделение в официальном отчете за этот год отметило, что «крепостное состояние есть пороховой погреб над государством».

Передовая литература этого периода выражала настроения и чаяния лучших людей своего времени. Защита прав угнетенного народа, «безграничное, охватывающее все существо чувство

[1] Белинский В. Г., т. 10, стр. 82.

любви к русскому народу, русскому складу ума», как писал Герцен, поиски положительного героя, борьба за освобождение женщины — вот основные проблемы литературы той эпохи. 40-е годы XIX века характеризуются развитием и упрочением гоголевского направления в литературе, демократических и реалистических ее тенденций, возникновением «натуральной школы». Это направление создало отвечающий новым жизненным требованиям жанр — «физиологический очерк», правдиво описывающий жизнь различных слоев общества.

Физиологический очерк в 30-е — 40-е годы был особенно интересен тем, что давал представление о типе русского человека. Социальные моменты, сословные различия отображены были в литературе еще очень незначительно. Но обрисовка типа требовала от писателя изучения либо профессии того или иного героя, либо его национальных и этнографических особенностей. Это была в некотором роде первая ступень к «различному» сословному изображению русских людей. Поэтому такой живой интерес вызвали очерки и повести Е. Гребенки, Я. Буткова, Н. Некрасова.

Бытописательная повесть и физиологический очерк характерны и для творчества В. И. Даля этой поры. Его произведения выгодно отличались и от слезливых, идиллических, проникнутых религиозным смирением рассказов из быта простого народа Н. Полевого и М. Погодина. В очерках В. И. Даля содержалась прямая полемика с морализующей тенденцией Греча и Булгарина. Этнографические зарисовки, воспроизведение быта, отличающиеся живостью описания, лиричностью и верностью частностям,— только одна из художественных особенностей его творчества. На первом плане стоит все же пристальный интерес к изображению отдельных типов. В этом заключается непреходящее значение его произведений. В. И. Даль своими беглыми зарисовками предвосхитил многие, ставшие нарицательными, образы произведений А. Н. Островского. Прототипы русского купца, самодура и скопидома, выведены Далем и в образе Гаврилы Степановича Гребнева в повести «Отец и сын» (1848) и в образе своенравного, жестокого, самовлюбленного и вместе с тем бесшабашного купца Корюшкина в повести «Колбасники и бородачи» (1846).

В 1839 году в «Отечественных записках» В. И. Даль выступил с повестью «Бедовик». Главный герой этой повести — уездный чиновник Евсей Стахеевич Лиров, которого называют «бедовиком», то есть неудачником в жизни. И вместе с тем это человек доброй души и благородных намерений. Такой тип героя писатель подметил в русской среде.

В. Г. Белинский высоко оценил литературные достоинства этой повести: в ней «так много человечественности,— писал критик,— доброты, юмора, знания человеческого и, преимущественно, русского сердца... Характер героя ее — чудо»[1].

Крестьянской теме посвящена повесть «Хмель, сон и явь» (1843). С любовью и интереснейшими подробностями рассказывается в ней о жизни и быте крестьян среднерусской полосы, даны колоритные зарисовки с редкими и этнографическими наблюдениями. Пафос этого произведения — в утверждении права литературы на изображение жизни низшего сословия, труженика, человека от земли. «Человек все один и тот же,— говорит Даль,— отличается один от другого либо тем, что бог ему даст, — и этот дар даруется *не по сословиям;* либо тем, что приобретешь наукой и образованием, — и если это собственность высших сословий, то по крайней мере *способность, восприимчивость к тому всюду одинаковая;* либо, наконец, отличается один от другого кафтаном, — и это различие, бесспорно, самое существенное, на котором основано многое» (подчеркнуто мною.— *Л. К.).* Даль выступает против тех, кому «жизнь простолюдина... кажется однообразною, незанимательною». Он видит «вечные заботы» крестьянина «о насущном хлебе», потому и помышлениям последнего «указан тесный круг» и «нет потребностей, кроме сна и пищи».

В этом произведении затрагивается очень важная для того времени проблема — уход крестьян на отхожие промыслы. В. И. Даль подробно рассказывает, как «в малоземельных губерниях наших значительная часть населения зарабатывает хлеб свой на чужбине». Тверитяне и новгородцы целыми семьями становятся летом штукатурами, зимой — сапожниками; владимирцы — плотниками и т. д. В повести явственно слышится сочувствие к крестьянству, умение показать, по выражению Белинского, «болезни и лекарства его быта», защита в крестьянине человеческих прав и достоинств и вместе с тем восхищение его умением выполнить любое дело, его врожденной изобретательностью и смелостью. В центре повести — семья крестьянина Воропаева. Один из сыновей, Степан Воропаев, хороший плотник, морально чистый и честный человек. Однако имеет одну слабость — любит выпить. Пружина сюжета — мнимое убийство Степаном своего друга Григория. В отношениях Григория и Степана подчеркнуто чувство товарищества, дружбы, взаимной помощи. Но обличающее впечатление от этой повести В. И. Даль ослабил тем, что попытался объяснить все несчастья и невзгоды только пьянством. «Перестав пить, Степан Воропаев вышел человеком и не только зарабатывал,

[1] Белинский В. Г., т. 3, стр. 189.

что следовало на себя и на своих, но лет через восемь завел свою артель...» Писатель и не попытался вскрыть высказанные в начале повести намеки на то, что «есть, без сомнения, и другие причины этой страсти к переселению». А причины эти — нищета, малоземелье, бесправие крестьян.

В 1843 году в «Библиотеке для чтения» В. И. Даль печатает повесть «Вакх Сидоров Чайкин». Эта повесть также интересна прежде всего воспроизведением в ней различных чисто русских типов. Некоторые из них лишь намечены, характеристики их едва очерчены, но эти типы выхвачены писателем из самой толщи русской жизни и потому волнуют и привлекают. Это и характерный для 40-х годов разночинец Вакх Сидоров Чайкин, и самодур, шут и «великодушный» помещик Иван Яковлевич Шелоумов, который считал, что розгами крестьян бить — самое святое дело; есть в повести и герой, напоминающий гоголевского помещика Костанжогло, и даже проходимец, торгующий мертвыми душами.

Но в этой повести Даль пошел несколько дальше, не остался только бесстрастным наблюдателем. Здесь он уже выступает против бесправного положения крестьян, самодурства крепостников, взяточничества и беззакония.

Один из самых обличающих эпизодов этой повести — перемер земли взяточником-землемером. При въезде в деревню, повествует рассказчик, виден огромный обоз: это взятки землемера. «Что проездом соберет — муки, да крупы, да овса, так и складывает на подводы и возит с собой все лето, а к зиме домой», — жалуются крестьяне. «Ведь подводы ему нипочем; а во что они нам становятся, того их милость не рассчитывает». С землемером ездят нахлебники, которых деревня должна содержать. Разгул и пьянство длятся несколько дней. И в результате межевые столбы поставили и вкось и вкривь, тяжбы не прекратились. Уездный фельдшер напугал крестьян процедурой оспопрививания. Крестьяне, стремясь избежать этой экзекуции, поставляют фельдшеру по гривне с души. Сборы повторяются до трех и более раз. Наконец злодеяния раскрыты, но... фельдшера посылают в другую губернию, где он продолжает свою «службу». Сатирически выведено в повести и провинциальное дворянство. Невежество, ничегонеделание, а порою и нечистоплотность характеризуют барышень Калюжиных. Однако объект критики здесь не только чиновничество, помещики, взяточники. В. И. Даль с затаенной болью рисует «болезни быта» русского крестьянина. Как же еще некультурны и суеверны крестьяне, если в процедуре оспопрививания они видят наказание господне, и какая большая ответственность лежит на обществе за воспитание народа!

В пору формироваиия и становлеиия «иатуральиой школы» Даль своими очерками и рассказами служнл делу демократнзации русской лнтературы, нзбрав героями их простой иарод, ремеслеинков, солдат. Таковы очерки «Уральскнй казак», «Петербургский дворннк», «Деищнк», «Чухоицы в Питере», «Русак», рассказы «Мертвое тело», «Двухаршнниый иос», «Хлебное дельце» и т. п.

Одии нз самых ранннх фнзиологическнх очерков — «Уральскнй казак» (1843) напечатан в сборннке «Нашн, спнсаиные с натуры русскнми». Само иазванне сборннка, в котором был помещеи очерк, указывает иа основную цель такнх пронзведений — знакомство с разлнчнымн слоямн русского населения. Белинскнй отмечал, что этот мастерски иапнсанный очерк «в «Нашнх» читается, как повесть, нмеющая всё достоннство фактической достовериости, легко и прнятно знакомящая русского чнтателя с одним нз интереснейшнх явлений в современной жизин его отечества»[1].

Еще больший резонанс иашли в русской общественной жнзин очеркн «Петербургскнй дворник» (1844) н «Деищнк» (1845). Перензданные в 1845 году в «Физнологин Петербурга», содержащей литературное credo «натуральной школы», онн прочно н навсегда связалн имя Даля с передовым иаправленнем 40-х годов, с имеиами Некрасова н Белниского. Со страннц «Фнзнологии Петербурга» повеяло жизнью петербургскнх окраин, радостямн н тревогамн людей ннзшего сословня. Петербургскнй дворннк с его засаленым фартуком, утнральннком, упнтаиным и умащенным «разиородиою смесью всякой всячины досыта», вовсе ие означал воспевання чего-то недостойного, ннзкого н грязного, как об этом писала реакцнонная и охранительиая печать. Его нзображение подчеркивало темиоту, невежество, бескультурье н пробуждало чувство ответственностн, которая ложится на общество за положенне в ием бедняка. В. Г. Белннскнй, защнщая Даля от нападок реакцноиной крнтнки, которая в то же время пыталась оторвать Даля от передового крыла русской лнтературы пнсал в обзоре «Русская лнтература в 1845 году», о том что Даль — нстнный продолжатель траднций Гоголя.

Осмеянию чнновннчества и крнтнке существующих закоиов посвящены рассказы «Мертвое тело» и «Хлебное дельце». В рассказе «Мертвое тело» показано, как мужнков толкает иа преступленне боязнь, что в нх деревне будет обнаружено мертвое тело; оин вывезлн умирающего старнка за околнцу н «вывалилн в реку», лншь бы он не умер в нх деревне. Рассказ явио иаправлен протнв уродлнвого законоположення.

[1] Белннскнй В. Г., т. 6, стр. 560.

Зло высмеивает В. И. Даль в рассказе «Хлебное дельце» чиновников в полицейском участке, которые из незначительного юридического нарушения делают целый процесс — «хлебное дельце». Всякое дело, без стеснения говорит один из героев этого рассказа, «соображается по достоинству, чего оно то есть стоит». И там, где прямо взятку трудно взять, докапываются до того, к чему бы можно придраться, и создают «дельце», которое «выгорает в три сотни».

Бюрократизм и формализм чиновничества высмеивается Далем также и в рассказе «Двухаршинный нос». Ошибка полуграмотного хмельного писаря, вписавшего в паспорт ямщику, что у него двухаршинный нос (вместо роста), доставила последнему много неприятностей. О разоблачении чиновничества в произведениях В. И. Даля писал еще А. И. Герцен: «Одним из первых бесстрашных охотников, который, не боясь ни грязи, ни смрада, отточенным пером стал преследовать свою дичь вплоть до канцелярий и трактиров, среди попов и городовых, — был Казак Луганский (псевдоним г. Даля)... он не испытывал симпатии к чиновнику; одаренный выдающимся талантом наблюдения, он прекрасно знал свой край и еще лучше свой народ»[1].

В 1847 году в «Отечественных записках» появилась повесть В. И. Даля «Павел Алексеевич Игривый». Главный герой этой повести отражает поиски автором положительного идеала своего времени. В молодости Игривый — деятельный помещик, благородный, добрый и отзывчивый человек. Кончается же повесть тем, что Игривый, обрюзгший, пожилой человек, лежит на диване, держит в руках истасканную книжку, ничем не интересуется, много спит. А ведь когда-то он был способен на большее. Вся его жизнь была безграничным самоотвержением во имя любимой женщины. Подвиг этот окончен, и вместе с ним утрачен смысл человеческой жизни. Белинский называет его «комически робким и стыдливым» человеком. Гуманность образа Игривого выражается в его готовности к подвигу, к самопожертвованию. Но несчастная любовь лишила его всех душевных сил и желаний, а окружавшая среда не дала возможности развиться каким-то иным сторонам его характера. В сравнении с предшествующими произведениями характер героя обрисован в этой повести с большей психологической глубиной. Она «почти выдержана в целом, как повесть»,— отметил Белинский. Взаимоотношения Любоньки Голобобель и Павла Алексеевича Игривого чем-то напоминают отношения Ильи Ильича Обломова и Ольги Ильинской. У Обло-

[1] А. И. Герцен. Собрание сочинений в тридцати томах, т. 13, М., изд. АН СССР. 1958, стр. 174.

мова так же, как и у Игривого, сочетаются самопожертвование и пассивность, глубокое обожание и стремление остаться в своем мире, чем-нибудь не разрушить его. Эту черту характера героя очень тонко подметил В. Г. Белинский: «Он (Игривый.— *Л. К.)* вел себя в отношении к ней, как деликатнейший и благороднейший человек, но нисколько как любовник: оттого ее робевшее, запуганное чувство к нему скоро обратилось в благодарность, уважение, удивление, наконец, в благоговение; она видела в нем друга, брата, отца, воплощенную добродетель и уже по тому самому не видела в нем любовника» [1].

Глубоко и разносторонне изображены в повести русский поместный быт, провинциальное дворянство. Особенно удались автору характеры и образы помещика Гонобобеля и ротмистра Шилохвостова.

Перу В. И. Даля принадлежит еще ряд значительных повестей: «Колбасники и бородачи» (1844), «Небывалое в былом, или Былое в небывалом» (1846), «Савелий Граб, или Двойник» (1848), «Отец с сыном» (1848). Повести эти также интересны обрисовкой отдельных русских типов, меткими наблюдениями над бытом народа, богатством языкового разнообразия.

Любопытно отметить, что некоторые из героев произведений Даля выражают взгляды писателя на развитие русского языка. Они становятся собирателями фольклора или исследователями языка. Так, например, герой повести «Бедовик» Лиров, считая, что литературный язык засоряет русскую речь, делает ее более сглаженной, говорит: «Для чего люди не пишут запросто, как говорят, и выбиваются из сил, чтобы исказить и язык и смысл!..»

Произведения Даля пестрят пословицами, поговорками. Иногда вместо развернутой характеристики героя дана его оценка только в пословице: «Ему... не приходилось бы жить так — от утра до вечера, а помянуть нечего; неделя прошла, до нас не дошла». «Не учили, покуда поперек лавочки ложился, а во всю вытянулся — не научишь»; «кто кого сможет, тот того и гложет».

Деятельность Даля-писателя в 50—60-е годы менее примечательна. Его произведения, объединенные в сборнике «Картины из русского быта», а также рассказы для детей ничего нового в литературу не внесли.

В 1849 году В. И. Даль получил место удельного управляющего в Нижнем Новгороде, где пробыл десять лет. В 1859 году он перебрался в Москву и последние годы жизни посвятил главным образом подготовке к печати «Словаря» и сборника «Пословицы русского народа».

[1] Белинский В. Г., т. 10, стр. 348.

Вышедшие почти в одно и то же время «Пословицы русского народа» (1862) и «Толковый словарь» (1864) обогатили русскую культуру и литературу. Созданию «Толкового словаря» В. И. Даль посвятил сорок пять лет своей жизни. В Москве на склоне лет он часто говаривал: «Ах, дожить бы конца Словаря!» Желание Даля исполнилось: он завершил свой труд, который получил всеобщее признание еще при жизни его. Умер В. И. Даль 22 сентября (старого стиля) 1872 года в Москве.

Лучшие произведения В. И. Даля позволили Белинскому сказать, что «В. И. Луганский создал себе особенный род поэзии, в котором у него нет соперников. Этот род можно назвать *физиологическим.* Повесть с завязкою и развязкою — не в таланте В. И. Луганского... в физиологических же очерках лиц разных сословий он — истинный поэт, потому что умеет лицо типическое сделать представителем сословия, возвести его в идеал, не в пошлом и глупом значении этого слова, т. е. не в смысле украшения действительности, а в истинном его смысле — воспроизведения действительности во всей ее истине» [1].

Народным писателем назвал Даля И. С. Тургенев. И эту народность Даля Тургенев видел в сочувствии и родственном расположении писателя к народу, в наивной и добродушной наблюдательности. Быт, «обычаи, города и селения, разнообразную природу нашей Руси рисует он мастерски, немногими, но меткими чертами» [2].

Высокая оценка художественных произведений В. И. Даля, высказанная Белинским и Тургеневым, объяснялась главным образом тем, что Даль отражал в них животрепещущие вопросы крестьянской тематики, без прикрас и идиллий показывал жизнь русского народа. Похвала В. И. Далю со стороны передового крыла русской мысли вызвана была еще и тем, что произведения его подвергались нападкам «охранительной» и «аристократической» критики, которую, по словам Белинского, «оскорбила, зацепила за живое любовь Даля к простонародью».

В 60-е годы Н. Г. Чернышевский уже иначе смотрел на творчество В. И. Даля. При изображении народа в эпоху борьбы за крестьянскую реформу одного сочувствия, наблюдательности и любви к народу было мало. И поэтому в новых исторических условиях, на новом этапе развития литературы, когда уже звучал обличающий голос Салтыкова-Щедрина, когда появились гневные рассказы Н. Успенского, Чернышевский считал, что

---

[1] Белинский В. Г., т. 9, стр. 398—399.

[2] И. С. Тургенев. Собрание сочинений в двенадцати томах, т. 12. М., «Художественная литература», 1979, стр. 91.

В. И. Даль как писатель представляет лишь этнографический интерес.

Однако произведения В. И. Даля — непреходящее явление. М. Горький, оценивая вклад писателей в дело изучения русского народа, говорил о В. И. Дале: «Его очерки — простые описания натуры, такою, какова она есть. Эти очерки имеют огромную ценность правдивых исторических документов... Даль не художник, он не пытается заглянуть в душу изображенных им людей, зато их внешнюю жизнь он знает, как никто не знал ее в то время»[1].

Лучшие произведения В. И. Даля до сих пор привлекают наше внимание достоверностью наблюдений, самобытностью языка и любовью к простому народу.

Л. КОЗЛОВА

---

[1] М. Горький. История русской литературы. М., Гослитиздат, 1939, стр. 187.

ПОВЕСТИ, РАССКАЗЫ, ОЧЕРКИ

БЕДОВИК

Глава I

Евсей Стахеевич еще не думает ехать в столицу

В одном из губернских городов наших, положим хоть в Малинове, настало воскресенье; Евсей Стахеевич Лиров, благовидный, хотя и не слишком ловкий молодой человек, а по чину и званию своему птица невысокого полета, отстояв в пятиглавом соборе обедню, пустился, по неизменному местному обычаю, в объезд по всем лакейским и передним, поехал развозить карточки за собственноручною подписью своею и расписываться у начальников и старших на засаленном листе бумажки.

Евсей Стахеевич вырос в уезде, а ныне, и то недавно только, попал в губернский город; поэтому он и привык уже сызмала ко всем обрядам и обычаям, вошедшим в губерниях и уездах наших в законную силу; но Евсей при всем том никак не мог помириться с этими заповедными объездами, к которым необходимо было приступать снова каждый воскресный и табельный день, то есть до семидесяти пяти раз в году, если не более. Он свято исполнял этот обряд; но каждый праздник, доставая белый воротничок и воскресную жилетку, пускался снова в рассуждения о бесполезности этого тунеядного обычая.

Евсея Стахеевича беспокоило при этом всего более то, что он не видел этому делу никакого отрадного конца: это бездонная бочка Данаид — и только; даже детям и внукам нашим не будет легче от наших объездов с почтением: мы их работы не переработаем, а

им придется начинать, на свой пай, сызнова. Не успел покончить сегодня, отдохнуть день-другой, поработать — принимайся опять за то же, и так до скончания века. «А кто поблагодарит меня за это,— думал Евсей Стахеевич,— кому от визитов моих легче и теплее? Ни посетителю, ни посещаемому, ни гостю, ни хозяину; а между тем нельзя и отстать. Я сам намедни слышал, как прокурор наш, например, попенял, очень недвусмысленно, одному из подчиненных своих за невнимательность эту по службе. «Вы, сударь,— сказал прокурор,— с супругою своею под ручку разгуливаете, это мы видим; а начальства своего по воскресеньям не уважаете...» Что же тут станешь делать? Поедешь, поневоле».

Так рассуждая, Лиров побывал уже у губернатора, вице-губернатора, у начальника своего, председателя гражданской палаты, и был на пути к председателю уголовной. Привычные поездки эти, ответы: «У себя, принимают», или: «Выехали-с, не принимают», а затем столь выразительное шарканье, думное молчание или замысловатый разговор о погоде, поворот налево кругом или молчаливая отдача в лакейской своего доброго имени — все это нисколько не мешало Евсею Стахеевичу продолжать думать и рассуждать про себя, тем более, что он был мастер своего дела, не визитов то есть, а мыслей и думы. Он продолжал круговую по целому городу и продолжал себе думать, не занимаясь мыслями ни на одном пороге.

«И как это глупо, бестолково, бессмысленно,— так думалось ему,— ну пусть бы уже раза два, три в году, коли это необходимо, коли ведет к чему-нибудь, а то — каждое воскресенье, каждый божий праздник».

«Всякому, без сомнения, глупость эта надоела не меньше моего, а каждый связан и опутан этими тенетами и пеленками условных приличий; спрашиваю: можно ли принять с повального согласия общее правило и постановление, которое всем вообще в тягость и никому не приносит пользы? Когда, бывало, учитель сек нас в уездном училище, то уверял всегда и приговаривал во все время секуции: «Не я бью, сам себя бьешь». То же самое хочется мне и теперь высказать иногда хозяину, к которому случится приехать не вовремя. Он морщится, и я морщусь,— а между тем как быть? Коли пойду наперекор обычаям и заведениям,

я же буду виноват, потому что по службе нашему брату нет отговорок. И пусть бы еще наш брат, мелочь ездила к начальникам с почтением да на поклон, чтобы на глаза показаться, чтобы не сказали: «Вы по воскресеньям не уважаете начальства», а то нет, и друг к другу, и к равным себе, и к посторонним, к знакомым и к незнакомым — словом, где только есть ворота да три окна на улицу, туда и заезжай сподряд. И этим-то мы занимаемся каждый праздник от обедни и до самого обеда! А сколько тут еще бывает недоразумений, сколько толков, пересудов, начетов и недочетов, сколько причин к неудовольствиям, обидам, сплетням...» В это время Евсей Стахеевич, в числе пяти других чинов, приветливо и почтительно раскланивался, и шаркал, и нагибался перед супругой председателя уголовной и продолжал себе, нисколько не смущаясь, думать: «Например, объедешь не по чинам, не по званию, как я прошлое воскресенье приехал вот сюда, побывав уже у полицеймейстерши, потому что туда было по пути заехать, гневаются; или, например, начальник не принимает, да позабудешь записаться, как я же в вербное воскресенье, так уже на тебя смотрит этак, приподняв нижнюю губу, дескать не уважает начальства, зазнается; да, есть с чего нашему брату, подлинно! Или приедешь попозднее, потому что как ни бейся, а ко всем вдруг не поспеешь, да запишешься в конце листа, говорят: важничает, приезжает по-барски, словно к ровне; а приедешь пораньше, на почин, да запишешься на листе в самом заголовке — так и это не по чину, того и смотри, что опять-таки неладно, а норови и попадай в свою артель. Намедни, например, наш советник, приехав к губернатору, вымарал подпись мою и поставил ее под своею; да с сердцов еще так черкнул меня, бедняка, что только брызги посыпались. Что будешь делать! Или, например, войдешь в переднюю да кинешь второпях плащ на какую-нибудь прокурорскую шубу, как случилось это со мною, опять-таки по перстам тебя рассчитают, что с умыслу, да и только. Или, например...» Евсей Стахеевич, распростившись с уголовною, сидел уже опять на столбовых дрожках своих, как первый член межевой конторы, объезжая его на щегольской паре, поднес словно нехотя руку к шляпе и закричал: «Что это вы опять делаете сегодня, Евсей Стахеевич?

Вы развозите чужие билеты!» Лиров поглядел за ним вслед, опустил руку в боковой карман, достал и развернул пучок билетов и крайне изумился, увидев, что перед ним налицо действительно карточки чужие, всех цветов и величин, с разноцветными каемочками, с позолотою, с цветочками, даже с амурчиками и с восклицательными знаками, по вкусу и выбору господ хозяев. Этого мало: перебирая их, Евсей увидел, что женских билетов было почти наполовину, и один, между прочим, с буквами внизу: p. p. c. — pour prendre congé [1], которые Стахеевич в простоте своей принял за русские и истолковал словами: разъезжаю ровно сумасшедшая. Но наконец Лиров опомнился и спросил кучера своего, который остановился у подъезда одного из советников: «Власов! Где ты взял билетики эти?» Корней Власов Горюнов оглянулся, спросил еще раз: «Которы? Эвти?» — и на ответ: «Да, эти, эти самые»,— начал рассказывать преоколичественную быль, как вице-губернаторские мальчишки, соседи Лирова, выбирали билетики из сору да стали было раскидывать их по улице, как Власов разогнал пострелов, подобрал билетики, завернул и положил их на окно барина и, наконец, видно невзначай, подал их сегодня вместо беленьких. Разговор этот у подъезда советника продолжался бы, вероятно, еще несколько времени, если бы полковник Плахов не наехал сзади четверней и выносной мальчишка не взвизгнул пронзительным голосом, которому кучер с высоты козел своих вторил грубым и нахальным басом. Корней Власов продернул скорехонько до угла, а Лиров соскочил тут и побежал назад к подъезду.

Отпустив поклон и заветное поздравление с праздником, то есть с еженедельным воскресеньем, Лиров стоял у косяка дверей в переднюю, глядел во все глаза на занимательную беседу прокурора с полковником о здравии его превосходительства господина губернатора и ее превосходительства супруги его, о наступающих новых дворянских выборах и ожидаемых по этому поводу новых стачек, разладиц, сплетен, ссор и мировых; об открытом на днях рекрутском присутствии,

---

[1] Для того чтобы проститься (формула уведомления об отъезде; *франц.*).

причем полковник делал кочковатые, резкие, топорной работы замечания, а прокурор с простодушным хохотом уверял: «Слава богу, что эта часть до меня почти не относится, право, ей-ей, слава богу; по крайности избавлен от всякого греха и искушения, и совесть чиста и спокойна». На все это глядел Евсей Стахеевич, но почти ничего не слышал; у него была привычка, принявшись в раздумье за какой-нибудь предмет, вертеть его во все стороны, обходить его кругом, осмотреть внутри и снаружи, переминать его как жвачку, поколе не спознается с ним, как с родным братом. Поэтому Евсей продолжал думать, как в приемной прокурора, так и усевшись опять на столбовые дрожки свои, таким образом:

«И слава богу еще, что я не член рекрутского присутствия,— это так само по себе; но слава богу еще, что я не женат. Можно ли вынести равнодушно весь этот бессмысленный быт, эту убийственную жизнь нашего женского круга, этот великолепный житейский пустозвон и пустоцвет!.. Визиты, с большим расчетом и разборчивостью, с осмотрительностью, по чинам, по званию, по служебным обстоятельствам и отношениям мужей и здесь также составляют почти всю лицевую сторону, хазовый конец приятельских и дружеских сношений, то есть, собственно, внешнюю жизнь; на этом вертится все, этому одному посвящают время и безвременье, досуг и недосуг, а остальную часть дня размышляют и советуются о том, кому и какой визит отдать, и когда поехать, и сколько посидеть. Вновь приезжая барыня, или, как ее называют, дама,— а почему бы не краля?— обязана объехать все тридцать восемь домов, составляющие высшее общество города; младшие по чину, званию, богатству и значению в обществе спешат на другой же день засвидетельствовать ей свое почтение и готовность служить — на первый случай столиком, парой стульев, ухватом, кочергой; равные побывают в течение какой-нибудь недели, а чем барыня выше и почетнее, тем далее откладывает она обратное свое посещение. Между тем все они друг другу, одна одной, и в особенности новоприезжей, смотрят отвесно в горшок и в кастрюлю и чрезвычайно заботятся о том, когда у кого бывает ботвинья, когда щи, суп или борщ; это, так сказать, еще одни цветочки созерцательной жизни их, а ягодки бывают впе-

реди, когда изо всего этого выходит наконец огромный клубок или моток сплетен, которых не развяжет и не распутает и сам... «Виноват»,— сказал Евсей Стахеевич, взявшись среди улицы за шляпу и думая, что проговорился при людях и вслух. Но как, по-видимому, никто, ниже́ и сам Горюнов не подслушали на этот раз Евсея, то проказник наш, отправляясь с крыльца на крыльцо, из передней в переднюю, все еще продолжал рассуждать про себя: «Коренные, старые жительницы не менее того обязуются объехать, по крайней мере на святой неделе и в рождество, каждая все тридцать восемь домов и, кроме того, явиться и показаться в первобытном виде своем после каждого шестинедельного домашнего заключения. Чем благосклонная посетительница выше саном, тем короче так называемый визит ее; иногда в буквальном смысле она успеет войти, чмокнуться, присесть, встать, откланяться и уехать — в полминуты, в тридцать секунд; намедни я видел это сам, поверив по часам своим визит вице-губернаторши. Визиты эти делаются вообще между одиннадцати и двух часов; и в это время в великоторжественные дни четверка за четверкой, пара за парою гонятся взад и вперед, вдоль и поперек по всем улицам и переулкам; все встречаются, здороваются, разъезжаются и спешат развозить билеты свои, покуда еще никого нет дома. Но если вы спросите у советницы нашей, знакома ли она с предводительшей, то она вам скажет: «Нет», несмотря на то, что они обе честят и утешают себя и друг друга взаимно визитами; знакомы те только, которые ездят друг к другу *посидеть.* И это знакомство, посиделки, разделяется еще на два разряда: иные навещают друг друга по какому-нибудь первопечально случайному обстоятельству только по утрам и говорят: «Я была у такой-то *посидеть* утром»; другие — и вот это уже приятельницы настоящие, задушевные — сидят одна у другой по вечерам; это связь самая короткая, тесная, которая обыкновенно обходит поочередно кругом весь город; мы знакомы; маленькая неприятность расстроит знакомство наше — мы спешим врозь, прижимаясь теснее каждая к новой приятельнице своей, с рассказом странного поведения бывшей подруги, которая не сказалась дома, или приняла меня холодно, или там-то сказала обо мне вот то-то; весть о разводной обегает

в сутки змейкой и молнией по всем тридцати восьми дымовьям и очагам и наутро возвращается с привесками и отметками на полях к двум бывшим приятельницам, о которых теперь говорят: *они уже больше не знакомы.* На другой и на третий день после каждой подобной размолвки вы можете держать заклад, что у подъезда той и другой почтенной барыни стоит карета или коляска: это поступившие на упраздненные места подставные подруги; это заботливые искательницы, подружившиеся и поссорившиеся уже, в свою очередь, с уволенною ныне от службы и дружбы подругою; это торопливо услужливые новые приятельницы, утешающие одиночество и сиротство покинутых и обманутых. Новые подруги эти спешат передать вчера только сызнова добытым приятельницам, с коими, впрочем, также когда-то уже были знакомы и опять незнакомы, в приязни, в размолвке и ныне вот опять в самой тесной дружбе,— спешат передать, что говорят об этом в городе. Вот это я называю ягодками, потому что в них есть и семечки, от которых пойдет дремучий и непроходимый лес новых вздоров или по крайней мере не одна добрая десятина заглохнет бурьянником, репейником и сорными травами».

«А именины?— подумал про себя Евсей Стахеевич, вошедши в низкую, грязную, тесную, заваленную всякими дорожными припасами комнатку состоятельного помещика Козьмы Сергеевича Мукомолова, который только что накануне приехал по домашним делам в город и угощал теперь поздравителей нынешнего дня ангела своего.— А именины? Это уж бог весть что такое! Можно ли ввести во всеобщее употребление обычай — поздравлять весь город своевременно с именинами и дать этому бестолковому тунеядному обычаю силу житейского закона! Другое дело,— продолжал Евсей про себя, раскланиваясь с Мукомоловым и имея честь поздравить его с днем ангела его,— другое дело сходить и поздравить старого приятеля, с которым я давно и коротко знаком, которого люблю и уважаю; а какая мне нужда до именин каких-нибудь ста особ, и можно ли требовать от человека, если он не в комитете по утаптыванию мостовой, чтобы знал и помнил все именины мужей, и жен, и подростков,— чтобы мало-мальски порядочный человек занимался таким

бессмысленным вздором? Неужели и в самом деле обзаводиться академическим календарем для того только, чтобы знать, в котором часу солнце заходит в Петербурге, какого вероисповедания папа римский, и чтобы отмечать на пробелах: 10 апреля гремел первый гром, 11-го — именины Кузьмы Панкратьевича, 12-го — Макара Андреяновича?»

— Какая мне нужда,— проговорил Евсей Стахеевич, забывшись, вслух, раскинув руки врознь,— какая мне нужда до именин целого города и могу ли я их знать и помнить?

Проговорив это, Лиров стал как вкопанный и не решался даже поднять шляпу, когорую в испуге выронил; он потерялся и вовсе не знал, как отвечать в лад и в меру на приглашение расхохотавшегося хозяина-хлебосола: *хоть закусить*. Лиров подошел, не помня себя, к треугольному столику, покрытому синею измаранною ярославской салфеткой, у которой четыре измятые продольными складками угла неоспоримо свидетельствовали, что она исправляла также должность дорожного чемодана; робко взглянул на печатные ярлыки S-t. Julien u Lafit,[1] très — qualité[2], выпил рюмку желудочной и потогонной, которую поднес ему сам хозяин, поклонился, схватил шляпу, растоптанную между тем вбежавшим спросонья человеком, выскочил без памяти на крыльцо, едва нашел ощупью и по слуху дрожки свои, едва проговорил: «Домой!» и кряхтел, кашлял, морщился, и отплевывался во всю дорогу, и дышал на ветер, и отворачивался, потому что Евсей Стахеевич от роду в первый раз отведал водки и на этот первый раз закатил полную большую рюмку *дорожной отрады* Мукомолова, у которого Перепетуя Эльпидифоровна славилась хозяйством своим по всему околотку, лечила по лечебникам Килиана и Енгалычева, как кто пожелает, и сама перегоняла тайком от откупщиков спирт и делала желудочную и потогонную, после которой ину пору покрякивал и сам Козьма Сергеевич Мукомолов.

Таким образом кончились на этот раз и визиты и размышления нашего Евсея Стахеевича.

---

[1] Медок, лафит (названия вин; *франц.)*.
[2] Высшего качества *(франц.)*.

Глава II

Евсей Стахеевич думает ехать в столицу

Надобно, однако же, сказать вам, кто таков был Евсей Стахеевич, и как он попал в Малинов, и прочее.

Отец Евсея, или нет, лучше начнем с деда,— дед Евсея был воронежский мещанин, который нажил порядочное состояние скорняжным ремеслом, выучился в зрелых летах грамоте у староверов и стал подписываться: *Онуфрий Рылов,* тогда как доселе прозвание это, по-воронежскому, полуукраинскому обычаю, изустно произносилось просто *Рыло.* Поколение меньшего безграмотного брата Михея и поныне осталось при необлагороженном прозвании своем *Рыло.*

Но человечество совершенствуется с каждым шагом: у Онуфрия был сын Стахей, воспитанный во всей строгости раскольничьего изуверства; да лих не пошло впрок ни воспитание Онуфрия, ни даже нажитое отцом его добро: из Стахея вышел бойкий, разбитной детина, который семнадцати годов уже по грамотной части заткнул за пояс весь Воронеж. Он пошел в конторщики, наследовал отцовскими тридцатью тысячами, был потом секретарем в уездном магистрате, да одолела своекоштная болезнь, пошел пить запоем, месяца по три, по четыре сряду, и держался на месте своем, поколе не издержался; а когда он прокутил и прогулял все, то его устранили, и Стахей, с чином губернского, пытался было еще раза три приютиться, но уже не мог ни устоять на ногах, ни усидеть на месте; и потому, открыв в себе дар сочинять просьбы и писать стихи, Стахей не удовольствовался тем, что давно уже подписывался не Рылов, а Рылев,— это казалось ему и приличнее и благозвучнее,— а уверил себя к тому еще, что прозвание Рылев происходит от украинского *Рыле,* а Рыле — не что иное, как искаженное *Лира;* поэтому Стахей и стал подписываться и именоваться впредь отныне Лиров; а послышав в себе от пиитического прозвания этого пиитическое призвание, стал заниматься уже исключительно только *вольным письмом.* И у него была, правда, привычка ставить точку каждый раз, когда, бывало, захочется понюхать табаку или сказать слово постороннему человеку, а принимаясь снова за перо, расчеркиваться прописною бук-

вою с закорючками; то же самое случалось иногда и посреди слова, если веселая мысль одолевала и душа просилась на простор; но все это не было помехой письменному красноречию Стахея, равно как не мешали этому и перенос слова в другую строку на любой букве, перестановка букв *ять* и *есть*, излишнее употребление буквы *ъ*, которая встречалась в творениях Стахея каждый раз после буквы *в* как неотъемлемая ее принадлежность, и, наконец, сплошное заменение буквы *ферт фитою*, потому что *ф* была, по мнению Стахея, буква вовсе неблагопристойная. Стахей одевался по воскресеньям всегда очень чисто, писал по заказу просьбы, письма, сделки и договоры, а нередко и стишки вроде следующих:

Офицерик молодой
С нею время препровел...

Писал, писал, гулял и женился наконец на дочери одной знаменитой просвирни, искавшей зятя, которого бы можно было продержать первые две-три недели после свадьбы в бесчувственном состоянии. Сваха взяла ответ и страх на свою голову и поручилась за исполнение необходимой меры этой, и Стахей, сочинив сам на свадьбу свое премилое поздравительное послание, был форменно учтив и вежлив с невестою своею как на обряде смотрения, на смотринах, так и на помолвке и, наконец, после венца. Что было потом — это он не запомнил; припоминает однако же, что у него болела голова.

Родился сын, был назван Евсеем, рос, обучался в уездном училище грамоте, поступил канцелярским служителем в земский суд, где и происходил чинами; вел он себя отлично хорошо, знал дело и работал неутомимо; наконец после разных приключений был он переведен, по ходатайству председателя, в гражданскую палату. Отца Лирова, Стахея, теща увезла, как необходимую домашнюю утварь, в свой город, где он, по слухам, дошедшим до бедного Евсея, волею божиею помре.

Виноват ли был этот бедный Евсей, что он родился от таких родителей? Но свет этого не разбирает; у него как на визиты, которые Евсей наш так от души ненавидел, так и на всё свои обычаи, условные приличия, уставы и обыкновения. Светские предрассудки, которые вырастили, вспоили и вскормили нас, так всесиль-

ны, что и читатели мои готовы откинуться от сына распутного магистратского секретаря и дочери просвирни, как будто он может отвечать за грехи предков своих! Разве мало дела человеку держать ответ за себя?

Евсей Стахеевич был необыкновенно честный и трудолюбивый человек, то и другое по какому-то редкому врожденному свойству, в котором не мог отдать ни другим, ни себе самому отчета. За это благородное, бескорыстное направление духа он был обязан... но об этом после; довольно того, что мысль и чувство вложены были в него природою, а развиты женщиною. Под всегдашним гнетом судьбы и людей, в неравной борьбе своей с людьми и с судьбою Евсей, несмотря на здравый ум свой и необыкновенное терпение, был несколько малодушен; он вырос и возмужал в каком-то уничижении: обстоятельства не дали развиться в нем силе и самостоятельности. Он был тих, скромен, потворчив, робок и до того снисходителен, что, казалось, не видел ничего там, где присутствие его могло быть для других обременительно, не слышал ни слова, если около него происходил разговор, который мог или должен бы ввести разговаривающих в краску. Словом, Евсей был обыкновенно самый безвредный свидетель. Что он видел, слышал, то знал про себя, про себя об этом и рассуждал и не поверял никому на свете чужих тайн. Он сам был честен, благороден, добр, но он никогда не искал этих свойств и качеств в других, никогда не удивлялся, если находил противное. Если он не проговаривался вслух, что случалось, впрочем, с ним не слишком часто, то никому ни в чем не мешал и никогда не прекословил. Ко всему этому привык он еще с тех инстанций, где вокруг него нюхали табак, доставая тавлинку из-за голенища, и где для хозяйственного сбережения должность клетчатого платка нередко исправляли бумажные обрезки.

Заметим, как дело у нас на Руси не последнее, в особенности коли речь идет о чиновнике, что Евсей был человек грамотный; он писал самоучкой ясно, просто, гладко, коротко и даже довольно сильно. Если бы вы увидели его, как он робко и несмело подавал председателю своему для подписи бумаги своего письма, и если бы иногда прочитали одну из бумаг этих, то изумились бы видимой наружной противоположности сочинителя и сочинения. Но Евсей писал так же смело,

как думал про себя, а вслух выговорить не осмелился бы и сотой доли того, что писал. При всем этом он не требовал и не ожидал от других такой же грамотности. С неимоверным благодушием читал и понимал он донесение исправника, что «такой-то противозаконно застрелился, отчего ему от неизвестных причин приключилась смерть; а при освидетельствовании оказалось: зубы частию найдены близ науличного окна, прочие же челюсти как будто из головы вовсе изъяты и находятся на отверстии лба; потолок на второй половице прострелен дырою, имея при действии своем напряжение на север, ибо комната эта имеет расположение при постройке на восток»[1]. Или что «такой-то, едучи на телеге по косогору, при излишнем употреблении горячих напитков споткнулся и от нескромности лошади был разбит»; что «такой-то от тяжких побоев, не видя глазами зрения, впал в беспамятство»; что «в таком-то уезде статистических сведений не оказалось никаких, о чем и имеет счастье всепочтительнейше донести»,— и прочая, и прочая, и прочая; все это, а иногда и хуже того, читал Евсей и понимал по навыку; никогда вслух не жаловался на бессмыслицу и думал только иногда про себя, если не мог вовсе добиться толку, а принужден был, не перекладывая таких речей и оборотов на русский язык, держаться одних бессмысленных слов и передавать их в этом же виде и порядке,— думал только иногда: «Создатель мой! Для чего люди не пишут запросто, как говорят[2], и выбиваются из сил, чтобы исказить и язык и смысл! Почему и за что проклятие безграмотства доселе еще тяготеет на девяти десятых письменных и как это объяснить, что люди, которые говорят на словах очень порядочно, иногда даже хорошо, по крайней мере чистым русским

[1] Для любопытных я храню донесение это в подлиннике. *(Прим. автора.)*

[2] Евсей Стахеевич, конечно, никогда не ожидал, что через несколько лет после этой скромной думы, собственно ему принадлежащей, явится столь знаменитый поборник разговорного языка. Впрочем, хотя и тот и другой, один мысленно, про себя, другой громко, гласно и всенародно, советовали писать, как говорим, но понятия их об этом разговорном языке, как видно, не совсем согласны. Смею поручиться, что Евсей Стахеевич никогда не писал так, как пишет и даже печатает знаменитый совместник или соревнователь его; сей последний смело может приписать разговорный язык свой собственно себе, не уступая никому, ни даже Евсею Стахеевичу, ни былинки, ни пылинки своего изобретения. *(Прим. автора.)*

языком, и рассуждают довольно здраво, как будто перерождаются, принимаясь за перо, пишут бестолочь и бессмыслицу, не умеют связать на бумаге трех слов и двух мыслей и ни за какие блага в мире не могут написать самую простую вещь так, как готовы во всякое время пересказать ее на словах? Почему это общий наш недостаток, что мы пишем гораздо хуже, чем говорим, и исключения из этого общего правила так редки? Отчего не только люди маленькие и темные, а порядочные, неглупые и деловые, не только заседатели, которых бог простит, а, например, и сам даже...» — Евсей оглянулся и продолжал думать тише прежнего — а что, неизвестно: голова его сомкнулась, и мысль замерла в ней, как дерзкая мошка в цветке недотроге.

Нам, однако же, за отрывистыми и уносчивыми думами Евсея Стахеевича не угоняться; остается еще только сказать сверх всего, о чем мы уже знаем, что бедного Евсея преследовала, казалось, с давних времен какая-то невидимая вражья сила. Евсей так к этому привык, что никогда беде своей не удивлялся, никогда не равнял себя в этом отношении с прочими людьми, считал себя каким-то пасынком природы и с покорностью подставлял повинную свою мечу и секире: но тогда меч и секира его щадили и дело принимало обыкновенно более смешной, забавный оборот. Есть же такие бедовики-неудахи на свете! Мелочные отношения суетной жизни, обычаев, обрядов и приличий беспрестанно сталкивались с Евсеем — или он с ними — локоть об локоть и выбивали его из привычной колеи. Губернатор любил его как работящего, делового чиновника, употреблял его нередко, когда он, Лиров, служил еще в губернском правлении; но и губернатор не понимал его и, следовательно, не мог оценить. А к какому роду из числа высших гражданских сановников принадлежал и сам губернатор, это видно из следующего происшествия, относящегося также к числу неудач нашего Евсея. Лирову было однажды поручено следствие; он его окончил совестливо, разобрал и очистил преложное, запутанное дело и ждал спасиба. Но пронырливые ходатаи успели понаушничать наперед, оборотить губернатора лицом в лес, а затылком в чистое поле, и Лиров, воротившись и пришедши с до-

несением, встретил угрюмое чело, в котором одна знакомая его продольная морщина, проходя косвенно к правой брови, показывала *неудовольствие*. Оно так и вышло.

— Ваше прев-во,— сказал Лиров, чувствуя себя в полной мере правым и собравшись с необыкновенным духом,— ваше прев-во, позвольте мне объясниться; отношения мои к вашему прев-ству всегда были доселе самые откровенные; я имел счастье пользоваться...

— Какие отношения, сударь,— спросил губернатор, приподняв густые брови на целый вершок,— какие, сударь, отношения? Я думаю, рапорты!..

И бедный Евсей, вздохнув и прикусив язык, замолчал, не оправдывался, не объяснялся и вовсе даже не удивлялся этому неожиданному обороту *отношений* своих к губернатору; казалось, Евсей был уже готов всегда и во всякое время услышать это или что-нибудь подобное. Этот случай рассказал я для примера, как судьба играла обыкновенно Лировым, и подобная удача ожидала его на каждом шагу.

Между тем председатель гражданской палаты вы́ходил Лирова себе; здесь также шло довольно хорошо; Евсей был счастлив, как вдруг опять случилось вот что: гражданская палата, по малому числу дел, была соединена с уголовною, как и доныне, например, в Астрахани; поэтому Лиров, оставшись за штатом, был уволен в отставку с выдачей ему единовременного годового оклада жалованья.

Лиров носился мыслями бог весть где, но сидел уже целую неделю после отставки в Малинове и не знал, на что решиться. В таком положении были дела, когда дворянский предводитель дал вечер по случаю избрания его на второе трехлетие: событие, непосредственно связанное с понятием об анненском кресте; и предводитель созвал весь город, а в том числе и отставного чиновника гражданской палаты — пригодится.

И он явился и стал скромненько в углу, и опять, по всегдашней привычке своей, молчал, и обходил взорами кругом все собрание, и раскланивался, и думал про себя так:

«Сошлись все в одно место, или съехались, потому что в Малинове ходят пешком только прачки и кантонисты,— съехались в одно место, а глядят врознь. Да, люди — это настоящее китайское: сложи да поду-

май, casse-tête;[1] казалось бы, и не мудрено сложить да пригнать полдюжины треугольничков, четырехугольничков — да нет: угол за угол задевает, ребро попадает на ребро — не укладываются! Горе, да и только». Потом Евсей, у которого, как у всех чудаков этого разбора, мысли и думы метались иногда с предмета на предмет без всякой видимой связи или сношения, вздохнул, окинул глазом собрание и еще подумал: «Давно сказано, что в лице и в складке каждого человека есть сходство с каким-нибудь животным; но и по душе, по чувствам, по норову и нраву все мы походим на то либо другое животное. Вот, например, лошадь: коли кормишь ее овсецом да коли кучер строг,— работает хорошо, везет; но лягается, если кто неосторожно подойдет, и обмахивает мух и мотает головой. Вот легавая собака: знает немного по-французски, боится плети, и поноску подает, и чует верхним чутьем, и рыскать готова до упаду; вот...» «Мое почтение,— сказал Евсей, нижайше откланиваясь,— мое почтение, Петр Петрович»,— и думал про себя: «Вот кошка! Гладок, мягок, хоть ощупай его кругом, кланяется всем, даже и мне, гибок и увертлив, ластится и увивается и сладко рассуждает хвостом,— а когти в рукавицах про запас держит... А вот борзой: ни ума, ни разума, а как только воззрится да увяжется, так уже не уйдешь от него на чистом поле, разве только в лес — там ударится об пень головою да остановится. А вот настоящий бык: дороден, доволен и жвачку жует, а работает, словно воз сена прет, пьет по целому чану враз... А вот это хомячок; то и дело в свое гнездышко, в норку свою запасец таскает, все, что ни попало,— в норку, да и сам юркнул туда же, и след простыл. А вот и коршун: это сущая гроза крестьян, этот советник казенной палаты; ни курица, ни утица не уйдут от него на мужицком дворе: видит зорко и стережет бойко — это коршун... А это скопа, иначе назвать его не умею; скопа он за то, что хватает все и где попало: и с земли, и с воды, и рыбу, и мясо — где что найдется».

«Можно даже,— подумал Евсей,— взять один известный род или вид животных, богатый породами, и сделать такое же потешное применение. Например, не во гнев сказано или подумано,— собаку. Вы найдете в числе знакомых своих мосек, меделянских, датских

[1] Головоломка *(франц.)*.

собак, ищейных или гончих, найдете мордашек, которые цепляются в вас не на живот, а насмерть; таксика или барсучью, которая смело лезет во всякую норку и выживает оттоле все живое; найдете дворняжек, псовых, волкодавов, шавок и, наконец, матушкиных сынков, тонкорунных болонок; а легавого и борзого мы, кажется, уже нашли: вот они, один причуивает что-то, раздувает ноздри, другой скучает, застоялся, сердечный, а гону нет».

Евсей Стахеевич повел глазами по красному углу, по хазовому концу гостиной, где малиновские покровительницы сияли и блистали шелком, бронзой, золотом, тяжеловесами и даже алмазами, и еще подумал про себя: «А женский пол наших обществ, цвет и душу собраний, надобно сравнивать только с птицами: женщины так же нарядны, так же казисты, так же нежны, легкоперы, вертлявы и голосисты. Например, вообразим, что это все уточки, и посмотрим, к какому виду этого богатого рода принадлежит каждая: председательша наша — это кряковая утица, крикуша, дородная, хлебная утка; прокурорша — это широконоска, цареградская, или так называемая саксонка; вот толстоголовая белоглазая чéрнеть, а вот чéрнеть красноголовая; вон докучливая лысуха, которая не стоит и заряда; вон крохаль хохлатый, вон и гоголь, рыженький зобок; вон остроносый нырок, или запросто поганка; вон красный огневик, как жар горит и водится, сказывают, в норах в красной глине; а это свистуха, и нос у нее синий; а вот вертлявая шилохвость! Ну, а барышни наши — все равно и это уточки; вот, например, рябенький темно-русый чирочек; вот золотистый чирок в блесточках; вот миленькая крошечная грязнушка, а вот луточек, беленький, шейка тоненькая, с ожерельем самородным, чистенький, стройный, красавица уточка; вот к ней подходит и селезень, который за все победы и удачи свои обязан гладеньким крылышкам да цветным зеркальцам, коими судьба или наследство его наделили! Он берет грудью, как сокол, потому что, независимо от вишнево-лилового фрака, жилет его — неизъяснимого цвета, нового, какого нет в составе луча солнечного, и палевые к нему отвороты и серебряные пуговички с прорезью составляют главнейшие наступательные орудия разудалого хвата. Конечно, вихор и расчищенные по

голове дорожки и изящная отчаянная повязка бахромчатого ошейника немало способствуют успехам его; но победоносный знает неодолимую силу своей жилетки и поэтому ходит обыкновенно по залам — видите, как теперь, заложив большие персты обеих рук за окраины рукавных жилеточных проемов и придерживая очень искусно шляпу свою правым локотком. Молва идет, что он и умывается даже в перчатках. И с каким самоотвержением и душевным удовольствием подает он дружески руку свою, всегда первый, если, как теперь, встречается с человеком в чинах и в крестах! Это не то что, например, Иван Ефимович, советник уголовной,— тот всегда не доверяет, кажется, и приятелю, и глядит каким-то следственным приставом, и протягивает руку, словно пистолет, вот этак...» Евсей Стахеевич, забывшись, вдруг протянул руку свою, как протягивает ее Иван Ефимович, и пырнул в бок проходящего со всего разгону лакея с огромным подносом. Лакей повихнулся, едва не уронил подноса, с удивлением и недоумением взглянул на Евсея Стахеевича, который препочтительно перед ним раскланивался и извинялся.

— С такими странностями мудрено служить в губернии,— сказал какой-то остряк вполголоса,— надобно ехать в столицу, себя показать и на людей посмотреть.

Евсей слышал это; нисколько не думая сердиться, он повторил про себя: «В столицу!» — и новая мысль блеснула молнией в замысловатой голове его. «В столицу? — подумал он.— В столицу — нет, совсем не для того, чтобы чудаку или бедовику было место в столице, а так просто, как ездят туда и живут там другие люди,— что, если бы я съездил и нашел там местечко? Что, если мне там повезет, если найду могучего покровителя... Ведь я теперь вольный казак, единовременного жалованья на прогоны станет,— что, если бы?»

Между тем малиновские молодцы отплясали уже не одну французскую, охорашивались, однако ж, еще и выправляли плечи, между тем как девицы, которые, как вы знаете, всегда и везде милы и любезны, стояли махровыми пучочками и прохаживались, сплетаясь цветистыми, пестрыми веночками. Неужели же, спросят может быть, кроме девиц, которые так милы и любезны, все прочие жители и служители Малинова

были одни животные, какими писало их своенравное воображение Лирова? Совсем нет, друзья, но дело в том, что у нас у всех, не только у малиновских жителей, свои причуды, странности, недостатки и пороки — у одного более, разумеется, у другого менее. Если вы, вошедши на этот раз в состав китайской игры, о которой я упомянул, усаживаясь и размещаясь, попадете на беду локтем на локоть, упретесь коленом на колено, ребром в ребро,— ну, тогда беда; соседи ваши для вас не годятся, как и вы для них; нет сомнения, что можно бы разместить всех нас и так, чтобы углы за углы не задевали. Едва ли есть такой негодяй на свете, которому бы не было приличного и сродного ему места. Возьмите людей с одного конца, посмотрите на них с известной точки — все негодяи, все животные, один — меньше, другой — больше! Подойдите с другого конца, рассмотрите с иной точки — все люди, а иные, право, люди очень порядочные. Что же, наконец, собственно до девиц, то это статья иная; Евсей Стахеевич, при всей видимой неловкости и нелюдкости своей, кой на что нагляделся и кой до чего додумался. Он был того мнения, что девицы все милы, все любезны, потому, собственно, что они девицы; что на них смотреть должно вовсе с иной точки зрения и на одну доску с другими людьми не ставить; почему?— потому что они — ундины; свойства и качества придут со временем, когда придет душа. Вот какой чудак был наш Евсей! Но он слышал или читал где-то финскую либо шведскую пословицу, которую припоминал часто и никак не мог выбить из головы, хотя она нередко ему досаждала. Пословица эта гласит: «Все девушки милы, все добры — скажите же, люди добрые, отколь берутся у нас злые жены?» А в самом деле, господа, откуда берутся у нас злые жены?

Поймав вовсе новую для него доселе мысль о возможности поездки и службы в столице, где в мечтах открывался ему новый мир, Лиров уже не расставался с нею во весь вечер, и на что бы он ни глядел и что бы он ни говорил, а думал все одно и об одном. Когда же наконец знаменитый съезд кончился, пыльные лица, мутные с поволокой очи, усталые ноги, расклепавшиеся прически и помятые кружева и блонды стали убедительно проситься домой, на отдых, то Лиров накинул плащ свой наизнанку, забыл и оставил в при-

хожей калоши и подумал про себя: «Еду». Слово «еду» отозвалось так ясно и положительно во всем составе тела Евсея Стахеевича, что он, испугавшись, оглянулся кругом; но, по-видимому, слово это сказано было не вслух или гостям было не до него: все озабочены были одеваньем и обуваньем; отрывистым тонким голосочкам: «Мой салоп, ваш клок, платок» вторили тенором и басом: «Шинель, плащ, калоши», лакеи у подъезда звонким голосом запевали: «Такого-то карету!», на улице то тут, то там подхватывали: «Здесь!» А между тем уже кучера и выносные резко и зычно кричали и заливались, отгоняя впотьмах быстроногих пешеходов из-под лошадей. Спокойной ночи!

Глава III

Евсей Стахеевич подмазал повозку

Нам надобно познакомиться теперь с новым чудаком, который связан был с Евсеем узами дружбы и службы: это Корней Власов Горюнов, который за восемьдесят рублей на монету в год, выговорив себе еще товару на две пары сапог да гóловы и подметки, служил Евсею Стахеевичу верою и правдою, как прослужил двадцать пять лет в Семиградском пехотном полку. Корней ходил за барином в комнате, варил ему щи да кашу, по воскресным дням подавал и пирог, а иногда и битки, которые выучился готовить в походах, по недостатку поварского стола, на любом колесе, на шине полкового обоза. Корней ездил *за кучера,* как сам он выражался, стирал белье и отмечал сверх того мелком под полкой все расходы и приходы барина своего, который в этом отношении был безграмотен и верил всегда Власову на слово, когда этот, пересчитав и похерив все черточки свои по десяткам, приходил докладывать, что деньги все и расход верен. И в самом деле, Корней Горюнов был в одно и то же время честнейший человек, благороднейшая душа, и плут и мошенник. Он скорее готов был прибавить свою гривну, если никем не поверяемый меловой счет под полочкой у него не сходился, чем утаить грош у барина своего; но обмануть постороннего человека, обсчитать торговку, даже стащить что-нибудь на стороне при какой-нибудь крайней нужде — этого он вовсе не считал за грех, не называл воровством. Вор и мошенник в

глазах его были люди презренные, и Корней был бы готов полезть с вами на драку, если бы вы стали уверять его, что и он бывал когда-нибудь вором и плутом. Он сам рассказывал, когда хвалился, что служил в полку верой и правдой, отродясь не обманывал начальников своих,— сам рассказывал, что считал непременною обязанностью украсть на дневке деревянную ложку или разбить горшок, если хозяин его дурно накормил. Но зато, напротив, разговаривал он с мужиком, у которого был на постое, и особенно с хозяйкою, чрезвычайно вежливо, нередко честил его «вы» и «почтенный», если хорошо кормили, и тогда уже старался угодить и отблагодарить чем мог; и если ложка эта была ему необходима, то он отправлялся за нею на другой конец села. Кого Корней признавал другом, приятелем, товарищем или начальником своим, того берег и стерег пуще, чем себя самого и свое добро; но зато всех прочих признавал он неприятелями, в военном смысле, куда причитались некоторым образом и все чужие и незнакомые ему люди. С этими-то понятиями согласовались и все действия и поступки Горюнова.

Евсей Стахеевич так привык к дядьке своему, что не мог без него жить, и ничего не делал, ни за что не принимался, не посоветовавшись наперед с Корнеем Власовым. И Корней Власов никогда не призадумывался, всегда советовал и подкреплял советы свои поучительными примерами и привык держать барина своего в руках, хотя ни он, ни сам барин этого не замечали. Вот почему необыкновенная решимость Евсея Стахеевича, которая, казалось, низошла на него вчера вечером каким-то наитием, поколебалась; он почувствовал, что надобно сперва посоветоваться с Корнеем Власовым, который тогда только беспрекословно соглашался с предположениями барина своего, когда они непосредственно относились к уменьшению расходов и сбережений барской казны; в противном случае Корней Горюнов объявлял без обиняков, что это «пустяки, сударь», и подкреплял решительный отказ свой присказками и разной бывальщиной. Так, он недавно еще не пустил барина своего на какую-то загородную пирушку или гулянье, куда был приглашен и Лиров; не пустил потому, что и это также были «пустяки», на которые требовалось из казны ведомства Корнея пять рублей. Власов в продолжение шести-

летней службы своей при Лирове мог бы, казалось, убедиться, что барин его не только никогда не пьет лишней рюмки вина, но что обыкновенно не пьет его вовсе; несмотря, однако же, на это, Горюнов всегда увещевал барина своего не пить, понимал слова «гулянье», «пирушка», «вечер» по-своему и говорил: «Что толку в гулянье этом? Только что деньжонки рассоришь, там еще завтра и голову разломит, а надо идти на службу». Так рассуждал Горюнов и тотчас же подводил примеры: «Вот у нас в полку был такой-то и сделал то-то» и прочее. Если же самому Власову раза два-три в год действительно случалось погулять, то он винился уже беспрекословно и вслед за тем предлагал барину своему повеселиться с товарищами и приятелями, уверяя, что денег еще осталось довольно, а треть на исходе и скоро будут выдавать жалованье. Корнею нужды мало до того, что барин его, во все шесть лет службы при нем, Корнее, не веселился с товарищами и приятелями ни одного раза; что он никогда не бывал на попойках и вел без всякого принуждения самую трезвую и воздержную жизнь. Корней обо всем держался своих понятий и думал: «Ну, благодаря бога, вчера не пил и нынче не пьет, а что завтра будет — бог весть!» Когда же Лиров журил порядком старика, даже и за то, что этот изредка погуливал, журил и спрашивал: «Как же ты в полку служил, Власов, неужели ты и там так же пил?» — и на ответ: «Всяко бывало», продолжал: «Да как же ты, старый хрыч, не боялся, ведь там бьют за это?» — то Корней Горюнов объяснял бесстрашие свое таким образом: «Первую выпьешь — боишься, вторую выпьешь — боишься, а как третью выпьешь, так и не боишься».

Но у Корнея Власова была одна еще слабость, на которую Евсей Стахеевич при нынешнем предприятии своем крепко надеялся: страсть к походам и разъездам. Корней не любил засиживаться на одном месте и в былое время охотно снарядил барина своего в путь из уезда в уезд, а наконец и в губернский город. «Рыба ищет, где глубже, человек — где лучше,— это была любимая поговорка Горюнова.— Мы, слава богу, не мужики, не приросли к земле да к избе, а видывали свету не только что в окне». Поэтому Евсей и предложил ему смело и прямо умысел свой, и вот каким образом и с каким успехом.

Л и р о в. А что, Власов, поедем в столицу?

В л а с о в. Куда, сударь? В Питер? Извольте, поедем; известно, человек ищет, где глубже... тово, рыба ищет, где глубже, а человек — где лучше. А знатный город, уж сущая, сударь, столица. Мы и сами ездили с покойным барином, как последние четыре года службы жил я в денщиках, так стояли мы там, в Питере, по набережной: вот этак начальствующие генералы, этак мы, а вот этак прочие господа.

Лиров слышал только: «В Питере», а более ничего не слыхал. Одно слово это сбило его с пути и с ладу; он по привычке своей пустился думать и позабыл уже, о чем было заговорил; а Власов, которому обычай барина не мешать старику разговаривать чрезвычайно нравился, Власов долго еще продолжал разговор свой один.

«В Питере»,— подумал про себя Евсей, стараясь доискаться, почему слово это его так озадачило, и наконец опомнился и успокоился, когда сообразил, что он о Питере и не думал, а думал только о Москве. В Питер! Почему же не так?

— А разве в Питере,— спросил он Власова,— разве там лучше, чем в Москве?

В л а с о в. Как же, сударь, не лучше! В Москве только что купцы богатые живут да дворяне, а в Питере все большие господа. Да и лавочки, например, в Питере мелочные и овощные лавки почитай что в каждом доме есть, все что угодно, все найдешь, дальше угла и не ходи, и, пожалуй, еще на фатеру тебе принесут; а в Москве уж этого нет: там далече до всего, и все посылают, вишь, *в город;* а это что самая ни на есть Москва, это у них, стало быть, и не город.

Л и р о в. Да в Питере, говорят, трудно добиться до места.

В л а с о в. Отчего трудно? Пустяки. Вот у нас в полку майор вышел в отставку, поехал, и ничего, и слава богу живет. Вот и капитана одного у нас из полка перевели в Образцовый полк; как приехал, так и определили его, и служил себе. Там только обыкновенно уже известно, коли приедет кто, коли из военных, так в ордонанс-гауз, к коменданту, отбирают подорожную, уж там ее и ищи; а коли из гражданских, так туда, в канцелярию генерал-губернатора, там уж и будет.

Лиров. Я говорю, Корней, что в Питере нашему брату трудно добиться до чего-нибудь, коли не привезешь с собою каких писем да не заступится большой человек.

Власов. Да уж на это, сударь, нет чуднее Москвы: там, уж и сам наш полковой аудитор сказывал, а он из писарей был пожалован, и сказать уж, что грамотный человек и свету повидал,— так он, вишь, сказывал, что чужому человеку в Москве нет и ходу: все одни племяннички, говорит, служат; и на мое, говорит, место определили какого-то цыганенка аль калмычонка, что ли, что вышел от больших господ; так и определился, говорят, с собачонкой, которая табак нюхала; так, говорит, нюхала, что, бывало, покою не даст, поколе ей не отсыплешь. Шавка, говорит, была белая вся.

Такой неожиданный оборот дела поставил Евсея в крайне затруднительное положение, он не знал, на что решиться. Мысль об одной Москве уже кружила ему голову, так что когда Корней подал щи да кашу, а Лиров достал без всякой надобности часы из кармана и поглядел на них, не заметив вовсе, который час, то вслед за тем поднес было часы эти ко рту и едва не перекусил их пополам, воображая, что держит в руках ломоть хлеба. А теперь две столицы, как два сказочных видения, обетованные призрака, манили его направо и налево, и обе таили под золотыми сводами и расписными потолками своими грядущую судьбу нашего доброго Евсея.

Разложив перед собою карту и водя пальцем взад и вперед, между Питером и Москвою, смотря по тому, куда переносился мысленно, Евсей Стахеевич остановился, съездив уже раз десяток взад и вперед, на Твери,— взглянул влево, на Малинов, и опять уже, как это так часто с ним случалось, напал на богатую мысль. Он решился выехать на Тверь, подумать дорогою, сообразить дело в Твери и своротить направо или налево — в Москву или в Питер — по обстоятельствам. Решено и сделано; хотя, впрочем, и не совсем, как мы увидим это после.

Выходив согласие и одобрение Корнея Власовича, Евсей собрался и снарядился в поход. Когда пришлось ехать однако же, то он расстался не без грусти даже и с Малиновым. Правда, у него остался теперь там один только дом, в котором он был дома, а именно:

собственное его жилище; семейство, к которому он было приютился и привязался, оставило Малинов навсегда уже за несколько перед этим времени. Но Евсей при всем том, уезжая навсегда из города, где жил несколько лет, немножко призадумался. «Если бы только,— подумал он про себя тихонько,— если бы люди эти были немножечко, чуть-чуть иначе, если бы не видеть своими глазами на каждом шагу, как всякая правда живет подчас кривдою, да кабы они еще немножко поменьше сплетничали и надоедали и себе и друг другу,— так можно бы и жить и служить с ними; а этак, ей-богу, трудно. Был у нас председатель такой, что брал; нынешний, может быть, не берет, а все-таки правда наша держится только на убедительных доводах за подписью князя Хованского, и выходит одна только путаница, что ину пору не знаешь, куда оборотиться, кому кланяться, кого просить и куда идти».

Так думал про себя Евсей и объехал по способу малиновских прачек и кантонистов все тридцать восемь домов, потому что он кобылку свою уже продал. Он прощался со всеми и благодарил всех чистосердечно и от души; а прощаясь с председателем своим, через силу перекусил и подавил упрямую слезинку. Правда, что прощание это и в самом деле кончилось некоторым образом плачевно; председатель изволил кушать чай на крыльце, в холодке, а Евсей, собираясь встать, все отдвигался со стулом своим назад, покуда наконец не полетел вместе со стулом тычком и навзничь с крыльца, передушив с полдюжины поросят, которые в Малинове пользуются полной свободой и довольствуются подножным кормом. Председательша, впрочем, успокоила испуганного Евсея, в то же время сказав: «Ничего, ничего, это не наши, это Пелагеи Ивановны, и я давно ей говорила, чтобы она не распускала поросят своих по всем дворам и по целому городу, а велела бы дворовым ребятишкам пасти их по пустырям». Перепетуя Эльпидифоровна, о которой упомянули мы выше, случилась тут же в гостях и сделала также с своей стороны все, что могла, в пользу нашего бедовика: она советовала ему, если хочет лечиться по Килиану, натереть ушиб запросто пенником и тереть байкой досуха; если же он более доверяет Енгалычеву, то положить по равной части вина и уксуса и прибавить щепоть свинцового сахара.

Глава IV

Евсей Стахеевич поехал в Петербург

Евсей Стахеевич, укладываясь и усаживаясь в дорогу, был необыкновенно досужен, толков, распорядителен и заботился о вещах, которые, бывало, лежали вовсе вне круга его забот. «Не будет ли трястись,— спросил он у Власова,— крепко ли уложил ты съестной кузовок свой?» Власов тряхнул его раза два и с замечанием: «Малое толико движение дает» — поставил опять на место и приткнул сбоку дорожным, розовой лайки, кисетом своим, на котором изображен был какой-то вершник в латах и гора-горой головы зрителей, с подписью: *турнил*. На художническом произведении, на кисете этом, не взыщите за отступление, употреблено было всуе имя одного почтенного московского цензора.

Перепетуя Эльпидифоровна, рассудив, что молодой человек может пострадать по легкомыслию своему и от небрежения, прислала Лирову две бутылки с примочками. Власову, который отведал и ту и другую, килиановская показалась гораздо лучше: енгалычевская кисловата и вяжет рот, килиановская, по мнению Власова, была родом из турецкой крепости Килии, во уважение чего он и нашел ей место между кузовочком и кисетом. В это самое время Козьма Сергеевич Мукомолов вспомнил и рассказал супруге своей, заливаясь хохотом, как Евсей Стахеевич поздравил его намедни с именинами, объяснившись при этом начистоту, что ему нет никакой нужды до чужих именин; и Перепетуя Эльпидифоровна в ту же минуту Елеську — бегом догонять посланного с примочками Ваньку и воротить его. Но Елеська опоздал: бутылки были уже вручены. Посланцы, и тот и другой, стояли, сняв шапки, поодаль от повозки Лирова и перешептывались, не зная, как тут быть. Наконец, решились они просить Корнея Власовича возвратить им примочки. Горюнов охотно отдал им енгалычевскую, но с килиановскою расстаться не хотел, а потому и объяснил, что она уже истерлась и почитай вся. Перепетуя Эльпидифоровна рассуждала об этом происшествии очень много и рассказывала и трезвонила по целому городу, между тем как нашему бедному Евсею икалось от какой-то поганой

окрошки уже за Вязьмой. Пелагея Ивановна, супруга командира гарнизонного батальона в Малинове, прислала, однако же, фельдфебеля своего еще вовремя: Евсей только что заносил другую и последнюю ногу свою в телегу. Пелагея Ивановна приказала кланяться, велела просить целковый за два искалеченных поросенка. Не удивляйтесь этому: Пелагея Ивановна, как известно целому городу, незадолго до этого взыскала три рубля без вычету на ассигнации с неосторожного соседа своего за хохлатую и мохноногую курочку, которую задушила его борзая. Лишь только Евсей достал худощавый кошелек свой и запустил туда пальцы за целковым, как запыхавшийся слуга дворянского предводителя, в ливрее, без шапки, подал, кланяясь и улыбаясь и желая счастливого пути, вычищенные в лоск старые истоптанные калоши, которые Лиров позабыл намедни после балу. Все это происходило на счет выданного Евсею единовременного годового жалованья. Корней ворчал вслух, а все-таки нашел место и калошам, а именно: между кузовочком, кисетом и примочкой. Наконец Корней Горюнов взлез на телегу, сел, перекрестился, надел шапку, ямщик свистнул, тряхнул вожжами — и колокольчик зазвенел.

Все жители Малинова вдоль Песчаной улицы, как значилась она на чертеже, или Вице-губернаторской, как обыкновенно ее называли, ложились в растворенные окна и высовывались по самые чресла, чтобы посмотреть, кто поехал или приехал. Кто не поспевал на зов колокольчика вовремя к окну или не мог признать Лирова в лицо, посылал тотчас же за справкою к соседям или на почту. Вице-губернатор советовал супруге своей, которая ожидала в это время сына в отпуск из армии и очень испугалась, нечаянно послышав колокольчик,— советовал было послать за инспектором врачебной управы; но она, то есть вице-губернаторша, предпочла написать Перепетуе Эльпидифоровне французскую записку, которую ни сам Мукомолов, ни супруга его не могли разобрать, потому что они оба вместе и каждый порознь не знали ни слова по-французски. Перепетуя Эльпидифоровна, однако же, с помощью ближнего дозналась, что вице-губернаторша просит капель *от испуга,* и сама отвезла ей Килиановы мятные и Енгалычева эфирные капли. Мокрида Роховна или Роговна, как ее обыкновенно звали, полуполь-

ка, супруга инспектора врачебной управы, узнала об этом событии и при первом случае не оставила кольнуть как вице-губернаторшу, так и в особенности лекарку, Мукомолову; эта сказала где-то в оправдание свое, что инспектор управы переморил уже более людей, чем у него седых волос на голове, что опять, в свою очередь, дошло до Мокриды Роховны, и вот с чего обе дамы эти разошлись очень нехорошо, так что, не говоря уже о бывалых вечерних посещениях, полтора года сряду не почтили даже друг друга визитом и помирились только по вновь предстоявшему рекрутскому набору. Кто загадки этой не понимает, тому надобно напомнить, что Мукомолов — зажиточный помещик, а инспектор врачебной управы не последнее лицо при приеме рекрут; в нынешний набор, который, на беду, случился вскоре после ссоры дам, Перепетуя Эльпидифоровна дорого поплатилась: и очередные и подставные — все с забритыми затылками воротились восвояси, и Козьма Сергеевич всех мужиков своих возил поочередно за полтораста верст на выбор в рекрутское присутствие. Инспектор управы, обрусевший венгерец, был один из тех людей, у которых так называемая голова была особенного устройства: где едят — пошире, а где думают — поуже; собственно же голова его, не в переносном, а в прямом смысле, заключалась, как у рака, в желудке. Несмотря на это, однако же, как мы это сейчас видели, его на управление своею частью доставало.

Что подумал и заговорил Малинов о Евсее Стахеевиче по отъезде его? Евсей был не великой спицей в колеснице, но все-таки отъезд его из Малинова составляет некоторым образом событие, потому что в тесном кругу стесняются и мысли; политикой мои малиновцы не занимались вовсе, за что я их от души похвалю; а между тем каждый божий день надобно же было о чем-нибудь поговорить! Общего во мнениях и разговорах об этом предмете было только то, что Евсей был всегда чудак, и это без всякого сомнения вина виноватая. Но к этому прибавляли разные разное: губернатор сказал как-то, что Лиров был хороший чиновник, но иногда забывался. Не знаю, как понять это выражение: если его отнести к забывчивости и рассеянности Лирова, то и это некоторым образом справедливо; если же почтенный губернатор хотел намек-

нуть на недоразумение, возникшее когда-то по поводу отношений и рапортов, то губернатор опять-таки прав, потому что Евсей, видно, в отношениях своих горько ошибался. Инспектор врачебной управы говорил, что это такой человек, с которым нельзя ни связываться, ни знаться. Советники поглядывали с недоумением друг на друга и на подчиненных, как будто кого-то не доискивались. Души, крещенные в чернилах, повитые в гербовой бумаге, молчали и, кажется, даже ничего не думали. Мы отплатим им тем же. Только председатель гражданской палаты, служивший по выборам и уезжавший теперь опять в свои поместья, говорил: «Да, если бы я оставался на службе, я бы этого человека не упустил». Для барынь Евсей Стахеевич был какой-то неловкий, темный молодой человек, который самым неприличным образом и без всяких обиняков бегал от партии, то есть не от виста,— к этому уже привыкли и было много охотников и без него,— но от пары, от невест, а и пуще того от свах. Для девиц, которые, как вы уже знаете, всегда и везде очень сострадательны, Лиров был какой-то жалкий молодой человек, но не противный. Изо всего этого вы ясно видите, что думы свои Лиров берег, большею частью по крайней мере, про себя и увез их с собою; иначе, вероятно, был бы он помянут не тем и не так.

Теперь, когда мы уже знаем, что именно малиновцы думают о Евсее Стахеевиче и что думает Евсей Стахеевич о малиновцах, последних можно оставить на несколько времени в покое и заняться опять первым. Я вам могу сказать приблизительно наперед, по местным соображениям, что между тем сбудется и произойдет в Малинове. Единственный в городе булочник, который пек сухари и так называемый французский хлеб, вскоре уезжает, и потому оборотливое предприятие Перепетуи Эльпидифоровны посадить в Малинове своего хлебника, обучавшегося в Москве, увенчается полным успехом; во-вторых, новый чепец, или, если не ошибаюсь, наколка, которую выписывает вице-губернаторша прямо из Петербурга, дорогою растряслась, ящик разбит, и наколка приедет в самом отчаянном положении. За это почтмейстерше не миновать разных колкостей; тут уже, не входя ни в какие разбирательства и не принимая никаких отговорок, ста-

нут бранить в глаза и за глаза губернского почтмейстера или, что еще основательнее, его супругу. А наконец, полицейместерша, вероятно, вскоре раззнакомится с супругою первого члена межевой конторы, по крайней мере я так догадываюсь, судя по слухам, дошедшим до меня через губернскую повивальную бабку, которая одарена в высшей степени прозорливостью и соображением и знает многое, чего мы не знаем. Аптекарша наша не так основательна: заключения и выводы ее нередко бывают опрометчивы, потому что она все прикидывает на свой ревельский аршин.

О поездке Евсея от Малинова до Твери занимательного можно сказать немного: чем ближе подъезжал он к московской большой дороге, тем чаще доставал кошелек, тем дороже обходился каждый привал и перегон; а наконец, если не ошибаюсь, в Борисковом, где прождал он час лошадей, не спросив ничего, кроме стакана воды, заплатил хозяйке четвертак за *беспокойство.* До самой Твери потешливая судьба, казалось, потеряла из виду всегдашнюю игрушку и забаву свою, бедного Евсея; но в самой Твери она опять выследила его, привела голодного и усталого в изрядную гостиницу и заставила съесть какой-то биток, который подается, сказывают, в обертке,— совсем с бумажкой. Евсею никогда не случалось видеть блюдо это; он привык есть сплошь и подряд все, что ему ни подавали, и заканчивал обыкновенно на том блюде, которое заставало его сытым; и если бы котлетку эту подали не только в обертке, но даже в корешке и в переплете, то он, вероятно, искрошил, изрезал и съел бы ее так же точно, как и теперь. Но случай этот заставил много хохотать притомных свидетелей, несколько молодых офицеров. Через две минуты вся дивизия, с киями и трубками и стаканами в руках, входила поочередно из биллиардной и рассматривала заезжего уездного чудака, который съел котлетку с бумажкой. Подученный офицерами слуга, переменяя тарелку, объяснил Евсею с лакейской вежливостью и приемами, что он изволил скушать бумажку. Евсей слушал его преспокойно, уставив на него выразительные черные глаза свои, и сказал только наконец:

— Так сделай милость, братец, подавай мне, покуда я голоден, одно съедомое: бумагами сыт не будешь, это я уже знаю давно.

Между тем рядом, в биллиардной, раздавалось только сквозь шум и говор и хохот: «Семь и двадцать один, девять и двадцать пять», да остроты преусатого корнета, который замечал каждый раз, когда биллия не была сделана: «А, этот широк в плечах, не полез в лузу!» В промежутках же то один, то другой заглядывали опять в боковую дверь на уморительного чужестранца, не утомляясь одними и теми же чередными остротами насчет бумажной котлетки. Евсей почувствовал, что он как-то не в своей тарелке, опомнился и рассудил, что ему в Твери искать вовсе нечего, и велел закладывать.

По московской дороге в лошадях остановки не бывает никогда, даже и без подорожной, а платят тогда только вместо восьми по десяти копеек с версты и с лошади; но староста спросил Корнея Власова, куда ехать, потому что из Твери лежит в разные стороны шесть почтовых дорог и чередные права ямщиков требуют этого сведения. Горюнов, ни на одну минуту не призадумавшись, отвечал: «Куда? Разумеется, в Питер». Староста, оборотясь к ямщикам, сказал: «На Медное». Повозку заложили, Евсей сел и поехал и тогда только вспомнил, что он из-за бумажной котлетки, которая столько ему досадила, не опомнился еще и не успел решиться, ехать ли в Москву или в Петербург. На вопрос его: «Куда же мы поехали?» Власов отвечал так же спокойно, как и прежде: «Куда? Разумеется, что в Питер»,— и Евсей замолчал, решась предоставить участь свою судьбе и Корнею Горюнову.

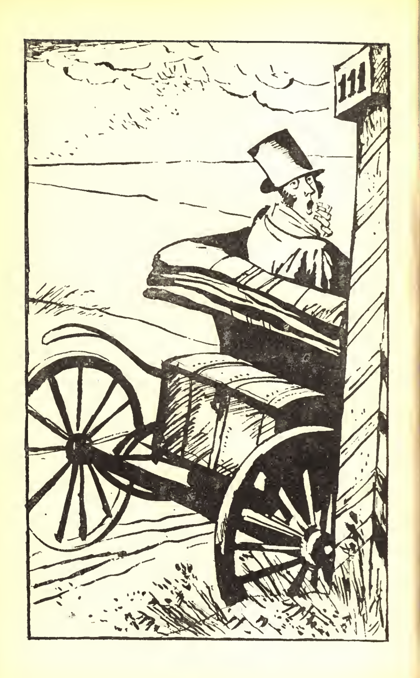
Глава V

Евсей Стахеевич поехал в Москву

Лиров впервые ехал по московской дороге и испытал почти всю тягость своевольных и крайне бестолковых ямщичьих обычаев и условных постановлений. *Почти* всю, потому что Лиров ехал на перекладных, а следовательно, нельзя было ни впрягать лишних лошадей, ни, обступив толпою коляску, отвертывать и раскачивать винты и гайки, чтобы потом указать барину: «Вот у вас, видно, винт-от потерян»,— и заставить заплатить целковый за ту же самую, перекаленную только в огне, гайку.

Неопытному ездоку на московской большой дороге беда: дорога эта — преддверье обеих столиц, мужики и ямщики на этом огромном распутье сделались уже какими-то прощелыгами и мастерски обирают и осударивают проезжих. Даже весь порядок на ямах, эти запутанные очереди или *кругá,* как называют их ямщики, потом бесконечные споры, крик, шум, жеребьи, кусаные или меченые гроши и мерянье по постромкам, передачи или столь известные *слазы,* которые состоят в том, что при каждом колокольчике сбегаются десятка два-три ямщиков и, решив после долгого спора, за кем очередь, начинают торговаться, продавать и покупать седока,— все это может истощить терпение самого кроткого, миролюбивого человека. Покуда бесконечные сделки и проделки эти не кончились, вам лошадей нет, хотя их на яму, может быть, стоят до сотни троек; при каждом приезде и на каждой станции открываются при вас снова эти торги и переторжки, и тут уже не действуют ни просьбы ваши, ни угрозы, ни даже волшебное в других обстоятельствах «на водку», потому что, покуда не решено еще, кому ехать, никто гривенником вашим не прельстится. Его взять возьмут, но дело от того вперед не подвинется. Спрашивайте сто раз старосту — и его не выдают: он стоит тут же — в этом вы можете быть уверены — и кричит громче всех; но вам отвечают, что он пошел наряжать ямщиков и что его нет. Смотрители не хотят, да и не могут совладать с этими нахальными горлодраями и не имеют обыкновенно никакого на них влияния. Прибавьте к этому еще, что у них идут всегда какие-то две очереди вдруг и есть, кроме того, какой-то вольный, передаточный круг, от которого вас да избавит бог, и вы согласитесь, что это бестолковщина и путаница в высшей степени.

Евсей Лиров попадал в ловушку на каждом шагу, несмотря на все старания и хлопоты Корнея Горюнова, который наконец уже и сам выбился из сил, спасовал и пошабашил, потому, как уверял он, что не военному и еще не по казенной надобности ездить не годится. Евсея передавали с рук на руки, торговались и продавали на каждой станции, после каждого перегона сызнова, рядились всегда до какого-нибудь города, вымаливали и выманивали хотя половину прогонов наперед, чтобы его не беспокоить ночью к расче-


111

ту, а после заставляли уплачивать сверх прогонов все привески и недовески, которые, по взаимным расчетам, скоплялись на последней станции, и, уверяя нахально в глаза, что это было по ряду и в уговоре, не везли дальше, между тем как тот, с кем Евсей рядился, покинул его на том же месте, продал, взял слазу и после того сменилось уже на том же основании пять или шесть человек.

Таким образом Евсей Стахеевич наконец добился до Чудова, за пять только станций от Петербурга, как вдруг проняла его дрожь, когда прочитал он на столбе, что осталось всего сто одиннадцать верст. Страшно было подумать нашему Евсею, что через какие-нибудь полсутки будет он в столице, в этом вихре, водовороте, в этом исполинском смерче кипучей жизни, где всё и все ему чужие, все, от первого до последнего. Куда там приютиться, каким путем начать искать место, куда, к кому обратиться... «Стой,—подумал Евсей,— надобно пособраться с силами и с духом, приготовиться да сообразиться, дела этого рода так не вершатся. Я думал ехать в Москву, меня повезли в Петербург, и я не успел еще опамятоваться». И, покинув повозку свою у чудовского почтового дома и верного стража, неизменное копье свое при ней, отправился он пешком куда глаза глядят, пройтись и подумать.

Корней Горюнов выспался, потом встал, умылся, набил трубчонку свою, присел у подъезда, начал пребогатый разговор с ямщиками и рассказал им почти всю службу свою с начала и до конца. Началось тем, что слуга гостиницы спросил, где ночевали, а Власов отвечал преспокойно и не оглядываясь: «Под шапкой»; потом разговорились, зачем и куда едут, и вот Корней Власович уже рассказывает слушателям своим, что прежние времена не нынешние, что прежде бывало много дивного, а нынче — что́, и прочее.

Между тем, одна́ко же, настал вечер, смерклось, Корней Власов давно уже покончил рассказы свои, а барина его нет. Стемнело вовсе, и Власов начинает уже крепко беспокоиться: «Это,— говорит,— дивное дело, о сю пору, хоть бы и потонул, прости господи, где-нибудь, так бы уже давным-давно на воду всплыл; а его таки все нет да нет; диковина, да и только!»

Но диковина, как это почти всегда случается, объяснилась очень просто. Евсей задумался тугою ду-

мою, пустившись по дороге направо, в село Грузино, шел да шел и все думал да думал. Ему как-то тесно стало на чужбине; он вспомнил о семействе, к которому было так крепко привязался, стал припоминать все былое и минувшее, хотел забежать и заглянуть вперед, что будет, чего ожидать,— наткнулся мысленно опять на всегдашнюю участь свою, не блестящую, не завидную, и догадался, что он просто *бедовик*, которому, видно, на роду написано маяться и перебиваться до последнего дня своей жизни. Хорошо, если бы нам дозволялось заглядывать таким образом иногда вперед, в конечные страницы таинственной книги судеб; хорошо, а может быть, и очень худо, если бы можно иногда предугадывать назначение свое и участь; но как бы то ни было, а Лиров думал, что заветная тайна перед ним раскрылась, что ему почти нечего искать, нечего ожидать. Эту грустную думу донес он наконец до села Грузина, куда дошел без умысла, без намерения; но, дошедши туда и оглянувшись и услышав, что это село Грузино, Евсею, согласитесь сами, можно было и подумать и призадуматься. У него в голове стало тесно, в груди душно. Утомившись до крайности, нашел он наконец на обратном пути своем мужика, который его подвез до места; и вот почему Лиров явился в Чудове уже близко полуночи.

Около того же времени приходит в Чудово и петербургский дилижанс.

Когда Лиров возвратился, два дилижанса, четырехместная карета и огромная шестиместная колымага, стояли под крыльцом почтового дома, а ямщики закладывали. Погода была очень тепла и хороша; месяц на убыли взошел с час тому назад, и три женщины прогуливались взад и вперед помимо крыльца в ожидании запряжки. Лиров остановился рядом с верстовым столбом, и отныне, более чем на четверть часа времени, у Чудовой станции стояли не один, а два столба. Мы знаем уже обычай Лирова, созерцательную способность его стоять, и глядеть во все глаза, и думать про себя и больше ни о чем не заботиться; поэтому нас два столба эти не удивят: ни тот, который стоит уже многие годы в неизменном пегом кафтане своем и не думает, вероятно, ни о чем, ниже́ другой, в черном сюртуке, с острыми карими глазами, ко-

торый столько досаждает и себе и другим всеми странностями своими и затяжною думою.

Наконец мужчина средних лет со звездой подошел звать барынь в карету и взглянул при этом на притаившегося соседа своего, на Лирова, так незастенчиво, что недоставало к этому только вопроса: «А тебе чего тут надобно?» Потом, оборотясь к попутчицам своим, спросил по-французски: «Не попросить ли и его также в карету?» В это самое время Корней Власов, не видя еще впотьмах барина своего и приложившись с отчаянья и нетерпенья к килиановской, рассказывал ребятам, что, бывало, в походе идут они, то есть пехота, в страшную слякоть, в дождь, да месят грязь по колено, а конница и пуще того кирасиры обходят их подбоченясь да только знай покрикивают на них: «Не пылить, ребята, не пылить!» Бедный Евсей вздохнул втихомолку и применил рассказ старого служивого к себе и к надменному насмешливому звездоносцу. «Что, я ему мешаю? Разве и солнце и луна не для всех нас равно светят, куда бы луч их ни упал? Разве природа освещает лучом этим предметы исключительно для каких-нибудь избранных любимцев и баловней своих, а не ради всякого, кому чадолюбивая дала зеницу ока? Неуместная зависть и горькая, несправедливая насмешка! Что трудовой и бедовой пехоте отвечать на это надменное «не пылить»?»

Так-то заносился думами наш Евсей Стахеевич и все еще стоял на одном и том же месте, когда и карета, и кавалер ордена звезды, и предмет, на котором Лиров созерцал так благоговейно отражающийся лунный луч, давно уже умчались из вида. Колымага еще стояла все тут же; одна барыня, из числа клади, занемогла и упросила сопутников своих дать ей часа два отдыху и покою.

Власов непритворно обрадовался, увидав наконец своего барина, и рассказам и объяснениям Корнея не было конца. Раз десять принимался он рассказывать, как он дивился и дивовался, что нет барина; что за пропасть фу ты пропасть — эка подумаешь и прочее. Евсей отвечал на все это мало, почти ничего и, задумавшись, пустился было опять по образу пешего хождения, как изъяснялись в Малинове, и пустился прямо по дороге туда, куда покатила карета. Но Власов поймал его за полу, снял перед ним шапку и побожил-

ся, что не пустит его более никуда; потом выпустил из правой руки полу и перекрестился, побожившись еще раз, что не пустит, а после всего этого уже стал уверять и божиться, что пора ехать, что их в Питере, чай, давно уже ожидают и так далее. Не знаю, поверил ли Евсей последнему обстоятельству, но по крайней мере он не мог противиться решительным мерам Корнея Горюнова; понял слова: «Ей-богу, не пущу, вот те Христос, не пущу» — и воротился назад. А вошедши в гостиницу, он и сам немало изумился, когда один из старых и давнишних знакомых его, о котором поговорим после, вскочил со стула и вне себя от радости обнял и облобызал его с восторженными восклицаниями и исступленными возгласами. Малинов, Москва, Петербург, Грузино, карета, луна на ущербе, новый приятель — все это сбилось и смоталось в голове Лирова в огромный клубок, которым, казалось, голова его набита туго-натуго, так что ни для какой думы не было более места, иначе Евсей Стахеевич был бы почти готов подумать хорошенько, Власов ли или уж не сам ли он, Лиров, приложился сегодня с горя к килиановской? Между тем, чтобы говоривши долго да коротко кончить, все это вместе, и Чудово, и Питер, и Москва, и Малинов, и Грузино, и карета, и луна, и дилижанс, и новый приятель,— все это снова распуталось и приняло в уме и памяти Лирова настоящий толк и смысл, когда он, Лиров, уже около рассвета сладко дремал, сидючи в том же самом дилижансе, который стоял перед Чудовым почтовым домом, а теперь ехал в Москву. Итак, Корней Власович, поворачивай оглобли да поезжай в Москву, а в Питере еще подождут.

Глава VI

Евсей Стахеевич поехал в Петербург

Вот изволите ли видеть, как дурен этот обычай делать наперед уже надпись или заголовок перед каждой главой! Евсей Стахеевич только что отправился с дилижансом и старым приятелем своим в Москву, а тут, вслед за тем, уже поневоле пророчишь, что он опять поедет в Петербург. Надобно, однако ж, пояснить еще первое обстоятельство; и вот как все это случилось.

Евсей Стахеевич вошел в первую комнату гостиницы Чудовой, как вдруг невысокий черноволосый мужчина в зеленом мундирном сюртуке с желтыми пуговицами, с дорожною трубкою в руках кинулся его обнимать. Лиров узнал старого своего сослуживца тех инстанций, о которых мы уже говорили, упомянув о тавлинках и бумажных платках. Это был запросто Иван Иванович, и даже по прозванию только Иванов, бывший писец и бесчиновный — чтобы не сказать бесчинный — служитель жировского земского суда. Ивану Ивановичу стало тесно в земском суде,— да, признаться, ему и письмо как-то не давалось; он вышел на простор, пошел искать счастья по белому свету и попал, как видно, на большую дорогу. Лиров с тех пор потерял его из глаз и из памяти; встреча эта при нынешних обстоятельствах все-таки обрадовала Евсея; по крайней мере знакомое лицо, если смею назвать так Иванова; а Евсею уже тяжело становилось на чужбине и грустно. Он, разумеется, полюбопытствовал узнать звание и место бывшего сослуживца своего, который разъезжал себе так важно в дилижансе между обеими столицами, так развязно, так ловко принял старого знакомца и распоряжался в почтовом доме как дома, приказав уже подать на радости бутылку лучшего вина,— слово за словом, и Евсей услышал собственными своими ушами, что Иван Иванович, которого он считал по виду, по осанке, по обращению по крайней мере титулярным советником, если не коллежским асессором, что Иван Иванович просто-запросто кондуктор, проводник дилижанса. «О,— подумал Евсей про себя,— при всем уважении моем ко всякому состоянию и ремеслу, даже к знанию проводника дилижансов... но если попытка уездного жителя видеть свет и служить в столице сулит такое или подобное этому блестящее поприще, тогда... тогда...» Но Иван Иванович тряхнул Лирова за локоть, которым этот подперся было, повесив голову,— тряхнул, раскачал и растолкал его дружески, понуждая выпить чудное вино. Но Лиров заметил презрительную улыбку старика трактирщика, колченогого голштинца, в ответ на запрос Иванова и прочел на ярлыке, хотя и мало смыслил толку в винах, что цена этому чудному вину назначена была восемь гривен. Между тем Иванов, не спросив даже того, за чье здоровье опорожнил уже

полбутылки этого красного ротвейна, то есть Лирова, куда и зачем он едет, где служит, как служил доселе и прочее, принялся сам рассказывать ему о кунсткамере, которую теперь, к сожалению, разорили, и о Грановитой палате, которую привели в положение; о памятниках Петру Великому, Минину и Суворову с Пожарским; о самородковом столпе Александра Благословенного; о царь-колоколе, выставленном недавно на фундамент, и об Английской набережной, на которой лежат две свинки, огромные, как значится и в самой на них надписи; о Красной площади и об Эрмитаже,— и везде он был, и все видел, и везде принят как дома. Он продолжал в этом духе, покуда наконец староста пришел доложить, что ямщики не хотят долее дожидаться и просят позволения, коли господа не поедут, отпрячь лошадей. Между тем и Власов доносил, что повозка давным-давно заложена и что пора, ей-богу пора ехать. Иванов вскочил, побежал опрометью и прилетел с известием, что больной барыне полегче и что она собирается в поход. Лиров стал прощаться, но Иванов не хотел этого слышать. «Сошлись,— говорил он,— через восемь лет и старые товарищи и приятели, а теперь разбежаться врозь! На что это похоже?» И при этих восклицаниях размахивал он руками, словно мельница, и сшиб со стола кожаным картузом своим порожнюю бутылку. Лиров невольно отскочил и наступил на ногу содержателю гостиницы, старому подагрическому немцу, который подкрался было к столу, чтобы прибрать роковую бутылку эту, и теперь раскричался, разохался и растопался, как будто настал его последний час. А бедный Евсей уже стоял, и кланялся, и просил, и извинялся.

— Ну полно, полно,— продолжал Иван Иванович,— ведь Иван Иванович не сердится, я его знаю, он тезка мой и старый приятель! Послушай же меня, Стахей Сергеевич,— так, кажется, зовут тебя? Не откажи другу, поедем вместе!

— Да послушай же и ты,— отвечал Лиров,— я еду в Петербург, а ты в Москву; как же нам ехать вместе?

— Да зачем же ты едешь в Петербург?

— Искать места, хочется попытаться, не удастся ли пристроиться.

— Где? В Петербурге? Место? Пристроиться? Да какие там в Петербурге места?

— Какое найду; побьюсь, поколочусь, мне не привыкать стать; авось добьюсь.

— Где, в Питере? Да какие там места, говорю я тебе, какие места в Питере? Нет ни одного; кто ж там у тебя есть, дядя сенатор, что ли?

— Хоть бы лавочник какой был, так я бы и за то спасибо сказал: было бы у кого пристать. Нет, я так еду, на вывези господь; у меня нет там никого.

— Шут ты прямой, да и только! И нашел же где искать места, в Петербурге! Стало быть, у тебя нет там никакого дела больше, никакой нужды?

— Да, никакой больше, дай бог и с этой одной управиться.

— Так полно бредить, коли так, поедем вместе, у меня в моем дилижансе и четвертые места оба порожние; садись да поедем; все равно, чем ехать порожняком, подвезу, да уж зато на выбор дам тебе место в Москве, какое захочешь. Да! В Питере нашел место!

Евсей подумал: «Врет-то он врет, что место даст, это я знаю; коли сам в проводниках, так, видно, и у него нет дяди в сенаторах; да ведь, правду сказать, мне что Москва, что Петербург — оба равны; коли человек берет с собою, и еще даром, и познакомит меня, может статься, хоть с кем-нибудь в Москве,— почему уж не ехать? А говорят, действительно трудно найти место в Питере, да я и сам говорил это наперед Власову; сверх всего этого, мне как-то душа говорит, что мне надо бы ехать в Москву...» Тут луна на ущербе и что-то темное, неясное, несвязное мелькнуло в воображении Лирова, но он решительно ничего об этом не думал, не рассуждал, а сказав сам себе: «Нет, все это вздор; доехав за сто верст до Петербурга, было бы слишком смешно и глупо воротиться в Москву, когда и тут и там виды и надежды мои одинаковы: поеду в Питер». Сказав это сам себе, спросил он только Иванова, вовсе сам не зная, что говорил:

— Да как же быть, у меня телега заложена и со мною человек...

— О, об этом не заботься, это мое дело. Это мигом уладим.

И Лиров не успел ни опомниться, ни очнуться, как Иванов велел отложить телегу его, дал Власову какую-то записку на место в *сидейке,* которая должна была прийти, по словам господина кондуктора, через

час или полтора, обнял и усадил Евсея с заднего крыльца в рыдван свой, и кони уже мчали его на Спасскую Полесть, в Москву.

Евсей распустил на досуге поводья вольной вольнице своей, этой докучливой для нас уносчивой думе, прищурил глаза и после проходки в Грузино и беспокойной ночи заснул на зыбком рыдване мертвым сном и проспал два или три перегона до самого Новгорода. В крепком и продолжительном сне прошел он снова все инстанции своего служения, подавал секретарю и членам огня и набивал трубки, наливал чернил, между тем как сторож отбирал у двух товарищей его, по приказанию секретаря, сапоги; потом перепечатывал, как наборщик, бумаги, глухо и слепо, не заботясь о содержании их, потом сидел уже сам за зеленым сукном и так далее. Но все это было озарено каким-то новым, таинственным светом; и везде и всюду видел он теперь в углу в киоте, на обычном месте, какую-то ангельскую головку, которая завесила душеспасательные очи свои темными ресницами; Лирову хотелось помолиться, но откуда он к ней ни заходил, никак головка эта не хотела на него взглянуть, упорно потупив взоры. Вот около чего вертелись грезы его во всю ночь. Спросите, пожалуйста, снотолковательниц наших: что значит этот сон?

Дилижа́нс остановился в Новгороде, и Евсей, проснувшись и потянувшись, стал ощупываться и оглядываться, припоминая все, что над ним сбылось: казалось, все было хорошо и благополучно, а между тем Евсею как будто чего недоставало, было что-то неладно или нездоровилось. Для приведения этого обстоятельства в ясность он объяснился сам с собою откровенно, и по справке оказалось, что он был просто-запросто голоден. Итак, он позавтракал в гостинице, а доставая деньги на расплату, увидел, что с ним была только одна мелочь, а бумажник хранился у казначея, Корнея Горюнова. «Надобно,— подумал Евсей,— рассчитать, чтобы стало до Москвы». В Валдае, однако же, довольно пригожая девушка уговорила его еще купить колокольчик с надписью: «Купи, денег не жалей, со мною ездить веселей»; а другая с приговорками: «Ты мой баринушка, красавчик мой» — втерла на двугривенный баранок. Отроду в первый раз Евсея назвали красавцем; ему это показалось так забавно,

что он купил баранки и грыз их дорогою, улыбаясь выдумке затейливой продавщицы. Но в Вышнем Волочке Евсей пожалел уже о своем мотовстве, потому что вспомнил еще одно неприятное обстоятельство: где найдет его Корней Горюнов в Москве и скоро ли еще до нее доволочется? Власову вовсе не сказано было, где искать барина, да и барин еще сам этого не знал. Поэтому Лиров проехал Торжок не торговавшись, а притворясь спящим, не купил ни одной пары гнилых бараньих сапожков, хотя они продавались за козловые и были ему очень нужны. Лиров был один из тех людей, которые иногда целый год не думают мотать, даже не решаются купить и необходимое, но зато, пустившись однажды в покупки, готовы закупить все, что ни видят глазами. В Твери Евсей забыл вовсе о бумажной котлетке, вошел в гостиницу и спросил было поесть. Но когда в биллиардной раздалась во всеуслышание весть, что «уморительный чужестранец, который съел бумажку, опять прибыл», то Лиров воротился в дилижанс и завалился спать. Долго слуга гостиницы ходил, и высматривал, и искал барина, который спрашивал закусить; но Евсей сам себя не выдавал и поел уже в Городне.

В Черной Грязи, то есть на последней станции к Москве, словоохотливый Иванов наконец счел нужным объясниться с Лировым. Взяв его под руку и отшед в сторону, сказал он:

— Послушай, дружище, я взял тебя так, на свой страх — понимаешь, не на счет конторы, а от себя, по дружбе и на порожнее место: так уж ты, сделай милость, в Москве где-нибудь на дороге слезь, а в контору нашу не езди, или не останешься ли, может статься, здесь, в Черной Грязи? Смотритель мне человек знакомый, да отселе и недалече, попадешь в Москву, когда захочешь.

«Приятное предложение,— подумал Лиров,— и самое приятельское!»

— Да помилуй, не ты ли сулил мне не только довезти меня до Москвы, но и пристроить к месту? По крайней мере сдержи хоть первое обещание да довези; ведь я не напрашивался, а ты сам меня угостил!

— Ну, не вдруг же все, любезный; не горячись, место — это легко сказать, да и место месту рознь. По-

жалуй, мало ли мест и даром дают, да никто не берет, что в них? Будет тебе и место и все, только погоди; я ведь, видишь, по службе, по должности своей всегда разъезжаю взад и вперед промежду столиц, Москвы то есть и Питера, и есть у меня основательные друзья и тут и там,— и я тебя не забуду; но рассуди сам, как же мне везти тебя в контору свою? Тогда все труды и беспокойство мое пропадут задаром, там с тебя сорвут, а уж мне ничего не достанется; а не две же шкуры с тебя сымать!

«Эге,— подумал Евсей,— да как же он вытерся и наметался!»

— А где же я найду после всего этого человека своего?— спросил он.—Помилуй, что ты со мною делаешь?

— Человека? Э, он не пропадет! Язык до Киева доведет, да и окроме того, братец, верь, по записке моей,— ведь сидейки от нас же ходят,— по записке моей его на руках принесут, свяжут да привезут, коли заупрямится, а на месте будет, об этом не заботься.

— Да место-то велико: где я его найду в Москве?

— Да, в Москве! Ну то-то, видишь, поэтому тебе и лучше выждать его здесь; с ним вместе и отправишься!

— А, так мне сидеть ночь и день на перепутье и выжидать сидейки, чтобы не проглядеть ее! Хорошо и это! Спасибо, друг Иван Иванович! Ну, а что, если я тебе еще скажу, что при мне теперь налицо состоит только два двугривенных, коли еще не один пятиалтынный,— не видать точек,— и что деньги мои остались у человека?

— Экой же ты шут подновинский, ей-богу шут! Да кто же этак ездит? Ты думаешь проехать от Жирова до Малинова? Нет, брат, тут без рубля нет и копейки, не как там, без копейки рубля! Ну, хорошо, что наткнулся ты на старого приятеля, на товарища, а другой бы на это не посмотрел...

Евсей Стахеевич уставил по привычке своей глаза на Ивана Ивановича, сложил руки и начал думать, так, про себя; а отвечать не отвечал уже более ничего. Но он этим не отделался от старого приятеля и товарища: Иванов полез шарить с заднего крыльца в дилижанс, вытащил оттуда старый плащ Лирова и колокольчик, то есть все, что там было, стал развертывать и разглядывать сперва плащ и заметил вслух, что он уже очень поношен.

— Так уж отдай мне, Евсей Стахеевич,— продолжал Иванов,— отдай до времени на дорогу хоть шинелишку эту, я поберегу тем часом свою от пыли, ведь моя стоит без малого сто рублев! — И не выжидая ответа, сложил он плащ и перекинул его на левую руку, а правою поднял повыше колокольчик и прочитал по складам: — «Купи, денег не жалей, со мной ездить веселей»,— позвонил, прислушался и продолжал: — Экой проказник, Стахей Евсеевич, да с какой погудкой выбрал, да заунывный какой! На черта же он тебе? Теперь, чай, уж и без колокольчика доедешь, недалече, отдай уж мне и его, нашему брату, дорожному человеку, пригодится!

Заметив, что Евсей Стахеевич на все это, по-видимому, соглашается беспрекословно, что он был тих, и смирен, и кроток, и в лице у него «ни тени злобы», Иванов подошел к нему, попотчевал его трубкой, убрав уже на место и плащ и колокольчик, и в ответ на отказ Лирова, который сказал, что не курит, заглянул как бы мимоходом Евсею за воротник и спросил:

— Да сюртучишко у тебя никак сверх фрака надет аль нет?

— Нет, любезный товарищ и дорогой приятель,— отвечал Лиров довольно положительно,— не две же шкуры с меня сымать, как сам ты сказал; сюртука я тебе не дам.

— Экой чудак! — сказал Иванов, захохотав, прикусив роговой наконечник пружинного чубука своего, свернутого узлом, и почесывая затылок.— Экой чудак! Да кто же об этом говорит? Ты уж и сейчас и бог знает что подумал! Полно горевать,— продолжал он, потрепав его по плечу,— приезжай-ка в Москву, так гляди как заживем, и местечко найдется, да еще и служить будем вместе; что ты задумался, а?

И затем Иванов раскланялся дружески с Лировым, обнял его, полез в кожаный мешок свой подле козел — и дилижанс покатился. А Лиров остался в Черной Грязи.

Глава VII

Евсей Стахеевич действительно поехал в Петербург

И потому еще нехорошо угадывать наперед в заголовке каждой главы рассказа содержание ее, что не всегда угодишь да утрафишь; шестую главу, например,

пометили мы: «Евсей Стахеевич поехал в Петербург», а выходит, он не поехал, а сел в Черной Грязи; поедет же, коли поедет,— в седьмой.

Евсея в нынешнем безотрадном, истинно отчаянном положении его безотчетно тянуло в Москву, и он бы, верно, отправился туда по способу малиновских прачек и кантонистов; но что будет с Корнеем Горюновым? Евсей просил смотрителя убедительно сказать ему, если бы ночью пришла сидейка, но получил ответ, что сидейки останавливаются на селе у ямщиков и что укараулить их трудно. Оказалось также, что все знакомство Иванова со смотрителем Черной Грязи ограничивалось тем только, что Иванов занял у него в намеднишний проезд свой полтинник и теперь отдал в уплату долга отнятый у Лирова колокольчик.

Чтобы не терять времени по-пустому, Евсей пустился думать, прохаживаясь по Черной Грязи; потом, опомнившись, пошел добиваться толку у ямщиков, где пристают сидейки; потом, не добившись толку, потому что сидейки разных хозяев приставали в разных дворах, пошел опять думать. Так время шло незаметно между делом и бездельем, и, судя по известной пословице, Евсей Стахеевич разве от этого только не сошел с ума, потому что положение его было в самом деле крайнее. Он заложил уже у содержателя гостиницы часы свои, которых Иванов, видно, не доглядел, и все еще не знал, как, где и когда сойдется с верным своим Корнеем.

На третье утро Лиров сидел на крыльце и думал: «Так, так! Я знаю, что я бедовик, и знаю, что мне суждено, может статься, для назидательного примера другим терпеть и пить горькую чашу весь свой век. Чем же я провинился и за что все это валится на мою бедную головушку? Говорят, в Испании или Португалии во время народных зрелищ в театрах бьют негра палкой по голове, чтобы сосед его, дворянин, оглянулся, и тогда говорят этому вежливо: «Извольте сидеть чинно». Может быть, и я родился на свет, чтобы служить таким же назидательным примером для других. При всем том — нечего делать, мне не учиться стать терпеть; выждем конца; любопытно увидеть, чем все это кончится, какие искушения суждены еще бедному потомку воронежского скорняка и какими путями приведет его судьба на общую сборную точку бедовиков и

баловней своих, в этот знаменитый ларец Фамусова, на свидание... да с кем?»

Так размышлял Лиров на свободе, носился от нечего делать, закусив повода, и смирялся поневоле, как еще один дилижанс прибыл из Петербурга же в Черную Грязь... Глядя на расторопного кондуктора, который званием и мундирным сюртуком своим рождал неприятные для Евсея воспоминания, он услышал, что тот осведомлялся, когда прошел дилижанс № 7 и не было ли там Лирова? Этот встал, подошел и к неизъяснимой радости своей получил записку от Корнея Власова. Горюнов писал чужою рукою, потому что был безграмотен, вот что:

«Ваше благородие, Евсей Стахеевич! Связались вы, сударь, бог весть с кем, а старика своего и верного слугу покинули на распутье. Обманул он меня, обманет и вас. А на сидейку в Чудове не приняли меня по записке его: говорят, мы его и знать не хотим, а заплатить двадцать пять рублей я не посмел, так отправился за вами пешком, а чемодан и вещи все покинул в Чудове у смотрителя, в чем и взял с него расписку, что не станет требовать за это с вашего благородия ничего, а взял по своей воле, из чести. Так уж побойтесь бога да обождите меня, старика, а мне вас, сударь, не нагнать: и ноги не те, да и спина не служит; либо уж накажите кому-нибудь под Москвой на последней станции, либо оставьте записку, где наша будет фатера. Москва не Малинов, и таких, как мы с вами, сударь, там много. А деньги ваши все целы; несу с собою, чай по них соскучились; да не сказывайте, сударь, никому об деньгах, чтобы меня, старика, какой-нибудь гуртовщик за них не уходил; затем остаюсь вашего благородия — и прочее».

Вот какую весть свежий дилижанс привез Лирову; легче ли стало ему от нее? Что тут было делать и как быть? Чемодан и вещи в Чудове — Корней Горюнов бог весть где, тащится с деньгами пешком, а Евсей Лиров в Черной Грязи, в долгу как в шелку... Искать Корнея — так как бы с ним не разминуться; сидеть тут — долго просидишь, покуда старик отмеряет без малого пятьсот верст; что тут делать? Евсей наконец решался было уже раза два ехать назад искать стари-

ка своего, да за малым дело стало: и часы уже почти проел без хозяйки и казначея своего, а ни ехать, ни даже пешком — не с чем. Так просидел Евсей еще три дня; три дня в таком положении стоят иных трех лет; не ручаюсь, чтобы Евсей, при всей беспечности своей и уносчивости воображения, не поседел на двадцать восьмом году от роду, если просидит тут еще с неделю.

Но где нужда, тут и помощь; и удивляться этому, как делают многие, вовсе не из чего, потому что без нужды не может быть и помощи. Из Москвы ехал один из благородных, доблестных по сердцу бояр наших в Питер; ехал с семьею и нанял целый дилижанс. Прибыв в Черную Грязь, узнал он через сострадательного смотрителя о положении Лирова, выспросил его в подробности, пожалел и сжалился над ним от души, хотя в то же время не мог удержаться и от смеху, за что, впрочем, добрый Евсей вовсе не гневался. Затем боярин выручил бедовика нашего из тисков: уплатив незначительные должишки его, предложил он ему место в дилижансе своем, и Евсей тем охотнее воспользовался снисходительным предложением, что почтенное семейство ехало медленно, со всеми путевыми удобствами, постоянно останавливаясь для ночлегов; поэтому опасность объехать Власова и разминуться с ним значительно уменьшалась. Лирову указали было место в самой карете, рядом с воспитательницею, или так называемою гувернанткою; но он испросил позволения сесть на порожнее открытое место впереди, потому что ему отсюда гораздо половчей было окидывать глазом всю дорогу впереди и стеречь своего дядьку. Лиров был весел, доволен и совершенно счастлив. Благодарное сердце его таяло в беспредельной признательности к этому благородному семейству, которое, удостоив Лирова однажды своего покровительства, обходилось с ним уже как с родным и почти успело его уверить, что одолжение тут было на его стороне, а не на их.

На одном из перегонов, неподалеку Вышнего Волочка, рано утром Евсей Стахеевич, как делал это уже во весь путь, не спускал глаз с бесконечной, по шнуру отбитой дороги, как вдруг закричал таким диким голосом, что все спутники и спутницы его вздрогнули. Ди-

лижанс остановился, и — Корней Горюнов стоял, сняв шапку, и глядел недоверчиво на рыдван; потом вдруг смуглая, старая, поношенного товара рожа его прояснилась красным солнышком, и он, узнав барина своего, не мог надивиться, нарадоваться, наговориться. Лиров хотел было тут же вылезть и откланяться, заговаривая несвязно о вечной благодарности, но его попросили сесть теперь в карету, а старика усадили на передок. Горюнов так радовался неожиданной развязке этой, что забыл все прошлое горе свое, забыл, сколько бедовал и горевал на пути своем, и, сидя рядом с проводником, рассказывал ему уже, как он, бывало, в полку, когда молодые ребята, измаявшись на тяжком переходе, начнут отставать, брал по ружью на каждое плечо, по ранцу на грудь и на спину и с присвистом пускался вперед по дороге вприсядку.

— Вот,— говорит Корней,— каков я был; послужил я в свое время богу и великому государю; бывало, кто отстанет ли, нет ли от рядового Первой мушкатерской роты Корнея Горюнова, а Корней Горюнов уже от других не отстанет. Теперь не то: одолела поясница.

Воспитательница, с которою сидел теперь Лиров, была, к удивлению его, русская, женщина умная и образованная, бывшая воспитанница одного из благодетельных казенных заведений наших. Кто бы тогда подумал, что маловажное обстоятельство это, то есть что Лирова посадили в карету, и именно на это самое место, независимо от спутников и милой соседки его, будет для него собственно так важно и богато последствиями?

Вельможа дорогою познакомился с Лировым поближе, спознался с ним и, узнав нужды, виды и желания его, обещал ему в самых скромных выражениях свою помощь. Лиров возносился уже на седьмое небо, с совершенною доверенностью к новому счастью своему, когда случилось вот что.

Доехав еще засветло до рокового Чудова, где Лиров принял в целости все вещи свои и, несмотря на расписку, представленную Власовым, отблагодарил услужливого смотрителя тороватым полтинником, покровитель Лирова решился ехать далее, потому что погода была очень хороша и ночь светла; а как прошло уже от известного нам похождения в Чудове две недели, то луна была на прибыли. Поехали. Евсей, колы-

хаемый зыбкими пружинами колымаги и упоительными грезами услужливого воображения, заснул на полпути до Померанья, спал сладко, натешился и упился досыта какими-то удивительными и небывалыми снами и вошел в Померанье в гостиницу с намерением опохмелиться, как русский человек, после этой неумеренной, разгульной пирушки. Выпив полбутылки меду, Евсей воротился впотьмах с какою-то самодовольной улыбкой благополучия на устах и, почти не разводя обремененных блаженными грезами век, полез опять в дилижанс на свое заветное местечко, приклонил головушку на правую сторонушку, и как ему показалось, что спутница, отделенная от него только на ширину сиденья переборкою, почивала, то он, продолжая жмуриться и щуриться, сидел тише воды, ниже травы. Дилижанс скоро покатил, и Евсей, который никогда еще не был так близок к конечному исполнению своих надежд и желаний, мечтал и уносился бог весть куда, когда, послышав вдруг людской говор и лай собак, раскрыл глаза и увидел, или, лучше сказать, ничего не увидел, потому что молодая луна уже закатилась и он сидел в непроницаемых потьмах. Но вслед за тем блеснула какая-то зарница и мелькнуло видение, от которого Евсей, в сладостном изнеможении не смея пошевелиться, сидел или почти лежал, как разбитый параличом. С полминуты спустя — еще раз то же: его обдало зарницей; Евсей быстро раскрыл глаза и успел еще уловить мельком, на лету, то же самое неизъяснимо милое видение, которого и самый след исчезал скорее молнии.

Перед сомкнувшимися очами Лирова играли во мраке какие-то вьюны и змейки из едва видимых точек; бахромчатые кисти распускались багровым маком и изумрудными махровыми цветками, между тем как Евсей, не смея дохнуть, старался сообразить; что такое с ним сталось? С полгодины сидел он как дряхлый старик, с онемелыми членами; наконец опомнился, приподнялся, перевел дух тихо и протяжно, глядел во все глаза и во все стороны — и ничего не видел, ничего не понимал. Все это ему казалось так странно, так непонятно, что он долго еще сидел с открытыми глазами, прислушиваясь к однообразному стуку колес и крику ямщика. Заметив, что соседка его не спит, решился он сказать ей что-нибудь и с тем вместе убе-

диться, жив ли он еще или по крайней мере не спит ли и сам и не видел ли то, что видел, во сне?

— Так вы, сударыня, воспитывались в Смольном? — спросил он голосом провинившегося школьника, и, кроме того, очень кстати.

— Нет-с, в Патриотическом институте,— отвечал робкий, но послушный голосок.

Лиров приподнял брови и уши почти на самую макушку, глядел на невидимку во все глаза и опешил вовсе. Голос чужой и незнакомый и вовсе не тот, которым говорила обыкновенно милая его соседка, воспитанная, как он давно уже знал наизусть, в Смольном. Бедный Евсей сидел в этом положении несколько минут и наконец опять решился спросить:

— И давно вы уже оставили это заведение?

— Шестого числа будет семь месяцев,— отвечал тот же несмелый и покорный голосок.

Евсей опустил руки, поднял вверх голову, прислонился к заспинке и в этом положении сидел, уже решительно не смея дохнуть, до самого Чудова, где над ним совершалось уже второе чудо. Какое же второе? — спросите вы. Да разве это не чудо, что, выехав из Чудова, он опять воротился в Чудово? Дилижанс остановился, подали фонари, и Лиров увидел, к величайшему изумлению своему, что двери рядом с ним растворились и что вышел оттуда — тот же самый мужчина со звездой, который с лишком за две недели на этом же самом месте насмешливо спрашивал спутниц своих: «Не попросить ли этого товарища в карету?» Так часто мы пророчим на свою голову, так часто сбывается неожиданное, неправдоподобное; невозможное вчера, а сегодня сбыточное и вероятное! Думал ли человек со звездой, что через две недели этот неказистый чудак в изношенном сюртуке своем действительно будет сидеть в одном с ним дилижансе, который был взят им весь и, следовательно, принадлежал ему, звездоносцу, исключительно? Думал ли это и сам Евсей? И наконец, думал ли он же, когда сидел в Малинове и водил нерешительно пальцем по карте между Москвою и Петербургом, что ему суждено будет скитаться на самом деле, и не пальцем только, а всею особою своею, несколько недель сряду туда и сюда и наконец не побывать ни в Москве, ни в Петербурге?

Глава VIII

Евсей Стахеевич поехал в Москву

Увидев человека со звездой и вовсе незнакомого кондуктора, который высаживал этого большого барина под руки, услышав еще, как звездоносец, оборотясь к дверям, откуда вылез, сказал, взглянув на часы: «Мы с рассветом будем в Спасской Полести»,— Евсей прижался в угол, с нетерпением выждал только, чтобы кавалер звезды и проводник отошли подальше от кареты, отворил сам дверцы свои, выскочил и отбежал, не оглядываясь, шагов на сто; потом остановился он и начал опять медленно подходить, как посторонний человек, который любопытствует посмотреть на новоприезжих. Евсей вглядывался и всматривался, сколько темнота ночи позволяла, в дилижанс, в окружающих его людей, в почтовый дом, в кондуктора, в смотрителя и убедился наконец, что опять стоял в Чудове; дилижанс, в котором он приехал, отправлялся в Москву; женщины не выходили, но ведь он видел сам — во сне или наяву? — видел два раза мельком ту же ангельскую головку, которая озадачила его уже раз здесь же, в Чудове, и потом опять являлась ему в грезах, за киотами, в покоях разных степеней его служения; мужчина же был явно тот самый, который, проезжая Чудово недели две тому с лишком, повстречал здесь Лирова и обошелся с ним так по-господски — и еще, помните? похитил в глазах его эту ангельскую головку, закинутую немного назад, когда разглядывала она луну на ущербе, а Лиров в то же время расположился еще, как противень или дружка, рядом с верстовым столбом. Успел ли, нет ли наш бедный Евсей доследиться до горестного для него заключения, что он сел в Померанье не в свои сани, во встречный дилижанс, на случайно порожнее место, которое с левой стороны, то есть то же самое, которое досталось ему по отводу в дилижансе московского покровителя его; не успел он, говорю я, сообразить все это, как кавалер звезды сел уже снова в карету, и она покатилась на Спасскую Полесть. Тогда только, и то исподволь, густой туман в голосе Стахеевича стал понемногу проясняться. Бедовик наш, догадавшись, в чем дело, счел уже почти излишним удивляться этому довольно странному при-

ключению, убедившись только еще положительнее, что норовистая судьба также нашла дорогу из Малинова до московской дороги, на которой теперь снова так жестоко и неотвязчиво преследовала свою игрушку.

«Что я стану делать, создатель мой? — подумал Евсей, сложив руки, повесив голову и стоя впотьмах на распутье.— Что я стану делать? Здесь, в Чудове, мне нельзя и показаться: подумают, что я рехнулся; да притом зачем и к чему показываться? Что мне здесь делать, чего искать тут? А что между тем подумает благодетель мой и как разгадает, куда я девался? И что теперь делает мой Власов и где он? Ну что, если его увезли в Питер, а я опять остался с двумя двугривенными, из которых, может быть, один даже пятиалтынный?»

Так бродило долго в голове Лирова; десять раз подходил он украдкою к почтовому дому и глядел на сальный огарок в окно; наконец рассудил однако же, что не сидеть же в Чудове в ожидании третьего чуда, поглядел вокруг, вздохнул и отправился по образу пешего хождения вперед, в Померанье.

Он шел, заложив руки в карманы, повесив голову, потупив очи, потому что смотреть впотьмах было не на что, думал и наконец стал вовсе в тупик; остановившись, поднял он голову, начал припоминать видение свое, и дрожь пробежала по всем хребтовым позвонкам его, как неразумные пальцы какого-нибудь малоумного по костяным клавишам фортепьяно. Евсей помотал головой, пожал плечами и пошел вперед. Теперь только ему пришло в голову, что он мог бы по крайней мере справиться у проводника, кто таков этот загадочный сановитый кавалер звезды и какие с ним едут барыни, а следовательно, и узнать... Но глубокий и трепетный вздох остановил дерзкую думу эту, и Евсей опять уже был готов сойти с ума при одной мысли о неизъяснимом видении своем.

А видение это явилось так просто, так естественно, как делается все на свете; и Лиров так же точно плутал, как люди обыкновенно делают при подобных случаях. В дилижансе, изволите ли видеть, против каждого места приделано зеркало; проезжая в темную ночь селение, свет из окна избы иногда ударяет прямо в зеркало против вас: тогда обдает вас зарницей, и если вы вовремя взглянете в зеркало и приняли

притом надлежащее положение, то можете увидеть призрак вашего соседа, отделенного от вас только полупереборкой; а если сосед этот или соседка бесконечно мила и дремлет, закинув головку на подушку и разметав кудри свои, то все это явится вам и в видении, которое промелькнет только молнией и исчезнет. Если вам случится ехать в таком зеркальном дилижансе, то можете испытать все это на деле. Итак, Евсей сидел рядом с существенностью этого видения; просидел рядом в темную ночь и глаз на глаз часа три и успел только узнать, что она институтка и что шестого числа будет семь месяцев, как она увидела свет — не в том смысле, как говорится это о новорожденном, не лучи солнечные, а мир, то есть не тишину и спокойствие, а, напротив, суету светской жизни, пыль, дым и чад. Да, всего этого не знала и не ведала она, когда сидела неоперившимся птенцом, в пушку, под заботливым крылышком своей доброй *maman* в Патриотическом институте на Васильевском острове, против Морского кадетского корпуса, где прозябали и мы когда-то давно,— а русская пословица старого поминать не велит. Итак, Лиров только это и узнал и в продолжение таинственной поездки своей больше ничем не воспользовался.

Между тем Евсей все шел да шел и все думал — и наконец сказал вслух:

— И возможно ли, сбыточное ли это дело, чтобы я просидел с нею рядом целую ночь и догадался и узнал об этом уже тогда, как тащусь голодный, и усталый, и измученный целый перегон пешком и с каждым шагом вдвойне от нее удаляюсь! Неужели все это истина и я не сплю, не во сне, не в бреду и не сошел с ума? Или весь свет оборотился вверх дном и обрушился на меня, бедовика?— Это проговорил он вслух, да некому было подслушать его: все вокруг мертво, темно и тихо!

Да, Евсей Стахеевич, если бы вы подстерегали, что теперь говорит верный слуга и сподвижник ваш Корней Власов, так вы бы опять присказку его применили к себе, как намедни, когда он, ломая из себя кирасира, подбоченился и кричал презрительно: «Не пылить, пехота, не пылить!»

А Корней Власович, сидя в раздумье в Померанье и рассуждая о том, что он потерял барина своего и

что не надо было пускать его ни на шаг, ни на пядь от кареты, что так всегда русский человек бывает крепок задним умом, прибавил еще к этому вот что: мужик видел во сне горячий кисель, да не случилось ложки, нечем было похлебать; на другую ночь мужик догадался, лег спать да взял с собою ложку, так уже не видал киселя. И вот эту-то присказку Евсей Стахеевич применил бы теперь, может статься, к себе, если бы ее услышал. Но присказка говорилась с вечера, а Лиров пришел уже в Померанье, выбившись почти вовсе из сил, часу в десятом утра; смотрит, у подъезда, где всегда становятся дилижансы, все пусто, ни колеса, ни полоза; один только Корней Горюнов сидит, подгорюнясь, на крыльце почтового дома и вздыхает тяжело и глубоко, будто везет на себе воз сена, и охает и крестится, поминая без вести пропавшего барина своего, с которым, то есть с пропавшим, не знал, как быть и что делать.

Лиров узнал, что дилижанс ушел уже с рассветом; боярин, принявший такое родное участие в судьбе Евсея, очень по нем заботился и беспокоился, прождал до рассвету, рассылал верховых во все стороны, но наконец, рассудив, что человек в своем уме не может же провалиться сквозь землю, и выслушав рассказ Власова, что барин его и намедни выкинул было такую же штуку, отправившись ни с того ни с сего пешком в Грузино,— сказал: «С таким чудаком, а может быть, и полоумным, мудрено будет справиться, да и ждать его мне, право, недосуг»,— и затем уехал. Корней Горюнов, теряясь в догадках, рассказал, правда, для примера быль, что у них в полку солдат пропал было без вести, да отыскали его в передней на лавке, где он был завален с ног до головы шинелями; он был хмелен, говорит Власов, да прилег, его впотьмах и завалили; но пример этот не слишком утешил нашего боярина, который думал еще, может быть, видеть в этом намек на незнакомую ему доселе слабость Лирова. Вот как наш Власов поправляется из кулька в рогожку и вот что называется по-русски: простота хуже воровства.

Лирову стало так совестно перед благородным человеком, которому был столько обязан, так совестно, что он уже никак не мог решиться ехать за ним вслед в Петербург; Евсею казалось, что происшествие это

должно было, как блаженныя памяти во граде Малинове, наделать в столице столько шуму и тревоги, что его, Лирова, верно ожидают уже у Московской, в Петербурге, заставы и от самой заставы этой по всем улицам и переулкам будут встречать и провожать любопытные с намешливой улыбкой и поклонами. Сверх этого, как показаться на глаза благодетелю своему и опять как, будучи в Питере, не показаться? Словом, он из этой ловушки не видел лазейки и, несмотря на волчий голод свой, принялся за поданный ему завтрак в самом отчаянном расположении духа. Смотритель, как человек опытный, наглядевшийся на проезжих всякого покроя, тотчас угадал, что этот не погнушается вступить с ним в беседу; подсел, начал мотать разговор на свой лад и, рассказавши, что прослужил в незапамятные времена девять лет вахмистром, что был потом в Москве квартальным поручиком, поймал в 1812 году семь возов миродеров, то есть мародеров, с семью возами клади, что за это не поровну досталось, а кому чин, кому блин, а ему, квартальному поручику, клин; что он, не клин то есть, а квартальный, был во всех сражениях и в разных командировках, не раз жизнь терял и прочее и прочее,— нашатнулся случайно опять на беду бедовую Евсея Стахеевича и никак не мог понять, каким образом это могло приключиться такое происхождение,— и в десятый раз стал допытываться: «По знакомству ли Евсей Стахеевич пересел в другой дилижанс или от погрешности?» И Лирову теперь только вошло в голову спросить смотрителя, не знает ли он, кто таковы были проезжие, к которым бедный Евсей подсел незваным гостем.

— Кому же знать, коли не нам,— отвечал смотритель самодовольно.— Генерал этот высокородный, по-нашему, по-старинному, бригадир, а по фамилии прозывается он господин Оборотнев. Уж он вот на одном месяце другой раз взад и вперед проехал, видно по делам каким; а он, говорят, опекуном у барынь этих, да никак еще и жених, как сказывал намедни человек его, так с ними вот все и ездит.

Долго мялся и таился Евсей, но наконец, раздумав и рассудив основательно, что чин и прозвание опекуна и жениха никак не могут вести к заключению о звании и прозвании опекаемых, то есть находящихся у него под опекою, решился, да, решился налить полный

стакан квасу, поднести его вплоть ко рту, спросить скороговоркою, упершись глазами в стакан: «А кто таковы барыни эти, вы, чай, не знаете?» — и вслед за этим осушить бычком, без расстановки, весь стакан. Когда же смотритель объявил с прежним самодовольствием, что это была помещица Голубцова с дочерьми,— то я уже то неожиданное обстоятельство, что стакан не выкатился из рук Лирова и не расшиб стоявшей под ним тарелки, приписываю тому, что преследующая Лирова злая судьба едва ли не натешилась над бедовиком нашим досыта и едва ли не хочет уже ныне исподволь над ним смиловаться. В самом деле, удивление Лирова, изумление, испуг и поражение его были свыше всякого описания; Евсей так быстро изменился в лице, что даже и смотритель привстал со стула своего и не договорил последнего слова. Лиров повторил тот же вопрос, едва не заставил старика смотрителя присягнуть, не только побожиться, дал ему за неожиданную и, по-видимому, добрую весть целковый; потом походил взад и вперед по комнате, схватил с карниза печки лучинку, остановился, разглядел ее пристально, будто еще колебался, как с нею быть; лицо его загорелось; в нем сильно выразился переход к какой-то геройской решимости: быстрым и сильным движением рук Евсей переломил заветную лучинку надвое, развел концы, поглядел на них, кинул и вдруг объявил с твердостью, которая совсем к нему не шла, что он едет назад, в Москву. Вслед за тем начал он торопить смотрителя, преследуя его шаг за шагом, пуще всякого фельдъегеря. Смотритель, повторяя на ходу: «Сейчас, сейчас», поглядывал искоса на Лирова, как глядят на человека, у которого на вышке обстоит неблагополучно или по крайней мере сомнительно, а красноречиво могучее: «Пустяки, сударь», которым Корней Горюнов хотел угомонить и озадачить барина своего, ударило как горох в стену и не удостоилось даже ответа. Это, в свою очередь, озадачило и сбило с толку Власова; получив повторительное приказание укладываться, он уже не нашелся, особенно когда серые вопросительные глаза его встретились с положительным ответом темно-карих очей Лирова. Власов, вздохнув, вышел укладывать амуницию барина в повозку и ворчал при этом вслух:

— Вяжи да путай, верти да кутай, мотай да плу-

тай — авось до чего-нибудь доездимся. Пожалуй! Мне все равно: я не пропаду, завези меня куда хочешь; да уж пешком не пойду его искать в другой раз по белому свету, хоть тони, хоть гори!— И в сердцах выкинул порожнюю бутылку от килиановской примочки, чего бы в полном и здравом уме своем, конечно, никогда не сделал. Видно, оба они повихнулись: и хвост и голова, и барин и слуга, или оба добились до ума.

Телегу подали, Евсей сел, поскакал и гнал и в хвост и в голову.

Глава IX

Евсей Стахеевич до чего-нибудь доездился

Поведение Лирова перед отъездом его из Померанья в самом деле было очень странно. Что какаянибудь нечаянная и неожиданная весть его изумила, что он, опомнившись и сообразившись, вдруг решился ехать назад и догонять во что бы ни стало дилижанс, из которого сам накануне выскочил и бежал как от огня,— все это еще понять и объяснить кой-как можно; хотя при всем том весьма сомнительно, чтобы он догнал на шестистах верстах дилижанс, который ушел уже верст за сотню вперед; но что значит гаданье это или ворожба на лучинке, и можно ли было предполагать в Лирове, с которым мы ознакомились уже довольно коротко, такое ребячество или суеверие? Но об этом после; поспешим теперь за Лировым: он скачет сломя голову, и если мы от него отстанем, то, может быть, нам так же трудно будет догнать его, как и ему теперь ушедший от него таинственный дилижанс.

Корней Горюнов молчал или ворчал про себя и дал барину своему уходиться, проскакав с ним во всю ивановскую без одной двадцать станций, то есть до самого Клина, и дивился только и смотрел, откуда взялась рысь! Прежде, бывало, коли Власов не придет доложить, что лошади готовы, так барин просидел бы да продумал бы, пожалуй, хоть до вечера; а теперь — и мечется, и суетится, и упрашивает, и бранится, да еще и сорит деньгами; что это за диво? Этак, пожалуй, проскакать можно еще раз пяток от Клина до Померанья, коли хватит единовременного жалованья, да что ж в этом будет проку? На каждой станции

Власов собирался требовать в этом ответ и отчет у барина своего; но этот был всегда так неусидчив и недосужен, что ни разу не дослушал и половины предисловия Власова, когда этот подходил, прокашлявшись, и начинал: «Евсей Стахеевич! Служил я верой и правдой царю государю своему двадцать пять лет...» или: «У нас, сударь, в полку был...» и прочее. Поэтому Власов заглянул еще раз в бумажник и в кошелек, решился и положил, что барину его Клин клином пришелся, чтобы тут кончить и развязать дело во что бы то ни стало. А потому, когда Евсей лег потянуть разбитые хрящи и кости свои на столь знакомый всем проезжим кожаный диван, на котором днем можно еще лежать довольно безопасно, то Власов, проворчав предисловие свое на дворе и на крыльце, вошел и начал прямо с дела так:

— А что, сударь, Евсей Стахеевич, долго мы будем еще этак ловить черта за хвост, гоняться без толку промеж Питера и Москвы, словно нас кто с тылу жегалом ожег?

Лиров. Недолго. Поди спроси, давно ли проехал дилижанс с Оборотневым.

Власов. Чего, сударь, спрашивать, помилуйте, да он давно в Москве, и ямщики все говорят и смотритель говорит, что давно в Москве. Власть ваша, Евсей Стахеевич, а это, сударь, пустяки, ей-богу пустяки!

Лиров. Не ворчи же, старый хрыч, ты мне надоел; вот тебе полтинник, поди выпей да ляг в телегу и спи.

Власов. Не видал я, сударь, вашего полтинника! Да я, сударь, украду его у чужого человека, а от вас не возьму даром; полтинник! Да вы, сударь, уж семнадцать рублев с полтиной моих проездили, так что мне полтинник ваш!

Лиров. Как — твоих проездил!

Власов. Да так, сударь, проездили, да и только. Я еще в Твери докладывал вам, что деньги все, а вы знай молчите; что ж я стану делать? Тут дело дорожное, помечать негде, а уж я их не украл, мне вашего не надо. Тут, вы думаете, по-нашему? Нет, сударь, двугривенный за миску щей, а щи хоть портянки полощи, да еще и хлеба не дает, собака, и никому даже не уважает!

Лиров. Как все, братец? Неужто — не деньги — мелочь, а что было в бумажнике — неужто они все?

Власов. Да вот он, сударь, бумажник: извольте считать, много ли найдете! У меня своих никак рублев со сто шестьдесят наберется — и будем ездить, поколе до чего-нибудь не доездимся; ваша власть.

«Кой черт, моя власть»,— подумал Лиров, вскочил с дивана и принялся ходить по комнате. Да, подлинно, в Клине ему свет клином сошелся, в Черной Грязи посидел он в грязи; одно только Чудово озарило его чудом, да и то не знает еще, чем оно кончится и куда потянет, не то опять в грязь, не то на чистую воду,— а Евсей, чай, боится и того и другого.

Евсей наш думал, думал — и ничего не выдумал. «Теперь уже все равно,— рассудил он наконец,— торопиться некуда, уж я их не нагоню; переночую, подумаю — а видно, нечего больше делать, как пуститься искать их по Москве. Искать! А где искать? И чем доехать и чем там прожить?» Стало смеркаться. Евсей не смел спросить и чаю, а велел подать стакан воды. Власов поставил его на окно и вышел, а барин его, походивши, хотел выпить воду эту, да хлебнул фонарного масла и чуть не подавился поплавком ночника, который был устроен в стакане же и стоял на окне рядом со стаканом воды. Евсей выплюнул, запил водою и пошел на крыльцо; а здесь одна из почтовых красавиц, поигрывая, как кошка в сумерки, лукнула поперек крыльца в ямщиков метлой, и бедный Евсей, подвернувшись, не успел даже закрыться от нее рукой. Изо всего этого Евсей заключил, что недобрый, который обошел его, видно, при самом рождении, все еще его не покинул и что надобно, собравшись с духом, выжидать конца, утешаясь поговоркою наших калмыков, которые говорят в таком случае только: «Что делать, она его так не будишь, она его как-нибудь да будишь». Евсей знал по опыту, что всякая большая беда сказывалась ему наперед бездельными досадами и неприятностями и, наоборот, всякое несчастье отзывалось еще несколько времени докучливыми мелочными перекорами; поэтому он и был уверен, что все это делается теперь или на новую беду, или в помин старой, которая выпроводила его в недобрый час на московскую большую дорогу, протаскала взад и вперед, туда и сюда и наконец отвела самый бестолковый ночлег в Клине, заставив издержать преждевременно все поскребыши своей казны. А если

бы Евсею теперь вздумалось сделать заем, то, верно, пришлось бы, по примеру Испании, обеспечить заем залогом и платить еще сорок девять со ста.

Перед светом прибыла на станцию из Москвы коляска с каким-то камер-юнкером, и Евсей, проснувшись от возни и стуку, узнал в прислуге проезжего приятеля и сослуживца своего, отставного писца, а ныне отставленного кондуктора дилижансов Иванова. Лиров притворился спящим, но этим не отделался; Иванов облобызал его сонного, подсел и заговорил до смерти. Не станем повторять вслед за ним всех пошлостей, уверений в любви и дружбе, обещаний ходатайства в обеих столицах, а наконец, и простодушного предложения, не угодно ли выкупить теперь плащ свой,— а перейдем к главному: Иванов истязал и мучил бедного Евсея до того, что этот, сколько ни отмалчивался, как ни отнекивался, а наконец высказал ему таки, что едет в Москву отыскивать Голубцову.

— Голубцову? — спросил Иванов.— Помилуй, братец, да она уже бог весть где: она теперь уже в Крыму.

Лиров за словом отворотился от приятеля своего и замолчал, но тот преследовал его сыщиком, цеплялся за него репейником, увивался около него вьюном.

— Да как ее зовут, Голубцову твою? — спросил он наконец, повторил вопрос свой сто раз, не отвязывался, не отставал, так что Евсею уже ничего не оставалось, как отвечать, что ее зовут Марьей Ивановной.

— Ну, так и есть: чему же ты дивишься тут, я не понимаю,— продолжал Иванов,— коли я тебе говорю наверное, что Марья Ивановна Голубцова уехала с дочерьми своими в Крым?

— Да помилуй, братец, она только что приехала из Петербурга, может быть вчера, не прежде!

— Ну да, знаю, и прямо проехала в Крым. Чему же тут дивиться? Да коли не веришь и коли обстоятельство это для тебя важной относительности, так спроси поди вот у моего камер-юнкера, с которым я поехал по пути; он знает ее и знает, что она уехала в Крым.

Обстоятельство это было для Лирова точно важной относительности, говоря языком Иванова; и Евсей решился узнать лично от камер-юнкера, не врет ли попутчик его.

— Какая Голубцова? — спросил тот.— Я, сколько помню, не знаю и не знавал ни одной.

Иванов подскочил, сорвал с головы кожаный картуз свой и пояснил:

— Та самая, ваше благородие, что еще на фоминой неделе приезжала просить, чтобы выхлопотать наскоро отпуск племяннику, который служил у Ивана Петровича,— изволите припомнить, в черном платье,— я на ту пору случился у вашего высокородия с извещением об отбытии дилижанса.

— А, помню,— сказал камер-юнкер,— да я только не знал, как ее зовут. Да, она и просила об отпуске племянника в Крым. Помню.

«Коли так,— подумал Лиров, отступая почтительно и повиснув карманом своим на дверной ручке или на ключе,— коли так, то, видно, я до чего-нибудь доездился, как пророчил мне Власов». И, насилу распутав карман свой, насмешил камер-юнкера и пошел себе опять думать. Ему и в голову не пришло спросить камер-юнкера, когда именно женщина в черном платье уехала с племянником своим в Крым; Евсей услышал бы, что этому уже три или четыре недели, а следовательно, Иванов врет начисто; но Евсея весть эта так озадачила, что он пошел ходить и думать обо всем на свете, только не о деле. «Судьба,— подумал он,— это одно пустое слово. Что такое судьба? В зверинце этом, на земле, все предварительно устроено и приспособлено для содержания нашего; потом мы пущены туда, и всякий бредет куда глаза глядят, и всякий городит и пригораживает свои избы, палаты, чердаки и землянки, капканы, ловушки, верши и учуги, роет ямки, плетет плетни, где кому и как вздумается. Кто куда забредет, тот туда и попадет. Мир наш — часы, мельница, пожалуй паровая машина, которая пущена в ход и идет себе своим чередом, своим порядком, не думает, не гадает, не соображает, не относит действий своих к людям и животным, а делает свое, хоть попадайся ей под колесы и полозья, хоть нет; а кто сдуру подскочил под коромысло, того тяп по голове, и дух вон. Коромысло этому не виновато, у него ни ума, ни глаз; оно ходило и ходит взад и вперед, прежде и после, и ему нет нужды ни до живых, ни до убитого. Не для меня определяла контора дилижансов выжимки эти, Иванова, в проводники; не для

меня его и протурила, чтобы он встретился опять со мною в службе камер-юнкера; не для меня Оборотнев оставил порожнее место в дилижансе своем, а я его занял сам; я влез в галиматью эту, проторил себе туда колею, и покуда не выбьюсь из нее, не кинусь в сторону, вся беда эта будет ходить по мне; отойди я — и все это пойдет тем же чередом и порядочком, да только не по моей голове. Поэтому судьба — пустое слово; моя свободная воля идти туда, сюда, куда хочу, и соображать, и оглядываться, чтобы не подставлять затылка коромыслу».

«А если и коромысло и вся махина — невидимка,— подумал про себя Лиров,— так что мне тогда в свободной воле моей и в хваленом разуме, коли у меня звезды-путеводительницы нет и я иду наугад? А если сверх этого, при всем посильном старании и отчаянном рвении моем, куда бы я ни кинулся, всегда попадаю на шестерню, на маховое колесо, под рычаг, на запоры и затворы или волчьи ямы? Тогда что, тогда как прикажете назвать причину неудач моих и плачевной моей доли?»

«Я просто бедовик; толкуй всяк слово это как хочет и может, а я его понимаю. И как не понимать, коли оно изобретено мною и, по-видимому, для меня? Да, этим словом, могу сказать, обогатил я русский язык, истолковав на деле и самое значение его!»

Евсей все думал и все-таки опять не мог понять, как он просидел ночь напролет рядом с головкой в киоте, в одной карете с Марьей Ивановной, и — и — и только. Но головка эта не давала ему покою: забывшись, он несколько раз обмахивался рукой и наконец проговорил в совершенном отчаянии: «Да отвяжись, несносная!» Но она, видно, отбилась вовсе от рук и не думала слушаться его, и Лиров прибегнул к крайнему в таких случаях, у него по крайней мере, средству. Он принялся записывать какие-то отметки на лоскутке; потом встал, вышел, завернул в бумажку эту камешек и закинул как можно дальше через тын. Хорошо, что никто проделки этой не видал: камешек угодил в окно соседней избы и расшиб его вдребезги. Когда стекло брякнуло, то Лиров, при всей честности своей, ушел без оглядки в комнату, потому что ему и заплатить за окно было теперь нечем.

Надобно пояснить эту загадочную проделку: она, извольте видеть, принадлежала к одному разряду с ворожбою на лучине. Если Лиров хотел окончательно и положительно решиться на важное для него дело, если он хотел, чтобы дело это было кончено и решено без всяких оглядок, решительно и положительно, то он брал прутик, лучинку, щепку и, вообразив себе, что перед ним в виде лучинки этой лежит нерешенное дело, вдруг с усильным напряжением ломал ее или, еще лучше, рубил ее пополам; тогда, глядя на обломки или обрубки, он убеждал самого себя, что изменить решения уже невозможно, переделать дела нельзя, так же точно как никоим образом нельзя уже обратить в первобытное состояние расколотую щепку. Прибегнув к этому крайнему средству, Евсей уже был непоколебим, и даже многосильное «пустяки, сударь» Корнея Горюнова произносилось безуспешно. Если же у Лирова что-нибудь лежало слишком тяжело на сердце, удручало и мучило его, не давало ему покою, тогда он писал беду и горе свое загадочными словами на лоскутке бумажки и, собравшись с духом, напрягая воображение свое самым усильным образом, бросал бумажку в огонь или закидывал так, чтобы ее уже более не видать. Это, по основанному на опыте убеждению, помогало; Евсей воображал, что скинул ношу свою с плеч, что закинул ее и уничтожил. Что же, наконец, до разбитого окна, то это уже обстоятельство случайное, не входящее вовсе в предначертание кабалистики Лирова.

Камень с запиской наделал, однако же, в избенке много тревоги, даже независимо от разбитого окна; смотрителю принесли бумажку и просили прочитать; этот с величайшим трудом разобрал: «Головка твоя с плеч моих, аминь»; потом еще несколько таинственных знаков — и только. Бабы побежали за каким-то знахарем, который отчитывал порчу, потому что в этом только смысле могли понять содержание записки. Легко вообразить, в каком страхе сидел, и вертелся, и прохаживался бедняк Евсей, покуда все это кончилось и успокоилось и никто его не видал и не выдал — не заподозрил и не подозревал. Итак, Евсей попал в кудесники; недаром по крайней мере он поворожил!

Глава X

Евсей Стахеевич в ожидании будущих благ сидит на одном месте

«У татарина, что у собаки,— души нет, а один только пар»,— говорил Корней Горюнов, рассуждая с кем-то, и Евсей, пустившийся, как мы видели, от нечего делать в размышления и рассуждения, стал разбирать сам про себя: что такое душа? Он был уже очень близок к окончательному выводу, когда Власов задал ямщикам другую загадку: «Десять плеч, пять голов, а четыре души; десять рук, десять ног, сто пальцев, а ходит лежа, на восьми ногах; пойдет сам-пят, воротится сам-четверт, что за зверь?» Загадка эта мучила и пилила Евсея так, что он на время забыл даже неотвязчивую головку, которую закинул в окно соседа, забыл все, бился и маялся, но не хотел спросить объяснения у Корнея, который сказал бы ему, что это покойник, которого несут вчетвером в могилу. В таком положении мы можем на время оставить Евсея, потому что думы Стахеевича бывают иногда довольно плодовиты, а дожидаться конца их долгонько; итак, отправимся на час места в Малинов. Я, признаться, нарочно заставил Корнея задать барину сперва вопрос душесловный, а потом загадку: читатели увидели из этого, как легко Евсей наш уносился думою своею в любую сторону и как упорно увязывался за всяким предметом, за которым пускалось уносчивое воображение его.

И в самом деле! Что делают между тем малиновцы наши и каково-то они поживают?

Все слава богу; а происшествия были тем временем в Малинове разные — чем богаты, тем и рады.

Во-первых, тот самый коллежский асессор, которого Лиров называл лошадью, отправился намедни куда-то, где продавались оставшиеся после умершего вещи с молотка. У лошади этой была похвальная, но не всегда уместная привычка походя спать; он весьма нередко засыпал, сидя где-нибудь на стуле или прислонившись к стенке, к печи. То же самое случилось и здесь; а когда стукнули в последний раз молотком, продажа кончилась, все начали шаркать, шуметь и расходиться, тогда Иван Фомич проснулся и спросил

поспешно: «А что я выиграл?» Он думал спросонья, что пришел на лотерею.

Во-вторых, в Малинове было подано явочное прошение о бежавшем, где было сказано: «В каковой день означенный Колесников самопроизвольно и неизвестно отлучился, не учиня, впрочем, ничего противозаконного: кроме того, что на нем был поддевок серого сукна, шаровары полосатые да сапоги выворотные». А жировский городничий, вследствие требования губернского статистического комитета, отношением своим уведомлял, что по графе *нравственность* в статистических таблицах сделано надлежащее распоряжение, а именно: «Как оной нравственности в городе не оказалось, то и отнесено к исправнику, не окажется ли таковой в уезде». Отношение городничего было принято комитетом к *сведению*.

В-третьих, с Онуфрием Парфентьевичем, о котором Лиров говорил, что он похож телом и душою на вола, сыграли шутку. У Онуфрия был старый серого сукна сюртук, лет десять знакомый всем жителям Малинова. Сюртук этот по случаю нездоровья Онуфрия Парфентьевича провисел с неделю на вешалке. У Онуфрия был еще, кроме этого, какой-то племянничек, недавно прибывший в Малинов на попечение старика, вольношатающийся из дворян. Этот повеса, воспользовавшись отдыхом сюртука, намочил ему воротник хорошенько водою, посеял крес и поливал его очень прилежно два раза в день. Разумеется, что крес взошел, вырос, и в Малинове рассказывали, будто Онуфрий Парфентьевич сослепу не разглядел этого обстоятельства и явился в присутствие с кресовым воротником.

Затем соображения мои и догадки повивальной бабки нас не обманули: дело относительно известного читателю хлебника или булочника пошло очень удачно, и у Перепетуи Эльпидифоровны был по этому случаю выход, где все поздравляли ее с вожделенным успехом и многие уверяли и божились, что посылают за сухарями всегда к ее только хлебопеку; почтмейстерше также досталось порядком за измятую наколку вице-губернаторши, тем более что торги на поставку вина были уже кончены, а наколка притом вовсе упущена из виду. Заметим мимоходом, что вице-губернаторша все наряды свои выписывала из Петербурга, потому что в Москве господствует какая-то пестрота

и безвкусица. За это вице-губернаторша была решительно первая барыня в Малинове.

Далее, полицеймейстерша действительно разошлась с супругою первого члена межевой конторы; это было на гулянье под Каменной горой: полицеймейстерша пошла в одну сторону, а супруга первого члена — в другую. Более они не встречались, потому что полицеймейстерша наказала строго дочери своей Оленьке, чтобы она быстрыми глазенками своими следила неотступно супругу первого члена во все гулянье, и на другое и на третье воскресенье тоже, и давала бы знать матери, если неприятельница угрожает с которой-нибудь стороны фланговым движением или нападением в тыл. Между тем, однако же, губернаторша, предвидя грозу, сказала шутя полицеймейстеру:

— Смотрите, Иван Осипович, чтобы у вас на гулянье сегодня не вспыхнул пожар.

Иван Осипович, вскочив с места, вытянулся в струнку и спросил не призадумавшись:

— А не прикажете ли, ваше превосходительство, привезти пожарные трубы?— и вследствие ответа рассмеявшейся губернаторши:— О, это, конечно, было бы гораздо безопаснее.

Малиновские пожарные трубы стояли смиренно, поникнув хоботом, на гулянье под Каменной горой и ожидали пожара. Это крайне забавляло и утешало гуляющих; все подходили поочередно смотреть и удостовериться собственными глазами, в самом ли деле Иван Осипович привез в ожидании пожара трубы свои на гулянье; было много хохоту и смеху, и все потешались исправностью своего городничего. Как бы то ни было, а трубы эти действительно предохранили вспышку и взрыв между двумя озлобленными неприятельницами: до обеих дошла стороною весть о назначении пожарной команды; и обе будто условились, кончили, как мы видели, тем, что разошлись в разные стороны. Говорят даже, будто полицеймейстерша прогнала было в город брандмейстера, но Иван Осипович, выезжая из городу верхом, встретил его, воротил и сам в полном параде привел на гулянье. Говорят также, что у Ивана Осиповича пожарная команда в самом деле в отличном состоянии, но что удачное ее употребление обыкновенно бывает, как и на сей раз, дело слепого случая.

Между тем часу в седьмом вечера в воскресенье же на вечернем толчке, на малиновском рынке, толпилось довольно народу; кто покупал, кто только приценялся, кто продавал, а кто просто толкался, потому что вечерний базар, или толчок, этот настоящий, коренной источник всех новостей и слухов, составляет любимое гулянье значительной части малиновского народонаселения. Если, например, губернатор думал ехать по губернии, то на малиновском рынке знали это уже тремя сутками ранее, чем в губернском правлении. Этого мало: на рынке знали иногда такие вещи, которые происходили накануне за пятьсот или тысячу верст; так, например, уверяют положительно, что весть о петербургском наводнении в 1826 году разнеслась по малиновскому толчку, а потом и по целому городу на другой же день ввечеру. Каким образом это делается — объяснить не умею.

Итак, на вечернем толчке в Малинове стояла, словно долбленый резной истукан, торговка, обвешанная с ног до головы всякими проказами. На голове офицерская шляпа, на ней чепец, к нему приколоты с боков ленты, перчатки, косынки, на плечах валеные чулки и носки; в руках канарейка в клетке, изломанные счеты, Антенорово путешествие, вторая часть, а за плечами — знаменитые картины из романа «Павел и Виргиния», четыре времени года, четыре возраста в лицах Малек-Адель; через руки перекинуты платья, истасканные большие платки, до которых малиновские барышни, извините за отступление, большие охотницы, потому что под большим платком не нужно застегивать платья; словом, на торговке этой было все как на украинской ярмарке Грицька Основьяненка, даже охотничья сумка через плечо и в сетке пенковая трубка и старый шандал.

Торговка эта стояла словно чучело и смиренно позволяла каждому прохожему перелистывать и разбирать разнородный товар свой, как подошла к ней пожилая женщина в довольно поношенном шелковом платье, в вишневых атласных башмаках, в простой бумажной большой косынке и в нарядном чепце, на котором широкие и плотные ленты явно изобличали подарок вице-губернаторши: по крайности знаток заметил бы, что ленты были не московские. Женщина эта поздоровалась с торговкой, назвала ее по имени и

отчеству, рассматривала, так, из любопытства, товар ее и расспрашивала о новостях. Судя по продолжительному разговору и по выражению бездушного лица, она забранными вестями и справками осталась довольна. Простившись с торговкой, подняла она неказистую голову свою, начала оглядываться кругом, и, увидав в крытых дрожках Перепетую Эльпидифоровну, которая, собираясь на гулянье, заехала сюда посмотреть, как идет пшеница ее, — женщина в атласных башмаках и в чепце вице-губернаторши стала кивать Мукомоловой приветливо головой, назвала ее по имени, протолкалась к ней, низко поклонилась у приступка дрожек и, нагнувшись над ней, стала что-то рассказывать. Дело показалось Мукомоловой так любопытно, что она пригласила вестовщицу к себе на дрожки, приказала кучеру ехать шагом и во всю дорогу, до самого жилища сопутницы своей, переговаривалась с нею чрезвычайно дельно и прилежно. У низенькой лачужки дрожки остановились; одна вышла, а другая, раскланиваясь с нею, говорила:

— Ну, спасибо вам, спасибо, Афимья Спиридоновна. Да что это вы, право, какие спесивые, никогда не зайдете! Ну хорошо, что я встретила вас теперь; а не попадись я вам, ведь вы бы и не подумали зайти да поделиться новостями, и весь город узнал бы прежде меня. Хоть пришлите, я давно призапасла для вас мерочку пеклеванной муки!—И с тем, приняв поклоны и благодарность записной наушницы и вестовщицы, которая извинялась тем, что всякому-де хочется послушать новостей, не всегда успеешь зайти, куда бы и хотелось,— Мукомолова отправилась на гулянье под Каменную гору.

Запоздав немного, Перепетуя Эльпидифоровна прибыла на место в самое то время, когда губернатор сказал громко, оборотясь к полицеймейстеру:

— Какой вы всегда вздор делаете, Иван Осипович, так уж это, право, ни на что не похоже! Не поверите, как вы надоели мне своею исправностью. Отпустите сейчас домой пожарную команду.

Иван Осипович отвечал:

— Слушаю-с.— Прокомандовал звучно и громко:— Садись, шагом — марш,— и брандмейстер, который состоял у Ивана Осиповича на правах эскадронного командира, отправился обратно в город.

— Видишь ли, что я права,— сказала полицеймейстерша супругу своему,— и что ты всегда вздор делаешь?

Иван Осипович только прокашлялся и сделал движение, будто поправился в седле, хотя шел рядом с супругою своею пешком.

Перепетуя Эльпидифоровна, встретив мужа, погладила его по щеке, взяла под руку и принялась ему рассказывать. Он было захохотал во все горло, не стал верить, но она побожилась, как Корней Власов, три разу сряду, и Мукомолов, перестав смеяться, подобрал брыле, скорчил деловую рожу и пригнул голову набок. Затем супруги разошлись, он пошел к своим, она к своим, и оба начали передавать весть по принадлежности. Может быть, весть эта и долго еще не дошла бы до нас, потому что Перепетуя Эльпидифоровна говорила все только шепотом, каждой барыне поодиночке, часто даже на ухо; но Мукомолов не любил тратить слов и времени по-пустому, он знал одну только тайну и держал ее крепко, а именно: когда, кому и сколько и по каким процентам отдано было им денег. Все остальное говорил он вслух. Встретясь с несколькими мужчинами, проревел он зычным голосом: «Господа, поздравляю! Лиров женится на Мелаше Голубцовой и едет назад в Малинов!» Затем следовало удивление, хохот, споры, подробности, доказательства, опровержения: один верил, другой не верил, третий знал это наперед, и вскоре под Каменной горой ни о чем более не говорили, как о свадьбе Лирова с Мелашей Голубцовой. Всякий судил, рядил, поздравлял, утешал и утешался, кто как мог и умел.

Здесь остается еще пояснить, какое лицо или существо была женщина в атласных башмаках и бумажном платке. Это, извольте видеть, особенное сословие малиновских жительниц, необходимое и полезное, как мха и рожки и сытовая роса для урожая, как червоточина в яблоке. Это, собственно, так называемые *вдовушки,* а иногда они называют себя также *сиротами;* это вдовы бывших чиновников, женщины, принадлежавшие когда-то более или менее к свету, но утратившие вместе с мужем и доходное место, и честь, и славу, и вес, и значение. Они теперь стараются быть *вхожими* кой в какие дома, чтобы сказать: «Была я у такой-то, пила чай у такой-то» — и приобретать посильными

трудами подмогу бедности своей и подпору сиротству. Для этого им открыта верная дорога: ходить из дома в дом и разносить вести. Откуда вести эти берутся — иногда, право, трудно разгадать; так, например, спрашиваю вас, откуда могло взяться известие о возвращении Лирова и о свадьбе его с Голубцовой? Вы скажете, вероятно торговка слышала и передала слухи и толки сироте, а эта, в свою очередь, Мукомоловой,— очень хорошо; но я спрашиваю: откуда взяла их торговка? Чудное дело, ей-богу чудное! Отыщем поскорее своего Евсея и убедимся, что на этот раз малиновские вестовщицы превзошли сами себя донельзя; они оставили далеко за собою всех ясновидящих целого мира, и Брюсов столетний календарь им в подметки не годится.

Глава XI

Корней Горюнов не согласен жениться

И в самом деле, посмотрим да поглядим, что делает теперь Евсей Стахеевич: если где-нибудь можно добиться толку, распутать и размотать слышанные нами об нем в Малинове новости, то, вероятно, у него самого; надобно по крайней мере полагать, что делу без него не обойтись и что он знает об этом если не более, то по крайности и не менее малиновской торговки, вдовушки или сироты и даже самой Перепетуи Эльпидифоровны.

Ну, а что же вы скажете, почтенные читатели, если я вам докажу на деле, что Евсею Стахеевичу вовсе ничего об этом не известно и что малиновцы наши, которые, говоря вообще, гораздо более подходят к породе легавых, нежели борзых, потому что чуют верхним чутьем,— что малиновцы наши дела этого рода знают гораздо и весьма заблаговременно и всегда прежде тех, до коих они непосредственно относятся.

Итак, отправляемся из-под Каменной горы, из Малинова, прямо в Клин и навещаем Евсея в ту самую минуту, когда Мукомолов на вечернем воскресном гулянье победоносным голосом первого вестовщика восклицает: «Поздравляю, господа: Лиров женится на Мелаше Голубцовой и едет обратно в Малинов!»

Мы в это мгновение застаем Лирова все в той же гостинице и в той же комнате; он расхаживает себе взад и вперед и рассуждает про себя, проговариваясь иногда вслух: «Чудное дело! Не могу опомниться, не могу очнуться! Кажется, я все еще дремлю впотьмах в роковом дилижансе и вижу перед собою то, что видел тогда и чего увидать никогда более не чаял; надобно же, чтобы я метался, как безумный, взад и вперед по московской дороге, чтобы покинул невзначай благодетеля своего, чтобы избоина эта, Иванов, меня обманул, уверив, что она уехала в Крым,— и все это и сотня других нежданных, маловажных и бездельных случайностей сошлись и столкнулись над бедной моей головой, и чтобы из этого всего вышло и составилось событие — да, событие; в тесном кругу жизни моей это событие не менее важное, как потоп и столпотворение для всемирной истории. Гонимый судьбою, сидя в крайнем бедствии и самом отчаянном положении здесь, в Клине, вдруг встречаю я боготворимую Марью Ивановну...» Тут мечты стали играть в голове Лирова так несвязно, уносчиво и с таким отсутствием всякой логики и последовательности, что уловить и изложить их не беремся. Евсей кинулся в изнеможении на известный нам кожаный диван и закрыл глаза рукою.

Корней Горюнов входит, покашливает, поглядывает, переступает, как сторожевой журавль, с ноги на ногу и говорит, почесываясь:

— А что, сударь Евсей Стахеевич, чай что-нибудь да делать надо; так не сидеть же!

Л и р о в. Покуда само делается, так не надо.

К о р н е й. Пожалуй, делается! Вот у нас был один такой в полку: бывало, загуляет, так пошел да пошел — и пропьет с себя все до рубашки; так будто это хорошо?

Л и р о в. Задача, Корней Власович,— дай подумать! Ну что же, ты боишься, чтобы и я не стал пить? Небось, не стану!

К о р н е й. Нет, сударь, бог миловал покуда, что вперед будет; а я, сударь, говорю только, что служил и богу и великому государю двадцать пять лет верой и правдой и отродясь начальства не обманывал; а это что такое, сударь, что вы делаете, этого не видал я, старик, нигде! Выехали на большую дорогу да гоним-

ся, прости господи, не знать за чем; и деньги все проездили, и пешком всю дорогу исходили, да и сели и сидим теперь, да так, видно, и будем сидеть сиднем сидячим?

Лиров. Коли сидеть не будет нам хуже нынешнего, так на что же и куда ехать, Корней? Дай бог посидеть этак всякому!

Корней. Дай бог, сударь, сидеть этак турке да французу, да еще кто похуже того, а не нам! Это, стало быть, уж я знаю, Евсей Стахеевич, стало быть хотите жениться, да только все это пустяки, ей-богу пустяки.

Лиров. Это ты откуда взял? К какой стати приплел ты тут женитьбу?— И за словом Евсей наш расхохотался.

Корней. Да уж известно, коли изволите говорить, что хорошо сидеть этак, так хорошо вам, стало быть, подле барышни; а пустяки это, сударь, все. Деньги прогуляли, ни Питера, ни Москвы в глаза не видали, за чем поехали, позабыли,— скоро, сударь, ведь и моих не станет,— тогда что будем делать? Я, сударь, не хочу попрекать вас, избави меня господь; мне, старику, могила, а не деньги; где лягу — все равно, уж мне родина не там, где родился, а где закопают меня, старика: да тогда что делать станем с вами... Я, сударь, сами изволите знать, взят на службу из Сибири, шестнадцати годов от роду; сказали там: «Нужды нет, что он невелик; поколе дойдет до места, так подрастет». Покинул я молодую хозяйку, а детей, признаться, еще не было. Прослужил я верой и правдой двадцать пять лет, только на последние четыре года, как уже поясница стала одолевать меня, пошел я в денщики к майору, да и то, сударь, плакал, как с ружьем да с сумой пришлось расставаться, на безвременье словно, и они по мне и я по ним соскучился; а дай бог здоровья майору — и майор добрый был мне господин и верил завсегда, бывало: уж знает, что я его не обману. Вышла мне и чистая, так и тут, видно, согрешил я пред богом и великим государем, что не пошел охотой на другой срок — и нашивку бы дали и таскал бы ранец, поколе не задавил бы меня где-нибудь; так уж был бы один конец; а то одно то, что в денщиках уже был, другое, что спина не служила, да и домой таки захотелось: все, думается, дома лучше.

Ну что ж, пошел, сударь, и домой — и в другой раз состарился, поколе дошел; год без малого плелся, да уж своего гнезда не застал: словно та же чужбина, только что тошней прежнего стало. Изба, сударь, уж не на том месте стояла, не то чтобы ворота не на тех вереях ходили; да и шапку нашел я после своей на нашести чужую; у хозяйки моей шестеро ребят, трое переросли уже меня, и в казаках все они, да такие молодцы, один урядником; и службу как у них хорошо знают и все построения — даже ездят, сударь, на мундштуках; это не то, например, сибирские казаки наши, что донские; это все равно что любой конно-егерский полк, только что народ еще порасторопнее будет да удалее. Что ж, известно, бабье дело, хозяйка реветь, да целовать, да в ноги; запела во всю улицу: «Ты ненаглядный мой, ты мой ясный сокол!» Что народ со всего села сбежался и все уж казаки. И хозяин новый вышел, и фуражку снял, поклонился мне, старику, и стоит, сердечный, призадумавшись, словно виноватый какой. А меня, вишь, давным-давно в покойники записали они: где, дескать, жить ему, давно убит, чай, где-нибудь,— за помин души отслужили, да и дело в шапке. Завопила, сударь, хозяйка: «Ты мой ясный сокол, ненаглядный ты мой»; а я, подумавши, и говорю: «Нет, хозяюшка, наглядись ты на ненаглядного своего, коли так честишь, да не бесчести помином ясного сокола: был таков, поколе калена стрела да и пуля свинцовая не подшибли летков молодецких,— а был, сударь, я ранен и стрелой на Кавказе,— да поколе долгая година да непогодица не обломала перья правильные! Теперь стал я сова куцая, ощипанная, и глядеть тебе, хозяюшке моей, не на что!» Так я словно на побывку пришел, пожил с неделю да отдохнул и внука еще крестил у второго пасынка своего, у урядника, и крест тельный ему подарил, с себя сняв, который всю службу со мной служил, и в пятидесяти сражениях бывал, и боронил меня от смерти, хоть и ранен был я раз шесть; так тут уж и старики все говорили, что будет-де крестник удалой казак, станет бить и киргизцев и куканцев. А сам я, перекрестясь, и поехал оттуда назад в Россию с барином, который в Сибирь нашу за чином ездил да отправлялся обратно в Москву. Так вот, сударь, что проку жениться-то? Ничего нет толку, одни только пустяки; только что греха, может статься,

на душу возьмешь и другого на грех наведешь; а что проку?

Лиров преспокойно выслушал старика своего до конца, чтобы увидеть, чем все это кончится и куда его занесет; но потом спросил, привстав с дивана:

— Да кто же тебя настроил, старик, и откуда ты взял вести свои? Не говори, ради бога, пустяков этих: ведь люди услышат, так подумают, что тут есть какая-нибудь правда; откуда ты взял, что я сватаюсь?

Власов. Да известно, человек ищет, где глубже... тово, где лучше, рыба — где глубже; да только пустяки все это, сударь, ей-богу!

Лиров. Да пустяки же и есть; и я тебе говорю, что пустяки, и ты говоришь, что пустяки, так о чем же мы толкуем?

Власов. Ну, пустяки так пустяки; их в сторону. Так пожалуйте, сударь, просит вас к себе барыня Марья Ивановна, приходила от нее девка.

Лиров. Экий чудак ты, старый хрен, право чудак! Что же ты мне целый час сказки сказывал, а не сказал, как вошел, что меня зовут?

— Да я только хотел, то есть, доложить вам наперед,— переминался Горюнов,— чтобы не вышло, то есть, опосля каких пустяков...

Лиров вскочил и вышел.

— Послушайте,— встретила его Марья Ивановна,— я хочу просить вас вот о чем: мы поедем вместе с вами до Твери; а там, как вам нет никакой надобности ехать теперь же в Москву, то вы и не откажетесь быть провожатым нашим до Малинова; не так ли?

Лиров. Душою был бы рад, матушка, если бы я вам хоть на это пригодился, только...

Мар. Ив. Что только? Нет, вы мне в этом не откажете. Дайте, однако же, сказать, вам еще другое слово — притворите-ка дверь, чтобы дети не слышали: мне надо спросить вас, не знаете ли, откуда это вышло, будто вы сватаетесь на Мелаше?

Лиров. Так и вы уж об этом слышали? Вы меня знаете, матушка, и поверите мне, если я вам скажу, что сплетня эта меня за вас очень огорчила, но что я знаю об ней, вероятно, еще менее вас; сейчас только старик мой рассказал мне все похождения и приклю-

чения свои, прежде чем позвал сюда, и вплел туда, бог знает к чему, предполагаемое им сватовство мое; более я не знаю решительно ничего. Я просил его убедительно не говорить такой вздор, но не мог от него добиться — чьи это догадки и откуда они взялись.

Мар. Ив. Ну, бог с ними, оставим это; я только хотела высказать вам все, что у меня на душе. Слушайте же, я вам открою настоящее мое положение и буду ожидать от вас помощи. Михайло Степанович, которому мы, как опекуну, много обязаны, человек, для меня по крайней мере, самый непонятный. Без всякого дурного намерения, вероятно, он сделал меня и детей мучениками своими, и у меня уже недостает более ни сил, ни терпения. Сам же он, видно, вовсе не понимает, в чем дело; его нельзя ни вразумить, ни убедить, ни умолить — он сам оценяет услуги и одолжения свои и требует за них такую признательность, в которой я должна была отказать ему наотрез: счастием детей я жертвовать для него не могу. Он, как видно, давно уже решил, что женится на Мелаше; он навещал детей еще в институте и, к несчастью, а может быть, и к счастью, там уже сделал невыгодное на них впечатление; они объявили мне об этом с самого начала принятым у них довольно решительным выражением: «Он такой злой, маменька, мы его презираем». Я пожурила их за это, растолковала им, что, не зная его почти вовсе, им нейдет и осуждать его; что, кроме того, он у них заступает место отца. Мягкие сердца их каялись уже в слезах и почти собирались «обожать» Оборотнева, как этот при нынешних поездках своих с нами из столицы в столицу, где приводили мы в порядок дела по опекунским советам, и в других местах сам обращением своим все испортил и поставил меня в самое затруднительное положение. Он, видите, так странно обходится с ними, особенно с Мелашей, что бедненькие стали вовсе в тупик, не знают, что делать и как показать ему свое детское уважение и признательность; они хотят видеть в нем второго отца, а он ухаживает за ними, очень незастенчиво, женихом — и не щадит при этом никого. Я говорила с ним об этом не раз, но он меня не понимает или не хочет понять и продолжает мучить беспощадно бедных девушек. Я давно видела, что он ни в каком отношении не может

быть парой для Мелаши, но не могла сказать ему это прямо, потому что он доселе еще не сватался. Наконец нынешнее утро бог послал нам вас; я узнала в вас сына, а Оборотнев — соперника. Да, соперника; не знаю как и почему, но он приступил с час тому ко мне с изъяснением и был так неосторожен, что даже начал говорить об этом при детях. Я выслала их и принуждена была сказать ему, что вы, сколько мне известно, не угрожаете ему соперничеством своим, но что я доселе считала поведение его одною только загадочною шуткою; что я никогда не стану приневоливать дочери к замужеству за немилого и что, даже и по моему мнению, он Мелаше, а она ему не пара. Благодарность благодарностью, но этого я на душу не возьму. Теперь бедненькие сидят и плачут, а Михайло Степанович вышел от меня очень недовольным; мы сидим и ждем, сами не зная чего, тогда как нам давно бы пора ехать. Вероятно, он охотно с нами расстанется, и мы прибегаем под ваше покровительство: вы довезете нас домой.

Лиров, поперхнувшись слезой, долго глядел молча на Марью Ивановну, которая спросила его еще раз:

— Так вы поедете с нами? Мы остаемся одни, и вы нас не покинете!

— Не покину, матушка,— отвечал Лиров, проснувшись,— если вы этого хотите; но нехорошо делаю, что не покидаю, нехорошо, что не покинул уже раньше, нехорошо даже, что встретился с вами!

— Я вас не понимаю,— отвечала Марья Ивановна, глядя на Лирова,— а это, вы знаете, редко случалось; что это значит?

— Это значит вот что, матушка: я — отъявленный бедовик; со мною никому не будет ни добра, ни радости, ни счастья; мой цветочный путь еще и не засеян, я привык ходить босиком по отцветшим незабудкам, а это, как вы знаете, одни колючки. Я боюсь, не перенести бы мне к вам, в семейство ваше, мою судьбу-гонительницу,— а это бы меня убило!

— Послушайте,— сказала Марья Ивановна,— я не видала вас никогда еще столько малодушным, хотя знала вас, как мне кажется, гораздо в худшем положении, чем ныне. Я воображаемого вами несчастья не боюсь: по крайней мере если оно суждено мне, то, конечно, не от вас. Первое свидание с вами, кроме ду-

шевного удовольствия, доставляет мне еще, в крайне неприятном положении моем, помощь и спасение; вы меня можете выручить теперь...

— О, не просите же меня так убедительно, матушка,— отвечал быстро Лиров,— мне совестно пред вами и стыдно. Делайте что хотите, везите меня куда угодно: ваш ответ, если... если...

— Что если? — спросила Марья Ивановна.— Что ж? Вы покинули Малинов, где вас знали как хорошего, честного и дельного человека; вы поехали, бог знает зачем, на чужбину без средств, без пособий, даже без денег; может быть, это и неблагоразумно, но я очень понимаю и уважаю чувство, которое вас к этому побудило; и беды тут, впрочем, еще нет никакой; вы немного узнали свет, а это было вам нужно. Теперь вы воротитесь в Малинов для меня и сообразите там в другой раз, ехать ли вам опять за бедой или оставаться там, где вас знают и потому, верно, всегда дадут вам место. Подумайте хорошенько, и вы согласитесь, что я говорю правду.

— Как всегда, матушка, так и теперь говорите вы совершенную правду,— сказал Лиров, поцеловав руку Марьи Ивановны.— Я это вижу и понимаю; вижу также, что мне нельзя не ехать с вами; но, матушка, более я не могу вам сказать ничего: я не могу еще опомниться, сердце у меня как-то сжимается, здесь, в горле, давит, промеж глаз, во лбу стучит — я чего-то боюсь, и очень боюсь,— а сам не знаю чего! Еду с вами, еду; я ведь весь ваш, давно уже сын ваш, и бог мне даст силу перенести все, не спотыкаясь, не обрушиваясь всею тяжестью этого бедоносного чела ни на кого! О! От этого избави меня, боже, и дай мне силу и крепость.

Когда Лиров, взволнованный темными, безотчетными чувствами, ушел, Марья Ивановна долго еще глядела молча за ним вслед, потом, вздохнув, подумала: «Добрая душа! Я понимаю тебя, хоть и не смею тебе этого сказать. Нет, я этого не боюсь; я знаю тебя, как сына, и не пугаюсь тебя, что бы из этого ни вышло. То, чего ты из скромности и уничижения боишься,— было бы, может статься, утешением моим, если бы было так угодно богу; но я в дело это не мешаюсь: матери дозволено только устранять Оборотневых, а что дальше будет — власть господня».

Глава XII

Евсей Стахеевич наездился и воротился

Итак, любезные читатели, мы видели, что делалось в одно и то же время, в воскресенье вечером, в Малинове и за пятьсот верст от него, в Клине; спрашиваю еще раз: как малиновские вдовушки, торговки или кто бы то ни был могли знать то, что, как сметливые и прозорливые читатели мои, чай, догадываются, со временем могло бы и случиться, но чего, по крайней мере доселе, еще вовсе не было? Стало быть, малиновцы наши, как я вам и наперед уже докладывал, были в высшей степени одарены ясновидением; стало быть, они видели и слышали из-под Каменной горы своей или с этого знаменитого рынка, с базара, все, что делалось в то же самое время в Клине, и, как люди очень догадливые, вывели из этого свои заключения; иначе я этого дива, ей-ей, истолковать не умею.

Марья Ивановна Голубцова была хозяйкой того самого дома, о котором Лиров вспоминал почасту во сне и наяву; он, если не ошибаемся, говорил как-то и в рассказе нашем, что семейство, к которому он было привязался, как к родному, давно уже оставило Малинов. Голубцова, овдовев, поехала в Петербург за дочерьми, которые были отданы уже прежде в Патриотический институт; она не располагала было вовсе воротиться в Малинов, но, приведя дела свои, обще со звездистым опекуном, в порядок, не успела, однако же, продать выгодно малиновское имение свое, передумала и решилась основаться снова жительством в том же губернском городе.

Лиров знал Мелашу и Любашу детьми и нашивал их на руках, он был в доме свой, и Голубцова почти, можно сказать, воспитала Лирова, по крайней мере образовала, перевоспитала его, хотя он был и в то время уже не ребенок, руководила занятиями его, снабжала книгами и выучила двум языкам. Она любила его, как сына, и он не называл ее иначе, как матушкой. Лиров был ей одной обязан образованием своим и лучшими, утешительными минутами безотрадной жизни своей, которая, особенно в первых степенях его служения, была горька и тошна. Можете себе вообразить радость нашего бедовика, когда во́ время отчаян-

ного сидения его в Клине вдруг прикатила из Москвы карета, из которой, в глазах его, вышла Марья Ивановна с дочерьми. Оборотнев, которого тревожил и беспокоил один вид незнакомого ему вовсе Лирова, взглянул было на него через плечо: Евсей стоял опять уже, как будто на него нашел столбняк, когда Марья Ивановна первая его узнала, и радостям не было конца. Оборотнев хотя и был только, как выражался смотритель в Померанье, высокородный бригадир со звездой св. Станислава второй степени, не знал, однако, куда деваться от глупой надутой спеси, которая играла у него на лице во всех жилках, отзывалась во всех ухватках, в каждом слове, даже в чиханье и кашле... У этих господ на все свои особые приемы. Оборотнев о сю пору был холост, потому что выжидал с благим терпением известное число чинов и крестов, чтобы уже выбрать невесту вполне по желанию и вкусу, не стесняясь никакими условиями. Оборотнев был совершенно убежден, что статскому советнику благовидной наружности и важной осанки, да еще и со звездой, нет препоны, ни помехи, нет сопротивления, ни отказу; всякая и каждая, вспыхнув фимиамом признательности и подъемля на неоцененного жениха взоры благодарности и умиления, полетит с отверзтыми объятиями ему навстречу; где честь, думал Михайло Степанович, там и счастье, а он в завидной особе своей соединяет и то и другое. Между тем, однако же, *шпаковатость* — то есть скворцовая масть головы его — убедительно и настойчиво докладывала, что пора приступить к делу. Бог знает с чего и почему, выбор Оборотнева пал на Мелашу, с покойным отцом которой он был довольно короток. Но какая-то грубость, смешная самонадеянность, глупая спесь, не прикрытая даже и видом приличия, ограниченность ума и очень неловкое обращение отклонили от него заблаговременно чувства Мелаши, которая *обожала* или *презирала* всегда вместе с целым классом. Оборотнев при частых посещениях своих сделал такое неприятное впечатление на робкие девственные умы или чувства, что было положено целым классом *презирать* его, потому что он *такой недобрый.* И темное, безотчетное чувство, не руководимое ни опытом жизни, ни навычною прозорливостью, отгадало истину, потому что безотчетная приязнь и ненависть также имеют свое значение.

Оборотнев был, по завещанию Голубцова, опекун осиротевшего семейства его, хлопотал теперь в Москве и в Петербурге по разным его делам; ездил, как мы видели, с Марьей Ивановной взад и вперед и старался при этом сблизиться с Мелашей, которую называл уже, в глаза и за глаза, невестой своей. Несмотря на своекорыстную цель этой услуги, он ценил ее, однако же, так высоко, что позволял себе быть против Голубцовой грубым, взыскательным и повелительным, чего, конечно, мало-мальски порядочный человек никогда бы себе не позволил. Мы уже видели, чем все это кончилось; затем его высокородие надулся, уехал, почти не простившись с Голубцовой, в Петербург, а Лиров отправился с нею и с дочерьми ее в Малинов, чего бедняк, не без причины может быть, столько боялся.

Что сказать вам теперь о девицах, о Мелаше и Любаше Голубцовых? Вероятно, вам случалось встретить где-нибудь одно из этих милых созданий, в которых, если говорить о каждой порознь, хотя и нет еще до времени души,— мы следуем здесь душесловию Лирова,— но которые все вместе составляют одну душу? Вы знаете, что они в Патриотическом институте своем все сами зовут друг друга *ангелами,* прибавляя к этому только нумер на кровати, и даже пишут на записочках: «Милый ангел 147, ангельчик 59» и прочее. Если вы спросите у них: «Любите ли вы своего почтенного законоучителя?», то они отвечают вам в голос: «Как можно-с, мы его обожаем!» Если спросите: «А обожаете ли такого-то учителя?», то они отвечают: «Нет-с, мы его не обожаем, младший класс его обожает». Если спросите: «Плакали ль вы сегодня, когда прощались с такою-то классной дамой, которая отходит?», то они, сложив руки на передничке и глядя вам прямо в глаза, отвечают: «Плакали-с поутру и после обеда будем плакать». Таковы точно были и Мелаша с Любашею: бесплотные жилицы блаженных островов Макарийских, как гласят народные предания наши, перенесенные на эту грубую, плотскую и вещественную землю, на отжившую, обессиленную почву большого света, в которой нет уже ни соку, ни туку, на которую не канет благодатная капля дождя, а туман утренний стоит туманом и не рассыплется слезистою росою. Мелаша и Любаша слышали однажды о

труднобольном, который, будучи безнадежен, очень страдал; они пришли перед вечернею молитвою к маменьке своей и просили с ангельскою улыбкою на устах, с пречистою слезинкою в очах своих: «Как прикажете молиться, маменька, об этом больном: чтобы он жил еще или чтобы уже бог прекратил страдания его и взял его к себе?» Вот каковы были они, Мелаша и Любаша, чистые, праведные души, к которым еще свет не прикасался грязными когтями своими, не отравлял еще младенческой непорочности тлетворным, нечестивым дыханием своим. О, как тяжело бывает иногда бедняжкам этим обжиться снова в родительском доме, который они помнят только как несвязные грезы о колыбельной песенке! Как тяжело им иногда приурочить себя сызнова к почве и климату, в котором нет и самого отдаленного сходства с благотворным воздухом и тучным черноземом родной им теплицы, где сквозь чистые стекла так утешительно и так приветливо улыбалось им все: и небо, и земля, и люди, и громады дворцов, где сотни приемышей жужжат пчелками вокруг заботливой матки своей, не зная ни нужд, ни забот, ни потребностей, ни страстей!.. А выйдут в свет — все станет иначе; вы жили в мечтательном мире, поживите же теперь в настоящем и обживетесь с ним, если сумеете.

Читатели мои сами видят, что поэтому большой разницы между обеими сестрами быть не могло, но как у творца нашего нет даже и двух совершенно однообразных былинок и все однородное основано на одном только подобии, как, в свою очередь, самое подобие — на разнообразии, то и Мелаша с Любашей, у которых было столько общего в чертах, в стане и в приемах, равно как и в нравственных и умственных качествах, были два отдельные существа. Лиров наш в этом отношении, конечно, судья не беспристрастный; но и я, как посторонний человек, гляжу на Мелашу как на создание более полное и совершенное, в котором все как-то более приуготовлено к восприятию ожидающей его души. Может быть, это потому только, что Любаша была еще полудитя, между тем как Мелаша более дозрела и, как по крайней мере казалось, обещала поять со временем чувство, о котором Любаша не имела нижé отдаленнейшего понятия. Впрочем, несмотря на замечание это и несмотря на бесконечную

любовь Лирова, самое существование которой ангельская головка его еще долго-долго даже и не подозревала,— к ней очень кстати можно применить одиу из любимых присказок Корнея Горюнова: слепой спросил зрячего товарища своего: «Где был?» — «В гостях у кума».— «Что ел?» — «Кашу с молоком».— «Что такое молоко, как оно бывает?» — «Сладкое и белое».— «Да какое же белое?» — «Да белое, ровно гусь».— «А гусь что такое? Какой он бывает?» — «А вот такой,— отвечал товарищ и, согнув ему руку клюкой, представил из нее гуся,— вот какой бывает гусь». Слепой ощупал руку его кругом и сказал: «А, теперь знаю». И если бы вы меня спросили, какое понятие есть в Мелаше об этом загадочном чувстве, с которым светские девицы иаши зиакомятся так преждевремеино, убивая цвет в самой еще почке, то я бы вам сказал: такое же, как и в слепом Власова о молоке, которого он не видал, не едал, а слышал от товарища, что оио белое, как гусь, а гуся знает, только ощупав согиутую костылем руку. И всякая неуместная попытка объяснить Мелаше, что такое любовь, кончилась бы присказкою Корнея Горюнова в лицах. Оставим же ее, бедняжку, в покое; у нее есть теперь свой доморощеиный учитель. Недолго стоять затиши и под этим зыбким челном — взволиуются и эти тихомириые воды, и общая доля их ие минует: одии миг чистого блаженства — и годы томительиой суеты.

Затем остается мне только еще сказать вам, что Лиров, примкиувши к Голубцовым, по-видимому, не навлек на иих, как опасался, гнева потешавшейся доселе над ним судьбы; неукротимая, своевольная и своенравная, шаловливая, причудливая и всемогущая обратила, видио, потешный самострел свой иа когонибудь иного, выследила себе другую погремушку, другого бедовика и, как казалось, причислила доброго Евсея по сказкам своим к семейству Марьи Ивановиы, иа котором, видимо, почивала благодать божия. По крайией мере все оии доехали до Малиниова без всяких *лирических* похождений, а новый председатель палаты, человек, вникиувший во все дела с беспримериою в летописях Малинова прозорливостью и самостоятельностью, прочитывая от начала до коица не одно бескоиечное *слушали* и *приказали,* часто спрашивал у советиика: «Да скажите, Петр Петрович,

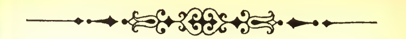
кто же у вас писал, например, этот доклад?» и на ответ: «Это бывший чиновник гражданской палаты Лиров»,— продолжал, пожимая плечами: «Странное дело, что вы этого человека не умели удержать, тогда как теперь некому сделать даже и самой простой выписки из журнального постановления, а приходится поневоле рассылать во все места точные с них списки толщиною в целую десть!»

Поэтому Лиров не успел прибыть в Малинов, как председатель навестил его сам, расспросил подробно обо всем и предложил ему место секретаря в палате, присовокупив, что ожидают со дня на день новое положение о преобразовании палат, по коему жалованье Лирова должно было значительно возвыситься. Благодетельное постановление это, как всем нам известно, действительно состоялось, и Лиров может теперь жить в Малинове не *местом*, а *жалованьем*.

Предоставляю читателям потешаться мысленно истинно достойным любопытства удивлением малиновцев, их шумными и нестройными возгласами, невольно напоминающими гагаканье гусиного гурта на столь знаменитом малиновском базаре. Слышите ли при этом победоносные клики тех, которые все это пророчили, и знали, и видели наперед? Слышите ли гул извинений и оправданий тех, которые сомневались, спорили и не верили? Слышите ли также этот средний резкий голос вестовщиц и вестовщиков, которые не спорят о прошедшем, потому что заняты донельзя и набиты от пяток по самое темя будущим и настоящим? Да, друзья мои, все это шло и прошло своим чередом; все наконец свыклись с нежданным оборотом дела, потому что старое уже не может быть новостью; языки поуспокоились или пошли выплетать каймы да оборки к новым слухам и новостям — и дела пошли опять своим чередом и порядком.

А чтобы не упрекнули меня, будто я умышленно набрал и выставил у позорного столба каких-то уродов и чудаков и выказал одну только слабую сторону города Малинова, я опять-таки ухвачусь за притчу неоцененного для меня Корнея Власовича Горюнова:

«Кочка видна по дороге издали, мечется в глаза поневоле и досаждает всякому; а по гладкой дороге пройдешь — и не спохватишься, что пришел».



УРАЛЬСКИЙ КАЗАК

Пришло жаркое, знойное лето, которое длится в полуденных степях наших ровно четыре месяца: май, июнь, июль и август,— пришло и налегло душным маревом на уральскую степь, чтобы поверстаться за суровую пятимесячную зиму. Уральское войско, вытянутое станицами своими лентой по течению реки Урала верст на восемьсот, ожило после кратковременного отдыха; по городкам, форпостам и крепостям стали бегать и суетиться, словно земля под народом накалилась и не дает никому ни стать, ни сесть. Вскоре все войско стянулось повыше Бударинского; тысячи три служилого народа,— а тысяч шесть было уже на службе: три по линии да три на внешней,— тысячи три, не считая работников, столпились на голой, бесплодной степи, на сухом море, привезли на подводах каждый бударку[1] свою, ярыги или сети, привезли по работнику киргизскому в мохнатом лисьем малахае — видно, собрались пугать лето,— стали на первом плавенном рубеже и ждут пушки[2]. А где же Проклятов, лысый гурьевский казак, который век на службе, а от уряду бегает, по-

---

[1] Долбленый челнок, тонко и красиво обделанный, легкий и ходкий. Он употребляется на всех летних речных рыболовствах. *(Прим. автора.)*

[2] До пушки, которая палит по условному знаку рыболовного атамана, никто не смеет ступить на лед или спустить бударку на воду; все кидаются вдруг и взапуски по вестовой пушке. *(Прим. автора.)*

тому что беден, а семья у него большая? Тут он, глядите, стоит в толпе под яром, без шапки; лысина от бровей до затылка, прикусив губу, уставив зоркие глаза на рыболовного атамана, который один-одним разъезжает, ровно князь какой, по реке, на него уставил глаза Проклятов, как легавый на куст, под которым сидит куропатка; в правой руке держит коротенькое весло, левою ухватился за тонко выстроганный и окованный нос бударки, ждет по знаку атаманскому пушки, чтобы секунды одной не прозевать, столкнуть челнок на воду, выкинуть ярыгу и вытащить осетра. С Проклятова пот льет градом только еще в ожидании будущих благ; а что же будет, как пойдет работа?

Век на службе Проклятов, редкий год дома, а от урядничьего чина три раза отмаливался: хочет быть рядовым казаком. Урядник идет, куда пошлют, по очереди, наемки не берет ни гроша, а казак возьмет с миру почем придется, да и сам сыт и обут и домашние тож: потому-то он от уряду бегает, а от *зверя*, как он называет рыбу, не бегает, лишь бы она от него не ушла. Не любит он только этих водяных сверчков, что у нас раками зовутся: он их, поганых, и в руки не возьмет ни за что.

Проклятов — гурьевский казак старинного закалу: ростом невелик, плотен, широк в плечах, навертывает и в тридцать градусов морозу на ноги *для легкости* по одной портянке, надевает в зимние степные походы кожаные либо холщовые шаровары на гашнике, и если буран очень резок, то, сидя верхом, прикрывает ляжку с наветренной стороны полою полушубка. Морозу он не боится, потому что мороз крепит; да и овод, и муха, и комар не обижают у него коня; жару не боится потому, что пар костей не ломит; воды, сырости, дождя не боится потому, как говорит, что сызмала в мокрой работе, по рыбному промыслу, что Урал — золотое дно, серебряна покрышка, кормит и одевает его, стало быть на воду сердиться грех: это дар божий, тот же хлеб. Проклятов до того любит воду — коли нет вина,— что на морском рыболовстве и на морской службе по Каспийскому морю пьет без всяких околичностей воду морскую и отвечает вам на вопрос: «Хороша ли?» — «Горонит маленько!» Борода ему дороже головы; в этом отношении Проклятов сущий турок; но, отправляя сына на внешнюю служ-

бу, в Москву, он выбрил ему бороду, приказав отпустить ее, когда воротится домой, и утешив и себя и сына в этом несчастии тем, что-де родительницы замолят грех. Дома Проклятов не певал отроду песни, не сказывал сказки, не пел, не плясал, не скоморошничал никогда; о трубке и говорить нечего: он дома ненавидел ее пуще водяного сверчка, да и не бывало ее таки в заводе ни у кого в целом войске. Сказывали, что есть чиновники войсковые, которые, в похвальбу перед сторонним начальством, носили тайком от своих в руке табакерочку; да это, может статься, и напраслина, как ее много бывает на свете. На походе — Проклятов первый песенник, хоть и гнусит немного, на старинный церковный лад; первый плясун, и балалайка явится на третьем переходе, словно из земли вырастет,— и явится трубка и табак; а родительницы дома на досуге отмаливают и замаливают. Родительницами называет он не только старуху мать свою, но и тетку, и сестру, и хозяйку, и дочь: весь женский пол. Они все знают церковную грамоту, служат сами по старопечатным книгам, хозяйничают из покупного добра,— потому что своего, кроме рыбы и скота, нет ничего, ниже́ хлеба,— ткут шелковые пояски, шьют сарафаны на себя с отборной девятой пуговицей, а рубахи — с шелковыми рукавами; вяжут понемногу чулки — другой работы у них нет. Главное занятие их: воспитывать ребят в постоянных правилах и обычаях домашнего изуверства, которое, как мы видели, соблюдаясь с неприкосновенною святостию на дому, нарушается без всякого стеснения на службе и вообще вне войсковых пределов. Описывая, какую погоду любит и не любит старик Проклятов, мы забыли упомянуть, собственно, о буране, о зимней метели, от которой ежегодно гибнет множество людей и скота. Ее Проклятов не жалует; это крутит сатана, бунтует против святой власти, и от этого буран — погода из ряду вон и не годится никуда. «Тут и скотина одуреет,— говорит Проклятов,— не токма что человек».

Пришла осень — старик опять идет с целым войском, ровно на войну, на рыболовство. На тесной и быстрой реке столпятся от рубежа до рубежа тысячи бударок — тут булавке упасть негде, не только сети выкинуть; а Проклятов, как и все другие, плавает связками, попарно, вытаскивает рыбу, чекушит ее и

сваливает в бударку; саратовские и московские промышленники следят берегом плавучую толпу рыбаков и держат деньги наготове; к вечеру разделка. Тут, кажется, все друг друга передушат, передавят и вечера не доживут: крик, шум, брань, стук, толкотня на воде, как в самой жаркой рукопашной свалке; давят и душат друг друга, бударки трещат, казаки, стоя в них и управляя ими, раскачиваются в обе стороны, чуть носом воды не достают — вот все потонут, все друг друга замнут и затопят,— ничего не бывало: все разойдутся живы-здоровы, чтобы завтрашний день начать со следующего рубежа, опять по пушке, ту же проделку; и так вплоть до Гурьева, до взморья или по крайней мере до низовых станиц. Проклятов гребет, рвется, из шкуры лезет, летит взапуски, гребет сильно коротеньким весельцем своим, им же правит, им же расчищает себе дорогу в этом непроходимом лесу бударок, расталкивает их вправо и влево, не заботясь о том, куда которая летит,— и ярыгу вытаскивает, и рыбу чекушит; и его толкают взад, и вбок, и вперед,— нужды нет, он только кричит и бранится, и, зная уже, что никто его не слышит и не слушает, потому что всякий занят своим, он и сам продолжает свое, облегчая только стесненное положение свое бранью, на-вей-ветер. Впрочем, никогда не употребляет он коренных русских ругательств; и это также можно делать только в командировках и в походах: дома грешно.

Пришла зима — Урал замерз, снежное море покрыло необозримую степь; голодные и холодные киргизы сидят смирно и спокойно на зимовках: не до того им, чтобы прорываться по ночам тут или там и угонять стада и табуны,— все замерзло; а Проклятов опять снаряжается на рыболовство, на багренье. Опять он тут, под самым Уральском, где в сборе целое войско, опять мечется по пушке как угорелый, зря, очертя голову, с яру на лед, на людей, топчет, давит, не щадя ни себя, ни других,— просекает наваренною сталью пешней в три маха двенадцативершковый лед, опускает шестисаженный багор, коего другой конец, перегибаясь чрез плечо, волочится по льду, поддевает рыбу, подхватывает ее подбагренником, кричит, как будто его режет: «Ой, братцы, помогите!» — коли сила не берет управиться одному с белугой, кричит неумолчно, хоть и знает, что ему никто не пособит, как

и сам он никому не подаст помощи за недосугом,— а кричит; вытаскивает ее наконец кой-как сам на лед, упарившись зимой в одной рубахе до мокрого поту,— и, окунувшись раза три по шею в воду, выбирается с добычей своей на сухой берег. Окунулся он потому, что тысячи рыболовов, кинувшихся на лед, на одну зазнамо хорошую ятовь[1], искрошили в четверть часа весь лед под собою, вытаскивая на всех точках рыбу, и вскрыли всю реку. Проклятов выгородил себе кой-как небольшой комок льду, отстоял его, удержался на нем, сложив тут же три-четыре рыбки, рублей на сто или побольше, и, упираясь багром, который гнется как веревка, и захватив пешню своими ногами, а подбагренник в зубы, переправился на этом пароме благополучно на берег, сдал тут же товар и взял деньги. Льдина переворачивалась под ним раза три, да Проклятов на нее и не глядел: он только берег рыбу свою, привязав ее к ноге обрывком или поясом, да снаряд.

Пришла весна — лед тронулся, река вздулась, разлилась; утки, гуси, казарки потянулись огромными вереницами вслед за журавлями на север — и Проклятов опять уже ладит бударку, снаряжает плавенные сети и тянется без малого четыреста верст сухим путем вверх по реке, чтобы после воротиться вниз, домой, водою. Спросите у него, когда он, прищурив левый глаз, ровно прицеливается, следит низкую стаю лебедей: «Неужто-де птица летит своим разумом в указанный ею перелет?». И он вам, не призадумавшись, ответит: «У зверя не разум, а *побудка;* птица в перелет идет побудкой». Итак, побуждение природы, которое мы, не зная по-русски, взяли из словаря иностранного и назвали инстинктом, слово, впрочем, очень приятное,— Маркиан Проклятов, не зная ни по-французски, ни по-немецки, называет *побудкой.* Ему это простительно.

Проездом Проклятов у каждого форпоста расспрашивает обстоятельно стариков, то есть смотрителей за водами и лесами, о том, «благополучно ли рыба с осени ложилась, где и как вскатывалась и каков надежен залов». Где дорога подходит к береговому яру,

[1] Я т о в ь — омут, в который ложится красиая рыба на зимовку. Оиа ложится тесио, в иесколько ярусов, и спит; шум и стук ее в то время ие пугает, и ее просто ощупывают баграми и вытаскивают. *(Прим. автора.)*

там Проклятов оборачивается туда, куда его тянет, носом на воду; жадно глядит на Урал и по временам как будто прислушивается и облизывается. Если вам случалось видеть неистовых голубятников, псовых и ружейных охотников, которые выходят из себя, если при них только помянуть слово об охоте, то можете вообразить себе и Проклятова. Серые глаза его загораются каждый раз, когда дело коснется рыбы и рыболовства; брови двигаются, играют, высокий лоб сияет, губы подбираются. У Проклятова не дрогнула бы рука приколоть всякого, не говоря о киргизах на левом берегу,— приколоть на месте во время ходу рыбы всякого, кто осмелился бы напоить скот из Урала. «Рыба — тот же зверь,— говорит старик с ожесточением,— шуму и людей боится; уйдет, а там ищи ее». Впрочем, казак наш сражался на своем веку не с одним этим зверем, с красной рыбой; он, не говоря о походах туда-сюда и о всегдашней войне с кайсаками, уходил немалое число кабанов, когда молод был, в гурьевских камышах, а когда их там уже не стало, то на Прорве и на устье Эмбы. Кабан подсек даже под ним однажды коня. Одно из замечательнейших происшествий в жизни Проклятова было с ним по поводу охоты за кабанами, а именно: встреча глаз на глаз с шутовкою, или русалкою. Маркиан, вопреки закону, отправился однажды накануне какого-то праздника, в светлую лунную ночь, на ночевье и, отъехав к устью через Золотницкий проран на бударке своей верст пятнадцать от Гурьева, залег в мертвой глуши и тиши близ проломанной кабаном тропы. Вскоре послышался отдаленный шелест, потом камыш затрещал. «Ломится зверь»,— подумал Проклятов и взвел курок винтовки. Но зверь не показывается, а треск камыша, приближаясь постепенно со всех сторон, вдруг до того усилился, что у Маркиана на голове волос поднялся дыбом; не видать ничего, а камыш трещит; валится и ломится кругом, будто огромный табун мчится по нем напролет. Проклятов привстал, отступил несколько шагов к убежищу своему, к бударке, а на возвышенном бугре стоит перед ним шутовка, нагая, с распущенными волосами. «Сколько припомню,— говорит старик,— она была моложава и одной рукой как будто манила к себе». Сотворив крест и молитву, Маркиан стал отступать от нее задом, добрался до бударки

ки, присел на колена и, ухватив весло, ударился, сколько сил было, домой.

Проклятова знали все как человека добродушного, который, несмотря на бедность свою, помогал многим, кто бывал в нужде или еще беднее его. Он жалел убить старого пса, который жил у него годов десять и под старость сделался калекой. «Пусть живет нахлебником,— говаривал старик,— не обидит нас, не объест». Но когда ему случилось сходить в зимний степной поиск, на Бузачи, то он, отбивши там пару навьюченных верблюдов и заметив, что во вьюках что-то жалобно пищало, не призадумавшись выкинул двух голых ребятишек на снег и спокойно, без оглядки отправился своим путем. «Ничего, ваше благородие,— отвечал он после офицеру, который хотел было для порядку побранить его,— ничего: *уснули.* Мамок, что ли, с собою возить для этих щенят,— про себя сказал он, рассмеявшись.— Еще у меня и свои-то, может статься, сидят дома не евши; ныне хлеб рубль семь гривен за пуд».

В походе не брали Проклятова ни зной, ни стужа, ни холод, ни голод. «Обтерпелся,— говаривал он,— да сызмаленьку привык; только лошади жаль, коли без корму стоит, а человеку ничего не станется». Из всего оружия казачьего Проклятов менее всего жаловал саблю, называя ее *темляком,* который-де болтается без пользы. Винтовка на рожках, из которой стрелял он лежа, растянувшись ничком на земле, и пика, которою работал, прихватывая по временам, где можно, гривки,— вот вся его надежда. В открытую конную атаку он не хаживал: «Не случилось, говорит, да нашему брату ломовая атака и несподручна»; криком и гиком брал, врасплох брал, и с тылу, и в засаде; а подметив, где жидко, где проскочить и прорваться можно,— не жалея коня, гнал и бил неприятеля донельзя и не щадил никого. «Коли бежит неприятель,— говаривал Проклятов,— так разве в землю от тебя уйдет, а то покидать его нельзя; гони со свету долой, покуда бежит да не оглянется и не увидит, что ты за ним один. И бей тоже, покуда бежит: опомнится да станет, так, того гляди, упрется — и вся работа твоя пропала». Старик любил винтовку свою на рожках и привык к ней; стрелял смолоду гусей, лебедей, уток, сайгаков, корсуков, кабанов — все пулькой; но фор-

менным карабином он очень обижался, на это у него были свои понятия и рассуждения. Лошадь выезжал он всякую в две-три недели, не заботясь о том, бьет ли она только задом или с козла; подпруг и катаура никогда туго не подтягивал, а считал плеть-нагайку лучшим самоучителем, без которой наука ни одному неучу не дается. Подпрукает, подойдет, погладит, ухватит за уши, даст подержать сыну либо племяннику, накинет седло, сядет — а там дело уже поневоле пойдет своим чередом; сколько бы ни носила лошадь, сколько бы ни била, когда-нибудь да уходится и присмиреет. В упряжку выездить иную, особенно киргизскую, помудренее, да и то ничего. Сперва боком, за один гуж, вертись и вези как знаешь; а там, как обойдется маленько, с постромки да в оглобли. Плеть первая наука.

Не только на коне и на пресной воде, но и на море Проклятов был как у себя дома. Сызмаленьку привык, дело домашнее. Он хаживал и на косных и на посудах, кусовых и расшивах, не только из Гурьева в Астрахань, но и к Колпинскому кряжу и дальше. Поблизости, в своих водах, бывал Проклятов на морском Курхайском рыболовстве, в одной артели с другими, потому что одному собраться тяжело, а на Тюккараган, Мангишлак и в Кайдак хаживал по службе. В старые годы пускался он, бывало, и в открытое море на бударке своей, на крошечном долбленом челноке, за лебедями, промышлял перьями и шкурками и пухом; ныне промысл этот, как слишком опасный, давно уже запрещен. Проклятов знал не хуже штурмана зюйд-вест и норд-ост, фок, грот-брам, топ, как там у них называют топсель, знал шкот, и галс, и фал, хоть и называл обыкновенно последний *подъемною снастью*. Проклятов был, сам того не подозревая, отчаянный моряк; лавировал и боролся мастерски с бурей и волнами, как с своим братом; и это делал он также оттого, как объяснялся, что «привык так с молодых лет, что море у них — дело соседнее, под рукой». Бывал он и в относе на аханном рыболовстве[1], и таскало его на

[1] На аханное рыболовство выезжают на санях по льду морскому. При моряне лед взламывает и спирает; казаки говорят тогда: *шиханы ставить*. Если сделается после этого верховой ветер, то рыбаков уносит на огромных плавучих льдинах в открытое море. Это называется *быть в относе*. (*Прим. автора.*)

льдине по морю недели по две; а между тем льдина все крошилась да крошилась от волн и бури, и Проклятов видел день за днем и час за часом мокрую и холодную смерть под собою. Но господь миловал, казака приносило опять моряной к берегу. Тогда казак наш, бывало, тужит только о том, что снасти пропали и собраться бедняку опять не с чем. Впрочем, если бы и не вынесло его на льдине, так казаку и на санях иную пору из моря выехать удается, да не по льду, которого уже нет, потому что его взломало бурей, разбило и разнесло, а таки просто на санях по воде, по волнам: так по крайней мере поправился недавно, на нашей памяти, товарищ Проклятова, казак Дервянов, которого таскало несколько недель в относе. Когда лошадь в крайнем положении этом была уже съедена, то Дервянов, как человек догадливый и запасливый, снявши с нее шкуру, бурдюком или дудкой, то есть целиком, завязал ее на взрезах, подвел под сани, надул, привязал, из оглобель сделал весла, из кафтана — парус, не знаю грот ли, фок ли или брам-топ, и добился на корабле этом благополучно до встречной рыбопромышленной посуды, вышедшей из Астрахани.

Наловил Проклятов много красной рыбы на веку своем; много икры наделал и много отправил этого товару, продав на месте торговцам, в Москву и в Питер; была рыба его и за царской трапезой, когда случалось ему попадать на царское багренье, с которого отправляют, по древнему обычаю, ежегодно на почтовых тройках *царский кус,* или так называемый *презент;* но сам Проклятов по целым годам и не отведывал ни осетра, ни белуги, ни шипа, ни севрюги; товар этот дорог, «не по рылу», как выражался старик. Он объедался красной рыбы только в лето после бузачинского походу, когда был в гурьевской морской сотне за приказного и ходил есаулом стеречь войсковые воды, чтобы астраханцы не обижали; тогда было у них рыбы вдоволь, и хоть продавать ее не продавали, потому что за это строго взыскивается, а сами ели вволю. Дома варила хозяйка Проклятова по временам, когда лов разрешался, черную рыбу, а не то баранов резали, ели каймак[1], а как посты все соблюда-

---

[1] Каймак — упаренное до густоты молоко со сливками и густыми пенками. *(Прим. автора.)*

лись во всей строгости, так и приходилось в году месяцев шесть хлебать постную кашицу да пустые щи. На поход снабжала хозяйка своего казака кокурками[1], сколько можно было подвязать их в торока.

Проклятов, как человек бывалый и обтертый, хоть и не решился бы есть из одной посуды с киргизом или калмыком, «с собачьей верой», но нашего брата не совсем чуждался, а признавал человеком, таки разве мало чем хуже себя. Поэтому он готов был есть с нами из одной чашки, пить из одного ковша и не брезгал бы этим не только в походе, где все разрешается, но даже и дома; но хозяйка его была на этот счет других мыслей и старинных правил: за хлеб-соль она ни с кого и ни за что не взяла бы платы, потому что это смертный грех; но посуды своей она «скобленому рылу» не подала бы также ни за что, а полагала, что собаку, собачьей веры татарина и нашего брата — бритоусца можно кормить из одной общей посуды. Старик в этом не смел больно с нею спорить, а то бы она ему самому, как поганому, поставила щец на особицу, в черепке, как делывала каждый раз, когда муж приходил из походу, покуда не принял еще от своих очистительную молитву. Раз как-то Проклятов поставил для дорогого гостя, которого никак не хотел обидеть, самовар и подал чайник и чашки; хозяйки в ту пору не случилось дома, зато после он насилу кой-как успокоил старуху, и ухаживал за нею, и упрашивал долго ее. Но и тут она, не бравши, как сказал я, ни за что на свете платы за хлеб-соль, вытребовала с проезжего без всяких обиняков гривенник на очистительную для посуды молитву; не взяла его, однако же, сама, чтобы не сочли этого платой, а просила отправить чашки и гривенник с посторонним человеком к старой девке, которая заведовала этим делом и очистила опоганенную посуду! Хлопот за этим было много: этого нельзя было сделать дома, а носили посуду на реку, сполоснули ее и прочли молитву.

Сыновья Проклятова были ребята нынешнего складу: высокие, стройные и крепкие, как отец. Молодой народ на Урале чуть ли не рослее старого и, что бог

---

[1] Кокурка — пшеничный хлебец, в котором запечено яйцо. Оно держится таким образом очень долго. *(Прим. автора.)*

даст вперед, не изводится, а крепок и дюж. Как растут они, так рос в свое время и отец, так росли в свое время деды и прадеды их: отмены нет никакой. Проклятов с десяти годов пас табуны, ездил с отцом на рыболовство и, выставив на санях или телеге значок, какую-нибудь тряпицу, шапку либо сапог, ехал берегом в тысячной толпе саней и лошадей, провожал управлявшегося на воде отца и *зевал,* то есть кричал, в продолжение целых суток во всю глотку. Без этого рыбак в суматохе толпы не нашел бы вечером, пристав к стану, повозки своей, а потому каждый с воды и с берегу дают друг другу голос, *зевают* и ровняются. Тут навостришь поневоле и глаза и ухо. Поэтому Проклятов и видел серыми глазами своими ясно и чисто там, где наш брат не видал ничего кроме неба и земли; а где Проклятов, поглядевши, скажет, бывало: «Чуть мельтешит что-то», там без хорошей подзорной трубы и не думай разгадать задачу. Он привык и на море верно мерить расстояние *закроями*[1] и, *завесив черни,* то есть скрывшись от берегу, не видал его потому только, что берег был уже под кругозором и его нельзя было увидеть ни в какую трубу и стекла.

Грамоте Проклятов не выучился за недосугом: век на службе и в работе. Ему грамота и не нужна; это дело родительниц, которые должны замаливать вольные и невольные грехи мужей, отцов, сыновей и братьев. Родительницы сидят себе дома, им делать нечего, как сохранять и соблюдать все обычаи исконные и заботиться, по своим понятиям, о благе духовном. Пусть же отмаливают за казаков, на которых лежат заботы о благе насущном, промыслы и служба.

Скот ходит у казаков уральских на подножном корму зиму и лето, круглый год, пастухи и табунщики за ним в ведро и в ненастье, в метель, дождь, зной и стужу. Пастух и табунщик выгоняют скот свой на Урале не с рожком и со свирелкой, как в других местах, а с винтовкой за плечом, с копьем в руках и всегда верхом. Там из станицы в станицу редко кто поедет без оружия, и казак-ямщик садится к вам на козлы с ружьем и в подсумке с боевыми патронами.

---

[1] З а к р о й — расстояние, на котором судно в море скрывается под кругозором. Это верст двенадцать. *(Прим. автора.)*

Итак, не мудрено, что Проклятов привык к винтовке сызмала, с двенадцати годов; в опасном месте всегда, не говоря ни слова и не дожидаясь приказания, вынет, бывало, тряпицу из-под курка, осмотрит полку, прикроет ее огнивом и поставит курок на первый взвод. Подъезжая к станице, он бережно опять закладывает полку мячиком или клочком овчинки, спускает на нее курок в упор, а потом еще пробует, не сыплется ль порох с полки, подбирая с руки бережно каждое зернышко.

Случалось Проклятову и голодать по целым суткам, и к этому привык он смолоду. Летом сносил он голод молча, зимой покрякивал и повертывался: летом жевал от жажды свинцовую пульку или жеребеек: это холодит; зимой закусывал снежком. Солодковый корень, челим [1], лебеда, яйца мартышек, даже земляной хлеб [2] и разные другие съедобные снадобья пропитывали его в беде по нескольку суток сряду. Там приходила опять пора, и Проклятов отъедался за прошедшее и за будущее. И добро и худо, и нужда и довольство живут ***голмянами,*** как выражался казак наш, то есть порою, временем, полосою. Но конины и верблюжины Проклятов не стал бы есть ни за что; скорее, говорит, издохну, а такого греха на душу не возьму.

Проклятов ходил под гладкой круглой стрижкой, как все староверы наши, то есть не под русской, не в скобку, а стригся просто, довольно гладко и ровно, кругом. Отправляясь с полками на внешнюю службу, стригся он по-казачьи, или *под айдар*. На Урале ходил он постоянно в хивинском стеганом полосатом халате и подпоясывался киргизской *калтой* — кожаным ремнем с карманом и с ножом; по праздникам щеголял в черной бархатной куртке или *крутке,* как он ее называл, может быть, правильнее нашего. Зимой на нем была высокая черная смушковая шапка, летом — синяя фуражка с голубым околышем и с козырьком.

[1] Водяные орехи, которые вытаскиваются со дна озер рогожами. *(Прим. автора.)*

[2] Замечательный лишай Усть-Урта. Он растет, катаясь свободно по земле, по камню, без всякой связи с почвой. В нем есть некоторое сходство, судя по питательным качествам, с исландским мохом, и в голодные годы его едят. Вкус дурной, иловатый. *(Прим. автора.)*

Сверх рубахи он всегда опоясывался плетеным узеньким поясом — обстоятельство в глазах его большой важности, потому что в рубахе без опояски ходят одни татары. И ребятишек маленьких хозяйка Проклятова тщательно всегда подпоясывала и била их больно, если который из них распоясывался или терял поясок: по опояске этой и на том свете отличают ребят от некрещеных татарчат, и когда, в прогулке по вертоградам небесным, разрешается им собирать виноградные грозды, то у них есть куда их складывать,— за пазуху; татарчатам же, напротив, винограду собирать некуда.

Проклятов дома, на Урале, никогда не божился, а говорил «ей-ей» и «ни-ни»; никогда не говорил «спасибо», а «спаси тя Христос»; входя в избу, останавливался на пороге и говорил: «Господи Иисусе Христе сыне божий, помилуй нас!» — и выжидал ответного: «Аминь». В часовню ходил он не иначе как в халате нараспашку и с пояском поверх рубахи. Но, принимая кровное участие в родном и общем деле, он дал обет помолиться усердно в православной церкви, если утвердят наконец окончательно за войском сенокосы на левом берегу Урала, Камыш-Самару с узенями и обеспечат угрожаемые нашествием астраханцев войсковые морские воды.

Так вырос, так жил и так состарился Проклятов, по крайней мере стал седеть, хотя ему было не с большим пятьдесят лет, потому что написан из малолетних в казаки по восемнадцатому году, дослуживал ныне тридцать четвертый год службы и, надеясь на милость начальства, собирался в отставные.

Он был много лет *линейным,* вышел потом и в *градские* казаки, там опять попал в линейные, в морскую сотню. В гражданские, или *городовые*[1], он идти сам не хотел, покуда силы есть и деньги нужны; но теперь уже поговаривал: «Пора уважить старику, по-

[1] *Градскими* казаками называются все служилые казаки, выставляющие от себя требуемые полки и команды на службу; *линейными* — те, которые по наемке или по мирским подможным деньгам, получаемым с градских, ежегодно охраняют линии; *гражданскими* казаки называют особое отделение малоспособных и дряхлых служилых казаков, выставляющих людей только в городовые команды и вообще на службу внутреннюю. *(Прим. автора.)*

служил государю своему довольно и поставил за себя двух казаков, Вакха и Евпла». Сыновья его получили малоизвестные имена эти по заведенному на Урале порядку, родившись за седьмицу до дня празднования церковью памяти сих святых. От этого обычая там не отступают, и Уральское войско представляет в этом отношении полные церковные, дониконовские святцы. Спросите любого уральского казака, как его зовут, и вы редко услышите употребительное между нами имя. Но если хотите знать прозвание казака и хотите, чтобы он понял вопрос ваш, то спросите его: «чей ты?» или «чьи вы?» или даже, пожалуй: «чей ты прозываешься?» На вопрос: «чей?» — казак ответит: «Карпов, Донсков, Харчов, Гаврилов, Мальгин, Казаргин», и вы из окончания видите, что это прямой ответ на ваш вопрос. Вы спрашиваете: «чей?» — то есть из какой, из чьей семьи. Он отвечает: «Донского» или сокращенно: «Донсков», «Мальгина» или «Мальгин», и прочее. В Сибири спрашивают вместо этого: «чьих вы?» И от этого вопроса произошли прозвания: *Кривых, Нагих, Ильиных* и прочих.

Надобно вам еще сказать, что Маркиана Проклятова, как и всех земляков его, можно узнать по говору; он только слово вымолвит, и сказать ему положительно: «Ты уральский казак». Так же легко узнать по говору хозяйку его, Харитину, и дочерей, Минодору и Гликерию, хотя в говоре, в произношении казаков и родительниц их нет ничего общего. Казак говорит резко, бойко, отрывисто; отмечает языком каждую согласную букву, налегает на *р*, на *с*, на *т*; гласные буквы, напротив, скрадывает: вы не услышите у него ни чистого *а*, ни *о*, ни *у*. Родительницы, напротив, живучи особняком в тесном кругу своем, вечно дома, все без изъятия перенимают друг у друга шепелявить и произносить букву *л* мягче обыкновенного. Они ходят гулять и веселиться на *синцик* в *сёльковой субенке*, а синчик называется у них первоосенний лед, до пороши, по которому можно скользить в нарядных башмачках и выставлять вперед ножку, кричать, шуметь и хохотать. Последнее, по строгому чину домашнего воспитания, им редко удается. Упомянем здесь еще, возвращаясь к семейству Маркиана, что старшую дочь свою, Ксению, старик отдал уже замуж, а приданого не дал, по тамошнему обычаю, ни

гроша; об этом и речи не бывает: жених, напротив, должен по уговору справить невесте *сороку,* головной женский убор, заменяющий со времени замужества, в праздничные дни, девичью *поднизь.* Есть сороки на Урале в десять и пятнадцать тысяч. Там девки все бесприданницы, и обычай этот, конечно, ведется с тех пор, как их было еще мало, а холостежи казачьей набиралось много.

Итак, Маркиан Проклятов дослуживал тридцать четвертый год службы и глядел, хоть еще и крепок был, в отставные, да не выпускали, велели послужить еще с год, а там обещали начать забирать справки. Между тем потребовали с Уралу полк в турецкую войну. Вышел на базарную площадь в Уральске экзекутор войсковой канцелярии,— прежде делывал это войсковой есаул,— прочитал вслух казакам, которые собрались в кружок и слушали, сняв шапки, что: «велено-де поставить полк к такому-то числу, приходится пяти служивым казакам поставить одного; сборное место — город Уральск». Прочел и пошел домой, только и забот войсковому начальству, а полк к сроку будет.

Заложилась наемка, как говорят казаки, или установилась цена, подможных мирских денег по восемьсот рублей. Проклятову негде взять двухсот рублей на свою долю, надо идти служить самому. Дай пойду, говорит, возьму еще раз деньжонки, авось в последний сам соберусь и своих наделю и послужу напоследях великому государю.

Пошел, запел опять песни, обзавелся трубкой, добыл на поход чубарого коня, оба уха и ноздри пороты, и редкой прыти. Полк пробыл два года в Турции, тут еще позадержали в Польше с лишним год, наконец спустили; пошли домой на Урал. Выбыло из полка, однако же, человек полтораста.

Большой был праздник в Уральске, когда вступил туда с песнями 4-й полк. Родительницы выехали навстречу из всех низовых станиц, усеяли всю дорогу от города верст на десять; вынесли узелки, узелочки, мешочки, сткляницы, штофчики, сулейки: все, вишь, жалеючи своих, думают — голодные придут, так напоить и покормить. Стоит старуха в синем кумачном сарафане, повязанная черным китайчатым платком, держит в руках узелок и бутылочку, кланяется низе-

хонько, спрашивает: «Проклятов, родные мои, где Маркиан?» — не слыхать голосу ее из-за песенников, подходит она ближе, достает рукой казака: «Где Проклятов?» — «Сзади, матушка, сзади». Идет вторая сотня, спрашивает старуха: «Где же Маркиан Елисеевич Проклятов, спаси вас Христос и помилуй, где Проклятов?» — «Сзади»,— говорят. Идет третья сотня— тот же привет, тот же ответ. Идет и последняя сотня, прошел и последний взвод последней сотни, а все казаки говорят ей, кивнув головою назад: «Сзади, матушка, сзади». Когда прошел и обоз и все отвечали «Сзади», то Харитина догадалась и поняла, в чем дело,— ударилась об земь и завопила страшным голосом. Казаки увели ее домой, а Маркиана своего она уже более не видала.

ВАКХ СИДОРОВ ЧАЙКИН, ИЛИ РАССКАЗ ЕГО О СОБСТВЕННОМ СВОЕМ ЖИТЬЕ-БЫТЬЕ, ЗА ПЕРВУЮ ПОЛОВИНУ ЖИЗНИ СВОЕЙ

Не думаю, чтобы жизнь моя и большая часть того, что относится к личности моей, заслуживали большого внимания; но уверен, что уроки, коими наделяла меня судьба постоянно в течение тридцати лет, считая с самого дня рождения моего, могут быть поучительны не для одного меня, а для всех, если бы только они могли врезаться другому в голову и в сердце, как мне; уверен также, что спознаться с людьми, коих случилось мне рассмотреть очень близко, никому не мешает, а многим будет и очень кстати. Первые тридцать лет жизни моей были резки в очерках и пестры красками, хотя и сам я человек темный, как вы сейчас это увидите; но не ищите в записках живого человека повести или романа, то есть сочинения; это род живых картин, из коих немногие только по пословице: *гора с горой,*— в связи между собой и с последующими.

Глава I

От сотворения моего и до барской передней

Я сын приписного по ревизским сказкам, по народной переписи, комлевского мещанина, и остался без звания и места, когда отец мой скончался, покинув меня голосистым крикуном, но еще бессловесным. Мать моя поехала с какими-то попутчиками отыскивать от-

ца, который, отправившись по торговле или промыслу своему — он был барышником, как у нас говорят, то есть торговал лошадьми,— отправившись на лебедянскую ярмарку, пропадал, не знаю сколько времени, без вести,— поехала и меня повезла с собою; на пути захворала, сердечная, попутчики покинули ее в чужом месте, она умерла, а я остался круглым сиротой, не научившись еще и самой необходимой на свете вещи: есть хлеб. Село было господское; мужик, у которого в избе скончалась мать моя, а я остался на руках, пошел с жалобой на беду эту к барину; тот, выбранив мужика порядком за такую неприятность, велел взять меня во двор, кормить, поить и растить. Вот все, что я впоследствии слышал от людей господских о том, кто я таков и откуда.

Когда я стал знать и помнить себя, то было мне, видно, года четыре; названая мать моя, скотница в барском доме, колотила меня кулаком в спину, приговаривая: «Молись, молись, молись, не ложись спать как собака». Эти слова остались в памяти моей, и это первые мои воспоминания. Потом, года через два, помню разительную перемену: барские покои; я попал туда со скотного двора по замечательному случаю. Один из барчонков сшалил что-то, и барин велел привести со двора какого-нибудь мальчишку и высечь в барских покоях при виноватом — в острастку; на это, как безродного сироту, избрали меня. Помню, как большой, плотный дворецкий пришел, схватил меня за руку и потащил по двору по лестнице; в покоях поразил меня крик, шум, плач — это барин сердился, бранил барчонка; барыня заступалась за него, а тот ревел. Я глядел на все это довольно спокойно, ничего не понимая, покуда наконец меня вдруг, ни с того ни с сего, схватили, растянули и высекли. И я и три барчонка, мы все выли в голос, барин кричал и все грозил одному из них и приговаривал; а барыня об эту пору уже успокоилась немного и отошла. Когда все это кончилось, барин спросил: «Чей это головорез?» И услышав, что я скотницын приемыш, которая уже вбежала в переднюю, также ревела во всю глотку и кинулась барину в ноги, то он, сказав: «А ты чего тут ревешь, тебе какое дело? Что он, сын, что ли, твой? Ты чего пришла заступаться? Дура!» — приказал оставить меня в покоях; пусть-де привыкает, наука эта не мешает

ему, пригодится, он будет бояться теперь и станет слушаться; потом пригрозил мне и, притопнув ногой, выслал в переднюю. Названая мать вынесла меня на руках, обмыла, одела, успокоила и опять понесла в барские покои: я снова реветь на чем свет стоит; и тут уже поколотила меня и сама Катерина. Заглушив кулаками страх мой, она передала меня холопам в переднюю.

Глава II

От барской передней до француза с отмороженными ногами

Первое время думал я, что меня прикомандировали в переднюю для одной только нужды: чтобы щелкать колодою карт по носу. Я сидел тут безвыходно, холопы играли в три листа или подкаретную и при этом били меня за всех по носкам. Это продолжалось, однако, недолго; вслед за тем помню я себя вдруг за одним учебным столом с баричами, и почти запанибрата с ними.

Это покажется иному странно. Надобно узнать, однако же, Ивана Яковлевича Шелоумова, моего отца и благодетеля, чтобы понять сколько-нибудь такую перемену. Иван Яковлевич Шелоумов был человек до такой степени странный, что иные называли его помешанным. Особенностей в нем была такая бездна, что никто в мире не мог бы в каком бы то ни было случае жизни угадать, что делает теперь Иван Яковлевич, какое выведет заключение, на какой род действий решится. Нрав его был необъясним. Казалось, он по дням, по часам, по неделям принимал на себя временно и поочередно всевозможные нравы и был сегодня не тот человек, что вчера, иногда вовсе не тот, что час тому назад; утром скуп до невозможности, к обеду благоразумный хозяин, к вечеру мот; в понедельник сердит и брюзглив, во вторник насмешлив, в среду отчаянно весел, в четверг учен, глубокомыслен, в пятницу богомолен, в субботу страстный игрок, в воскресенье — затеям нет конца, и весь дом выворотит вверх дном и наизнанку. Он как будто всегда разыгрывал какую-нибудь роль, но, казалось, без намерения, не знал и не замечал этого сам, а следовал житейским правилам своим, на этот раз составленным, и готов был в каждую минуту отдать вам отчет в нынешних

делах своих,— но, заметьте, только в нынешних,— излагая перед вами целую вереницу опытной премудрости своей. Он, казалось, действовал всегда по душевному убеждению и не ханжил, но убеждение это менялось не только с видами луны, а иногда и с высотою солнца. Дома он обыкновенно корчил строгого, но справедливого отца семейства; если тут случался в такую минуту кто-нибудь посторонний, то Шелоумова речь изобиловала бесконечными поучениями, он был нравоучителен до приторности; с дворовыми и крестьянами был он то крайне ласков, шутлив, словоохотлив, снисходителен; то опять вдруг приходило ему в голову, что надобно их взять в руки, и он был криклив, шумлив, драчлив до нестерпимости; то опять хотел достигнуть всего одним путем убеждения и наставления, поучения; «Мысли вслух у Красного Крыльца», сочинения Ивана Яковлевича, читались тогда по целым часам собранным в одну кучу крестьянам, как приказ земского суда. Послушайте его в такой час, и вы найдете живого *Стародумова* или *Пряникова,* лица, которые, как мы полагали, могут жить только в скучных монологах отжившей век свой драмы. Докучая всем до невероятности, когда находила на него эта полоса премудрости, он сам был собою доволен и счастлив; послушать его, так он преобразовал весь околоток, из крестьян своих сделал умных, рассудительных, добрых и послушных людей, а поглядишь на деле — бестолочь такая же, как и всюду: та же бессмертная овца, те же тальки, самосидные яйца, утиральники и пени с новоженцев [1]. При людях, которые мало знали

[1] Для некоторых читателей надобно, вероятно, пояснить это место. *Бессмертный баран* или *овца* дается молодому крестьянину, когда его женят, на обзаведение хозяйства; крестьянин обязан прокормить эту даровую овцу и подносить барину каждогодно по ягненку; жива ли, нет ли овца, никто не спрашивает; она числится бессмертною. *Тальками* называются уроки, задаваемые бабам на зимние ночи, когда их заставляют прясть лен; здоровые бабы ходят на другую барскую работу, а хворые, косолапые сидят при нагорелых лучинах и прядут свои тальки. Бабы в одном мне известном случае не могли или не хотели откупиться от работы этой за шестьдесят копеек в зиму, а между тем плачут за нею горько и просят освободить от нее. *Самосидные яйца* раздаются по паре во все крестьянские дворы, и бабы обязаны высидеть и представить за них весною цыплят. Шитые *утиральники* и по *десяти рублей* собираются со всех новоженцев в пользу господ, когда молодым дается позволение вступить в брак. Все очень полезные и крайне хозяйственные заведения. (*Прим. автора.*)

Ивана Яковлевича или приезжали в первый раз, он нередко вдруг прикидывался хватом, молодцом, силачом, отчаянным ратником на поприще спасения погибающих — и все, что он желал, может быть, когда-нибудь сделать, все это являлось у него уже готовым, действительно исполненным и сделанным, и он лгал и врал тогда без всякого зазрения совести. Иногда находила на него неодолимая охота потешить присутствующих русскими песнями, даже пляской, и тогда он пускался во все нелегкие, кстати ли, некстати — ему все одно. Иногда ломал он немилосердно, и по целым дням, русский язык, передразнивая немца, англичанина, итальянца,— и тогда уже ни с кем не говорил иначе; в другое время порывался говорить по-украински, по-польски; то начинал приучать себя говорить самым отборным, книжным русским языком, то хотел подделаться под наречие крестьянское, то корчил заику, косноязычного и, наконец, зверя или птицу. Иван Яковлевич, например, нередко, сидя у себя один, упражнялся в том, чтобы кричать петухом, теленком, кошкой или выть волком; свои к этому привыкли, и если вдруг страшный вой раздавался по целому дому, то никто на это не обращал внимания. Раз только страшный волчий вой переполошил весь дом, потому что дело происходило ночью. Иван Яковлевич сам перепугался этой тревоги: мать охала, стонала и дрожала, дети ревели в голос, девки и холопы сбивали друг друга с ног, дворня сбежалась, потому что уже и ночной сторож, думая, что в доме режут, колотил во всю мочь деревянным клепалом и орал во всю глотку: «Караул!» Ивану Яковлевичу, как они тогда сказывали, показалось, что уже должно быть утро, и он хотел только напугать проспавших холопов. Я помню так же, как Шелоумову вздумалось непременно выучиться ржать по-конски; это стоило большого труда, и за этим привозили из соседства учителя, какого-то цыгана или татарина. Обыкновенно Иван Яковлевич подражал по наружности во всем такому человеку, которого недавно видел, если человек этот особенно понравился ему или он хотел его осмеять.

Вот вам отец мой и благодетель налицо; после этого не мудрено, если он, вспомнив вдруг, что я несчастный сирота, приказал вымыть, вычесать меня, одеть в старое платье барчонка, призвал, говорил очень долго

и назидательно — хотя я и ровно ничего не понимал — и велел мне учиться вместе с баричами у священника, у отставного протоколиста, которого не велено было принимать никуда на службу, и у взятого для ученья в дом француза с отмороженными ногами, который остался в том краю, когда все товарищи его, пленники с ногами, отправились домой.

Глава III

От замороженного француза до зеленой куртки Ивана Яковлевича

Этому французу и священнику я обязан много; они меня всему доброму выучили, что я знаю и что во мне есть; протоколист учил нас только вместо всемирной и российской истории быть всемирными и российскими негодяями, воровать для него у барина табак, а у барыни сахар, нитки, иголки; лучшее, чему он нас выучил, это играть в козны, в свайку и ловить разными силками и западочками певчих птиц. Случай, по которому он наконец лишился хлеба у Ивана Яковлевича, стоит того, чтобы об нем упомянуть: человек этот, как я сказал, таскал домой все, что только попадалось ему под руки, и, между прочим, завел очередь между учениками своими и отпарывал каждый день у одного по пуговке, роговой или медной, какая случалась,— а обтяжных, впрочем, не трогал. Детям велел он всегда говорить, что пуговка оторвалась и потерялась. Но как в этом доме никто много об одежде нашей не заботился, а протоколист день за день продолжал промысел свой, то барин и заметил вдруг за обедом, что на баричах ни на одном нет ни одной пуговицы. Дело пошло на разбирательства, а как я уже вовсе не желал, чтобы меня опять посекли в пример и страх другим, то я и открыл в ту же минуту всю проделку. Протоколиста комнатку, через двор, в пристройке, освидетельствовали, нашли целый вьюк краденых безделушек, надели ему на шею низку пуговиц, низку из кусочков сахару,— помню, что большого труда стоило нанизать сахар этот, но Иван Яковлевич настоял на своем,— напутали на протоколиста ниток, шелку, булавками да иглами прикололи к сюртучишку краденые листки бу-

маги, ленточки, всякую дрянь и, выводивши его в этом наряде по двору и по всему селу, вывели за околицу и пустили по дороге. Помню, что протоколист просил жалобно: «Что угодно извольте делать надо мной, хоть плетьми прикажите наказать, только чести не лишайте, не изгоняйте из дому своего без куска хлеба». Но все просьбы не помогли, протоколиста не стало.

У священника выучился я по-русски и еще кой-чему; француз настроил меня на такой лад, что меня забрала страстная охота учиться всему на свете. У него без пути не проходило ни одного часу: сидит за чаем, разговаривает с тобой обо всякой всячине и, шутя, приохочивает ребенка расспрашивать и слушать; какую вещь ни возьмет в руки, придерется к ней и расскажет как делается, где, куда и для чего годится, когда изобретена и прочее. Пойдет гулять с тобой на костылях — ни цветка, ни листика, ни букашки не пропустит, чтобы не заучить, как называется она, в какой разряд и порядок она следует, и почему, и куда, и для чего бывает пригодна. От него я шутя выучился трем языкам. Он с попом нашим был очень дружен — и умел ладить со всеми, даже с Иваном Яковлевичем, и — за что я также век буду ему благодарен,— не давая нам никогда слоняться от безделья из угла в угол, занимал столярной, токарной и картонной работой, выучил немного чинить часы, замочки и прочее.

Таким образом, минуло мне уже семнадцать лет,— да, теперь только вспомнил, что я ни слова не сказал о второй названой матери моей, Настасье Ивановне Шелоумовой. Грешно бы мне забыть ее, когда вырос я у нее в доме, как сын. Она любила и уважала Ивана Яковлевича как нельзя больше, до такой степени, что, применяясь каждый день к личине, которую он надевал, к роли, которую он играл, и сама того не замечая, также изменялась день за день в правилах, нраве, видах и намерениях своих и слепо шла ощупью за Иваном Яковлевичем. Отставала она от него, противилась, плакала, молила и кричала тогда только, когда он впадал в крайности вредные и дурные, когда находило на него рвение преобразовывать весь мир плетью и палкой. И действительно, тогда Настасья Ивановна брала вскоре над ним верх, и побежденный, образумившись, перескакивал с верхней ступени крайностей своих на

вторую и третью, перестраивал лад дудки своей пониже, а иногда гласно и торжественно винился и повиновался супруге своей, проповедуя честь и славу и хвалу женщинам и признавая их естественными наставницами и руководительницами нашими. В такую пору ничего в доме и в хозяйстве не делалось без спросу Настасьи Ивановны; к ней посылались и дворецкие, и бурмистры, и конюшие, до которых ей, по принятому в доме порядку, не было никакого дела, потому что она не входила и не мешалась ни во что. «Дочерей у меня нет,— говорила она обыкновенно,— бог не дал; стало быть, нет и хозяйства, нет и дела, как только угождать на Ивана Яковлевича; а сыновья растут у него на руках как себе знают». И затем она обыкновенно тяжело вздыхала, покачивала головой, а нередко и плакала. Жалобы, слезы и вздохи были ее стихией; без них она, как казак без коня, как воин без шпаги. Всегдашний ее разговор, с своими ли, с чужими ли,— это было благодарение богу за семейное благополучие свое, но это делалось таким плачевным образом, что, не вслушавшись, можно бы подумать, не поминает ли она какого-нибудь покойника и жалобно ему причитывает. О четырех детках своих она говорила точно таким образом, будто у нее всего одно только дитя за душой, да и то кто-нибудь отрывает от груди ее; о любезном Иване Яковлевиче — будто он разбит параличом и лежит уже на одре смерти; о порядочном имении, которое с избытком обеспечивало все нужды семейства,— будто сегодня господь дал насущную кроху, а будет ли завтра, кто знает? По этой же причине она всегда говорила умалительными и уменьшительными словами: муженек, муженечек, деточки, детушки, детеныши, деньжоночки, мужички, домишко, огородишко, пашенка и прочее. Она одевалась очень просто, всегда в темное платье, но черного ни за что на свете не шила и не терпела: «Нет, батюшки-светики мои, уж сама на себя лиху беду не накличу».

Иван Яковлевич ходил, по обстоятельствам, в разнородном домашнем платье: иногда можно было, взглянув на него, отгадать, кто он таков сегодня и чем или кем хочет быть. Когда он являлся в халате своем, то это значило, что он намерен быть хозяином, домоседом, отцом семейства; если выходил поутру прямо в сюртуке, байковом или камлотовом, то это значило,

что он будет человек крайне деловой и занятой; если же в коротенькой куртке, то это была одна из самых дурных примет и очень походило на расправу со всей дворней; тогда уже холопы толкали друг друга в локоть, и от передней до скотного двора было известно, что барин вышел кушать чай *в куртке.* Если только Настасье Ивановне удавалось стащить с плеч Ивана Яковлевича куртку эту, которая же прилична одним ребятишкам, тогда и гроза проносилась мимо. Но две крайности — вовсе без верхнего платья, в одной только расстегнутой настежь жилетке, или в щегольском убранстве — показывали, что барин будет отчаянным, молодцом, весельчаком. Щегольское убранство, впрочем, было в ходу только при чужих, когда кто приезжал погостить, и было двоякое: суконный сюртук или даже фрак со всеми к нему принадлежностями или же кофейного цвету венгерка с черными шнурами и прибором. Очевидно, что в первом случае выходил светский щеголь, во втором — лихой рубака, спаситель всех утопающих и сгорающих. Тогда и примерам самоотвержения Ивана Яковлевича не было конца, и он чистосердечно рассказывал, что представил было сам себя к медали за спасение погибавших, когда с отчаянною решимостью погасил руками загоревшийся ситцевый полог у постели спавшей жены своей, что не умеют ценить достойных, медали не дали; но умалчивал при этом случае, что он сам и поджег полог этот, заснувши и не погасив свечи. «Следовал бы Владимирский крест,— прибавлял он,— да не совсем приходится по статуту, так уже хоть бы золотую медаль на владимирской ленте дали: ну, нет!» Когда он выходил безо всего, то говаривал, охорашиваясь: «Ничего тут нет мудреного, что Суворов надевал ленту свою на рубашку и так выходил,— дайте мне только ленту, и я ее надену!»

Дети Шелоумовых были не одинаковы: третий сынок был, кажется, в мать, плаксивый мальчишка, четвертый — баловень отца и матери, упрямый и большой шалун, второй, мне ровесник, был хороший, умный малый и один изо всех охоч к наукам; с ним мы ладили и жили дружно. Старший был отъявленный негодяй, достойный ученик нашего общего наставника — протоколиста. Он давно уже знал все и умел все и в ссоре с братьями тотчас козырял им старшинством своим и

тем, что он один будет наследником отцовского имения, а их устранит и не признает братьями. Отцу он не смел грубить, а матери сказал однажды в глаза, что сожжет дом над нею, если она станет так присматривать за ним, как за маленьким, и не даст ему воли делать что хочет. «Вон у вас есть дитя,— сказал он, указав на младшего,— а я по отце в доме старший». С ним-то, с Сергеем Ивановичем, жили мы очень не в ладах с малых лет. Меня звали Вашей, Вашкой или Вашенькой,— он всегда переменял букву *а* на *о* и, несмотря на все ссоры и запреты, до последнего дня никогда не звал меня иначе; если у меня было что-нибудь съестное в руках и близко никого из старших не случалось, то Сергей Иванович уж непременно выбьет у меня ломоть из рук и, толкнув его ногой, закричит собаке: «Пиль!» Если я под руководством француза склеивал и расписывал бумажный домик, строил деревянную мельницу, то, бывало, оглянуться не успею, как Сережа, наткнув избушку мою на длинную палку, бегал по улице и кричал: «Кому набалдашник!» — и наконец, выманив меня этим зловещим криком, разбивал работу мою вдребезги, не дав добежать до него на несколько шагов. Эта же знаменитая палка имела и еще другое назначение: Сергей Иванович караулил где-нибудь в дверях девок и подставлял им нечаянно палку, чтобы они через нее падали. На жалобу я както редко решался, драться сам не смел, и если бы не костыль француза, то не было бы мне иногда житья от Сергея. Раза два я ему, однако же, отомстил; я сделал гласный донос на него: первое — за жестокие побои одному крестьянскому мальчишке, у которого сам же он отнял и задушил зайчонка, и второе — за покражу у старосты полтинника. Оба раза Иван Яковлевич пришел мгновенно в такое расположение духа, что целые сутки ходил в куртке, и еще засучив рукава — самый отчаянный знак; оба раза Сергей Иванович был наказан, как наказывают только дворян малолетних, и никакая мольба Настасьи Ивановны высечь лучше для примера одного из дворовых мальчишек, которые вчера еще пролезли в палисадник и рылись в огороде, не помогла. Сережа наказан, и куртка еще целые сутки нагоняла страх на божий мир в селе Путилове. Этого-то мне Сергей Иванович никогда не мог простить; и когда мне уже минуло семнадцать лет, как

я упомянул, а ему девятнадцать, то он все еще твердо помнил угрозы свои и готов был вырвать у меня из рук последний ломоть хлеба и бросить его собаке.

Глава IV

От зеленой куртки Ивана Яковлевича до последних фокусов его

Итак, все мы подросли; мне минуло семнадцать лет — считая по именинам: дня своего рождения я не знал,— но это сделалось так незаметно, исподволь, что мы всё еще считались ребятами и Иван Яковлевич говорил о том, куда намерен пристроить сыновей своих на службу, как о вещи еще весьма отдаленной. В один вечер, когда у нас съехались кой-кто из соседей и навезли невест богатым женихам, Иван Яковлевич был необыкновенно в духе, строил проказы на диво, надрывался, чтобы утешить, насмешить и занять всех, и, между прочим, провизжал нечаянно так натурально щеночком, что Настасья Ивановна даже от жалости к такой махонькой твари прослезилась и, глубоко вздохнувши, покачала головой; потом Иван Яковлевич схватил меня с необыкновенным жаром, вытащил на середину комнаты, поставил перед себя и, перебирая пальцами левой руки мне по лицу, пилил меня правой рукой поперек живота, подражая голосом чрезвычайно удачно контрабасу; эта шутка всех насмешила до слез; но Иван Яковлевич вдруг, закашлявшись и как будто вздумав что-нибудь новое, опрометью побежал из залы в свой кабинет. Все затихло в ожидании; я также, стоя посреди комнаты, ждал приказания, думая, что штуки будут еще продолжаться, и не смея сойти с места. Проходит несколько минут, и все тихо — а в кабинете раздается какой-то глухой и дикий голос; все считали обязанностью хохотать над этой шуткой хозяина, хотя никто еще не понимал, что из этого будет; одна Настасья Ивановна упрашивала только мужа плаксивым голосом перестать, потому что это слишком страшно, и предваряла гостей, что Иван Яковлевич собирается взвыть волком. Голос затих, все снова стали прислушиваться: послышалось сильное хрипение — опять захохотали: нельзя же, хозяин тешит го-

стей, надо благодарить. «Вот, Настасья Ивановна,— сказала одна гостья»,— вам не в угоду была та штука, Иван Яковлевич тотчас и другую нашел, заснул, экой проказник!» Затихло и хрипение; ждали, больше ничего нет; Настасье Ивановне показалось сомнительно, что-де Иван Яковлевич долго там делает и гостей покинул, пошла в кабинет и сама взвыла волком: Иван Яковлевич лежал на диванчике и простывал уже — с четверть часа, как изволили скончаться.

Итак, бедного Ивана Яковлевича сразил внезапно кровяной удар, и ни следу жизни больше, ни тени надежды. Суматоха сделалась в доме страшная, все теснились в трехаршинный кабинетец; толкали друг друга; бабы подняли вой, истинно волчий, какого покойнику не удавалось заживо подслушать; привезли запыхавшегося мельника, который, как около машинного дела ходит, умел также поставить рожки и бросить кровь; кровь не пошла, но при этом случае все, кто был живой тут, убедились, что покойник приготовил было еще много штук иа сегодняшний вечер. Поднесли свечи, стали раздевать покойника, чтобы бросить ему кровь; все теснились и зорко, пристально вглядывались, сняли перчатку с левой руки — на кулаке написана красками преуморительная рожа, нельзя не смеяться, при всей жалости. Иван Яковлевич умел закутывать искусно и свивать расписанную таким образом руку, и у него выходил из этого плачущий младенец, которого он качал и убаюкивал, и сам же за него ревел. Сняли фрак — другая штука наготове: положена вдоль спины белая полотняная рубаха — как будто знал, что она ему сегодня понадобится! Это была заветная штука Ивана Яковлевича, которой он никому не рассказывал, только всех ею удивлял,— смерть ему изменила; теперь все вышло наружу! Иван Яковлевич ходит будто ни в чем не бывал и заведет речь, что можно-де с кого угодно снять все белье, а платья не трогать, оно останется сверху. Разумеется, никто этому не верил, но никто и не соглашался при всем честном обществе на пробу, а только спорил, что быть не может. Тогда Иван Яковлевич говаривал: «Ну, так уж и быть, для такого дня, для таких гостей, извольте, я жертвую собой»,— и, сняв шейный платок, развязывал обложенный из-за спины воротничок рубахи, расстегивал рукава ее на белых нитяных пуговочках и прика-

зывал кому-нибудь ухватить на затылке ворот рубахи и тянуть смелее; к общему ужасу и удивлению, рубаха вся выходила этим путем наружу, а фрак оставался на плечах и все платье на своем месте и в порядке.

Но этим еще приуготовления Ивана Яковлевича не кончились: ногти средних пальцев были у покойника покрыты слоем желтого воску для отличного фокуса с серебряными пятачками; из кармана жилетки выкатился свисток, которым Иван Яковлевич, бывало, дразнит соловья; словом, покойник был этот день весь на фокусах, и, глядя на все это, можно было усомниться: не фокус ли и это холодное чело, бездыханная грудь и сердце без боя?

Но нет, это был не фокус; все там будем, как заметил при этом случае староста,— кто прежде, кто после! Мы осиротели, не успев и подумать о сбыточности такого горя, не испытав ни одного мгновения страха, боязни и надежды у изножья его одра. Я плакал горько; соленая, едкая слеза текла по щеке и растравляла царапину, которую провел тут невзначай живой Иван Яковлевич, когда играл на контрабасе; я потирал ее рукой, и плакал, и оглядывался: мне казалось, благодетель мой еще стоит за мною, и пилит меня по брюху, и царапает пальцами по лицу,— а труп его лежал уже передо мною!

Это был вообще первый покойник, которого мне сыздетства случилось так близко видеть; я не мог верить, что благодетеля моего нет; он живой был еще слишком близок ко мне. Я остался при покойнике и прорыдал всю ночь; дьячки читали однообразным, глухим полуголосом, француз сидел в углу на креслах, сложив руки на положенные поперек перед собою костыли; дети Ивана Яковлевича плакали, кроме Сергея, который скоро утешился; Настасья Ивановна всю ночь пролежала на полу ничком, вопила и выла, припоминая и причитывая все добро, которое видела от супруга своего, и окончивала всегда вопросом: «А кто мне теперь будет...» и прочее. Дворня в первую минуту с пронзительным воем бросилась в барские покои, но вскоре угомонилась, кроме нескольких баб, которые остались помощницами при Настасье Ивановне. Мужики приходили из села беспрестанно, входили тихо и чинно, вздыхали, крестились молча и опять уходили. Бабы все любопытствовали только взглянуть на лицо

покойника, посмотреть на него, больше им ничего не нужно было. На третий день были похороны, к коим вдруг явился, откуда ни взялся опять, наш протоколист, которого мы не видали уже несколько лет. Он так ел за поминовальной трапезой, будто он во все годы эти не брал в рот ни крохи во ожидании такого сытного случая.

Глава V

От последних фокусов Ивана Яковлевича до казенного добра, которое не тонет и не горит

Начинается правление Сергея Ивановича, старшего наследника, потому что в междуцарствие, до назначения и приезда опекунов, прошло много времени; а во все это время правил делами и хозяйством он один. Правление это ознаменовалось тем, что протоколист снова поселился в доме и остался правою рукою нового хозяина, что француза согнали со двора, а отца Стефана, который прежде бывал ежедневно, не стали пускать в дом. Все приметы хорошие. В первый раз отроду пришла мне в голову мысль о том, что со временем из меня будет? Какой мне путь открыт в мире, какое мое назначение? Сильно овладела мною эта забота, отбивала ото сна и еды, и я пошел отвести душу к французу, которого взял к себе в дом на время священник. Первый потрепал меня по щеке и сказал мне по-французски то место из евангелия, где сказано, что каждому дню подобают заботы свои; а отец Стефан, кивнув головой, проговорил то же по-славянски. Я просидел у них долго, они утешали меня много — но не утешили; никто из них не мог решить моего сомнения и сказать мне что-нибудь положительное. Я не думал тогда, что судьба печется обо мне уже по-своему и что будущая участь моя решается в эту самую минуту в барском доме.

Протоколист шнырял всюду, наставлял и поучал Сергея Ивановича и, рывшись в конторе, открыл нечаянно, что покойный барин приписал меня при последней народной переписи, когда я был еще по другому году, в свои крепостные и дворовые; с этою вестию, с ревизскою сказкою в руках, поспешил он к ны-

нешнему своему покровителю. Взявши меня круглым сиротою в дом, Иван Яковлевич, вероятно, нисколько не призадумался пристроить меня к своей дворне; ребенок взят еще сосунком, вскормлен,— своих у него нет, здесь он чужой,— куда же его больше девать, как не в дворовые? Когда же впоследствии сделали из меня полубарича, то Иван Яковлевич, как сказывала после Настасья Ивановна, намерен был дать мне отпускную; но времени впереди казалось еще много, ребенку ведь все равно, куда он приписан и где числится, а вырастет — успеем отпустить. Так думал Иван Яковлевич, да не так вышло!

Не успел я воротиться от священника, как малый прибежал за мною звать меня к Сергею Ивановичу, который уже перебрался в покои старого барина. В углу стоял подобострастно протоколист; дурная примета, подумал я — и не обманулся. Сергей Иванович, назвав меня в первый раз отроду не исковерканным именем моим, Вакхом, продолжал: «Я привожу после покойного батюшки дела в порядок и подумал также о тебе. Вот, видишь, ревизские сказки, в которых ты значишься сыном тогдашней скотницы нашей Катерины и должен служить господам своим не хуже другого. Полно тебе жить дармоедом, это стыдно и грешно. Надеюсь, ты помнишь все наши благодеяния и постараешься их заслужить; я на первый случай не помню тебе старых твоих грехов. Бывшего старосту я сменил, а новый безграмотен, да и мало привычен еще к делу; будь же ты у него помощником да слушайся его во всем, а не то, если не подорожишь моею милостью, так будешь у меня свинопасом. Ступай, жить можешь покуда в конторе».

Все это меня так озадачило, что я опять в ту же минуту пошел на суд и совет к отцу Стефану. Француз стучал костылями в пол и грозил кулаком на воздух, а отец Стефан, выслушав все спокойно, пошел сам в контору за справкой. Она подтвердила все; меня приписали шестнадцать лет тому назад, забыли про это или оставили без внимания; так я и рос, и никто об этом маловажном обстоятельстве не заботился. Просьбы священника у Настасьи Ивановны не помогли, а рассердили только Сергея, которому мать не смела указывать; братья его и подавно были безгласны, он всех их рвал за уши и грозил сечь; тоже досталось

и второму, Николаю, который ходил за меня просить. Таким образом, участь моя была решена. Француз успокоился, когда нечего больше было делать, и учил меня переносить свою судьбу, удерживая от всех дурных замыслов и покушений, которые иногда роились в моей бедной голове,— как, например, от побега, на который я однажды было почти решился.

Быть крепостным — это по себе еще не так велика беда; да мое-то положение было нестерпимое, и если б не отец Стефан да не француз, я бы себя погубил. На что же мне дали это образование? Приписали — так и оставили бы у Катерины на скотном дворе, и я бы пас свиней да плел бы лапти не хуже другого, а теперь тяжело. Как помощник старосты записывал я бирки его, стоял по целым дням и считал снопы, когда молотили для пробного умолоту; объезжал пашни, околицу, стоял с хворостиной, когда пахали не на урок, а по дням, и был вообще на посылках, вроде десятского; бывало, в темную, грязную ночь идешь от избы до избы под окном, постучишь и наказываешь по наряду старосты, кому куда с зарей на работу. Вот в чем состояли занятия Вакха Сидорова Чайкина, попавшего из полубар чуть не в свинопасы.

Но всего этого Сергею Ивановичу было мало, он, видно, решился доконать меня, стал налегать со дня на день больше. Немного все-таки совестно было ему перед всеми живыми людьми; делал я все, что ни заставят, и уж жалоб на меня не было никаких — а я видел, чего ему хотелось; он таки не шутя хотел понемногу поднять меня до чину свинопаса, и хотелось ему непременно меня посечь. Француз всегда умел меня утешить и успокоить, во всех обстоятельствах давал положительные советы, что делать; но когда я ему предложил однажды последнее обстоятельство на разрешение, тогда он замолчал и стиснул только зубы, повел бровями и пожал плечами. Ответа я долго не мог от него добиться; наконец он сказал: «Делай что сам знаешь»,— и, встав, пошел раскачиваться по маленькой светлице на костылях.

Но господь сохранил меня и не допустил до этого; иначе, может быть, теперь лежал бы на душе моей большой грех. Тут случилось вот что.

Как теперь помню, в воскресенье поутру, когда мы выходили от обедни — а в деревнях, как вы знаете,

обедня и начинается и оканчивается рано,— зазвенел вдруг на конце села колокольчик, поднялась пыль, летит тройка. Ну, это, уж конечно, никто как исправник. В деревне это событие не последнее; исправник без дела не приедет, всем хочется знать, зачем он приехал, и барские холопы всегда уже по два и по три стоят, упершись головою в двери, и подслушивают, о чем идет речь. Я от обедни пошел с отцом Стефаном к нему на дом, а через полчаса вдруг шасть в двери названая мать моя, старуха Катерина. Она вошла запыхавшись и с каким-то особенно таинственным видом, помолившись, прокашлявшись и поздоровавшись, рассказывает в отчаянье, что исправник приехал за мной, что меня берут в солдаты. Долго не могли мы добиться толку у старушки, которая едва успела отвести дух, как залилась слезами и начала причитывать по мне, как по покойнике: «А ты радость моя, а ты ненаглядный мой, а ты красное солнышко мое...» и прочее. Когда батюшка побранил ее и успокоил, а француз в нетерпении прикрикнул, стукнув костылем в пол, то она так же несвязно и бестолково, хотя во всей подробности, рассказала, что Андрюшка стал было подслушивать у дверей кабинета, куда барин ушел с исправником, да барин увидал, и взял Андрюшку за чуб, и ударил лбом в косяк, и отбил Андрюшке охоту подслушивать; там Ефишка с Ванькой подошли немного погодя на смену и кой-что слышали-таки, да барин опять вдруг выскочил, и ухватил их обоих за чубы, и долго колотил лоб об лоб; между тем, однако же, Андрюшка отдохнул, оправился и снова подкрался со щеткой в руках, на случай прикинуться, будто что подметает; и все они вместе слышали, что исправник приехал за мной и берет меня в солдаты.

Как ни была для нас троих, отца Стефана, француза и меня, весть эта непонятна, потому что нельзя было тут добиться никакого толку и смыслу, однако она всех нас крайне обрадовала; это была одна из счастливых минут жизни моей, и я не смел дать полной веры словам моей старухи. «Коли быть мне битым,— сказал я,— так пусть бьет меня государев чин, а не Сергей Иванович». Француз был просто вне себя от радости; батюшка поздравлял меня с отдачею в солдаты, как поздравляют близкого человека с чином генерала. Помню все это как теперь: я стоял сре-

ди комнаты, сложив руки, выставив ногу вперед, и, кажется, старался придать себе солдатскую осанку; батюшка передо мною, в праздничном подряснике своем и положив правую руку на грудь, уверял меня в своей искренней радости, в милости господней и непостижимости промысла его и косился немного на француза, который вскочил с места, стоял на одном костыле, другой вскинул на плечо вместо ружья и, потряхивая молодецки головой, пел изо всей силы: T'en souviens-tu[1], столь известную военную французскую песню. Между тем попадья выглядывала любопытно из-за перегородки, со сковородником в руках, а старая Катерина выла от всей души и уже ни на кого более не глядела.

И действительно, я в тот же самый день вечером сидел уже с писарем исправника на особой тележке и мчался в уездный наш город. Мне, как водится, хотели набить на ногу колодку, но отец Стефан упросил исправника, поручившись за меня и снабдив меня на дорогу пирогом матушкиного печенья. Француз простился со мной как солдат с солдатом и дал мне три целковых—у меня, разумеется, не было ни гроша. Настасья Ивановна плакала, прощаясь со мной, вспоминая покойного своего сожителя, и благословила меня образочком; Николай Иванович также заплакал и обнял меня, Сергей же сам не видался со мной, а велел только отобрать у меня платье и обувь и дать сапоги и зипунишко поплоше, из домашнего сукна.

Я уже было думал, что Сергей Иванович меня отдал в солдаты, хотя и не понимал, для чего это сделалось таким необыкновенным порядком; во всяком случае, я благословлял судьбу свою. Никто не взял на себя труда объяснить мне загадку эту, один только Николай сказал мне, что меня берут по указу губернского правления. Что же я за важный человек, что обо мне правление пишет указы, и почему и за что? Я уже боялся ошибки, боялся, что меня опять обратят, когда писарь исправника, попутчик мой, объяснил мне все дело.

Отец мой, как я сказывал, отправился из Комлева в Лебедянь на ярмарку и пропадал без вести более году. Я родился во время отсутствия его, вскоре после

[1] Помнишь ли ты об этом *(франц.)*.

отъезда, и мать сама поехала со мною отыскивать отца. Она, бедная, и не знала того, что ему там давно уже лоб забрили и что она солдатка, а сын ее кантонист. На пути сказали ей знакомые, встречные извозчики, что муж ее, слышно было, никак в тюрьме помер; вслед за тем и сама она в Путилове богу душу отдала, а я на грех остался. Казенное добро в воде не тонет, на огне не горит; через восемнадцать с лишком лет меня доискались и велели поставить на службу. Каким случаем отец мой угодил в солдаты, этого писарь не знал.

Глава VI

От казенного добра, которое не горит, не тонет, до преглупого покроя платья

Рассказал бы я, как еще одна добрая душа поплакала за мною в Путилове, как она стояла на пороге избенки, под мельницей, накрыв глаза левою рукою и ощипывая правою цветную завязку на рубашке своей, да не хочу докучать читателям. Она же недавно тогда помогала отцу таскать порожние мешки на мельницу, и вся, от головы до ног, припудрена была мукою. Огромное колесо ворочалось мерно, шумный стрежень воды прядал с лопасти на лопасть, вся мельница дрожала, гул отдавался далече, а вблизи петух, похлопывая крыльями, кричал во все горло, и его не было слышно; только было видно, что вытянулся и клев свой разинул. А колесу какое до чего дело? Оно знает свое, служит мельнику верно, покуда все клепки не рассыплются. Пожалуй, хоть голову подставь, и ту измочалит, и все будет вертеться по-прежнему. Его не разжалобишь.

В первый раз отроду увидал я, каков был свет за Путиловской околицей; уездный городишко наш с каменными присутственными местами показался мне столицей, а губернский поселил во мне такое уважение, что я легонько ступал по тропинкам улиц его, не смея развязно и свободно ходить. Тут я получил письмо от француза, который писал мне, между прочим, что Катерина все еще не отчаивается исходатайст-

вовать мне свободу от службы и что протоколист взял у нее на этот предмет целковый. Она шла своим путем — верила только всякому вздору и обману, верила протоколисту, а не слушалась советов отца Стефана не давать этому отъявленному мошеннику по-пустому денег.

Меня через внутреннюю стражу сдали в полк и привели к присяге. Страшна показалась мне присяга эта, и я перечитывал ее несколько раз после. Слова: *не щадя живота своего, до последней капли крови* — придавали мне, однако же, какую-то бодрость, и я расписывал воображением своим разные случаи, когда доведется мне исполнить на деле клятву эту. Полк вскоре выступил в поход, как слышно было — в Италию, но все это оказалось ложною тревогой; войска размещены были в южных губерниях на квартирах, и храбрость моя, не остывшая во время перехода восьмисот верст пешком, с ружьем и ранцем, начинала остывать теперь от скуки и безделья. Между тем офицеры заметили меня и уже несколько в обращении своем отличали; а когда однажды рисуночек мой дошел случайно до полковника, то он призвал меня, поговорил со мною, расспрашивал обо всем, и, наконец, в угоду полковнице, которой рисунок этот по вкусу пришелся, так что она много над ним смеялась, велел мне объяснить, что такое все эти лица и где они? Оговорка моя, что это будет долгая сказка и в связи с прежними приключениями моими, не помогла; полковница требовала непременно моих пояснений и села на стул, как будто собиралась меня долго слушать. Я рассказал, что тут дворецкий приволок меня со скотного двора, а холопы подают уже скамейку и розги, и меня собираются сечь за то, что третий сынок Ивана Яковлевича воткнул сальный огарок в отцовскую пенковую трубку; четверо баричей стояли рядком и лесенкой, один под одним, вплоть у скамьи; Настасья Ивановна, отстояв детенышей своих, спокойно уходила из комнаты, принявшись уже за свою работу, за веретено; Иван Яковлевич стоял в зеленой куртке своей, грозный, величественный, держал распущенный клетчатый платок в руке и указывал тою же рукой на третьего сыночка своего, будто бы говорил: «Это, шельменок, следовало бы тебе, принимай на свой счет,

гляди, уж я его не пожалею!» Все четыре сыночка ревели, глядя прямо на отца и не закрывая лица руками,— такой их обнял страх,— а с меня огромный дворецкий тащил на лету и без того уже изодранные шароваришки, между тем как двое холопов наперерыв старались уложить меня и подняли в воздух. Все это делалось с таким усердием, что, казалось, они изорвут мальчишку на клочки, а Ивану Яковлевичу доведется сечь одну скамейку. Картинка эта всех много позабавила; полковник хохотал, полковница смеялась почти до истерики, две свояченицы также, и вдруг все стали говорить обо мне между собою по-французски: сожалеть обо мне, хвалить пристойную наружность мою и умаливать полковника, чтобы он принял во мне участие. Мне совестно было слушать все это, и я сказал полковнику, что разумею по-французски; это породило еще более любопытства: со мною заговорили и заставили рассказать на этом языке вкратце похождения свои. Все обступили меня, стояли вокруг меня, глядели во все глаза, как на диво какое, на зверя, тюленя морского, и не могли натешиться, надивиться, что человек говорит на двух, трех языках и играет на фортепьянах; а почему? потому что человек этот стоял навытяжку в солдатской шинели, не смея развести рук, и приговаривал за третьим словом: «Ваше высокоблагородие». Приди он в каком угодно ином платье, и все это не показалось бы нисколько удивительным.

С этого дня судьба моя изменилась. Полковник, который принимал у себя и юнкеров своего полка с большой разборчивостью, вскоре велел мне ходить к себе обедать каждый день. Я охотно занимался ученьем детей его, тем более что приобрел тут же и еще ученицу в рисованье — ученицу, о которой поговорим после. От писарской должности я отказался, желая служить, коли служить, во фронте, и ходил во все наряды наравне с прочими солдатами, а свободное время проводил у полковника. Он приближал меня к себе понемногу и с большой осторожностью; видно было, что он хотел наперед меня испытать, увериться, таков ли я, каковы были мои слова; но менее чем через год я был в доме свой, а через два — мне нашили галуны. Полковник показал мне представление, в коем, несмотря на короткий срок службы моей, просил убедительно

о производстве моем, в том уважении, что в полку-де не было ни одного офицера, каков этот рядовой. Пусть это и была одна только фигура убеждения, но она показывает, как любил меня полковник.

Положение мое при всем этом было очень странное: мне, как солдату, всякий говорил *ты*, начиная от полковника и полковницы и до денщиков, одни только горничные были вежливее, называли меня всегда кавалером, почтенным и Вакхом Сидоровичем. Навытяжке перед каждой парой эполет, я с дамами полковничьими был как со своими; да лих не свои, и не в свои я сани сел!

Раз как-то нарядили меня с тремя рядовыми в конвой за пойманными бродягами, которых отправляли в земский суд. Дорогою один из конвойных пустился в расспросы, кто из них, из арестантов, откуда родом. Я только было оборотился назад, чтобы велеть солдату молчать и не разговаривать с арестантами, как услышал, что один из них отвечал: «Из Комлева». Из Комлева, с родины моей! Я подумал с минуту и стал сам его расспрашивать, и сколько помню, один только этот раз во всю службу свою погрешил я заведомо против присяги своей — каюсь, но не раскаиваюсь. Я спросил: знавал ли он в Комлеве мещанина Сидора Чайкина или жену его Марью? «Как не знать,— отвечал он,— го́дов тому будет с двадцать, я у них сына крестил».— «Какого сына?» — «Такого сына, как бывают они: Вакха. Сидор в те поры уехал по торгам, а мне и наказал быть крестным отцом, коли родится у него сын; оно так и сталось». И комлевский бродяга оказался крестным отцом моим; он сказал мне, что я родился 1 марта, а отец мой был отдан в солдаты того же году, во время самой лебедянской ярмарки — следовательно, около троицы или покрова, то есть, во всяком случае, позже, летом или осенью. Обстоятельство это, по-видимому пустое, было для меня довольно важно: если показание крестного отца моего справедливо, то я не кантонист, не солдат, а свободный человек.

Проводивши крестного отца своего в кандалах куда следовало и давши ему целковый на дорогу, я, как воротился, пошел к полковнику и объяснил все. Там слушали меня с большим участием, полковник сказал,

рассмеявшись: «Видно тебе, брат, чудеса такие на роду написаны, а между тем надобно списаться».

Полтора года после этого случая, всего после четырех лет службы моей и на двадцать втором в исходе от роду, получил я чистую отставку, как неправильно записанный на службу. Рад ли я был отставке? — спросите вы. Да что же мне было делать? Тянуть лямку до прапорщика оставалось мне еще десять лет; склонность моя влекла меня к наукам, а здесь — конечно, также наука, да не та. Ходить в замке, во взводе, я выучился, да это меня не тешило. Итак, в отставку: ружье и ранец в сдачу каптенармусу, а фрак — подарок доброй полковницы — на плеча. А верите ли, когда пришел я в амуничник сдавать казенное добро, так ружье свое повертел в руках и призадумался над ним; кажется, если бы я с ним сходил в славный поход, не на шутку тяжело было бы с ним расстаться. Преглупым платьем показался мне теперь наш фрак, даже после солдатской шинели: венгерка, куцая куртка моего покойного благодетеля, право, гораздо толковее.

Глава VII

От преглупого покроя платья до попутчика

Куда мне деваться теперь и что мне начать, я еще не знал; небольшие деньжонки у меня были; житье у полковника мне было веселое, ничего не стоило, и я сначала никуда не торопился. Я тешился вольной волей своей, и тут мне было хорошо. Полковник и милые хозяйки строили иногда со мною планы о будущности моей — все это казалось еще далеко впереди. Нет, далеко от нас только прошлое.

Ученица моя, о которой я упомянул выше, была меньшая свояченица полковника, Груша. Видно, необыкновенные похождения мои, нынешнее звание, конечно несогласное со степенью данного мне образования, и другие обстоятельства и случайности возбудили в ней живое ко мне участие. Как девица военная, она привыкла и ко всему быту этого сословия, к подчиненности солдат *ее* полка, к услужливости их — но такой солдат, как я, ей, конечно, еще не попадался; немножко живое воображение ее расписало ей взаимное поло-

жение наше красками романическими; я был молодец вовсе неопытный по этой части и, коротко сказать, ничего не думал и ни о чем не думал, как едва не дожил до того, что и думать было поздно. Обыкновенно связь и дружба подобного рода, если она возрастает до известной степени, оканчивается тем, что молодые люди начинают говорить друг другу наедине *ты;* здесь наоборот: Груша начала меня тем отличать, что говорила мне, когда никто нас не слышал, *вы.* Я принялся жить, когда вышел на свет, за околицу Путилова, с таким жаром и рвением; я видел столько прекрасного впереди и, кроме хорошего, видел иногда только смешное, а дурное забывал — я жил и дышал с такою свободою и самоуверенностью, несмотря на незавидный жребий свой, с такою простотою и недогадливостью, с такою чистою совестью, что шел бодро и без оглядки вперед, думая: «Все хорошо, как оно есть»; и беречься, остерегаться я не умел, тем менее мог я уберечься от такой беды, какая мне тогда грозила,— попирать ландыши на пути ногами, когда, казалось, безгрешно мог ими радоваться и утешаться. О последствиях не было у меня никакого понятия, мы с Грушей только очень подружились. Не хотелось бы докучать вам, а не могу и отстать так сухо от этого заветного предмета. Полковница, конечно, давно видела неуместную дружбу нашу, но ей нас было жаль обоих, и она считала все это ребячеством.

Вслед за отставкой моей один из капитанов того же полка посватался на Груше; это наделало такой суматохи в доме, что тайна не могла остаться без объяснений. Разумеется, что я никогда не смел и подумать о браке с Грушей, и действительно, мысль эта никогда мне в голову не приходила; но она отказала жениху, которому, по всем соображениям старшей сестры и зятя, отказывать не следовало. Грушу никто не неволил, а хотели только допытаться о причине отказа; но, кроме слез и заклятий, что она никогда замуж не выйдет, ответу не добились. Все это, однако же, произвело во мне и в ней, без всякого об этом предмете разговора, такую видимую для всех перемену, что никому не трудно было разгадать загадку; полковница воспользовалась первым случаем, чтобы со мною об этом переговорить.

Она сделала это очень тонко и искусно, с женским уменьем и изворотливостью, и спросила меня, что я об этом думаю. Никогда в жизнь мою не испытал я такой пытки, и за себя и за Грушу. В эту минуту только очи мои прозрели. Я отвечал наконец, что ничего не думаю и думать не в состоянии, просил ее думать за меня и без всяких обиняков приказывать мне, что теперь делать: я готов на все безо всякой оговорки или исключения. «Кажется,— прибавил я,— если я только в этом омуте что-нибудь вижу, кажется, мне должно ехать сегодня или завтра».

— Должно,— отвечала она.— Чувства ваши, которые вас никогда в жизни не обманывали, и теперь остались вам верны. Не осуждайте нас за это: поживите еще немного на свете, так чтобы вы могли оглянуться назад, на происшествие это, и, право, вы нас оправдаете.

Разумеется, что отставной унтер-офицер свояченице полковника своего не жених; об этом даже с устранением всех светских предубеждений толковать нечего. В ту же ночь я сел тайком на нанятую двуконную подводу, оставив полковнику и полковнице по письму, и ускакал по ближайшему пути на почтовый тракт. Мне и теперь еще больно, что я должен был оставить полк свой и дом полковника, этот приют мой, убежище и рай, таким бесславным образом. Зачем не мог я расстаться с этой семьей, как послушное и доброе дитя, выходя на свет, покидает дом родительский?

От француза, с которым я постоянно переписывался, получил я письмо перед отъездом; в Путилове произошли большие перемены: там давно уже наехали опекуны, приняли имение, сдали его вскоре опять Сергею, за совершеннолетием его, и наехали уже опять другие, потому что имение было отдано в опеку за дурное обращение помещика с крестьянами. Добрый француз мой нашел спокойное место у соседнего помещика.

Выехав на столбовую дорогу, я поудержал прыть свою и не стал закладывать себе парных подвод, а сел и выжидал попутчика. Надобно, однако же, вам сказать, куда я ехал; последнее похождение мое заставило меня подумать толком и основательно о будущности моей. Будь я без всякого чину, просто ничто, так бы тут заботиться не о чем, как о деньгах; деньги есть —

все будет, и жить на свете можно. Но отставной унтер-офицер — это звание отводило мне место по чину в харчевне, в кабаке, на толкучем и под качелями, а во всякое другое общество двери для меня не отворяются. Так ли я был воспитан, того ли мог желать? Повторю еще раз, оставь меня на скотном дворе, у Катерины, и я бы пас свиней и был бы счастлив, когда у меня брюхо набито, но если уж раз сделали из меня человека с другими понятиями, чувствами и потребностями, тогда я не могу, не в силах довольствоваться панибратством черни. Итак, что мне делать, каким родом сбыть этот камень преткновения, чин? Идти служить — много воды, может быть, утечет, покуда дослужусь до первого офицерского чина. Остается другое средство: идти учиться; учиться я бы рад был не только за чин, а отдал бы его, если б он на мне был; у нас же дают за это чин в прибавку, только выучись чему-нибудь! Дело решено: еду в Питер, буду зарабатывать чем могу насущный хлеб свой — живут же там и другие люди — и стану учиться в академии или в университете.

Комлев, родина моя, лежал от прямого пути не более сотни верст в стороне; чего бы мне, казалось, там искать? Ни своих, ни даже чужих, которые бы могли помнить меня,— да как же не взглянуть, хоть мимоходом, на колыбельку свою? Потянуло меня туда. Выехав на большую дорогу, стал я у крестьянина, обошел постоялые дворы, завернул к станционному смотрителю и обещал всюду на водку, если кто найдет попутчика, который бы согласился подвезти за сходную цену отставного служивого. Узнаю, что на станции впереди есть какой-то барин, который также ждет попутчика, и тотчас отправляюсь туда.

Глава VIII

От попутчика до чемодана, в котором добра немного

Нахожу видного молодого человека, который стоял, сложив руки в карманы, перед открытым окном и напевал, звучно заливаясь: «Соловей мой, соловей», а вслед за тем перешел он к «Vive Henri quatre»[1]. Смот-

[1] «Да здравствует Генрих Четвертый» *(франц.)*.

ритель обрадовался мне и просил увезти этого постояльца, который хозяйничает тут уже дней десять и надоел ему горше редьки. «А я было думал, он меня подвезет?» — сказал я. «Ну, там уж как себе знаете,— отвечал тот, махнув рукой,— только убирайтесь, пожалуйста, отсюда».

Молодой человек — лет ему было, однако же, под сорок — очень обрадовался товариществу моему, сказал было, что ему надо ехать в Киев, но в ту же минуту согласился ехать со мною и на Комлев, уверяя, что это ему все равно,— хотя это было так же равно, как и направо и налево, назад и вперед,— мигом приказал закладывать лошадей, что смотритель исполнил с отменным удовольствием и поспешностью; тот бросил в телегу легонький и крошечный чемоданчик и, взяв порожнюю трубку в зубы, сидел уже, поджав ноги, на телеге и распевал оперные арии. Все обстоятельства эти, конечно, должны бы были надоумить меня, с кем я связался, но, на беду, он спросил меня тотчас же, не говорю ли я по-французски; я, как отставной унтерофицер, думал повысить себя в глазах его на чин, показав образованность свою,— и на этом-то лощеном языке он так благородно и заманчиво умел убедить меня во всем, заставить встречать все его желания с предупредительною вежливостью, что я, несмотря на какое-то внутреннее беспокойство, был не в силах ему в чем-либо отказать, даже показать малейшую недоверчивость. Нет, по-русски он бы меня не надул, а по-французски обморочил, зачаровал. Это был такой тертый калач, какого мне в жизнь мою более не случалось видеть. Очень смуглое, сухое, но широкое лицо, черный щетинистый волос и брови, огромные бакенбарды, огромные белки, прямой, умеренный нос, резкие черты и очень выразительная игра мышц и движений в лице. Когда он улыбался иронически и скривив немного рот, насупив противоположную бровь и выглядывая исподлобья, то нельзя было не смеяться в душе, не почувствовать привязанности и уважения к этому немому проявлению ума и остроты. Широкие плечи и молодецкая осанка, какое-то ловкое уменье красоваться непринужденно во всяком положении тела и еще не знаю что, какая-то невидимая безделица, сноровка в простой дорожной одежде его придавали ему что-то благовидное, укрывали от глаза простого

зрителя, не наблюдателя, скудное состояние крайне изношенного платья. Смотритель потребовал, кроме прогонов, сколько-то рублей с копейками за кой-какие съестные припасы, забранные попутчиком моим у него в первые дни квартирования,— в последние же, как видно, он хлебал молоко в долг в разных крестьянских дворах, и три бабы явились у подъезда со своими требованиями. Попутчик мой, не обращая ни на кого из них ни малейшего внимания, разговаривая со мною, достал свой бумажник, вынул оттуда маленькую картиночку и, подавая мне ее с повозки, сказал, все по-французски: «Вот этот город, где я был так счастлив, *l'alma citta di Roma*[1], я его всегда ношу при себе,— если вы охотник до хорошеньких очерков пером в три тени, в чем я не сомневаюсь, судя по образованности вашей, то возьмите листок этот себе, теперь я сам скоро там буду. Потрудитесь удовлетворить этих скотов: у меня в бумажнике одни крупные ассигнации, тут конца не будет расчетам — сядем и поедем, пора, там сочтемся».

Теперь я понял все; но попутчик мой был так мил и развязен, что я не нашелся, как тут поступить иначе, а заплатив деньги, сел, поехал и, несмотря на всю любезность и разговорчивость продувного товарища своего, твердо решился везти его не далее одной станции. Я и сам был так беден деньгами, что не отдал бы их в эту минуту и доброму человеку в нужде, а тут... бросить в воду!

Приехали на станцию; попутчик очень зорко вглядывался в меня, и все болтал, несмотря на молчаливость мою, и, закричав, чтоб скорее закладывали лошадей, ухватил меня с каким-то дружеским толчком и урывкой под руку, и повел скорыми шагами ходить; он все болтал и вдруг, покинув меня, извинился, сказав, что сию минуту будет, и ушел, повернув за угол, за ближний крестьянский плетень. Я решился сказать смотрителю, чтобы он ведался с другим проезжающим, который велел закладывать, а я не поеду на почтовых; сам же, похаживая взад и вперед, ждал своего попутчика для объяснений.

Проходит четверть часа, полчаса — его нет; иду его искать — нет нигде. Тем лучше, подумал я, какая мне нужда об нем заботиться, и пошел искать себе деше-

[1] Благостный город Рим *(итал.)*

вую подводу или крестьянина-попутчика — но оно вышло не к лучшему; товарищ украл у меня из кармана, видно в то самое время, когда подхватил меня довольно бойко под руку, мой бумажник и пропал с ним, как в землю провалился, среди белого дня; все поиски мои, все старания смотрителя, которому я обещал награду, остались тщетными; ямщики бегали по деревне, скакали по всем дорогам: нет его. Он, видно, сметил уже по лицу моему, что я его далее везти не намерен, и взял свои меры.

Не учиться стать было мне идти пешком: я надел заслуженную солдатскую шинель свою, продал смотрителю и содержателю постоялого двора за бесценок три четверти пожитков своих, навьючился остальным и пошел, ответив только смотрителю, который спросил, указав на чемоданчик попутчика моего: «А это же что у вас?» — «Это не мое». Вероятно, там добра было немного. Я даже не оглянулся.

Глава IX

От чемодана, в котором добра немного, до фортепьян с турецким барабаном

Мой паспорт об отставке послужил мне на пути, до самого Комлева, вместо бумажника; отставному солдату, который шел на родину, на пятистах верстах не отказали в пище и ночлеге ни в одной деревне. Мало того: когда меня захватила на пути ранняя зима, то к ночи и в непогоду мужики не выпускали меня из села: «Там свалишься где-нибудь,— говорили они,— да замерзнешь, выпив на дорогу, а после за тебя отвечай; ложись, служивый, да отдохни, сделай милость, заутра накормим и отвезем тебя, нарядим подводу, только бы невредимо выпроводить из околотка. Мы и то теперь еще не оклемаемся с третьего году, как, спасибо, соседи черепановские кинули на нашу межу какое-то мертвое тело: словно вся деревня на два года к земским в кабалу пошла. Тут приставили из села в рабочую пору караул, ровно добро какое стеречи, да держали недели три; тут весь суд выехал и стали по квартирам, и корми их курицами; тут заковали того, чья пашня на меже, где нашли покойника, да и всех по

очереди перещупали, у кого была запасная скирда на гумне. А чего, покойник этот уж им больно знаком; его исправник из того уезда, ровно в подарок, нашему прислал, перетащил через границу, взявши там, что пришлось, с мужиков; да вот с веревкой на шее таки, покуда не рассыпался весь, и ходил все с межи на межу. Уж мы, брат, наплакались тогда; так сиди, сделай милость, служивый, и не пустим до утра, хоть как хочешь».

Добрался я до Комлева; отлегло мне вдруг, отошло от сердца, ровно клад какой дался,— а не все ли мне равно тогда было, что Комлев, что Тамбов, что Ирбит? Чужой всюду; случай, однако же, послужил мне не только отыскать в первый же день домишко, в котором я родился, но и поселиться в нем у добрых, хотя очень забавных и странных людей и пожить с полгода спокойно; без гроша нельзя было идти в столицу, а в Комлеве нашел я вскоре учеников и стал учить всему на свете. Горек хлеб учительский, да делать было нечего; рублей двести, за очисткой расходов, надо было заработать.

Хозяин мой был также учитель, музыкант, разумеется единственный в городе, как учитель и как бальный оркестр. Голосу у него не было, он говорил осиплым шепотом и рассказывал каждый день по нескольку раз, что он голос потерял на пожаре; но зато играл он на всех инструментах в мире, не только поодиночке и порознь, но и на всех вдруг. На вечеринки являлся он за целковый, обвешанный с ног до головы целым оркестром, и играл всю ночь напролет. Когда он упражнялся однажды дома на девяти инструментах вдруг, переняв это от какого-то проезжего фигляра, то сделался пожар, дом вдруг обхватило пламенем; музыкант до того испугался, что выскочил на улицу с девятью инструментами, привязанными в разных местах тела, бегал с этой музыкой по улице и не мог долго от нее отвязаться: бубны гремят, тулумбас за спиной стучит, потому что к локтю привязана палка, тарелки между колен бренчат — словом, тревога страшная. Растеряв по улицам все инструменты свои, он надседался два часа криком на пожаре; был несколько раз окачен с ног до головы водой, сильно простудился и с той поры остался без голоса. Человек этот был, казалось, природою назначен в музыканты: ноги как флей-

ты, губы как раструб кларнета, руки ровно смычки, а сам настоящий виолончель. Притом щеголь; коли в праздник уберется, наденет жилетку с разводами и стеклянными пуговками, а голубой фрак откинет — настоящий расстегай, до которых он был такой страстный охотник. Он всюду слышал и видел музыку: зазвенит ли стакан, брякнет ли серебряная ложка, он откликается из третьей комнаты октавой; знает наизусть звук всей домашней посуды своей по камертону и мне жаловался однажды, что у него одна кастрюля фальшит, если не долить ее водой до метки, которую он нарочно в ней сделал. Коли вечером девки издали поют, а жуки пролетом гудят, то он, сидя на крылечке, подбирает к голосам девок басы жуков; коли на заре плотники рубят избу и звонкий стальной топор звенит — Сидор Еремеевич откликается на скрипке или на гитаре квинтой и квартой. Он, несмотря на безголосность свою, был большой знаток и рядитель музыки и заметил однажды, когда я разыграл ему кой-что из тогдашних новых опер Россини, что он это знает; это хорошо, но это-де все выкрадено из гвардейских маршей; Россини все так делает. Немножко он прав, подумал я, хоть и не совсем.

Хозяйка моя, супруга музыканта, мастерски пекла расстегаи, гладила каждый день манишку супруга своего и готовила на вечер белый шейный платок, пила чай из даровой чашки с надписью золотом: «В знак великодушия», и охотнее всего рассказывала истории болезней разных знакомых своих, вроде следующей: «Она, батюшка, ослепла на один глазочек, окривела, так, ни с чего; прикинулся ячмень, она и говорит бабам: «Бабы, покажите мне кукиш». Бабы показали кукиш, а тут стало застилать туманом, и окривела. Не слушается добрых людей, батюшка, оттого и худо бывает; вот хоть бы у соседки нашей: ребенок пошел было до году и стал ходить — говорили люди, что бы путы было перерезать [1], как только пошел он в первый раз,— так нет, ну и сел опять и ползает до трех годов».

Добродушный Сидор Еремеич, хозяин мой, не только не ревновал ко мне, как к сопернику в промысле своем, но с истинным бескорыстием художника доставил мне тут и там случай давать уроки, посылал ино-

[1] То есть черкнуть ножом по земле между ног. *(Прим. автора.)*

гда вместо себя, брал с собой на вечеринки и делил со мною свой целковый; цена была на это в Комлеве искони одна, и более никто не жаловал, хоть приди один, хоть сам-сём. Сидор Еремеич их избаловал, отвечая один за семерых.

В Комлеве стояла пехота и был батальонный штаб; одной помещице понадобилось показать холостым офицерам, как мило поет у нее дочь. Для этого тотчас же составили концерт в пользу бедных, и все ученики и ученицы Сидора Еремеича и мои напевали, надували, насвистывали и наигрывали тут, кто во что горазд. Меня пригласили сопровождать певицу на фортепьянах. Пробы делались на одних фортепьянах, а к концерту принесли другие, незнакомые мне дотоле, с музыкой Сидора Еремеича, то есть с фаготами, кларнетами, свистками — словом, с целым оркестром и даже с турецким барабаном. Известно, что все это приводится в движение во время игры особой подножкой; я полагал, не рассмотрев наперед фортепьяно, что педаль внизу обыкновенный, нажал его во время концерта на самом великолепном месте арии, в которой переливалась сладкозвучная певица,— и адский шум всех возможных звуков на разлад, с громовым стуком турецкого барабана, огорошил испуганное ухо мое. Певица чуть не обомлела, слушатели сначала вздрогнули, потом поднялся хохот, и этот несчастный случай едва не лишил меня всех учеников и учениц; мать певицы по крайней мере приложила к тому неутомимое старание и оставалась до конца непримиримым моим врагом.

Глава X

От фортепьян с турецким барабаном до кочерги и щетки

Зима прошла, я свел счеты свои и убедился, что хотя и преподавал в Комлеве усердно все искусства и науки, но не скоро заработаю себе кормовые деньги на первые полгода столичной жизни. Мне казалось выгоднее побыть с год у какого-нибудь помещика на всем готовом; тогда жалованье, хоть оно и невелико, можно бы было сберечь почти все. Сидор Еремеич по-

мог мне и в этом: помещик трехсот душ — не шутка — Василий Иванович Порубов взял меня на место прогнанного им француза в дом за четыреста рублей в год, на всем готовом. Я крайне обрадовался: в год заработаю четыреста рублей и с ними пойду в Питер.

Василий Иванович жил в деревне, верстах в пятнадцати от Комлева. Он был давно уже вдов и радел о воспитании дочери и сына — ей двенадцать, ему пятнадцать лет. Василий Иванович, служив в молодости в военной службе, пришел однажды к корпусному командиру с горькой жалобой на полковника, который-де не дает ему ходу, не представляет к отличию, и просил униженно уважить просьбу его и представить к кресту или чину. Корпусный командир спросил его: «Разве вы думаете, что довольно жить и быть здоровым, чтобы получать награды?» Василий Иванович согласился беспрекословно, что, кроме этих случайностей, необходима и милость начальства, без которой-де, конечно, трудно до чего-нибудь дослужиться. Генерал захохотал, выслал Порубова, а этот, пождав еще немного и выждав только производство двух стоявших под ним поручиков, рассердился, вышел в отставку и, как говорится, насмеялся начальству своему, потому что ему дан был при отставке чин штабс-капитана.

Когда я прибыл к Василию Ивановичу в усадьбу, то встретил его в воротах барского дома в следующем поезде: на старый высокий каретный ход, тем временем, когда еще вместо рессор употреблялись пасы, ремни с зубчатыми колесиками, были поставлены для легкости вместо каретного кузова ободранные большие кресла, и на них сидел барин. На высоких козлах сидел малый, а позади ходу привязана была большая деревянная лошадь, поставленная на колеса; на этой лошади пятнадцатилетний Митенька, мой будущий ученик, и погонял плетью деревянного коня своего, между тем как тятенька его очень снисходительно со мною разговаривали и, обещав скоро воротиться, просили войти в дом. Василий Иванович таким образом ездил каждый день с сынком покататься и объезжал все межи свои, все межевые столбы и ямы. Вошедши в дом, откуда Василия Ивановича сейчас только выпроводили и, как видно было, в эту минуту никого не ожидали, я встретил в первой комнате еще поезд дру-

гого, не менее странного рода: барышня каталась, верхом же, на тучной, здоровой девке, которая с ужасным хохотом и криком прыгала курц-галопом взад и вперед, между тем как целая стая дворовых ребятишек и девок, окружавшая потешное зрелище это, с таким же неистовым криком, скачками и взмахами обеих рук изъявляла душевное свое удовольствие. Когда я вошел, то поезд с большою поспешностью удалился, холопы стали по углам и грызли ногти, а девка подошла наконец ко мне, удерживаясь всеми силами от смеху, и сказала: «Барина дома нету-с». «Это я вижу»,— отвечал я. Девка отвернулась, побежала, рассыпалась в пути неподдельным заливным хохотом, на который и холопы, и девки, и вся дворня единодушно, со всех углов и закоулков, отозвалась тем же, и весь барский дом огласился дружным, до половины заморенным хохотом. Я стал оглядываться: хохо́туши всех родов и величин стояли и сидели, прижавшись под столами и дверьми, за шкафами, ширмами — словом, где только был свободный уголок.

Часа через полтора Василий Иванович воротился, принял меня очень милостиво и радушно, кончил наперед всего со мною ряд и уговор, представил мне обоих учеников моих и рассказал, за что прогнал своего француза: он понемногу завел в доме галантерейную и мелочную лавочку, которую и возил с собою в город, когда на зиму вся семья туда перебиралась, и образовал из воспитанников своих пребойких и изворотливых сидельцев.

Василий Иванович был человек очень веселого нрава; вечером к нему съехались человека три близких соседей, и вышедший ныне вовсе из моды пунш находил тут своих потребителей. Было много крику и смеху: никто не хотел верить, чтобы отставной служивый, как я, не пил пуншу, тогда как Митенька выпивал всегда стакан свой с удовольствием. Двое из гостей были мелкопоместные: по этому поводу завязались споры, шутки и перекоры. Василий Иванович торжествовал; он не упустил случая рассказать любимую остроту свою, конечно не собственного изобретения, что дворяне здешние разделяются на три разряда: на великодушных, у коих более ста душ и которые, следовательно, имеют полный голос на выборах, на малодушных, у коих менее ста, и на бездушных, у

коих нет ничего. Один из малодушных гостей принимал невыгодные отношения свои очень к сердцу и грозил весь вечер, стараясь перекричать собеседников своих, что скоро, очень скоро прикупит к своим тридцати семи душам еще шестьдесят три, и тогда у него будет сотня сполна и он будет участвовать в выборах и уже даст себя знать: тогда избираться будут во все места и должности одни только достойные.

На другое утро Василий Иванович занялся хозяйством, он велел подать и отмерить при себе двадцать аршин домотканой полосушки собственно себе на халат; советовался со мною, нельзя ли завести своих певчих, и спрашивал, не умею ли я лечить собак; приказал отправить в город, к известному птицелову, Три-Ивану, четверть круп и мерку конопляного семени, на которые выменял у него перепела и щегленка; позвал Ваньку и требовал отчета: для чего он вчера был пьян? И когда Ванька повинился, оправдавшись тем, что ему надо было побить жену и что он нарочно для этого только и выпил немного, то Василий Иванович обратился с вопросом к Сидорке: чего он смотрит и скоро ли решится поучить также немного жену свою, которая нисколько не лучше Ванькиной? Наконец, распорядившись таким образом дома и приведя все в порядок, Василий Иванович поехал опять с сынком прокатиться на межу, в тех же дедовских креслах на каретном ходу, и подтвердил только, чтобы Митину лошадь привязали сзади покрепче, потому что она вчера на ухабе оторвалась и Митя остался было среди дороги верхом на деревянном коне своем и насилу докричался отца, который, как и кучер, не слышали крику его за стуком экипажа.

Таким образом, я опять с утра остался в доме с тем же обществом, которое вчера так простодушно веселилось во время отсутствия барина; и как я, чтобы не мешать, удалился в свою комнату, а притом меня уже считали своим и не так передо мною чинились, то вскоре и раздался по целому дому смех, визг и топотня босых девок, и я издали мог отличить знакомую мне побежку барышниной лошадки.

В своем покойчике нашел я еще памятник француза — все стены были исписаны, вероятно по недо-

статку или для сбережения бумаги, счетами купленных и проданных вещиц: колец, серег, пряжек, игол, пуговок, шелку и прочего. Вечером опять приехали собеседники и пили пунш, и Степан Степанович опять кричал громче всех и грозил, что скоро, очень скоро прикупит он шестьдесят три души к тридцати семи, и тогда об нем услышат; до того времени-де он молчит.

На третий день опять то же; вся разница была та, что Василий Иванович после коротенького делового утра своего пригласил меня ехать с ним на межу, приказав мне оседлать коня, не деревянного, а живого. Тут я увидел, чем Василий Иванович занимается на этих ежедневных прогулках своих: он объезжает каждый день поочередно участок межи своей; лошади, затвердив путь этот наизусть, останавливаются у каждой межевой ямы, у каждого столба; Василий Иванович выходит, осматривает, любуется и едет дальше, а потом домой. Он рассказал мне год, число и обстоятельства, когда которая межа проведена и столб поставлен, указывал все урочища, по коим у него и у предков его бывали тяжбы, излагая начало, ход и конец их во всей подробности. Частью победитель, а частью побежденный, Василий Иванович оградился наконец, после многолетних и убыточных тяжб, кругом и со всех сторон межевыми знаками, и с этих-то пор, уже лет девять, не может нарадоваться ими и ездит ежедневно услаждать ими зрение и душу свою. Вокруг всей межи проложена была торная дорога. На обратном пути опять оторвалась Митина лошадка; он насилу нас докричался, заставил кучера тащить себя с полверсты к рыдвану и стегал его плетью за то, что худо привязывает лошадку его. Василий Иванович успокоил, однако ж, сынка, сказав: «Душа моя Митенька, твоя лошадка бесится, оттого она и оторвалась»; и Митя расхохотался и был доволен. Когда мы воротились домой к обеду и вошли в покои, то пыль столбом и разгоревшиеся лица барышни и девок показывали, что они и сегодняшнее утро, пользуясь отсутствием барина, провели в тех же приятных занятиях.

Вечером на половине Василия Ивановича шло все по-старому; собеседники и пунш явились в урочный час; но в детской произошла небольшая перемена против прежних дней. Митеньке здесь нельзя было ездить

на деревянной лошади своей, привязанной к каретному ходу, ни Верочке также на своей; поэтому они, как охотники до езды, выдумали ездить по комнате друг к другу в гости. Приехала Верочка к Митеньке на стуле; он принял ее приветливо, осведомился, по настоянию толстой няни, о здоровье супруга гостьи своей и обещал к ней быть с женой. Она уехала, а он едет к ней верхом на щетке и погоняет кочергой; последняя была жена его. Но Верочка не хочет признать ее родней, говорит, что это не жена, а кочерга; Митенька, обидевшись невежливым приемом сестры, которая никак не хотела поцеловаться с женой его, ткнул сестру наконец кочергой в зубы и вышиб ей *оных* два.

За исключением таких, довольно редких, особенных случаев, все шло день за день обычным своим порядком; француз выучил малюток Василия Ивановича французской азбуке; к русской у них не было охоты, и год прошел, когда мы остановились на *раздорожнице*, на *мыслете*. Василий Иванович просил меня всегда только об одном: не торопить и не принуждать детей, идти исподволь, потихоньку. По окончании года мне плата выдана была сполна, и мы расстались с Порубовым дружески, остались, по-видимому, друг другом довольны.

В продолжение этого года Василий Иванович сделал только одно умное дело: он скупил в губернии до двухсот мертвых душ, то есть таких, которые значились налицо по последней народной переписи, но которых уже не было; за покойников этих Василий Иванович платил по пять и десять рублей, приписал их законным актом к лоскуточку болота, купленному рублей за пятьсот, а потом заложил в опекунском совете имение в двести душ, на которое имел все законные акты, по указной цене, по двести рублей душу, и, взяв сорок тысяч рублей, предоставил совету ведаться с болотом и покойниками. Не понимаю о сю пору, как Василия Ивановича на это стало.

На прощанье Митенька рассказал мне, передразнивая голосом крик животных, о коих говорил, прибасенку: жук летит и говорит: *убью;* гусь спрашивает: *каво?* Теленок отвечает: *меня,* а утка поддакнула: *так, так, так,* а коза, подслушав, засмеялась: *ме-э-э!..*

Глава XI

От кочерги и щетки до метлы с фонарем

Приезжаю к Сидору Еремеичу, чтобы снарядиться в путь к окончательной цели своей, в столицу. Хотя я и видался с ним нередко, но он обрадовался мне до крайности, обещал ныне же к обеду расстегаи и аккуратное пивцо, рассказал, что голос его все еще не поправляется; показал мне вновь составленное им полное собрание русских музыкальных инструментов: балалайку, гудок, рожок, поиграл на каждом немного, заметил, что и гусли его и торбан принадлежат сюда же и что он писал через птицелова Три-Ивана на Украйну и просил убедительно прислать при первой возможности рыле, с которою там слепцы поют думы свои; супруга его только было начала рассказывать, как заседатель, неосторожно подгулявши, пошел плясать в сочельник и что его за это скорчило, таки вот так,— и присела, словно сама хотела проплясать вприсядку,— как вдруг двери растворяются и входит сам Иван Иванович.

Один почтенный немец, который жил уже давненько в Комлеве, никогда и никак не хотел верить, чтобы человека, который к нам теперь вошел, звали Иваном Ивановичем Ивановым. Немец говорил, покачав головой: «Один Иван — это должно, два Иван — это можно, три Иван — никак невозможно»; и несмотря на все убеждения, считал это шуткой и ничего более не слушал. Вот почему Ивана Ивановича Иванова звали в Комлеве Три-Ивана; под этим прозванием был он известен целому городу. Это был отставной и холостой чиновник лет пятидесяти, который уже годов пятнадцать занимался только двумя промыслами: мирил тяжущихся и ловил певчих птиц. Сам он был миролюбивейший человек в мире, а мирил других как по внутреннему побуждению своему, так и для выслуги по статуту Анненского креста; ему недоставало для этого еще только двух мировых, из коих одну он имел уже в виду. Пожелаем ему от души креста, который старика, по-видимому, очень утешит; право, он его заслужил. Если бы у нас хоть на десять ябедников был всюду один такой примиритель!

Три-Ивана был птицелов, голубятник и рыбак; и все это в такой степени, до которой только может развиться какая-нибудь страсть человеческая. Добродушное, округлое, рябоватое лицо его сияло, как воскресное солнышко, когда он заговаривал о своем предмете,— а как он никогда и ни о чем более не говорил, то и был постоянно весел и доволен. Остренький носик, несколько похожий на птичий, и карие маленькие глазки, настоящие огневики, оживляли еще более лучезарное благополучием лицо; на коротеньком туловище, в темно-зеленом сюртуке, с закинутыми на спину или опущенными в задние карманы руками,— иначе Иван Иванович не ходил; кожаный картуз очень редко надевался на лысину, а большею частью носился под мышкою, потому что вечно был набит разными птицеловными снарядами или живыми птичками, которые у него не улетали даже из картуза: так он умел с ними ладить; или, наконец, червями, рубленым мясом для наживки удочки. В этом виде ходил Иван Иванович и притом вечно присвистывал сквозь зубы, манил чижа, щегла, снегиря или чечетку.

Три-Ивана жил в своей очень опрятной избушке, построенной всего на четырех и четырех с половиной саженях; на коньке поставлены шесты с вениками, а на них повешены цапки или западочки; по углам забора, также на шестах, скворечницы; весь дворик представляет род садика, в котором большая часть небольших деревьев — подложные, воткнутые сучья, обвязанные и обвешанные пучками разных трав и кустиков для приманки птиц. Посредине род беседки, к которой ведет узенький, низкий крытый ход прямо из дому, а по обе стороны беседки — *лучок* и *тайничок*, сетки, коими ловят птиц и от коих шнуры проведены в беседку. Весь забор был кругом утыкан вениками и метлами, волчцом и коноплями, и повсюду расставлены силочки; дом и двор Ивана Ивановича был для птичек очарованный замок, из которого, если они только залетали, им улетать не удавалось. Иван Иванович мастерски дразнил и подзывал всех без изъятия певчих птиц, гонялся иногда за каким-нибудь щегленком, которого признавал издали *шестериком* или *осьмериком*[1], по целому городу, лысый, руки в карманах сюр-

[1] По числу белых пятнышек на хвосте, состоящих, по словам знатоков, в тесной связи с голосом щегла. *(Прим. автора.)*

тука и без картуза, и все насвистывал, и приводил-таки щегла наконец к себе на двор, и подманивал под лучок. Дом снутри и снаружи был решительно покрыт клетками всех родов и величин работы самого Ивана Ивановича. Вы могли у него купить и променять на что угодно, по уговору, любую певчую птичку, кроме черного жаворонка, которого держал он как привозную редкость и берег пуще глазу: ему не было цены; на двух концах двора стояли две голубятни: в одной водились *чистые*, в другой *вертуны* или *турманы*. Избави бог, если одному из тех или других вздумалось перелететь на другую голубятню: Три-Ивана бросался, завидев такой соблазн, как бешеный прямо из окна с хворостиной на двор, загонял всех голубей по местам и на целые сутки запирал голубятни. Это делалось, чтобы породы отнюдь не перемешались. Зато какие были у Ивана Ивановича голуби! До него черные, черноплекие, черногривые и чернопегие вертуны не водились вовсе; верьте мне, ни у кого в России не водились! Он их развел в своем заводе, на своей голубятне, и от него уже они разошлись и теперь, конечно, не в редкость. Он завозил голубей своих за сотни верст, даже любимая шутка его была подарить приезжему охотнику голубка, показав наперед, каково он *ходит*, и потом от души насмеяться легковерному, который увозил голубя с большими хлопотами домой и только и видел его, покуда держал взаперти: как выпустил — так и пошел прямым путем домой, в Комлев, к Ивану Ивановичу. Иногда Три-Ивана распродавал охотникам всю голубятню свою и брал за пару рубля по два, по три и более; через две-три недели опять все дома: охотники, бывало, только похаживают вкруг очарованного забора Ивана Ивановича да поглядывают: взять нечего. Зато как берег их Иван Иванович, как холил, как ухаживал за бедняком, когда иной завертится и убьется; а гоняет: без того нельзя, для чего же их и держать! Но посмотрели б вы, когда Три-Ивана взгонит *чистых* своих! Тогда он отправляется обыкновенно на вышку, на беседку, где на кровле всегда стоял у него светлый медный таз с водой: он чистился постоянно, по два раза в неделю, по середам и по субботам. Так-то стоит Иван Иванович, превыше сует мирских, и глядит не вверх, где голуби летают, а вниз, в воду, в таз, и видит все, видит, как они ходят на кругах все выше

да выше и круга делаются все меньше да меньше; изредка только, глядя в магическое зеркало свое, покрикивает он: «Врешь, врешь, сбился», когда голубь выходил из круга, но через минуту все опять было в порядке. Если случалось, что какой-нибудь из голубей, несмотря на благородство крови своей и приличное данное ему воспитание, выходил не в семью, безобразил поведением своим всю голубятню, посрамлял товарищей и хозяина, например: козырял, хлопал крыльями на лету, рыскал, садился на чужие кровли, то Три-Ивана съедал его преспокойно на другой же день в белом соусе. Верх торжества для Ивана Ивановича был, когда он успевал сманить и загнать чужого голубя; но он никогда не позволял себе при этом каких-нибудь неблагопристойностей, низостей, как другие голубятники, например: ловить голубей в силки или тому подобное; нет, он действовал всегда начистоту, хоть сам хозяин тут стой: подпускал своих, осаживал их исподволь, опять подганивал, если нужно, а как скоро только сел приятель, то уже все равно что в руках; Три-Ивана заганивал его прутом вместе со своими в голубятню, и тот уже не смел и подумать улететь, ровно невидимая сила его приковала, слушается и идет! Но враги Ивана Ивановича, на которых он был зол и мог очень сердиться, это были хорьки, ястреба, и в особенности кошки. «Я лучше дам себя укусить бешеной собаке,— говаривал он,— чем позволю кошке перелезть по моей крыше». И он в пятнадцать лет успел убедить всех жителей Комлева в непозволительности держать в городе кошек или успел перебить всех их, не знаю, но только в Комлеве давно уже кошки перевелись, не было ни одной. Пожалуйтесь на крыс и мышей, и Три-Ивана сию минуту задарит вас мышеловками своей работы, только не держите, не разводите кошек. При всем неограниченном миролюбии его у него бывали ссоры и тяжбы с соседями за кошек; он настоятельно требовал, чтобы полиция запретила держать их, подводя их под статью о хищных зверях, которых пунктом таким-то держать в городах запрещено. Не успев же в этом деле путем правосудия, успел он в нем путем убеждения и самовластия; бил кошек всюду, где они ему попадались, ловил их в капканы, платил мальчишкам за каждую убитую ими кошку, усовещевал жителей при каждом удобном случае не дер-

жать этой подлой твари, которая бывает причиною всякого зла на свете: лихорадки, сухотки, родимца и вообще гнева божия. Если же ястреб, коршун или сорокопуд попадались в руки нашему Три-Ивану, то он, добродушнейший человек в мире, не довольствовался простою смертью хищника, а казнил его на маленьком лобном месте и долго мучил и терзал наперед с разными поучительными наставлениями.

Весною и осенью Три-Ивана ловил певчих пролетных птиц как у себя дома, так и в близких рощах, куда уходил с зарею на целый день со всеми необходимыми снарядами; летом ловил перепелов, накрывал жаворонков и, кроме того, рыбачил на удочку, чем занимался и в течение целой зимы. И это дело, как известно, мастера боится; никто не умел сделать крючок, вылить в мел или в кирпич грузильце и пригнать поплавок так, как Три-Ивана; ни у кого рыба не клевала как у него, и он рассказывал вам подробно, сколько в котором из ериков и озер какой рыбы счетом, говорил об ней как о дворовой птице, как будто все подгородные воды составляют собственность его или сняты им на откуп и он всю рыбу бережет для себя одного. Часто слышали от него жалобу, вроде следующей: «Плут этот, кривой Мишка, вытащил у *меня* из Грачева озера тринадцать окуней; что с ним будешь делать — пусть ест на здоровье; однако, видно, еще сотни с полторы крупных осталось».

О молодости Ивана Ивановича рассказывали в Комлеве два анекдота, не знаю выдуманных или истинных: говорят, что он, будучи в то время еще страстным охотником до ружья и собак (охоту эту Три-Ивана впоследствии, однако же, бросил вовсе), просился из той губернии, где служил, в южные губернии России потому только, что суровый климат был не по здоровью любимой легавой собаке его; и второе, что Ивана Ивановича в молодости, еще в чине губернского регистратора или провинциального секретаря, не помню — чинов, о коих ныне уже почти не слыхать, — товарищи завели ночью в овин воробьев бить: взяли по метле, а ему дали в руки фонарь, приперли ворота и вместо воробьев его же бедного самого гоняли по овину из угла в угол метлами.

Глава XII

От метлы с фонарем и до самого полковника и дальше

Как бы то ни было, а Три-Ивана вошел к приятелю своему Сидору Еремеичу, придерживая осторожно под мышкой картуз, поздоровался, подошел к ручке супруги хозяина, опять запустил руки в задние карманы, повертывался на каблуках, рассказывал с восхищением, как он казнил сегодня сорокопуда, который был до того дерзок, что хотел вытащить синичку из клетки; Сидор Еремеич приказал подать для двух гостей своих самовар; хозяйка потчевала и угощала нас усердно и отвечала, когда Иван Иванович, как человек вежливый, привстал с места и просил, чтобы она сама изволила выкушать чашечку, отвечала: «Благодарю покорно, я одну посудинку выдержала, испродовольствовалась». Сделав должное и успокоив таким образом совесть свою, Три-Ивана обратился ко мне и заговорил со мною каким-то горестным, сострадательным родом, жалея и соболезнуя о горькой участи моей и утешая меня тем, что бог не без милости. Я отвечал ему, что, слава богу, кончил дела свои хорошо и теперь еду в Питер, куда так давно порывался. «Как едете? — спросил он.— Да ведь у нас набор!» — «Какая же мне нужда до набора?» — «Помилуйте, да ведь вас общество наше, мещане отдают в рекруты; они там высчитали, что очередь за вами!»

Три-Ивана не обманул меня; общество посылало уже за мною в усадьбу Порубова и, не застав меня там, в тот же вечер отыскало в доме Сидора Еремеича, посадило в кандалы и отправило с отдатчиками в губернский город. Я от нечаянности этого происшествия так обезумел, что опомнился только в губернском городе, где застал уже письмо примирителя и птицелова, в котором он, как законник, изъявил сильное сомнение, вправе ли общество отдать меня, как отставного унтерофицера, снова на службу, и советовал объявить об этом подробно в присутствии.

Один из отдатчиков, ходивший хлопотать тут и там о скорейшем приеме нашем, воротился с вестью, что подмазал везде, где было можно: инспектору врачебной управы отдал сам из рук в руки и с глазу на глаз;

прокурору — через одного из присяжных, который по этим делам употреблялся; военному приемщику — через унтера его, и кажется все ладно. На другое утро меня повели. Солдатом я служил, как читатели помнят, но в рекрутском присутствии не бывал, а отдан прямо, через бригадного командира кантонистов; ныне при всех проделках одно только не показалось мне, что унтер-офицер стал толкать меня носками по голени, чтобы я под меркой вытягивался. Я и без того не приседал, а стоял солдатом; но он делал это по всегдашней привычке и обычаю.

В присутствии, кроме прочих, был еще жандармский штаб-офицер и даже флигель-адъютант. Это не прежние времена, и ныне при выборе всякую неправду выведут наружу. Надобно же быть еще такому случаю: военный приемщик был прежний ротный командир мой; а знаете ли кто был флигель-адъютант? Родной отец мой, полковник.

Ну, нечего по-пустому калякать: меня выслушали, призадумались, дело было сомнительное, хотя и казалось бы — отдавать отставного унтера в солдаты нельзя; но никто не смел взять на себя решение этого вопроса, случая необыкновенного, на который у нас нет никаких постановлений,— и два месяца прошло в переписке, на которую, однако же, последовало решение в мою пользу. Я жил у полковника, рассказывал ему все похождения свои — он слушал с любопытством и взял с меня слово, что я напишу записки свои: вот они. Полковник был здесь на короткое время и без семейства; Груша выходит замуж, и, как говорит полковник, очень счастливо. Триста рублей полковничьих к моим четырем сотням, которые я сберег в целости, итого семьсот, сумма почти баснословная, зашита была в синий получекмень мой, и я отправился с обозом извозчиков по пути в Питер.

Что мне докучать читателю не только подробностями пути, но и самого житья моего в Питере; я перебивался с петельки на пуговку, с корки на корку; для чужого человека Питер — тот же лес, а люди, покуда не обживешься, не спознаешься с ними,— те же дикари и звери. Не стану пересчитывать вам все сотни тысяч неудач, которые встречал я каждый день и на каждом шагу; но дайте рассказать мне два-три примера. Менее всего помех встретил я со стороны медико-хирур-

гической академии; там только нашел я радушный прием и поддержку. Всего труднее было мне зарабатывать во все время свой кусок хлеба и форменный мундир со всею к нему амуницией. Учить детей и переписывать с листа — вот источники для нашего брата; я вовсе не прочь и от черной работы, но колкой дров и ноской воды более как на хлеб не заработаешь, а время убьешь все; мне же можно было работать только по ночам да междучасками.

Попал было я в контору русского купца с уговором работать вечером по два часа; но вскоре стали меня употреблять вместо артельщика, давать кучу поручений на следующее утро, когда мне надо было быть на чтении. Я объяснился: это-де против уговора и сверх сил моих, и уволен был с таким аптекарским счетом, по которому, слава богу, с меня ничего не взяли.

Попал я еще к портному для переписки всех счетов его на тисненой розовой бумаге голубыми чернилами, как любовные записки,— но он хотел также возложить на меня не только обязанность сборщика всех недоимок, но и ответственность за них: «Вы сам писал чет,— говорил немец,— вы должен отвечать; это мой правил».

Но самый замечательный в этом роде случай был и с замечательным лицом; позвольте распространиться.

Глава XIII

Нечетная и недобрая, как тринадцатый гость за столом

В начале семисотых годов, когда у нас можно было идти по самозванцы, что по грибы, когда царевичем Димитрием не назывался разве только тот, кто не хотел; когда бедная отчизна наша, изнемогая от ран, едва в силах будучи поднять на болезненном одре своем отягченную уже оковами руку, и отмахиваясь от лжецарей своих, как от шершней и оводов,— в это время услышали впервые про боярина Андрея Горипалого, который был по крайней мере пальцем на одной из удрученных рук своего отечества. Горипалый не был

сам свидетелем убиения царевича Димитрия, но, будучи предан душой отчизне своей и богом данным государям, он вызвался для посылки к первому тогда появившемуся самозванцу, убедился лично, что это не Димитрий, которого он видал, убедился даже, что самозванец этот был не русский, и с этой минуты Горипалый уже не давался более в обман, а убеждал, кого мог, сильным словом своим, здравым умом и теплым сердцем не верить обманщикам, постоять за мать-государство свое, за себя и за детей и внучат своих, за кости дедов, бить поголовно незваных пришельцев и грабителей земли русской, покуда они еще ссорятся промеж собою; и наконец, он же, боярин Андрей Горипалый, как говорит темное предание, не последний вразумил бояр избрать на царство благодатный дом Романовых.

Сын Андрея был в числе осьмнадцати молодых людей, посыланных еще Борисом Годуновым за море для ученья, и боярин Андрей сам просил царя об этой милости для сына своего, милости, которой в те времена другие боялись и вовсе ее не искали.

Нисходя далее, находим потомка Андрея Горипалого при лучезарном дворе одной из славнейших в мире императриц, но знаем об этом Горипалове мало, почти только, что он уже прибавлял к прозванию своему *ов* вместо *ый,* был искусный распорядитель пышных празднеств и пиров, но человек с головой и выписал для сына своего чрезвычайно лощеного, всезнающего француза в шитом атласном кафтане, с рукавами в обтяжку.

Француз этот поставил на ноги уже не такого чудака, как был Горипалый Андрей; и этот, правда, также назывался Андреем,— чем знаменитый гофмаршал, отец его, хотел напомнить государыне услуги и заслуги праотца того же имени,— но Андрей в Андрея, как известно, не удается: иной угодит в род и племя, а иной свихнется. Впрочем, если в этом Андрее и было еще что-нибудь, кроме лица человеческого, то уже в сыне этого Андрея, в Гавриле Андреевиче Горипалове, светское воспитание нашего века добилось наконец настоящего первообраза своего, полновесного вельможи. Довольно любопытно следить таким образом, как мы теперь, за целым поколением и видеть, как природа постоянно борется с искусством нашим, как порывает-

ся родить человека, но, исподволь пересиленная, переспоренная воспитанием нашим, нередко наконец должна уступить ему и произвести на свет в третьем, четвертом колене настоящее животное. Тут, в Гавриле, кажется уже нечего было ни чинить, ни портить, а он вылился с самого первоначала, как ему бы следовало: ни толст, ни тонок, ни короток, ни долог, а так, очень видный, рослый, плотный, хорошо сложенный мужчина. Лоб у него был превысокий, уши плоские, огромные, брови густые и морщины над ними очень благообразные; глаза также большие, но какие-то междоумки: трудно было решить с первого взгляда, что в них сквозило, чем они блестели — тупеем ли, острием ли, с лица ли или с изнанки,— но в них была какая-то важная остойчивость; а расходящаяся от внешних уголков глазных к вискам связка мелкобороздых морщинок придавала даже иногда глазу Гаврилы Андреевича вид какой-то прозорливости. Лицо его было вообще довольно окладистое, черты все очень соразмерные, но что бросалось в глаза при первой встрече с Гаврилою Андреевичем и чему завидовали все сверстники и даже наголовники его,— это было удивительное искусство, с которым природа расположила на лице его все морщинки и складочки; они были так правильны, так отчетисто и чисто подобраны, что нельзя было бы вытиснуть их лучше зубчатым утюгом. Все это вместе придавало лицу Гаврилы Андреевича, а следовательно и ему самому, вид чрезвычайно основательный, рассудительный, важный, деловой, а для некоторых даже умный; он и слыл тонким политиком.

Я в одно время работал немного на Гаврилу Андреевича — не думайте однако же, чтобы я шил на него сапоги, нет, это было дело знаменитого Аренса,— я сделал по заказу несколько выписок из огромного тяжебного дела и поэтому был раз или два в кабинете этого вельможи, видел также, как он принимал однажды поутру десятка два деловых посетителей, большею частью по службе, и могу вам все это пересказать; разумеется, что оно останется между нами. С этим же условием я признаюсь вам также, за что я потерял доверенность Гаврилы Андреевича и почему впоследствии уже кабинет его сделался для меня столь же недоступным, как гостиная его: мне следовало получить за труды мои сто семьдесят пять рублей по угово-

ру, но я был так неосторожен, что деньги эти мне понадобились, и как никто мне их не приносил, то я за ними осмелился прийти сам; с тех пор Гаврилы Андреевича по нынешний день все нет да нет дома, и я ему уже не работник. Если бы вам можно было при свидании с Гаврилою Андреевичем,— например, у князя Соломкина: я знаю, что вы там бываете,— если бы, говорю, можно было напомнить как-нибудь Гавриле Андреевичу о нижайшем ожидании моем, то вы бы меня этим очень одолжили.

Дома и один про себя Гаврило Андреевич жил посвоему и для себя, а у людей или при людях — побольшесветски. Поэтому и надобно отличить в нем двух особ, два лица: Гаврило Андреевич домашний, свойский, себе на уме, и Гаврило Андреевич гостиный, светский, или, как ныне сказали бы, салонный; домашний ходил в лиловых плисовых сапогах, в китайском парчовом халате, с непокрытой головой, на которой седые, не совсем редкие волосы причесаны были просто, без всяких затей; в правой руке у домашнего Гаврилы Андреевича почти безвыходно жила большая золотая табакерка и двойной индийский платок, то есть два платка, сложенные один на один вместе: это заведено было ради всегдашнего затяжного насморка. Домашний Гаврило Андреевич всегда плевал в серебряную чашку с граненой и вызолоченной крышкой; всегда садился между двух зеркал, когда его причесывали, и открякивался, харкал и пыхтел во все время этой проделки особенным, звучным и величественным образом, не спуская больших глаз своих с зеркала; домашний глядел всегда сухо, важно, был молчалив, угрюм, спрашивал, отвечал и приказывал всегда односложными словами: «Да, нет, ну, а!» И, наконец, у домашнего нижняя губа всегда казалась несколько отвислою, или по крайней мере она выпячивалась немного вперед. В гостином, большесветском Гавриле Андреевиче всего этого следу не было: прическа изысканная, подчерненный помадой курчавый волос в завитках, чулки и башмаки, хотя уже коротких штанов не носили, на пальцах богатые перстни, тонкий батистовый платок и только два таких же про запас в кармане; табакерка маленькая, осыпанная алмазами, с изображением барского дворца и усадьбы села Прохорова, наследья Горипаловых; походка важная, но не спесивая, лицо приветли-

вое; нижняя ж губа подбиралася всегда на свое место, притом всегдашняя улыбка, шутливость и веселость. Из всего этого вы изволите видеть, что хотя Гаврило Андреевич лоб и уши свои носил бессменно и в гостях и дома, но что все это принимало в большом свете както иной вид и образ: там праздничный, а тут будничный, в свете Гаврило Андреевич ходил налицо, а дома сидел наизнанку, или, может быть, наоборот, как угодно.

Утро у Гаврилы Андреевича было деловое, и я обещал вам рассказать занятия одного такого утра, в которое мне случилось простоять с час-места в приемной благодетеля моего.

Когда ударило одиннадцать, то Гаврило Андреевич вышел в коричневом сюртуке со звездой и пошел сряду в обход, приговаривая: «Вы что? Что?» или: «Что вам угодно?» — смотря по степени известности ему дела или делового просителя. Впрочем, тут посторонних значительных лиц не было вовсе, это все почти были свои.

Первый чиновник подал список и отчет по данному ему поручению распорядиться приглашением половины столицы на вечер. Тут Гаврило Андреевич, развернув расположенный по азбучному порядку список, с первого взгляду заметил, что на букву *С* кого-то недостает; следовало быть, как Гаврило Андреевич знал на память, девять человек, а тут только восемь. Чиновник, служивший, как видно, по этой части не первый день, дал на это, не запинаясь, удовлетворительный ответ, объяснив, что один *С* из столицы, а следовательно, и из букваря Гаврилы Андреевича, выбыл.

Другой чиновник, собою очень благовидный, поклонился, сказавшись чином и призванием, и просил покорно какого-то незанятого доселе местечка, ссылаясь притом относительно себя на двух известных Гавриле Андреевичу лиц. Гаврило Андреевич заставил чиновника повторить трижды имя свое, сказал потом, прищурясь и приподняв голову, что какой-то однопрозванец просителя служил у Ивана Петровича и был удален по *неблагонадежности* своей; так уже не он ли это? И на ответ просителя, что он у Ивана Петровича не служил и никогда и ниоткуда удаляем не был, отве-

чал, кивнув головой и проходя далее: «Да, ну об этом надобно прежде обстоятельно узнать». Проситель поклонился и тут же вышел.

Еще чиновник принес на выбор и благоусмотрение Гаврилы Андреевича печатные деловые бланки с вычурными узорчатыми заголовками. Его превосходительство изволил рассматривать их с большим вниманием, относя все дальше и дальше от себя, во всю длину руки, и, закидывая назад голову, повертывал лист в руках, сличал, сравнивал — но как очков у Гаврилы Андреевича при себе не было, а дело показалось ему слишком важным, чтобы решить его так, на скорую руку, то и было чиновнику приказано обождать, с тем чтобы по окончании выхода заняться этим основательно и на досуге в кабинете.

Наконец очередь дошла до низенького черноволосого чиновника с Анненским крестом на шее, на которого я уже давно смотрел, не понимая, какие у него в руках разноцветные дощечки. Это, как оказалось, были образчики красок для окраски полов, дверей и окон в департаменте. Это дело отвлекло Гаврилу Андреевича уже вовсе от остальных докладчиков, и деловое утро тем кончилось. Сперва изволили рассматривать образчики от свету, к себе и от себя, и сбоку, потом подошли к окну и делали разные замечания насчет цвета, вида, цены, сравнивали, сличали, клали дощечки на пол, и отходили от них, и заходили со всех сторон, приказывали держать их в руках, подымая выше головы, и отходить, и постепенно приближаться — а наконец изволили отправиться в кабинет, унести с собою образчики и позвать туда же низенького чиновника с Анненским крестом и еще другого, с известными бланками.

Слышав своими ушами, как Гаврило Андреевич изволили приказывать чиновнику, который приходил с зазывным списком для раута, чтобы на официантов справить к этому вечеру белые атласные жилеты и шелковые чулки, я уже нисколько не призадумался подойти к его превосходительству с покорнейшею просьбою приказать выдать мне мои сто семьдесят пять рублей, о коих, конечно, поленились-де доселе довести до его сведения, между тем как они мне, бедному человеку, крайне нужны... Но, видно, я от робости говорил так тихо, что Гаврило Андреевич меня и не слы-

шал; по крайней мере они не обратили на меня никакого внимания, а впоследствии швейцар уже не пускал меня более в дом, и должок остался за Гаврилой Андреевичем по сегодняшний день. Вот вам все.

Глава XIV

От главы тринадцатой и до пятнадцатой

Всех лучше и вернее, как узнал я на опыте, платят господа сочинители за перебелку сочинений своих, особенно стихотворцы, если только угодишь их вкусу размещением и пригонкой стихов и выбором прописных букв. Раз, помню, досталось мне перебелять огромное предположение одного весьма известного сановника о том, чтобы для исправления народной нравственности забить в кабаках наглухо двери и сделать только стойки в окнах, прямо с улицы. Рассуждение это начиналось словами: «В предмете том, поелику, ибо и в тех видах для соблюдения казенного интереса...» и прочее.

Наконец попал я на колею, которая избавила меня от всех крайностей денежной нужды, но это было уже в последний год моего курса. Судьба свела меня с журналистом, который сделал из меня, как из многих других студентов, если не писателя, то по крайней мере писаку. Я писал по заказу обо всем, о чем писать меня заставляли, получал небольшие деньги всегда сполна и видел после статьи свои в печати с разными прикрасами и с загадочными подписями двух букв, взятых на выдержку из азбуки нашей.

Вот сколько я наговорил о побочных и пустых предметах, окружавших меня во время четырехгодичного университетского курса, а не сказал ничего, собственно, о последнем, о занятиях моих. Все шло чинно, мерно, тихо, и я получил наконец — действительно заслужил и получил — диплом лекаря первой степени. О, это стоило для меня всех первостепенных звезд на свете! Давнишние, заветные мечты мои исполнились, я сам себе заработал и приобрел почетное место в обществе, и теперь не стыдно было мне назваться воспитанником коровницы и отставным унтер-офицером; я, напротив, гордился этим и охотно рассказывал всякому, кому

угодно было меня послушать. Вслед за томительным испытанием, на котором мне очень трудно было отвечать, по заведенному порядку, наизусть от слова до слова и без собственных рассуждений, я отправлен был в Алтыновскую губернию уездным лекарем того же уезда.

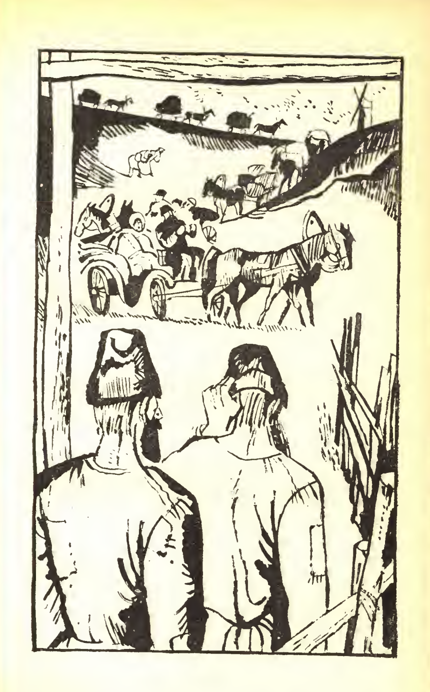
На пути в Алтынов был со мною странный случай: судьба, казалось, хотела испытать на выездах, на первых порах решимость молодого врача, едва только вступившего в это звание. Уставши и простудившись немного, я решился переночевать в одной деревне, тем более что я выехал из столицы сейчас после назначения своего и противу поверстного срока опоздать не боялся. До свету еще сделался в избе шум и вопль; я вскочил, думая, что пожар, но оказалось другое: какой-то бродяга повесился на воротах у хозяина моего, и баба, идучи по воду, кинула ведра свои, бросилась в избу и подняла страшный вой. Я снял немедленно висельника, несмотря на все убеждения хозяина, и старался привести его в чувство; но старания мои были тщетны. Между тем мужики собрались, старосты и прочее деревенское начальство и объявили мне решительно, что не выпустят меня из села, покуда не приедет исправник, даже поговаривали довольно громко, что меня должно посадить под караул. Никакие убеждения и угрозы мои не помогли, меня стерегли, караулили, не давали лошадей и продержали трое суток до прибытия исправника. К крайнему удивлению моему, этот нашел не только распоряжения мужиков вполне основательными, но, посадив-таки хозяина моего и соседей его под караул и осуждая поступок мой как крайне неблагоразумный и подозрительный, уверял, что никак не может понять, какая мне, постороннему человеку, была нужда мешаться в такое *уголовное* дело, и требовал, чтоб я ехал с ним в уездный город. Показав ему свою подорожную, я объявил положительно, что никуда бы не поехал по подобному настоянию его, но что мне дорога и без того лежит туда и потому, милости просим, если угодно, ехать вместе. Там держать меня долее не посмели, взяли только от меня письменное показание во всем и напророчили беду неминучую. Беды, конечно, не было, но перепиской по этому делу мучили меня более году, и сам инспектор управы очень был недоволен неуместным рвением

моим и судил точно как коломенский исправник: «На что мешаться и вязаться не в свое дело?» — «А если бы висельник был еще жив?» — возразил я. Но инспектор оставался при своем: «Какое нам до него дело! На что в такие неприятности мешаться?»

Прибыв в Алтынов и приняв дела свои, я при первой поездке для освидетельствования какого-то мертвого тела открыл изобретательную промышленность моего лекарского ученика, который при покойном предместнике моем управлял врачебно-полицейскими делами уезда и с большим умением и знанием всех обстоятельств и отношений обделывал самые щекотливые и тонкие делишки. В одном довольно значительном селении, чрез которое мне довелось ехать в сопровождении правой руки моего предместника, крестьяне решились отправить ко мне в избу целое посольство, мимо низшей инстанции, моего подручника, который, стоя в сенях, старался выпроводить взашей незваных гостей, спасибо не робких: вытолкали их в дверь, они подошли к окну с нижайшей просьбою отсрочить им сбор по сорок копеек с дыму, который разложил моим именем расторопный ученик (только, право, не мой) на все село за прививание оспы. Я глядел на мужиков во все глаза, но вскоре, смекнув в чем дело, позвал их к себе, и все объяснилось. Это водилось искони таким образом: ученик отправляется прививать оспу; приезжая в деревню, коли можно в рабочую пору, он расстанавливается как можно шире на квартире, шумит, кричит, грозит, требует на завтра подвод, посылает во все дворы обвещать, чтобы все бабы с ребятами собирались, и раскладывает по столам и скамьям ножи, ланцеты, всякие припасы, требует бинтов, повязок и чтобы все это на каждом дворе было готово по образцу. Затем и сам вздыхает тяжело, сожалея об участи малых ребят, которых велено резать ланцетом и прививать таким снадобьем, о котором-де в священном писании ничего не говорится; бабы ревут, отстаивают детей, и мужики рады, если могут отделаться умеренным взносом, которого ведь и за труды, все одно, не миновать же. И десятские после разговора старосты с оспопрививателем наособицу бегают по селу, стучат в ставни и обвещают сносить по гривне с дыму, так лекарь (то есть фельдшер) уедет и никого не тронет. На следующий раз он приезжает с тем же и еще с новыми

угрозами: подать жалобу, что уже и весною не давали привить детей,— и конец песни тот же; наконец случится ехать уездному лекарю — не говорю уже о члене управы,— тут уже всякий видит необходимость загладить прошедшее, кончить дело миролюбивой сделкой, и староста опять повещает о сборе. Таким образом, мой опытный помощник успел уже по приезде моем принять моим именем необходимые меры, и, видно, у мужиков не стало терпения, и они пришли просить меня об отсрочке. К этому должно прибавить еще три слова: я не мог настоять, чтобы дело было обнаружено законным порядком и мой мошенник отдан под суд; его перевели в другой уезд, где он продолжал успешно службу.

Во время частых разъездов моих по службе мне случилось также разглядеть однажды близенько разъезды уездного землемера. Видели вы это? Оно довольно потешно. Приезжая однажды в деревню, вижу бесконечный поезд: подвод пятнадцать, в том числе две брички,— и все это набито мешками, кулями, сундуками, несколькими полупьяными, как видно по первому взгляду, выгнанными из службы чиновниками, и лицами женского полу того разряда, которых называют у нас салопницами, и множеством ребятишек. Спрашиваю с удивлением: «Что это?» — «Землемер,— отвечают мужики, снимая шапки,— едет межевать луга наши, все спорное, сколько лет бьемся — и драки сколько было у нас из-за них и казны сколько издержали,— насилу вот господь смиловался, велено отмежевать».— «Какой же с ним обоз?» — «Да это, батюшка, что проездом соберет — муки, да крупы, да овса, так и складывает на подводы и возит с собой все лето, а к зиме домой. Ведь подводы ему нипочем; а во что они нам становятся, того их милость не рассчитывает. Да бог с ним, только бы дело покончил; по рублю с десятины взял уже с весны, теперь, видно, по другому собирать придется».— «Какой же народ с ним?» — «Да это нахлебники, батюшка; известное дело, куда приедет — мужики кормят и его и кто с ним едет, только не обижай нас; ну, он и наберет нахлебников, они ему по целковому, что ли, платят в месяц, а он их все лето и возит по губернии, и расставляет по квартирам, и кормит. Тут глядите что будет; как только в деревню, так все и разбредутся по дворам, кричат,



шумят, дерутся, давай того, давай сего — что делать-то станем».

Я уехал; через неделю возвращаюсь тем же путем, землемер со свитой все еще празднует именины свои в той же деревне, и мужики уже два раза посылали в город за вином. С лишком ведро опорожнили. Наконец раздается по селу радостная весть: *землемер отдал приказ чистить астролябию;* значит, скоро примется за работу. Между тем рабочие и понятые, наряженные из этой и соседних деревень, все дожидаются, хотя, конечно, домашняя работа их не ждет. С этой радостной вестью, что астролябия чистится, один из понятых поскакал верхом в соседнюю деревню. Я уехал и впоследствии слышал только, что пьяный землемер наставил межевых столбов и вкривь и вкось и отрезал не только мельницу, но и половину дворов одной деревни; а как столбы землемера неприкосновенны и губернские власти не могут уничтожить действий его, то тяжба возобновилась и пошла по наследству с поколения на поколение.

Глава XV

От плохого расположения духа и до хорошего

При таком образе жизни, службы и мыслей в Алтынове мне иногда до нестерпимости трудно было жить и служить, и я не скоро обтерпелся. Всякая несправедливость казалась мне дневным разбоем, и я выступал против нее с такою же решимостью и отчаянием, как против человека, который бы душил подле вас кого-нибудь, ухватив его за горло: где кричат караул, туда я бросался со всех ног. Но я большей частью оставался в дураках, заслужил только прозвание *беспокойного человека,* а горю помогал очень редко. В Алтынове требовали, чтобы вы проходили спокойно своим путем и не мешались не в свое дело, то есть не заботились бы о том, если подле вас режут другого, а только оберегали бы свой кадык и свою голову. Управа наша при каждом удобном случае ожидала от меня свой обычный азиатский *пишкет,* ожидала и со дня на день становилась нетерпеливее и, как

видно было по всем приемам ее, искала случая показать мне, что долготерпение ее истощилось.

Я был в самом плохом расположении духа и раскаивался уже почти в избранном мною звании; я мечтал принести столько пользы человечеству, а вместо этого сидел теперь над срочными донесениями всех родов и сводил всеми неправдами концы, отписывался и огрызался, как мог, на придирки, замечания и выговоры,— на важные донесения свои по разным предметам, требующим немедленных и самых деятельных мер, не получал вовсе ответов, а по пустым, которые не стоили и полулиста бумаги, заводились огромные дела и нескончаемая переписка,— словом, все это выводило меня вовсе из терпения, и я начал думать о том, как бы перейти врачом в полк в военную службу — там, казалось мне, все-таки не то, там делай свое дело и тобою будут довольны, взяток не берут. Получаю, как нарочно, об эту пору три письма от академических товарищей своих, которые пошли в армию и которым я писал недавно и плакался на горькую участь свою.

Что же они писали? Да один писал вот что: «Полковник крайне мною недоволен, обходится со мной оскорбительно, грубо, а деваться мне от него некуда; корпусный доктор делает мне строгие замечания, грозит — от него подавно не уйдешь! Беда эта началась с того, что с одной стороны требуют и взыскивают с меня того, на что с другой не дают средств, и наоборот; все это обрывается на мне, и горькие, убедительные просьбы и жалобы мои замирают в самой глухой пустыне, в лесу людей. Другая беда — которая еще бог весть чем кончится — вот какая: дивизионный и корпусный доктора требуют самым строгим и настоятельным образом, чтобы месячные ведомости были доставляемы к сроку. Это хорошо; но я их не могу переслать по голубиной почте, а могу только закончить последнего числа каждого месяца и потом, благословясь, отправить. Но квартиры наши расположены так несчастливо, что ведомости мои не могут дойти по обыкновенной почте в дивизионную квартиру прежде четырех или пяти дней, а требуют, не принимая никаких отговорок, чтобы они были на месте отнюдь не позже последнего числа каждого месяца. Никакие представления и убеждения не помогают, никаких отговорок

не принимают; получаю выговор за выговором со строжайшим подтверждением в общих словах: доставлять ведомости к сроку. Я попытался закончить ведомость двадцать пятым числом месяца и отправить ранее — новый строжайший выговор, циркулярно, по всей дивизии; я отправлял уже нарочного на свой счет — но он мало опереживает почту и привозит мне обратно тот же строжайший выговор. Есть ли тут человеческий смысл, любезный друг, скажи бога ради, и что мне тут делать?»

А другой писал вот что: «Показать искусство или познания свои, в чем, как полагали мы в слепом неведении своем, состоит обязанность и назначение врача,— показать себя в своем деле — на это у меня о сю пору не было случая; старшие чином лечатся у старших чинами, а о том, что делается в лазарете, мои судьи судят, конечно, уже не по рецептам, как докажет тебе нижеследующий пример. Генерал смотрел лазарет и при первой встрече со мною, окинув меня с головы до ног, сделал мне строгий выговор: «Куда вы, сударь, правую руку завалили? Не умеете стоять перед начальством?» Далее: выговор за помятые постели, выговор за поношенные халаты больных, за оловянную посуду, по которой только видно было, что она в ежедневном употреблении и выставлена не напоказ; словом, ты видишь, тут речь шла вовсе не о тех предметах, которые преподавали нам в академии, и наука, брат, наша пропала. Бывало, когда толковали нам о руках и ногах, так речь шла о вывихах, переломах, о пульсе, кровопусканиях, или, как говорит фельдшер мой: венесекусах,— тут не то. А знаешь ли, чем старался утешить меня костоправ мой, фельдшер, когда генерал ушел, посоветовав полковнику держать меня в руках? Он мне объяснил загадку: «Мы маху дали, ваше благородие,— сказал он,— да я не смел доложить вам, потому что вы сами изволили распоряжаться. Бывало, при Иване Кондратьевиче, поставим к смотру больных по кроватям, не по болезням, а под ранжир; дощечки распишем почище, белилами, которые на этот случай Иван Кондратьевич нарочно из города выписывал; трудных, которые не могут прифрунтиться, выведем вон, в жидовскую корчму либо в баню, чтоб на глаза не попадались; прочих выровняем, пригоним халаты, за сутки не велим ложиться,

чтобы не помять постелей; оловянную посуду также всю напоказ, под ранжир, и не марали ее, а кормили больных, перечистив все, из черепков; аптеку также всю прибирали склянку под склянку, а невидное, неказистое прятали куда-нибудь, уносили, а вы изволили приказать выдать больным для носки и туфли, и халаты, и одеяла, и простыни — ну, разумеется, больной ходит, шаркает, обобьет; ляжет — помнет, оно уж и не в таком порядке. У нас все это выдавалось, бывало, только к смотру, и все было новое».

Как прочитал я два письма любезных мне товарищей по академии — так чуть не подурачился, чуть не заплакал. Больно мне было за них, больнее еще за свою отчизну. Взял я шапку и пошел душу отвести к человеку, которого я душевно уважал, познав благородство и честность его при нищенском состоянии кармана. Это был наш уездный стряпчий, Негуров. Он встречает меня весело и дружески,— начинаю ему плакаться на горе свое, жалеть, что избрал эту часть, что не пошел служить куда-нибудь по гражданской службе. «Вот как ты например,— сказал я, подав ему руку.— Тебя все любят, уважают, ты и в малом чине и звании своем полезен — а я?..» — «Постой же,— сказал Негуров,— не торопись мне завидовать; нет ли у тебя подставного на мое место: я могу уступить его».— «Что это значит?» — «Как что значит? Разве ты не слышал, что я сегодня уже подал в отставку и остаюсь до времени с семьей без места? Но бог милостив, а на Руси не без добрых людей, найду другое».— «Да что это такое, расскажи бога ради!» — «Да вот что: ты слышал конечно, что к нам вместо умершего назначен новый прокурор; он человек нам вовсе неизвестный и, может быть, бездельник, а может быть, и честный человек — не знаю, но, во всяком случае, принялся за службу свою с первого дня очень неудачно, и не только, как говорится, левшой, но даже, так сказать, ногой. Пишет он ни с того ни с сего циркуляром ко всем уездным стряпчим: «Предупреждаю всех стряпчих, чтобы они отныне приняли за основание совсем иные правила, чем доселе; я не потерплю злоупотреблений, которые введены ими в обычай, и прошу действовать отныне иначе». Каково это тебе нравится? Положим, что у него прямое и честное на-

мерение сделать добро — хотя это, право, очень сомнительно и более пахнет приглашением задобрить строгого, неумолимого начальника; но положим, говорю, что намерение было честное. Разве это так делается? Разве можно начать исправление частного зла тем, чтобы наперед ошельмовать всех поголовно? Разве можно сказать человеку в глаза: ты вор и бездельник, если не знаешь и не видал человека этого в глаза и ничем опорочить его не можешь? Но не менее того циркуляр поехал во все уезды, а мне достался из первых рук. Я в тот же день отвечал: «Крайне больно и прискорбно, что новый начальник наш, не узнав еще никого по делам и поступкам его, оскорбляет таким воззванием всех подряд: и правого и виноватого. Что же собственно до меня относится, то я и впредь буду руководствоваться теми же правилами, коих постоянно держался в течение осьмнадцати лет службы своей». Прокурор обращает мне рапорт мой с надписью на нем: «Предписание мое не требовало ответа; неуместных рассуждений не люблю; если г. Негурову угодно, может объясниться со мною лично».

Прихожу утром на другой день в канцелярию прокурора и застаю его там обще с двумя его помощниками. «Что вам угодно?» — «Я пришел по вашему приказанию с вами объясниться». — «Какого роду объяснение вам угодно? Вы обиделись циркуляром моим? Можете обижаться: скажу вам вдобавок, что он в особенности к вам относится и что я повторяю еще на словах приказание свое. Довольно вам этого или еще что-нибудь угодно?» — «Довольно, — отвечал я, — даже чересчур много. Желаю вам служить и знаться всегда с такими людьми, которые могут переносить подобные выходки спокойно». Вышел и через час прислал просьбу об отставке.

Глава XVI

От стряпчего Негурова вплоть до девиц Калюжиных

Когда бедный Негуров рассказал мне все это спокойно, как человек, привыкший в течение долговременной службы своей к подобным явлениям, когда я

надивился спокойствию духа его и благородной решимости, твердой вере его в провидение, то устыдился своего малодушия. В самом деле, я человек одинокий, на мне не лежит огромного семейства, о чем же мне столько заботиться? Буду прать противу рожна! Буду, пренебрегая всеми мелочными дрязгами и кознями тщедушных и проискных людей, буду идти своим путем, *не щадя жизни своей и до последней капли крови,* как присягал я, а остальное предоставим богу и царю. Разве не удается иногда всякому из нас, и самому незначительному человеку по месту, чину и званию, сделать добро, отстоять правду и посрамить бездельничество, заклеймив его презрением благородных? Что же мне после этого до мелочных придирок, до злонамеренных покушений, повитых неправдою и вскормленных криводушием людей? Они за себя ответ дадут, а мы за себя. И давно ли Негурову удалось сделать доброе дело, и не стоит ли оно того, чтобы за него иногда потерпеть? Разве присяга моя «до последней капли крови» относится только до солдата, который буквально исполняет это, подставляя лоб свой под пулю, а не до нашего брата, у которого иная капля поту, переработанная из той же крови, стоит капли самой крови; у которого забота не за свое, а за общее благо, и пря, война, единоборство за человечество и правду избороздят чело преждевременными морщинами, иссушат боевую жилу алой крови в сухожилье?

Да и Негурову недавно еще удалось сделать в тесном кругу своем славное дело. Мы были вместе у приемки рекрут. Зрелище жалкое. Тут справедливость, строгая, святая справедливость, одна только может оставить сколько-нибудь успокоительные воспоминания. Негуров не довольствовался тем, чтобы сидеть с судьей и городничим за красным сукном и слушать, как председатель кричит поочередно: «лоб» и «затылок»,— он входил добросовестно сам во все, что только до него касалось. Он взял, между прочим, все посемейные списки, сидел над ними каждый вечер за полночь, между тем как прочие господа занимались для отдыха от дневных трудов вистом, и сличал списки эти во всей подробности с очередными списками волостных правлений. Рано утром входит однажды к Негурову молодой франт своего роду, хват в темно-

синем тонком кафтане, и раскланивается по-полубарски: «Я-де волостной писарь *такой-то,* прибыл с рекрутами и с отдатчиками».— «Что же тебе надобно?» — «Да к вашей милости, много наслышаны об вас, просим покорнейше, позвольте поблагодарить вас».— «Благодарить тебе меня не за что, я тебя в глаза не видал и ни худа, ни добра тебе не сделал, прощай!»— «Да уж это так у нас водится».— «Ну так у меня не водится; пришел не зван, поди ж не гнан; пошел!» Утром Негуров показывает председателю отметки свои на списках и, между прочим, говорит: «Вот, извольте посмотреть, тут что-нибудь да кроется; что это значит: Севрюгины — это семья *шестериков,* шесть мужиков в семье, а с тысяча восемьсот седьмого года не выставила рекрута, и ныне опять она не показана в очередных».— «Это я-с,— подскочил молодой волостной писарь,— это наша семья-с, батюшкина-с, у нас нет способных».— «Да ты первый, любезный друг, можешь в гвардию идти, не говоря о других!» Но сын, как видите, волостной писарь, отец-старик у него *коштан,* то есть стряпчий, поверенный и ходатай для мира, и притом очень зажиточен, так дело всегда кой-как и обходилось. И ныне вышло чуть не то же: Негуров и я не дали подкупить себя, остальные — пусть бог их судит, что и как у них было, но только все приняли сторону волостного писаря, и когда мы таки не без труда настояли на том, чтобы его раздели и осмотрели, то он был признан неспособным, потому что на левом боку нашлась какая-то царапина, небольшой рубчик, который, по словам военного приемщика, не даст ему стягивать мундира. В эту самую минуту вдруг дверь растворяется и входит флигель-адъютант, только что прибывший из соседней губернии. «Здравствуйте, господа, как у вас идут дела?» Ему в ответ тотчас представляют спорный случай и волостного франтика, который тут же и стоял нагишом, налицо. Флигель-адъютант поглядел на военного приемщика, осмотрел еще раз неспособного, поговорил два слова со мной и попросил присутствие принять этого молодца на собственную его, флигель-адъютанта, ответственность. Малый вздрогнул, старик отец упал в ноги — но «лоб» раздавалось уже от дверей к дверям, и приятеля забрили. Отец покаялся после, что все эти проделки стои-

ли ему в течение трех наборов до восьми тысяч рублей, а следовательно, он без стеснения мог бы давно уже поставить за сына не только одного, но и двух и более наемщиков; одна страсть ходить кривыми путями и более на них надеяться погубила его на этот раз, где он наткнулся на честного человека. Негуров спас этим подставного *одиночку*, то есть одного сына у вдовой матери.

Между тем время бежало, я жил и служил в Алтынове уже с лишком год,— но я еще ни слова почти не сказал о нашей общественной жизни. Замечательнейшее в целом Алтынове было, без всякого сомнения, семейство или дом Калюжиных. Этот первообраз в своем роде, повторяющийся с бесконечными изменениями (о, как природа разнообразна!) в каждом губернском городе, стоит того, чтобы им заняться пообстоятельнее. Скажу наперед: меня звали туда как гостя — я не пошел; меня зазвали как врача, по обязанности моей, приняли как гостя, и несмотря на ничтожное положение и звание мое — что такое уездный лекарь? — приняли почетно, заставили против воли быть гостем, быть своим и едва-едва только отпустили душу мою на покаяние; смерть была на носу. Из этого можете видеть, как редки и дороги в Алтынове женихи; а где неурожай, там и голод; где голод — там человек подымается на необыкновенные хитрости и ухищрения и даже — о ужас! — пожирает себе подобных!

Глава XVII

От дому Калюжиных и до дому Калюжиных, или собственно об этом предмете

Если вам только случалось жить в каком-нибудь губернском городе, то вы, без всякого сомнения, знаете семейство Анны Мироновны. Приметы его вот какие: живет оно довольно открыто; муж служит, в порядочных чинах, но об нем мало речи, более бывает разговору о супруге его, Анне Мироновне, которая все знает, всюду бывает и всюду первая из первых. Она числится одной из почетнейших барынь в городе, вывозит на вечера по три, по четыре, даже по пяти взрос-

лых дочерей, и дочери эти пристраиваются одна за другой, по светскому понятию, довольно выгодно, хотя они, как говорится, ни с рожи, ни с кожи, все более или менее просты, чванны, собою очень посредственны, ходят в люди в блестках, а дома шлюхами. Дом держится собственно Анной Мироновной, во всяком смысле; она просит, принимает и угощает гостей, она и сама напрашивается куда следует в гости, она же и добывает все необходимое для наружного блеску в долг, и в счет, и взаймы, и на прокат; говорят даже, что когда она благословляла вторую дочь свою под венец, то довольно богатый образ в золоченом окладе был взят ею в рядах с бою, потому что по доброй воле ей никто в долг не верил. Между тем купцы формально отказать ей в безденежном заборе товаров не смеют: она слишком почетное, слишком известное лицо в городе, нравственное влияние ее слишком велико. Это Наполеон своего роду до изгнания его из России с бесчестием, и все *языки* должны ей покорствовать. А как ее, вероятно, никогда не изгонят с бесчестием из России, то из этого и следует, что она лучший тактик, стратегик и политик, чем покойный Наполеон. Одна дочь у нее за генералом или по крайней мере за статским советником. В доме у Анны Мироновны все очень порядочно, потому что дом составляют первые три комнаты: зала, гостиная, столовая; далее не ходите, там задний двор, где нельзя же требовать опрятности и порядку. Дочери показываются только около полудня, то есть в полной походной и боевой амуниции, а если вы их захватите врасплох, то они, как маменькины ученицы в военном искусстве, поспешно отступали, уничтожая за собою все переправы и затрудняя преследование,— то есть они бегут опрометью вон, захлопывая за собой двери. Как быть: домашний капотец скоро затаскивается, платчишко, если даже и его случится накинуть, также, а чем всю будничную амуницию строить новую, так лучше поберечь деньжонки на выездное и щегольское платье.

Конечно, барышни наши не такие лютые хозяйки, чтобы домашнее платье изнашивалось и маралось от хозяйских трудов и работ; о нет, на это есть у них, слава богу, и Машка, и Сашка, и старуха Сидоровна; но ведь нельзя же и уберечься за всякий час: то при-

дется напомадиться и обтереть обо что-нибудь близкое руки, то невзначай потрешься около шандала либо плеснешь на себя чего-нибудь; день за день в одном да в одном — не набережешься; и не к чему, впрочем, признаться,— это домашнее. Мыть бы можно платье это, конечно, но и тут встречаются разные помехи: не всегда есть под рукой бальные обноски, коими бы можно временно заменить буднишнее платье,— а ведь не ходить же, как делают иногда служивые наши, когда моют белье свое, так, ни в чем; этого нельзя, это не водится, даже и в самых отдаленных домашних комнатах Анны Мироновны, хотя туда, кроме посвященных в домашние тайны, не заглянет ни одно человеческое око. Кроме того, девки заняты нужнейшим: то шьют наряды, то стирают по необходимости белье, то штопают чулочки, если они повредятся выше пятки и подошвы, на видном месте, а в противном случае собирают петельки на одну нитку и затягивают в курчавенький комочек. Еще и то сказать, привычка — та же природа; не хочется расстаться с блузой, к которой привыкнешь и знаешь уже наизусть, где недостает пуговки, где оборвалась петелька, и привык уже ко всем сподручным ухваткам, как ее там без большого труда поддерживать и прихватывать. А, наконец, зимою, когда барышни носят стеганые капоты, то уж вы и сами знаете, что мыть такую вещь неудобно, и тут поневоле ходишь восемь месяцев в сале и во всякой всячине. А кто же виноват, что у нас климат такой суровый и зима долгая? Говорят даже, что это и самому Наполеону было вредно, а вы хотите, чтобы такое обстоятельство осталось без влияния на дом Анны Мироновны!

Итак, если вы живали в губернских городах, то вы, конечно, дом этот знаете.

И такое точно семейство жило в Алтынове. Герасим Степанович был старшим по чину и влиянию советником одной из палат, и ему ни в каком случае не следовала казенная квартира, но Анна Мироновна сумела так устроить дела, что им дан был довольно обширный казенный дом, хотя, правда, несколько в ветхом состоянии; но зато постоянно отпускался ремонт, а Герасим Степанович надеялся овладеть вскоре домом этим по праву десятилетней давности своего в нем проживания. Он надеялся вскоре купить дом с

молотка — так, рублей за семь с полтиной,— дом был уже старанием Анны Мироновны удостоен в негодность, освидетельствован и донесено, что даже строительные припасы все от ветхости пришли в негодность. Все в городе были одного мнения, на счет Калюжиных; все знали, что Герасим Степанович не надсядется в защиту какого-нибудь безгласного подсудимого, да и вообще не станет подрываться куда-нибудь без каких-нибудь особенных видов и нужды, но у Герасима Степановича в ведомостях графа́ «состоит» одного месяца соответствовала графе «состояло» следующего месяца, а итоги под суммами, делами и арестантами всегда были верны; все знали, что он, не имея состояния, нуждался в подкреплениях посторонних, особенно при его роде жизни, и потому никто не удивлялся, если случай тут или там раскрывал какое-нибудь обстоятельство и молва пускала его со всеми околичностями по белу свету; это было в порядке вещей, и об этом говорили только как о всякой городской новости, как о том, что к купцу Шугаеву привезен из Нижнего свежий товар, что Фома Иванович дает вечер, а на Степаниде Семеновне было опять новое платье, седьмое в течение зимы. Иногда, правда, дивились исподтишка: отчего Герасиму Степановичу все с рук сходит? Семнадцать лет живет он в этой должности в Алтынове, семнадцать лет все знают всё, что знать можно, и по разу или по два в год бывают яркие, разительные случаи, где весь город, наострив уши, ждет: что-то будет теперь Герасиму Степановичу, неужели и это так пройдет? И проходит! Весь город знает и перечтет вам по пальцам всю крайность домашних обстоятельств Калюжиных, странные и позорные происки их, замечательные и многосложные соображения и действия Анны Мироновны потайными пружинами и рычагами в разных стеснительных обстоятельствах, и особенно если нужно пристроить одну из дочерей-погодков; словом, Калюжины составляли семью анекдотическую; но при всем том они занимали по всем трем размерам пространства, в длину, в ширину и глубину, одно из первых мест в обществе. На всякой порядочной свадьбе в городе Анна Мироновна бывает посаженою матерью или Герасим Степанович — отцом: все купечество было помешано на том, что Анна Мироновна, как главнейшая половина

счастливого супружества, как одно из почетных лиц в городе, должна вложить серьги невесте, когда ее повезут под венец, а у каждой из девиц Калюжиных было в городе крестников и крестниц по пятнадцати.

За долги Анны Мироновны лавочникам и сидельцам расплачивались всегда посторонние; это было так заведено искони, и Анна Мироновна не видела никакой причины изменять такой порядок. Расплата эта происходила двояким образом: или собственно посредством просителей, которые, по здравому рассудку своему, всегда уже являлись к Анне Мироновне с расписками от купцов в уплате счетов ее; или же обыкновенным и законным порядком, через алтыновскую комиссию погашения долгов Калюжиных. Комиссию эту составляли все наличные жители, весь город; купцы раскладывали на них по счетам своим долги Анны Мироновны и набавляли цену на товар, отчего и можно было сказать без всякого преувеличения, что в Алтынове дешевле брать товар в долг, если даже и платить за него, чем на наличные деньги. С должников своих купцы рады были получить хоть что-нибудь, а честным и верным плательщикам не уступали ни гроша и набавляли еще, говоря: «Да с кого же нам, батюшка, выручить? В убыток торговать нельзя». Для пяти дочерей, которых привыкли дома называть детками, не было в доме никакого особого угла ни днем, ни ночью; они болтались днем от нечего делать между залой и девичьей, то по окнам, то по печам, иногда с полезной книгой в руках, как, например, с «Библиотекой», где есть такие милые, острые шуточки; изредка перед балом — с какою-нибудь легонькою работой для накладки или оборки, а больше так, ни с чем, во ожидании вечера. Вечером, если они не выезжали сами, непременно кто-нибудь приезжал к ним — большею частью любезная и милая молодежь, которой нравилось несвязное обращение в доме Калюжиных и которая также, встав поутру, с большим нетерпением ожидала вечера после томительного, длинного на этом свете и скучного дня. В этом отношении молодежь вполне сочувствовала девицам Калюжиным. Тут были славные и завидные женихи: один с самыми длинными в целом городе ногами и с перехватом; он, чувствуя превосходство свое, всегда становился вилами посреди

комнаты, и если можно, против зеркала; другой отлично хорошо говорил по-французски и был мастер смешить до слез; этот всегда старался, заняв несколько времени и насмешив целое общество, залучить на свой пай девицу наособицу, в чем ему, как крайне образованному, благовоспитанному человеку, никто и не думал мешать: кому же доверить девушку, если не человеку такой тонкой, высокой образованности, цвету столичного общества? Третий был не очень казист и ходил себе так, спустя рукава, говорил вслух мало, но так занимательно нашептывал и занимал вполголоса, что, одним словом, беседа его, надобно полагать, была очень поучительна, потому что собеседницы из дому Калюжиных слушали его с большим удовольствием; он же иногда приносил и книги: в других домах с осторожностью и с оглядкой, а к Калюжиным, где не было никакой цензуры, где не предстояло никакой опасности, чтобы родители полюбопытствовали узнать вкус услужливого гостя,— без всякого зазрения совести. Иногда Калюжиным удавалось подхватить где-нибудь под руки и посадить к себе за стол молодого холостого помещика, особенно приезжего, и это был большой праздник. Если такого человека удавалось раз подхватить под руки, то его обыкновенно с рук не спускали, разве уж наконец сам потянется да вырвется. Таким образом, вечер проходил довольно приятно, можно было отдохнуть от дневной скуки и спокойно улечься около полуночи с уверенностью, что до завтрашнего вечера осталось менее суток. Ложились барышни наши тут и там, вповалку, где случалось; кроватей своих у них не было, чтобы не занимать лишнего места; простынь и одеял также, потому что это лишний расход, а дело не видное; одна лежала на одном диване, другая на другом, третья на стульях, четвертая на полу, и этой доставалась обыкновенно перина; укрывались они — которая стареньким одеяльцем, немножко излохмаченным, которая салопом своим, капотцем да мантоном. Хлопчатая бумага — преснесносное вещество: где только подбой или покрышка продерется, то она так и лезет вон. Впрочем, одно из одеял этих было в доме известно под названием *атласного,* и из-за него было много несогласия: всякой хотелось одеваться атласным одеялом. Атласу оставалось в нем одна только память, да все-таки атлас.

Утром всякая из девиц вставала со своего ложа и, завернувшись чинно в салопец свой или одеяльце отправлялась к заветной вешалке, за ширму, сымала с гвоздя или подымала с полу домашнее платьице свое, тут же надевала и отопочки, башмачки, но уже к обеду умывалась, чесалась, закалывала распущенную косу и прочее. Все это делалось чинно, спокойно, протирая со сна молча глаза; иногда только выходили маленькие неприятности, если младшая попадала ногами в башмачки четвертой сестры, та в следующую за тем пару и так далее, покуда наконец на долю старшей оставалась пара детских отопков, в которые она никоим образом не могла вправить ноженьку свою. Пять пар башмаков — не шутка; выходит десять штук: как станут разбирать из кучки, куда девка их все свалила, подобрав в трех или четырех комнатах, то иногда такая запутанная вещь выходила, что в продолжение целого часу не могут барышни подобрать пару к одному окаянному башмаку: другой не лезет на ногу, да и только. Между тем все уже разбредутся по занятиям своим: одна к окну, одна к печи, одна немножко растянется на диване, и девка бегает с одним башмаком по целому дому, и, приговаривая: «Барышня, пожалуйте-с»,— ловит барышень за ноги, и примеривает башмак.

Разумеется, что та, которой достанется стоять босиком за ширмой и дожидаться этого розыску и следствия, повышает от времени до времени плачевный голос свой и дает сестрам, в отчаянном положении своем, приличные поступкам их названия. Впрочем, как выездные башмаки всегда поступали, в свою очередь, в будништные, а потом и в утренние, то в общей суматохе до одиннадцати часов утра, отнюдь не позже однако ж, можно было видеть барышень наших, иногда в одном розовом башмаке, в другом голубом или зеленом. Случались иногда также маленькие неудовольствия и по тому поводу, что девка, у которой были только две руки и две ноги, не могла чесать более одной барышни вдруг, между тем как утро уже нечаянно проскочило сквозь пальцы, настало обеденное время: долгоногий француз и другие милые посетители с нетерпением ожидали в гостиной выхода и, подходя на цыпочках к дверям общей жилой комнаты, прислушивались к пискливым и тоскливым на-

певам барышень, негодующих друг на друга и на девку за остановку и проволочку! Тут следовало бы по справедливости положить пеню за протори и убытки. Притом же и гребень один: не дюжинами ж их закупать для дому; и как ни бейся, а надобно выждать очереди. Сама ни одна из барышень не умела вычесаться, да оно, кажется, и неприлично: на это есть девка. Бывает и то: гребень завалится куда-нибудь за сундук, за комод, в рукомойник — ударит десять, одиннадцать,— и в доме пойдет такая суматоха, крик, пискотня, плач, что даже жалостно слушать: ищут, девки бегают как шальные, барышни ходят следом гуськом и погоняют; пора выходить, а еще нет и гребня.

Но если и парная одежда, как башмаки, нередко разрознялась в домашнем быту девиц Калюжиных, то непарная, как само собою разумеется, ходила с плеч на плечи без всякого разбора, и к этому разряду, в особенности, принадлежало все белье; маменька и дочки носили его сподряд и без всякого различия. Ведь оно мягкое, убористое, можно по нужде и стянуть, и распустить, и подобрать, и, одним словом, это не платье: как оно сидит — до того никому нет нужды. Обзавести каждую своим бельем — это не безделица: полотно дорого, а никто из посетителей не удивится такой роскоши и даже не узнает о том; предмет, сами посудите, таков, что неловко похвалиться этим перед кем-нибудь в глаза; оно как-то не приходится. Итак, белье общее, и это новый источник домашних неприятностей; не всегда доставало на перемену кругом, а нельзя же ходить всегда в бессменном, особенно летом. Пора, когда барыни в полном убранстве, по узкости облитого платья, белья не носили вовсе, миновалась, и без крайности не хотелось заводить такую моду. Еще повод к раздору: подадут белье — оно проношено, или тесемочки выдернуты, висит так, что с ним не справишься, а тут дело спешное,— вот вскинется одна: «Это ты, Настя, уж сейчас видно которая вещь на тебе была, это ты оборвала тесемочки»; а тут еще подхватит девка: «Нет-с, барышня-с, это они на подвязки выдернули-с...» — ну и пойдут перекоры! Поэтому и белье всегда и во всех отношениях было не слишком исправно; спросить не на ком, да и кому какая нужда об нем заботиться,

только бы с плеч да с ног долой, а там авось другой достанется, пусть носит как знает, не самой же, и в самом деле, заняться вычинкой белья: это не дворянское дело; пожалуй, вон у Василия Адамовича, у директора гимназии, говорят, дочери сами на себя башмаки тачают, так это другое дело, на то они немцы. Уж гораздо же приличнее русской дворянке, дочери значительного чиновника, ходить дома как-нибудь, лишь бы в люди показаться по-людски, чем работать на себя по-холопьи одежду. Рубахи целой в доме не было, это правда; оказывалась также иногда крайняя нужда в исподницах и чулках, но зато наследственный жемчуг перенизывался по воскресеньям для забавы; это делалось в гостиной и называлось: *дети занимаются рукодельем.* Впрочем, не годится и наговаривать по-пустому: барышни иногда рукодельничали; они, я думаю, могли вышить что-нибудь по канве, где стежка идет на готовую за стежкой, и ни обузить, ни посадить нечего; а белошвейная работа — ну, это, конечно, им не рука: на это есть девки. Конечно, все вещицы, которые ходили тут и там под именем их работы, принадлежали к модным и самым бесполезным вещам в мире; но вы опять-таки хотите, чтобы барышни, дворянки русские, были ремесленницами, и работали что-нибудь годное, путное, полезное для дому! В этом-то и штука, чтобы выдумать такую вещь, которою бы вежливые гости могли любоваться, а между тем видеть по первому взгляду, что это сделано для одной лишь забавы, не по нужде, не для нужды и даже вовсе не для употребления. Когда Калюжина готовила одной дочери приданое, то справила ей, уже отдельно от сестер, полдюжины рубах, шесть шелковых платьев, одно будничное ситцевое; но ни юбочки, ни кофточки — а убрала зато постель, наволоки, простыни и парадное шелковое одеяло кружевом. Да, позабыл я сказать еще о носовых платочках: для общего обиходу было в доме с дюжину батистовых платков, но уголки у них все были прорваны и даже оторваны напрочь; это делалось таким образом: в мытье их связывали попарно, чтобы удобнее перекидывать для просушки через веревку, а потом, когда приходилось катать или гладить, то для скорости развязывали узлы зубами или просто растягивали вручную, и видно, батист был плох; частенько зуб прачки

проходил в узелок навылет или кончик одного платка оставался в затянутом узелке другого.

С этим превосходным порядком в доме согласовалось, разумеется, и самое воспитание дочерей: одно другому не уступало. Не думайте, чтобы мать их баловала: нет, право, им иногда по целым дням житья не было от нагоняев, если они в чем-либо согрешали противу тактики Анны Мироновны, вынужденной обстоятельствами; они при посторонних отвечали головою — которой доставалась порядочная мойка — за все невыгодные последствия поведения, несогласного в чем-либо с планами матери. Но что делалось за заветной ширмой, за перегородкой или вообще в доме далее столовой, счетом третьей комнате от передней,— до этого, разумеется, Анне Мироновне не было никакого дела: в это она, как благоразумная и чадолюбивая мать, не мешалась, не стесняла волю дочерей ничем. Если, например, Калюжины приглашены были на обед или вечер, то никакая головная боль, ни угар, ни тошнота, ни другие обстоятельства и невозможность одеться не спасали дочерей от корсета и выезда; вы согласитесь, что это также благоразумно и чадолюбиво, потому что оно делалось, собственно, для них же, для детей,— их надобно было показать, где только есть к тому случай. Тогда не принималось никакой отговорки, должно было одеться, ехать, улыбаться, глядеть на всех весело, заманчиво, любезничать. Если носили в доме на руках женишка, то уже долгоногим не было пощады: и не гляди на него, и не говори с ним теперь, влюбляйся там на просторе и на свободе, когда никого нет, а теперь сюда держись, сюда носом, туда кормой, правь по компасу и не сбивайся с румба, вот тебе маяк. Если — что случалось, впрочем, очень редко, и может быть, всего раза два-три,— если слишком строгий порядок в доме выводил наконец которую-нибудь дочь из терпения и она, наслышавшись от какой-нибудь подруги о том, как то или другое водится в других домах, пыталась завести какой-нибудь толк и порядок в белье ли, в чем ли другом, то Анна Мироновна останавливала ее в ту же минуту и говорила: «Вздор, чтобы я распоряжений твоих в доме и не видела и не слыхала; ты бы, сударыня, изволила наперед позаботиться, чтобы порядочный человек к тебе присватался да не покинул бы

опять после, по твоей же глупости, да тогда и распоряжайся у себя в доме как хочешь. Как жили доныне, так и будем жить и вперед».

Глава XVIII

От дому Калюжиных и до квартиры Чайкина через большую улицу и рынок, за вторым переулком

Итак, вот вам этот знаменитый, хлебосольный дом Калюжиных, дом, вам, конечно, уже знакомый, потому что, повторяю, он есть в каждом порядочном городе Руси.

Время было о ту пору, как я прибыл в Алтынов, для Калюжиных, надо думать, тяжелое; старшую дочь отдали благополучно за вице-губернатора, другую с помощью зятюшки старались пристроить за одного из советников, который был уже поставлен в такое положение, что решительно не знал, что делать и как быть, и с горя запил, чего, говорят, с ним прежде не бывало; этим счастливым обстоятельством воспользовались, и когда Артемий Семенович начал приходить в себя, то ему сказали, что он жених Марьи Калюжиной и что вице-губернатор хлопочет о представлении его к награждению землею по чину.

У Калюжиных стояли на всех концах города махальные, которые извещали Анну Мироновну обо всем происходящем; кроме того, дом Калюжиных был угольный, окна во все лето растворены настежь, так уже и сквозным ветром заносило все вести, которые летали без хвоста по городу. Из пяти домашних караульных три по крайней мере стояли постоянно на часах у окон, чтобы видеть все, что делается на улице: кто прошел, кто проехал, куда, кто кому кланяется, кто нет и прочее. Вы видите, что тут недоставало часовых и на две смены, полагая три притина, но бедненькие барышни обмогались как могли и только по праздничным дням ставили за ворота в помощь себе передовой пост, ведет, состоявший из двух девок и человека: полные и законные три смены.

Все вновь приезжие пользовались особенною милостью и приветливостью в доме Калюжиных. На дру-

гой, много на третий день приезда нового чиновника его приглашали к Калюжиным к обеду, при прощанье приглашали запросто по вечерам и на следующий вечер, если он сам не являлся, за ним посылали; при третьем посещении ему вручались пять альбомов девиц Калюжиных с просьбою написать или нарисовать что-нибудь, а потом уже дело шло обыкновенным порядком.

Я не хотел заводить в Алтынове обширного знакомства, отнекивался в особенности, по слухам и какомуто предчувствию, от дома Калюжиных, но меня наконец позвали туда как врача. Разумеется, что тут не было для меня никакого повода отговариваться: я пошел. Посещение это кончилось знакомством моим в доме; все было уже так искусно и мило подведено и подготовлено, что мне и тут не осталось ни одной уловки, если я не хотел быть просто неучем и грубым. Вторым следствием этого приглашения, где лекарское звание мое служило только благовидным предлогом, было то, что господа члены управы сильно противу меня возопияли и требовали от меня ответа: как я смею втираться в их практику и принимать на себя чиновных больных, когда тут есть врачи постарше меня, и сверх того, еще мои начальники? Как я смею быть совместником непосредственного начальства моего? Это-де при первом спопутном случае может обойтись подчиненному дорогонько. Между тем и третье следствие, необходимое при знакомстве в доме Калюжиных холостого человека, не замедлило вскоре сказаться на деле.

Не знаю, с которого конца начать быль эту — она как-то запутана. Повода я, право, не подал к ней никакого, разве только тем, что также расписался и разрисовался в пяти альбомах барышень; но что же вы будете делать, коли вам их подносят? Не сказать же: пишите сами!

Итак, я никакого греха не замышлял, ни о чем не думал, бывал раз в неделю у Калюжиных, наряду со множеством других,— вдруг слышу, что меня не только пустили по городу женихом, но что даже у Анны Мироновны с зятем, вице-губернатором, вышла маленькая ссора из-за меня; он противится этому союзу, обещает найти жениха почище меня и не желает родниться с отставным солдатом, который угодил как-то

в уездные лекаря; а она настаивает, хочет отдать за меня дочь, которой-де от счастья своего не бегать, а ныне время такое, что за женихами не набегаешься. Все это казалось мне до времени очень забавным, и я стал только бывать у Калюжиных еще реже прежнего и только в такие дни, где собиралось там много, и наконец почти отстал вовсе. В городе, где два дома рассорились за то, что одна барыня сказала: «Ах, какой вы крепкий чай делаете», а другая отвечала сухо: «Для гостей своих ничего не жалею»,— и слово за словом, и разошлись или разъехались турухтанами; где, кроме того, как известно, какой-то бесплотный бес в виде вихря носит по городу и перепутывает на каждом перекрестке городские вести и сплетни,— в таком городе, подумал я, не убережешься от этих швей — прошу наборщика не сделать в этом слове опечатки,— пусть их плетут. Но этим я не отделался.

Я жил в низеньком домике без палисадника; улицы в этой части города так широки, что бабы летом через улицу друг другу в окно горшки на ухвате передают; перед окнами моими нанесло огромный сугроб снега, а его прикрыли еще пластом навоза; весна пришла, я растворил рано окна, а между тем по улицам не было еще проезду на колесах. Семейство Калюжиных, маменька с четырьмя дочками, сели в огромный возок и отправились по этой распутице с визитами. Едут они по моей улице, взобрались на знаменитый сугроб мой, а оттуда кучер возьми да и вывали их прямо ко мне в окно. Я сидел в халате за работой в соседней комнате, но, услышав страшный крик в окне своем, успел еще вовремя подскочить, чтобы принять под руки незваных и нежданных гостей. В самом деле, им нельзя было вылезть иначе из возка, как прямо ко мне в окно. Раз, два, три, четыре, пятая сама Анна Мироновна,— все, слава богу. Народ сбежался, возок поставили на ноги, подали под крыльцо, и я гостей своих выпроводил: раз, два, три, четыре, пятая сама Анна Мироновна,— слава богу, все.

Это происшествие, в котором я, право, столько же виноват, как и вы, разнеслось сейчас же по всему городу, наделало шуму, толков, а меня, который не бывал уже более месяца в доме Калюжиных, из благодарности пригласили к обеду и на вечер и взяли с меня слово быть непременно. Анна Мироновна рас-

сказывала чудеса об отчаянной неустрашимости моей, как я спасал их из-под опрокинутого возка,— хотя, по правде сказать, мне оставалось только открыть окно свое, и вся поклажа, весь груз вывалился в мою комнату. Я был при этом лицо страдательное. Но странно, как несколько дней сряду после этого происшествия весь город теснился более обыкновенного в гостиную Калюжиных, как будто любопытствуя взглянуть на них после визита уездному лекарю: те ли они, какие были? А еще страннее, что господин вице-губернатор счел за нужное подослать ко мне после этого знакомого со мной чиновника своего с объявлением, чтобы я и не думал о невесте из дому Калюжиных, что этому-де не бывать. Я глядел долго, вопросительным знаком в натуре, на приятеля моего и не знал, хохотать ли мне или сказать пошлую грубость. Наконец я сделал и то и другое; я расхохотался и спросил его: «Разве есть в Алтынове обычай сватать непременно тех девиц, которых кучер вздумает вывалить к вам в окно?» Приятель заметил однако же, что я сватался на Прасковье Герасимовне и что я ныне возобновил предложение свое; я отвечал прямо, что это нагольная ложь; и когда тот уверил меня, что он об этом сам слышал от Анны Мироновны и был свидетелем споров ее по сему предмету с зятем, то я в ту же минуту оделся и пошел к вице-губернатору сам.

— Что скажете, почтеннейший?

— Я пришел к вам со странным объяснением; но как быть, извините меня. Вы приказывали сказать мне под рукою, что не желаете, не допустите брака одной из своячениц ваших с уездным лекарем; свидетельствую перед вами, что уездный лекарь этот никогда не думал льстить себя такой несбыточной надеждой, что он даже никогда не желал, не искал этого и, следовательно, ничем не угрожал вашему семейному спокойствию.

— Как? — спросил вице-губернатор, сблизив и нахмурив брови.

— Так,— отвечал я,— никогда не думал я об этом и первое слово слышу сегодня от приятеля моего, почему и счел долгом лучше сейчас с вами объясниться.

— Вы, однако же, имели намерение, то есть желание,— продолжал вице-губернатор,— и, может быть, оставили его, как человек благоразумный, который...

— Который,— прервал я,— никогда об этом не думал, никогда на свете ничего подобного не говорил, никогда, сколько знает, не подавал к таким сплетням ни малейшего повода, и только.

Его высокородие походили взад и вперед, заложив руки в карманы, промычали раза два отрывисто букву *м*, потом вдруг обратились ко мне с просьбой, чтобы это все осталось между нами.

— Я в деле этом,— сказал я,— человек посторонний, не спросите вы меня, и я бы ничего об этом не знал, не только не говорил. Но что же теперь, когда сплетня получила, по-видимому, такую гласность, прикажете мне отвечать тем, которые заблагорассудят спросить меня об ней с такою же откровенностью, как вы?

— Послушайте,— сказал вице-губернатор,— а как почтенное имя и отчество ваше, позвольте узнать?

— Вакх Сидоров.

— Виноват, извините меня. Послушайте, любезный Вакх Сидорович; сами вы изволите видеть, дело щекотливое — речь идет о доброй славе девицы одного из первых домов здешних: скажите, что вам отказали; вам можно со временем доставить покровительство; вы знаете, без этого молодому человеку служить трудно.

Я поглядел несколько времени на этого уездного лекаря из податного состояния, перед которым стоял вице-губернатор со звездой в виде какого-то просителя, и забыл на время, что я сам одно из действующих лиц этой комедии. Я опомнился, когда вице-губернатор стал просить меня убедительнее и обещать еще с большим жаром высокое покровительство свое.

— Не для того, Иван Степанович,— сказал я наконец,— что вы обещаете мне лестное покровительство свое,— я обходился без него и не при таких обстоятельствах, в каких живу ныне,— не потому, что она девица из первого дома в Алтынове, а я из последнего в Комлеве, а просто так, без всяких причин — извольте, я сделаю это: я буду говорить, что мне отказали. Но потрудитесь уже взять на себя извинить меня перед Анной Мироновной: я у них в доме более бывать не могу.

Вице-губернатор облобызал меня и проводил до передней; через два дня вышла страшная сплетня, ко-

торую пересказать в подробности не поворотится язык, да и не стоит того; из благодарности к поступку моему рассказывали обо мне ужасные и беспримерные злодеяния, ухищрения, происки, черные поступки всех родов, вследствие-де коих мне и было вдруг отказано не только от бывшей невесты моей, но и от дому Калюжиных; предостерегали весь город не знаться и не водиться с таким неблагодарным злодеем, который-де был принят в дом, обласкан как свой и прочее и наконец отблагодарил таким черным поступком. Листки мои во всех четырех альбомах были по приказанию маменьки вырваны и преданы поруганию; наконец призывали тайно какую-то знахарку — кто говорил для привораживанья моего, кто говорил из мести,— чтобы напустить на меня корчи и сухотку.

Я почти лишним считаю прибавлять еще какоенибудь пояснение; наглая сплетня о сватовстве моем изобретена и распущена была первоначально самою Анной Мироновной, с тем: 1-е — чтобы в городе заговорили о новом женихе в семействе Калюжиных — мера, признанная издавна полезною и потому повторяемая у Калюжиных, как во время оно чистительные средства около первого числа каждого месяца; 2-е — чтобы понудить других женихов приступить порешительнее к делу; 3-е, наконец,— чтобы приготовить себе на всякий случай убежище; если, то есть мера, по первым двум статьям, оставалась бы недействительною, то сделали бы из подставного жениха заправского, настоящего, постарались бы придать делу такую степень гласности и запутать нареченного со всех сторон подосланными людьми и подведенными штуками, что бедняку в самом деле ничего бы не оставалось, как жениться, если он не хотел бежать с этого света куда-нибудь на другой или по крайней мере в другую губернию.

Я дал вице-губернатору слово принять все это на себя и сдержал его. Впрочем, вероятно и независимо от этого и против воли моей, вся вина упала бы на меня: одинокому и ничтожному по чину и званию человеку слишком мудрено было бы состязаться в доброй славе и имени с таким почетным и хлебосольным домом, каков был в Алтынове дом Калюжиных.

Я отставал от общества все более и более, жил бедно и тесно одним жалованьем своим и посвятил все

время свое, весь досуг книжным и письменным занятиям и больным тех званий и сословий, которые нелегко находят необходимую для них помощь и пособие. Вся безмездная практика Алтынова и его окружности была у меня в руках.

Глава XIX

Об огурцах, моркови, тыквах, картофеле и других предметах роскоши

Однажды утром ко мне заходит Негуров, который, вышедши, как я сказывал, в отставку, нашел давно уже очень хорошее и выгодное место: управлял большим имением образованного и благомыслящего вельможи, проживающего в столице, и был доволен судьбой. С ним, с Негуровым, я иногда отводил душу, и когда он бывал в городе, то всегда меня навещал.

Негуров сделался замечательным хозяином, и его образ мыслить, судить, образ действий, смышленость истинно русская меня всегда чрезвычайно занимали и привлекали. Я слушал его по целым часам, и здравые суждения, необыкновенно удачно приспособленные к обстоятельствам и выраженные плавною, чистою русскою речью, пленяли меня, как ребенка. Помню, он говорил в этот достопамятный для меня день о причине упадка поместий и о нраве русского крестьянина.

«Большая часть хозяев и промышленников наших,— говорил он,— двух родов: староверы и модники, выскочки. Первые тупы, упрямы, держатся за изуверством бестолковых учреждений и распоряжений закоренелого предрассудка; вторые изображены Крыловым очень удачно в басне «Огородник и философ» — они выписывают мастеров и управителей из-за границы, в полной уверенности, что коли он немец или француз, так должен все знать и все уметь, и не замечают того, что к ним едут из-за моря одни выжимки, сор и брак, люди, которым там уже некуда деваться. Другое, не менее важное обстоятельство: у отца пятьсот душ и имение в порядке; старик живет барином, у него по обычаю пятьдесят человек дворни, своя охота, свои певчие — трем сыновьям его достается каждому сто

шестьдесят шесть и две трети души, а каждый из них непременно хочет жить, как жил отец. Они не привыкли жить иначе, по крайней мере с детства привыкли слышать и думать, что, в свою очередь, заживут барами,— как от этой заветной мысли отказаться, допустить, чтобы все соседи говорили: «Старик жил не так, жил открыто, у него было то, другое, третье — у сыновей нет этого ничего, они живут мелкопоместно». И куда девать им дворню эту, избалованную, гулливую, праздничную, не привыкшую к работе, если бы они, сыновья, и вздумали жить похозяйственнее? Наш род хозяйства таков, что огромная дворня объест в несколько лет и богатого помещика, как червь или кобылка, а помещика средней руки обглодает кругом. Далее: кроме Демидова, у которого вообще управление в Тагиле может назваться образцовым, у нас мало в России помещиков, у которых были бы крестьяне обеспечены надлежащим образом запасами на случай голодного года; урожай — хлеб продается за бесценок; неурожай — и беде нечем пособить, вся выручка трехчетырех прошлых лет не может прокормить нас в течение одного бедственного года, потому что денег, если бы они и были еще налицо, есть нельзя, и чем более вы выпустите в такой год денег, тем более вздорожает хлеб, но его не сделается более, запасов не прибудет. Ясно, что достаточные запасы хлеба с году на год предупредили бы это бедствие и могли бы поддерживать всегда уравнительные, средние цены, именно как это делается в Тагиле. Дешев хлеб — не продавай его, а дорог — не набавляй через меру цены, и выгода все у тебя будет та же. Но хозяйство наше всегда устроено на одни сутки; мы искони перебиваемся с весны на весну и без наличной выручки к сроку не можем прожить трех дней.

Надобно также уметь совладать с мужиком нашим, надобно для этого научиться не только грамматике и риторике его, то есть языку, но и логике; да у него логика своя: он готов поверить всякую минуту самому бессмысленному вздору, если вы подкрепите болтовню свою его логикой, и, наоборот, не поверит очевидной истине, если не сумеете его убедить. У нас это большое горе, что не умеют говорить с чернью; говорят с нею или свысока, так что она не может ничего понять, или как с животными, со скотом. Мужик не верит

предохранительной оспе, не верит пользе от картофеля и других овощей, не верит никакому новому и лучшему порядку в управлении, а готов верить, что предохранительную оспу пустил на свет антихрист, что картофель — порождение сатаны и от него не будет урожая на хлеб; наконец, что все господские селения отбираются в казну, а господа сами для этого жгут их, что целая губерния подарена какому-то небывалому сенатору Медведеву, чему-де служат доказательством гербы с медведями (то есть со львами) на картузах жуковского табаку. Но так точно, как в последнем случае чиновник, которого разъярившаяся чернь хотела разорвать на клочки за то, что нашла у него картуз табаку с гербом сенатора Медведева, нашелся, успокоил и вразумил неистовых простым замечанием, что «какой же-де это медведь, братцы; посмотрите, ведь медведь куцый живет, а у этого долгий хвост»,— так точно и в других обстоятельствах можно убедить и вразумить мужика, но у нас редко достанет на это терпения, смышлености и находчивости; мы мало сроднились с духом нашего народа.

Впрочем, не спорю, есть случаи, где и самый благомыслящий человек потеряет терпенье и где, по-видимому, нет никакого средства вразумить сумасбродов, кроме силы и страха. Гром не грянет, мужик не перекрестится,— эту пословицу создали не мы, а сам же народ. Мужик умен, да мир дурак, и если горбатого исправит одна только могила, то упрямого исправляет дубина. Крестьяне одной из соседних деревень здешних, Агеевки, вдруг взбунтовались: распусти их всех на оброк. Помещик отказал, не видел никакой к тому причины, не хотел бросить заведенное хозяйство свое и прогнал мужиков на работу. Вместо работы они все собрались в одну кучу, отправились гурьбой в уездный город, к исправнику на двор, и требовали настоятельно, чтобы их распустить на оброк, что они работать барщины не хотят. Исправник разобрал дело, поговорил с приехавшим вслед за ними помещиком; жалоб никаких не было, одно настоятельное требование: распусти их на оброк. Исправник поставил мужиков рядком, толковал, говорил, усовещевал — нет; крик увеличивается, и слышно одно бестолковое требование: распусти их на оброк. Исправник начал с правого флангу

и высек розгами сряду и поголовно всех; тогда мужики мои поблагодарили по обычаю своему за науку, поклонились в пояс, повинились, отвечали в голос, что теперь поняли приказание исправника и обязанности свои, воротились чинно в деревню и на другой же день принялись спокойно за работу. Мужики мои прошлись только взад и вперед верст тридцать пять за доброй наукой, расписались в получении бани и, как разумные люди, опять успокоились.

Я могу вам рассказать много подобного и из собственного опыта моего, из нынешнего моего хозяйства. И я колочусь с ними иногда как рыба об лед. Например: у нас лошадей воруют у мужиков беспрестанно, а пастуха держать не соглашаются, лучше пускают лошадей все-таки на авось. Овец гоняют в одном стаде с коровами, потому что держать особого пастуха для овец стоит по двадцать копеек с овцы, чего крестьянин заплатить не согласен. Между тем коровы беспрестанно давят и топчут овец, особенно ягнят; не проходит летом двух недель, чтобы не задавили по крайней мере одного,— все это не наука, не убеждение, все-таки всякий пускает овцу свою на авось в коровье стадо. Огородов нет у крестьян, бахчей нет, кроме хлеба своего, не сеют ничего и сеять не хотят; мало этого: я сею овощей много и, чтобы заохотить крестьян, отдал им прошлого году целый загон готовой моркови и сотни две тыкв, сказав старосте, чтобы он разделил это на всех. Что же вы думаете? Морковь погнила вся в земле, тыквы померзли и пропали, никто не потрудился воспользоваться этим, ни один человек не поехал набрать тыкв, не послал ребятишек набрать моркови — от лени и от упрямства. Но если вы думаете, что крестьяне мои не едят тыкв и моркови, то ошибаетесь: удельные крестьяне по соседству сеют много овощей всякого роду и развозят их по деревням; когда к моему мужику привезут под окна воз моркови, то мужик берет ее не только за деньги, коли они у него есть, но, что хуже того, берет мерку моркови за мерку муки; между тем морковь стоит десять копеек, а мука — полтину, а этого вы мужику не растолкуете людской логикой; он говорит свое: отдал муку, так деньги дома. Крестьяне меняют таким образом и тыквы, и огурцы, и свеклу, а сами не разводят их, все за недосугом. Они

из барского огорода воруют картофель, дозреть ему не дадут; намедни ровно свиньи все гряды перерыли, а заставьте их развести свой — беда; готовы взбелениться за такое притеснение, за насилие и соблазн».

Глава XX

От предметов хозяйства и до самого конца рассказа, с попутными замечаниями о чеботарном ремесле

Между тем как мы толковали с Негуровым, вошел старик чеботарь, отставной солдат, который всегда в Алтынове на меня работал. Негуров поздоровался с ним и прибавил, обращаясь ко мне: «Славный старик, тезка и однопрозванец твой, я его люблю».— «Какой тезка? — спросил я.— Это редкость, я немного встречал на Руси тезок, разве и тебя зовут Вакхом?» — «Нет,— отвечал тот,— Сидором». А Негуров прибавил: «Он однопрозванец твой, Чайкин».

Чайкин — и Сидор Чайкин — меня вдруг будто обдало кипятком с головы до ног! «Да откуда ты родом?» — спросил я робко, проглотив почти словечко *ты*. «Из Комлева»,— отвечал старик и принялся было снимать у меня с ноги мерку, закусывая метки зубами.

Из Комлева, и Сидор Чайкин! Вещее недаром во мне вздрогнуло. Это точно был мой отец. Лет пять жил он уже в Алтынове, куда случай его занес, два года постоянно на меня работал, и теперь только объяснилось, что это был родной мой отец. Тридцатилетние похождения его были очень просты: он был отдан в Лебедяни в солдаты, как бродяга, прибыв на ярмарку в надежде *на авось*, без паспорта и связавшись с другим барышником, или, лучше сказать, конокрадом, который поручил ему продажу краденых лошадей, чего отец мой и не знал, он был запутан в это дело. Прослужив законный срок, батюшка был уволен в отставку, а как у него в Комлеве не было никого из своих, то он и остался на перепутье в Алтынове и зарабатывал хлеб свой ремеслом, которому выучился на службе. Старик никак не хотел верить яснейшим доказательствам моим, что я точно сын его, дело казалось

ему баснословным, наконец он расплакался как ребенок и, утирая слезы, говорил без умолку, рассказывая все похождения свои в каком-то полунервическом раздражении чувств и духа.

Можете себе представить, какого это наделало шуму в Алтынове, когда разлилась весть, что чеботарь Сидор оказался родным отцом уездного лекаря! Одна из записных вестовщиц, до которой все новости всегда доходили ранее, чем до всех прочих, разумеется задушевная приятельница Анны Мироновны Калюжиной, приехала к этой спустя не более часу после описанного случая; а как в доме еще было рано, то она захватила всех врасплох и, между прочим, застала в передней девку и лакея, сестру и брата, в какой-то ссоре; гостья эта сделала в ту же минуту расправу, дав им обоим по пощечине и несколько назидательных уроков, и затем прошла, чреватая неожиданною новостью, прямо в покои Анны Мироновны, где и разрешилась мгновенно и благополучно от бремени своего; только при прощанье она, увидав опять ту же девку, сказала мимоходом: «Я у вас, матушка Анна Мироновна, разобрала и помирила людей, Фомка бранится вот с сестрой и чуть не подрались,— нет, не беспокойтесь, я уже покончила это дело».— «Видите, я всегда вам говорила, что этот Чайкин — преподлый человек,— отвечала Анна Мироновна, когда она опомнилась от изумления, и потом закричала:— Детки, детки! Подите сюда!» И когда барышни, пошаркивая отопочками своими и поддерживая и прихватывая, где надобность была, свои блузы и капоты, вошли, то она рассказала им происхождение мое с каким-то видом наставления и поучения, приказывала вперед всегда остерегаться таких случаев, и еще раз осведомилась: не осталась ли какая-нибудь память обо мне в котором-нибудь альбоме?

Инспектор управы, как ближайший начальник и покровитель мой, призвал меня, когда весть дошла до него, частным образом и глаз на глаз расспросил обо всем подробно, приговаривая: «Да как же это так?» — и пожимаясь то в ту, то в другую сторону, как будто его жгло то тут, то там или что-нибудь такое беспокоило; наконец, убедившись в истине дела, советовал мне с видом покровительства отправить, коли уж это так случилось, старика своего потихоньку домой на ро-

дину. Наш инспектор управы был также в своем роде человек: он чернил искусно густые, седые волосы свои, употреблял много притираний и разных косметических средств и снадобий, одевался и убирался каждое утро часа два, запираясь один на замок, выступал очень важно и величаво, любил цепочки, печатки, перстни, кольца и булавочки с мушками и козявками, поместил сам себя врачом при больнице, в богадельне, в приказе, при гимназии, в семинарии — словом, при всех заведениях в Алтынове, где только было хоть малое жалованье; доносил всегда подробно о своих обширных занятиях и в круглый год не заглядывал ни одного разу никуда. По важности чина его и места это и действительно было бы неприлично; больным уже легко было оттого, что он там числился. Там всем заведовали фельдшера и даже писали по форме скорбные листы и названия болезней на дощечках. Итак, он посоветовал мне отправить отца скорее на родину его.

— Кому же он здесь мешает?— спросил я.

— Ну оно, видите, неловко: как же вы хотите жить в одном городе с родственником из такого сословия — рассудите, я советую вам начальнически; это может вам повредить, так сказать.

— Если бы я жил с отцом и вперед, как доселе, когда не знал его, врознь в одном городе,— продолжал я,— тогда, конечно, это могло бы дать невыгодное обо мне понятие; но как мы отныне со стариком не расстанемся и будем жить вместе, то я не вижу тут никакого неудобства.

Инспектор посмотрел на меня в каком-то недоумении, потом, приподняв брови, отвернулся, кашлянул два раза и чихнул притворно, что он делал, впрочем, с большим искусством в критических положениях, когда хотел вдруг переменить или оторвать разговор. Помолчав немного, я прибавил еще:

— Впрочем, во всяком случае, обстоятельство это не будет беспокоить никого, ни даже вас, Сергей Сергеевич, если только вы будете, по всегдашнему своему расположению ко мне, столь добры, что не задержите просьбы моей: я намерен ныне же подать в отставку.

У Сергея Сергеевича отлегло много от сердца, когда он это услышал; ему с меня, как с козла, не было

ни шерсти, ни молока, и это ему давно уже надоело; придиркам всех родов не было конца. По временам только он снова мирился со мною по какому-нибудь особому поводу, давал мне много хороших наставлений и надеялся, что у нас вперед дела пойдут лучше; а впоследствии, когда я, по недогадливости своей, не заправлял их ничем, всегда возникали опять новые неудовольствия.

Я вышел в отставку вот по какому поводу: Негуров, учредив в имении порядочное управление, вскоре приобрел доверенность и уважение не только своего помещика, но и двух-трех соседних; он устраивал в селе при заводе больницу и убедил соседей в пользе последовать примеру его и взять на первый случай на общий счет врача. Таким образом, он предложил мне место это, которое вполне обеспечивало меня насчет насущной жизни. С жаром принялся я тут снова за свою обязанность и впервые почувствовал себя на своем месте; мог жить и действовать свободно и благодательно в кругу своего звания, где никто не перечил мне, не искал случая сделать мне какую-нибудь неприятность, не требовал одной только утомительной и бесполезной письменной отчетности, как главнейшего предмета, а где обращали внимание на труды, заботы и успехи мои в пользовании немощных, где вникали во всякое благоразумное предложение и требование мое и дали полную власть заботиться не только о больных, но и о сохранении здоровых. Таким образом, сделали распоряжение, по коему все женщины в деревне на все время беременности своей освобождались от работ; выстроили бани, запретили мочить конопель в озере, из которого все берут воду, завели продажу говядины меною на хлеб, чтобы дать всякому средство иметь чаще мясную пищу; приняли множество мер противу смертности младенцев, и я надеюсь, что в течение немногих лет старания наши покажут в числительных выводах пользу всех этих распоряжений.

Вот под какими обстоятельствами, приметами и знамениями праздновал я в кругу семьи Негурова тридцатое рождение свое. Обещав рассказ о жизни моей только за тридцать лет, за первую половину, я бы должен был на этом закончить нынешние записки свои; но для полноты дела следует прихватить еще и часть

тридцать первого года, с коего начинается вовсе для меня новая жизнь, новое летосчисление.

Мой добрый безногий француз, переходя из рук в руки, попал между тем — куда бы вы думали? — в дом к моему полковнику, у которого детки подросли и требовали воспитания. Француз всегда писал мне от времени до времени и описал мне с особенным жаром свой торжественный въезд и вход на костылях в дом моего благодетеля. Вечно юный сердцем старик описывал с восхищением, как приняли в доме полковника бывшего учителя Вакха Чайкина, с каким уважением с ним обходились, как все не могли им нарадоваться. «Да,— прибавил он,— отставной артиллерист большой армии, отставной учитель Вашеньки опять вступил на службу, но чувствует, что вскоре будет отставлен и уволен от службы и звания гражданина этого мира, скоро будет отставным человеком. Старость не беда, но беда — дряхлость, которая заставляет поглядывать иногда мимоходом в готовую яму. Там мое место, Ваша, там, это я чувствую, и я бы давно остыл уже, если бы меня не грели иногда воспоминания. Здесь, Ваша, есть еще одно солнышко, которое ходит за мною, как дочь за отцом,— и это в честь тебе, друг мой, *honneur aux braves!*[1] Груша кланяется тебе, и признаюсь тебе, сухой поклон этот по себе, без этого думного, спокойного личика,— пустая фраза, а я таки когда-нибудь соберусь, и спишу ее, и пришлю тебе напоказ темно-русую головку, которая не может быть, чтобы не оставила в тебе каких-нибудь приятных воспоминаний».

П р и п и с к а. «Письмо осталось на неделю, не попало на почту, и я посылаю тебе обещанное сокровище: видишь, я ребячусь, как школьник, и делаю непозволительные шалости — не выдай меня, не продай».

Личико это было то же, как шесть-семь лет тому назад, когда оно прожило на свете всего лет пятнадцать или шестнадцать,— детская резвость его только смягчилась умным и спокойным взглядом, полным души. Прежнее, былое пробудилось во мне с неимоверною силою, я заплакал как ребенок.

Я потребовал отчета у француза: каким образом Груша, которая давно замужем, жила опять в доме

[1] Почесть смелым *(франц.)*.

у полковника? И француз отвечал мне, что она никогда замуж не выходила; она была помолвлена несколько лет тому, по настоянию сестры и зятя, но не смогла одолеть отвращения своего от замужества и, по личному объяснению с женихом своим, осталась опять свободною.

Передумав несколько времени и переработав в голове и в сердце это, я объяснил своему французу все, сказав, кто я теперь и чем могу располагать, и поручил ему сделать разведку и опознаться на месте, как и где рассудит, и уведомить меня: нет ли для меня еще какой-нибудь надежды? Переговоры эти кончились тем, что я поскакал туда сам и привез с собою в столицу нашу, село Негожево, в шестидесяти верстах от Алтынова, молодую жену, Грушу. Француза мы оставили полковнику еще на время, с тем чтобы он приехал умирать к нам, и он свято обещал исполнить это, и вскоре. Батюшка живет, разумеется, с нами, но не ест хлеба даром: он еще свеж и здоров и чеботарит преспокойно на весь дом наш, потому что ему сидеть сложа руки и грешно и скучно.

ХМЕЛЬ, СОН И ЯВЬ

Ведаясь промеж собою, в кругу людей, коим уже родом и судьбой назначено жить белоручками, мы удалены участием своим от жизни чернорабочей. Жизнь простолюдина кажется нам чрезвычайно однообразною, незанимательною: всем помышлениям указан тесный круг; вечные заботы о насущном хлебе; нет потребностей, кроме сна и пищи; нет доблести, кроме случайной; есть добродетель, покуда нет искушения, а нет искушения — где нет кабака.

Нельзя спорить против этого, нельзя и согласиться безусловно. Человек все один и тот же; отличается один от другого либо тем, что бог ему даст,— и этот дар даруется не по сословиям; либо тем, что приобретешь наукой и образованием,— и если это собственность высших сословий, то по крайней мере способность, восприимчивость к тому всюду одинаковая; либо, наконец, отличается один от другого кафтаном — и это различие, бесспорно, самое существенное, на котором основано многое.

В малоземельных губерниях наших значительная часть населения зарабатывает хлеб свой на чужбине и возвращается домой только временно, почти на побывку, принося с собою деньги на хлеб, на подушное и на другие нужды. В близких от столицы губерниях крестьяне уходят только на лето, а зимою или бывают

в извозе, или занимаются ремеслом, или же, наконец, лежат на печи; но из дальних губерний работники уходят на два, на три и более года не только в столицы, но и во все концы царства; симбирцы, владимирцы, ярославцы строят дома в Уральске, Оренбурге, Омске и Тобольске. Во многих малоземельных губерниях большая часть господских имений на оброке, мужики ходят по всей России и одни только старики, бабы и дети сидят дома. Тысячи плотников, столяров, половщиков, каменщиков, штукатуров, печников, кровельщиков рассыпаются оттуда ежегодно по всей России; крестьяне целыми селениями держатся по наследству промыслов, к коим привыкли уже деды их. Целые деревни тверитян или новгородцев бывают летом в Питере штукатурами, а зимою сапожниками; привозят товар свой каждую весну, когда идут на работу обозами в северную столицу нашу, отдают сапоги нипочем, лишь бы выручить зимние харчи, и эти-то обозы наполняют знаменитые лавки Щукина двора, где готовые и на вид порядочные сапоги можно купить за целковый, то есть дешевле, чем в Петербурге обходится самый товар.

Бурлаки и музуры — судорабочие и матросы идут вниз по Волге огромными толпами, с сермягою и котомкою за плечом, с парою запасных лаптей на поясе, с деревянною ложкой, заткнутою на шляпе за ремень, лычко или бечевку; за пылью и грязью на этих людях больше ничего не видать. Бурлаки подымают суда на лямках, бечевою, вверх по Волге, отправляясь сперва за этим пеши вниз, и при всем том народ обходится здесь судохозяевам в работе дешевле быков и лошадей. Вот работа и хлеб для самых грубых, не искусных ни в каких ремеслах околотков, и вот тот народ, который работает эту конскую работу в поте лица месяц сряду, с тем чтобы, отбыв одну путину, пропить всё в три дня. Не стану поминать промышленников и дармоедов разных родов, кулаков, которые меняют по деревням разные припасы,— кошатников, которые собирают колотковые меха, выменивая у баб кошек на деревянную посуду,— разносчиков и ходебщиков, а говоря собственно о ремесленниках, должно упомянуть и о крестьянских портных, которые ходят зимою по селам и, постукивая в окно, спрашивают: «Нет ли *шитва?»* — потом рядятся с *аршина* и с *овчины* и берут

копейки по две, с уговором не пускать уже в эту деревню других портных — за что обшивают волостное начальство безденежно,— а обшив все село, идут далее и опять стучат посохом в окна. Нижегородские татары, возвращаясь домой под предводительством одного довольно статного мурзы, называемого всюду по пути князем, покупают на заработанные деньги башкирских (саратовских), киргизских и калмыцких лошадей, откармливают их путем по ночам воровски у стогов и скирд и перепродают по дороге с барышом извозчикам и ямщикам.

В этих малоземельных селениях заведено большею частию, что молодой парень должен заработать наперед известную сумму на отца и семейство свое, потом уже, уплатив года три-четыре подушное за отца или деда и за малых братьев, идет он работать год или два на себя и женится. Тут не найдете вы мужика-домоседа, мужика, который не видал бы свету; только разве в больших семействах, пятериках, семериках, один постоянно остается дома. Может быть, это обстоятельство объясняет сильную наклонность, всегдашнюю готовность крестьян наших к переселению; едва ли проходит спокойно два-три года сряду, чтобы какой-нибудь пустой, нелепый слух, бестолковая молва, бессмысленная сказка — приплетенная самым диким образом, ни к селу ни к городу, к новому узаконению или постановлению,— чтобы, говорю, какая-нибудь дикообразная сказка не подняла вдруг целые селения на ноги — бог весть куда, в какой-то баснословный край, где нет ни подушного, ни рекрутства. Тамбовские, воронежские, орловские, пензенские, калужские и других губерний переселенцы наводняют целыми ордами восточные пределы государства, кочуют, как цыгане, по нескольку лет сряду, то не получая отводу новых земель, то не соглашаясь селиться там, где указывают, то избирая по произволу чужие частные или войсковые земли, поселяясь на них силою и возвращаясь по нескольку раз опять на то же место, с которого сводят их посредством исправника или даже воинской команды. Господские крестьяне уходят до Астрахани, нанимаются там в бурлаки, в музуры, в тюленщики, в рыбаки, ходят в море, пропадают несколько лет без вести, не заботясь о давно просроченных паспортах, и нередко попадают в плен и рабство к адайцам или

туркменам — рабство, коему правительство наше наконец ныне положило предел.

Кочеванье это, бесспорно, бывает поводом порчи нравов; мужик балуется, и многие обвиняют за это шатающихся крестьян; но на все есть свои причины, и нам кажется, что, объехав, например, Владимирскую губернию, не станешь дивиться, для чего тысячи рабочих рук ежегодно ее покидают. Тут почва большею частию так дурна, что, глядя на этот сыпучий песок, перемешанный с какою-то мертвою, серою пылью, на болото, мшину и кочкарник, обгорелые пни и коряги, пожалеешь о потовом труде мужика, поднявшего лемехом каждый клочок и уголок, где только можно протащить одноконную соху. Если немец или англичанин сумели бы извлечь из этой неблагодарной почвы десятерицею больше нашего, то это еще ничего не доказывает; чего мы не знаем, тому не верим, а чтобы разуверить человека, у которого все основано на опыте, на завете отцов,— должно убедить его и переучить делом, а не словами. Есть, без сомнения, и другие причины этой страсти к переселению — но их оставим в покое. Везде хорошо, где нас нет.

Во Владимирской губернии на большой дороге есть село, известное по мастерству и прилежанию своих крестьян, плотников и столяров, в числе коих наберется и десяток-другой краснодеревцев. Село это известно под названием Глухого Озера и почти поголовно уходит в заволжский край на работу. Тут жила большая семья Воропаевых; дед сидел уже дома на печи, а отец и четверо сыновей ходили постоянно, по вызову подрядчиков, куда только путь-дорога лежит, и кормили и оплачивали всего не менее семнадцати душ. В числе подрядчиков этих был и родной брат отца-Воропаева, а дядя четырех сыновей; ему посчастливилось в работе, хозяин был он хороший, мужик смышленый, сшил себе синюю сибирку, взял сажень в руки и стал держать артель.

На этот раз плотникам нашим случилось проработать лето всем вместе или поблизости одному от другого; отец собрал их к зиме и велел собираться так же домой вместе всем, тогда как обыкновенно хаживали они поочередно, на общий счет, чтобы не больно издержаться. Рассудив, что степную лошадку можно продать без убытку на каком-нибудь яму, Воропаевы ку-

пили пару коней, и около рождества старик наш с сыновьями прибыл домой. Он не был на родине уже два года и подкатил на санях под ворота с резной стрехою — как снег на голову; никто его не ждал. Вошед не торопясь в избу, он отсунул от себя левой рукой старуху свою, которая, закричав от радости: «Ох ты, родимый мой!» — бросила было веретено свое и кинулась сдуру обнимать мужа. Он помолился преспокойно иконам, между тем как жена заливалась слезами; потом уже вымолвил: «Здравствуйте», поцеловал старуху свою, дочерей, малых сыновей и внуков. Вошли и приезжие четыре сына; семья жила нераздельно в большой, просторной избе на две половины с комнатками. Вскоре сбежались и замужние дочери и кто был на селе из зятьев; тут пошли шурья, свояки, свояченицы, тещи, невестки, кумы, кумовья — русский человек без сродников не живет,— и набралась полная изба. Отцу своему Воропаев-отец поклон в ноги; жена ему поклон в ноги; словом, все пошло своим порядком, и сродники кланялись низко отцу, дюжему плотнику, целовались с сыновьями его, говорили приличные речи, как следует по закону, например: «Как вас бог миловал? Подобру ли, поздорову? Соскучились мы по вас совсем» — и прочее, а затем приезжие разделись, то есть распоясались, скинули тулупы и кафтаны, уселись вокруг стола, заняв красный угол избы, а бабы подавали есть и пить, толпились около печи, за загородкой шарили в резном поставце, выгоняли из-под лавок кур, которые думали воспользоваться праздником и суматохой и втерлись под ногами у посетителей в избу. Между тем ребятишки, растянувшись на краю полатей ничком и потряхивая головами, глядели на все это, мигая и толкая друг друга. Кроме корчаги щей и горшка каши, плотники наши опорожнили вскоре два огромные кувшина квасу и отрезали себе на закуску по сукрою хлебца четверти в три, посыпав его крупною, как горох, солью.

— Добрались-таки опять до своего хлебушка,— сказал отец,— а было и есть его разучились.

— Нешто,— отвечал сын низовым наречием, к которому привык на работах своих,— нешто добрались; а и белые калачи их ладно под зуб лежатся, батюшка, что у нас вот пирогами зовут. Там хлеба век не знают,— прибавил он, оборотившись к свояку, человеку

не бывалому, который сидел дома на хозяйстве,— все калач, что по-нашему пирог.

— То-то ведь мы и ходим к ним калачи-то есть,— заметил отец, посолив еще раз из солоницы ломоть свой и стряхивая над ним пальцы,— что у них калачей-то много, что сами они с ними не управятся.

— А рыбы-то у них, рыбы,— начал другой сын,— хоть круглый год постись; и свиней рыбой кормят, и собак рыбой, да и коровы, брат, там рыбу едят; ей-богу, едят! Вот земля!

— Разумеется, так,— сказал один из сродников,— что город, то норов.

— Как так коровы? — спросил свояк, которому понятливость или сговорчивость сродника не пояснила дела.

— Да так, брат, едят, да и только; пожалуй, хоть отца, батюшку спроси и братьев, чай не дадут соврать; вот хоть и в самой Астрахани: заместо того что у нас дадут корове месиво какое, что ли, а там вяленой рыбки соленой подкинут ей, она и жует ее, ровно хлеб.

— А народу что там некрещеного,— начал другой,— так господи воля твоя! Ровно в собачье царство какое забредешь, так вот вокруг тебя не весть по-каковски и лают.

— Вишь ты, брат!

— Калмык про махаи толкует, карсак (кайсак) про свое там что-нибудь, татарин *киль-мунда, кизилбаш* молчит, сидит себе, таки вот хоть не води ушами, не при тебе писано!

Гости, и в особенности бабы, дивились всем чудесам этим; вскоре, однако ж, посторонние все разошлись с поклонами и остались одни хозяева. Смерклось; подали светец и лучин; отец позвал деда на совет, заперли двери на крючок, выслав наперед баб,— достали и сосчитали принесенные с собой деньги, рублей по двести на брата, кроме того что переслали уже домой на оброк; рассчитали, сколько и куда из них пойдет; потом убрали деньги, позвали баб, и отец роздал жене, дочерям и невесткам по платку; и мужья вытащили гостинцы свои; отец с дедом потолковали о том, где кто работал, по чему брал, что прохарчил и заработал и сколько принес. Наконец старик Воропаев, подозвав к деду третьего сына своего, Степана,

принес на него горькую жалобу, что он-де стал ни с того ни с сего погуливать и немало денег пропил.

Гневно вскинулся дед на робкого Степана, который кланялся ему в ноги, божился и заклинался, что вперед не станет никогда, даже в рот ничего не возьмет,— но у деда глаза горели, седой волос придавал суровому красному лицу его грозный вид; белая борода, пожелтевшая уже местами, как поблеклый лист, дрожала. Степан горько плакал, и сам отец, отступившийся от него в начале жалобы своей и предавший его гневу дедовскому, начал помаленьку задабривать деда, ручаясь за сына на будущее время. Степану объявили, что он с будущей весны пойдет работать на свое хозяйство, что пора его женить.

— Да гляди ты у меня,— прибавил дед, постукивая костылем своим в половицу и потряхивая выразительно по пояс разостлавшеюся бородой.— Гляди, Степан, коли ты у меня пить не бросишь с сегодняшнего дня, то господь попутает тебя, покарает, и наживешь ты себе неизбывное горе.

Настал март, и Степан, положивши на прощанье еще раз большое заклятие, что хмельного в рот не возьмет, стал собираться в путь. Хоть он и зарекался искренне и не пил дома во всю зиму,— но ему как-то боязно было идти в одно место с отцом и с братьями, и он пошел в Саратовскую губернию под предлогом, что там-де, слышно, лучше платят. Как хорошему плотнику, ему и точно дали триста восемьдесят рублей на хозяйских харчах за лето, то есть от пасхи до покрова, либо до кузьминок, до Козьмы и Демьяна, или ссыпчины, также девичий праздник, потому что девки сходятся в одну избу, приносят каждая что-нибудь съестное, готовят вместе ужин и празднуют свой праздник.

Степану пришлось работать с небольшою артелью, сперва в одной барской усадьбе, а там в удельном имении, где рубили избу для приказа. На барском селе жил так называемый в тех местах дворник, или содержатель постоялого двора. Этот человек был некогда господским, взял себе в голову, что не хочет служить у господина, хочет на волю,— а уж как русский человек заберет себе в голову что-нибудь, то справиться с ним мудрено. Тут ни опасности, ни очевидная бессмыслица предприятия и здравые, благоразумные убеждения ваши не пойдут впрок: «Оно все так»,—

подумает он, а иной раз и скажет: «Да уж власть господня, что будет, то будет, а я уж хочу того либо другого, уж пусть так и будет». Таким образом, молодец наш, забрав себе в голову, что ему надо быть мещанином, и собрав бог весть из каких источников бестолковое сведение, что на Черном море можно приписаться, собрался и ушел. С этого первого похода на Черное море привели моего молодца, перехватив его где-то на перепутье, с выбритой наполовину головой; но как он твердо вознамерился достигнуть во что бы то ни стало обетованной земли своей, то он вслед за тем попытался в другой, и третий, и в десятый раз, каждый раз возвращался по пересылке с бритой головой и до того надоел наконец помещику, что этот отпустил его на волю за триста рублей, которые неизвестно каким образом очутились у Черноморца — прозвание, приданное ему единогласно целым селом.

Черноморец поселился в Саратовской губернии, в помещичьем имении, и у него достало бог весть каких денег купить избу и выплатить помещику за год вперед оброк за постоялый двор. Степан случайно познакомился с ним, когда еще в прежние годы тут работывал, свел даже какую-то хмельную дружбу и не раз в прежние годы вместе с ним бывал пьян. В этот раз Степан крепился и держался; вскоре артель перешла на работу в удельное село, и может быть, вся дружба их тем бы и кончилась; но Степан остался работать и на зиму, потому что работа нашлась, и ему хотелось принести более домой, утешить отца и деда и жениться. Тут подрядчик послал его на санях в одну лошадку забрать в господском селе какой-то оставленный там плотничий прибор.

Степан заехал переночевать к своему Черноморцу и тут-то на досуге и на приволье, как гость, противу потчевания не устоял. А хозяин поил его вечерком с особенным усердием и заставил признаться в дружеской беседе, что у него в нательном бумажнике есть сотни две заработанных денег. Легли спать: гость на лавке, под образом, а хозяин с хозяйкой за перегородкой. Степан заснул, как лег, но ему привиделся страшный сон: родной дед его, в красной рубахе, с седыми как лунь волосами, пожелтевшею бородою, со страшными глазами и загорелою клетчатою как юфть шеей, стоял перед ним и хотел его зарезать за то, что внук

напился пьян. Степан проснулся и перекрестился; холодный пот проступил у него по всему телу. Хмель прошла, сон прошел, сердце стучало вслух, и Степан лежал целый час, едва переводя дух, едва смея вздохнуть.

В это время послышался ему легкий стук и шепот за перегородкой. Степан уставил впотьмах глаза в потолок и стал чутко вслушиваться: хозяйка упрашивает и умаливает хозяина о чем-то, а он ее сурово отталкивает и приказывает вздуть огня. Она все свое; он сердится, грозит, но шепотом; наконец Степан слышит ясно, что речь идет о душе его; хозяйка говорит:

— Родной ты мой, полно, покинь; не тронь его, господь с ним, мало ль ты уж на душу свою греха принял! Ну, за что ты его погубишь? Побойся бога хоть раз, не тронь его...

Степана дрожь проняла до мозгов, однако он нащупал наперед всего топор свой, сел, кашлянув громко, и спросил:

— Хозяин, никак и ты не спишь! Вели, пожалуйста, огонька вздуть да разочтемся за сенцо, мне, чай, уж ехать пора.

Хозяин дал хозяйке своей тихомолком зуботычину, велел вздуть огня,— и она на этот раз послушалась,— вышел к Степану, сказал:

— Что так рано, еще никак первые петухи только что замолкли?

— Да так,— отвечал Степан,— лошадь, видно, уж отдохнула, так пора собираться; хозяин наказывал пораньше поспеть на место.

Степан рассчитался с оглядкой, оделся, заткнул топор за пояс, пошел закладывать своего мерина, сказав, что зайдет еще, но вместо того сам растворил ворота, перекрестился, сел и поехал: хмель, говорит, всю из головы выбило, и следу не осталось.

Выехав за село, Степан пустил лошадь свою шагом и стал думать о том, что с ним случилось. Не верилось ему как-то, чтобы Черноморец посягнул на такое дело, и Степан уже почти готов был подумать, что все-де это ему во сне привиделось либо с похмелья померещилось. В это время другие мужицкие сани догоняли рысью Степана и кто-то кричал:

— Сворачивай, не видишь, что ли?

Степан оглянулся впотьмах, голос показался ему что-то знакомый.

— Сворачивай, тебе говорят!

— Тесно, что ли, тебе по дороге,— отвечал Степан,— объезжай стороной.

Наехавший сзади своротил в это время в сторону и в ту же минуту вдруг ударил изо всей силы Степана цепом. К счастию, Степан, напуганный уже вперед знакомым голосом и подозревавший что-то недоброе, не спускал с глаз своего попутчика и успел уклониться несколько от взмаха цепа, так что удар пришелся только в грядку саней и частию по ляжке. В один миг Степан выхватил цеп из рук убийцы, взмахнул и ударил его самого изо всей силы в самое темя; тот свалился в сани и уже не вставал. Лошади сбили между тем одна другую к краю дороги и остановились, упершись головами в сосну.

Степан перекрестился, слез с саней, оглянулся кругом — все тихо и пусто; подошел к недругу своему, посмотрел ему в лицо — он, он и есть. Черноморец, хозяин постоялого двора! Итак, отпустив плотника из дому и опасаясь, может быть, что он слышал ночной разговор и донесет теперь о злом умысле хозяина, этот решился нагнать его дорогой, хотел заставить своротить, чтобы отвлечь внимание его от себя, и наездом думал сбить его ударом цепа и обобрать. Судьба посудила иначе; хозяин лежал убитый перед плотником, а этот, радуясь своему спасению, не знал, куда, однако же, со страху деваться: он убил человека, будет сидеть в остроге, судиться — словом, пропадет.

Подумав немного, Степан, опасаясь всех страшных последствий, решился скрыть и утаить этот случай. Он нашел в стороне от дороги порядочный овраг, заваленный снегом и хворостом. Очистив одно место, он свалил туда убитого, прикрыл его опять хворостом и снегом, а лошадь оборотил назад и пустил по дороге домой. Затем Степан сам сел и поехал.

Ночь, темно, холодно, пусто и глухо. Задумался Степан наш и рассудил наконец, что всему-де этому виновата проклятая чарка. «Она меня было замертво спать уложила, и кабы не сон, кабы не приснился мне грозный дед, так, видно, и не вставать бы мне с лавки. Ох, чуть ли не правду он говорил мне, что наживу я горе неизбывное,— чуть ли это не оно и приспело. Не

стану пить; вот, ей-богу, господь видит, не стану»,— снял шапку и перекрестился, на небо глядя, и заплакал.

Приехал Степан в господскую деревню, куда его послали, принял, что следовало, переночевал, накормил лошадь и пустился опять назад. Страшно как-то было ему подъезжать к селу, где свершилось над ним прошлою ночью столько недоброго; сердце стучало, и Степан наш робко оглядывался. Время опять было под вечер; улицы на селе тихи, почти пусты, кой-где баба с ведрами, мальчишка в братнем тулупишке, в отцовской шапке; огонек кой-где уже светится в окна — словом, все мирно, тихо, приветливо. Стали мучить Степана и страх и любопытство; дай-де узнаю, что теперь делается в доме моего Черноморца. Подъезжает — и тут все тихо, огонек виден в окно, ворота заперты. Степан подумал — да и стукнул кнутовищем в ставень.

— Что надо?

— Покормить лошаденку, пустите.

Хозяйка отворила волоковое окно и высунула голову:

— Нет, господь с вами, проситесь к другим, нельзя.

— Что так? Ведь вы ж, бывало, пускаете?

— Пускаем, да теперь нельзя, хозяина нет дома, без себя пускать не велит; да это ты, Степан! Я было тебя и не узнала! Нет, кормилец, без хозяина пустить не смею, собачиться будет, ей-богу; ступай вон наискосок, к Федулову, там пустят, и сенцо у них свое, хорошее.

— Да где ж у тебя хозяин? Ведь вчера дома был, как я ночью уехал?

— А кто его знает, куда его занесло; вслед-таки за тобою, господь знает зачем, заложил сани, сел да и поехал,— а еще и деньги при нем были в бумажнике, рублей со сто никак; видно, запил, что ли, где-нибудь; диво только, что лошадь сама домой пришла,— аль он хмельной упустил ее,— пришла одна, и место, знать, в соломе на санях, где сидел, а его, вишь, нет.

Степан простился, сел и поехал, а хозяйка затворила окно. «Стало быть,— подумал он,— никто ничего не знает. Да и что ж мне, вправду, чего бояться? Я выехал себе наперед, приехал — хоть разыскивай сколько хочешь — в Родимиловку, никуда не заезжал, никто не видал; он выехал после меня,— с чего ж тут кто на

меня скажет? Никто и не подумает, и подумать нельзя никак. Однако сто рублев, говорит хозяйка, при нем были, а кому они достанутся? Никому; тут и пропадут, сгниют, как весна придет, только и будет проку. А наш брат, рабочий человек, бьется целое лето изо ста рублев... эко диво, подумаешь, сто рублев! И никто за них спасибо не скажет, никому впрок не пойдут, так себе изведутся. Ну да не до них теперь; благо только самого господь от беды помиловал».

Поравнявшись дорогой со знакомым ему местом, Степан стал, однако же, думать и размышлять об этих деньгах посмелее: «Как-таки проехать, не взять денег, не поднять их с земли, когда тут валяются? Никого я этим не обижу, ни у кого добра не отымаю — просто само навернулось». Степан остановился, прислушался на все стороны — все тихо, глухо, никого нет. Он спустился в овраг, отыскал покойника, нашел при нем тельный бумажник, вынул из него деньги и поторопился опять в путь. «Завтра сосчитаю,— подумал он,— не уйдут они теперь. Я этого не искал, за этим делом не ходил, он сам навязался. Это мне, стало быть, бог послал. Недруг посягал на мою голову — господь ему судил самому подвернуться мне под руку; не перелобань я его, уж он бы меня доехал. Грех на его душе, не на моей; он сам себя извел, своею рукою. Прости, господи, согрешения наши!» Перекрестился и поехал.

Степан до этого времени помнил страшный зарок деда, соблазнившись один только раз на ночлеге у покойного Черноморца, зарекся и закаялся после того вдвое и в рот не брал хмельного, но приехал к хозяину в Родимиловку с деньгами, которым никто не знал счету; он обождал еще с недельку, уверился, что никто его ни в чем не подозревает, что о Черноморце и слуху нет другого, как поехал-де да и пропал без вести, а лошадь одна воротилась,— и стал опять — с горя ли, с радости ль — погуливать. Куда правдиво слово это, что недобрые деньги впрок нейдут и что легко добытую копейку ветром из мошны выносит!

Пошел да пошел гулять Степан — под конец и удержу не стало, хозяин его прогнал и вычел еще с него за прогул по целковому на день; пошел он к другому, пропив все до нитки, а домой еще и гроша не услал. Пришел покров, пришли и кузьминки, настал и последний срок — воздвиженье,— и новый хозяин, рас-

считавшись со Степаном, отпустил его, сказав: «Не ходи ко мне, брат, на тот год — руки у тебя золотые, да рыло поганое. Таких мне не надо. Господь с тобой».

Степан нашел себе у нового хозяина нового товарища, с которым нередко вместе гулял; а как им домой было сотни полторы верст по пути, так они согласились идти вместе. Люди с людьми ушли, а эти двое, как поплоше, так остались вместе — им совестно было к людям приставать.

Теперь стала Степана и совесть мучить, стал грех ото сна, от еды отбивать и страх: что дед скажет, что отец? Степану стало жарко. Взяло его раздумье: «Как я покажусь им без денег? Что принесу домой? А еще и Черноморца ободрал, как разбойник какой,— и все не впрок пошло!» В это время подошел товарищ его, Гришка, да и пристал к нему: чего-де нос повесил, какое горе мыкаешь? Степан признался, что страшно без денег дома показаться.

— Эко горе! — сказал Гришка.— Да ведь у меня, парень, та же беда: заварил пива, да сталась нетека; рублев осемнадцать всего домой принесу, а надо бы, говорят люди, сотни полторы либо две. Но слушай, Степан, не пойдем мы с тобой по домам; что там делать? Не слыхали мы побранки, что ли?

— И рад бы нейти,— отвечал Степан,— так у меня паспорт только годовой: о пасху срок.

— Так где же еще у тебя пасха, перекрестись! Вот тут подрядчик не за горой, набирает народу в Казань; отпиши домой, что ушел в Казань на зимнюю работу, тебе паспорт выправят, вышлют, а ты зимой заработаешь сотенку; лето само по себе пойдет — вот на осень опять будешь с деньгами; тогда с богом домой.

Степан наш словно свет увидел; с радости позвал Гришку в питейный, чтоб почествовать его за доброе слово, да кстати уж запить и радость и горе.

Таким образом, они, порядившись с подрядчиком, отправились в Казань артелью, но, не доходя до города, отстали от своих: надо было ведь опять приготовиться к работе; там уж пить не дадут, рассудили они вдвоем, так дай тут вволю на прощанье погуляем, да и закаемся.

Подгуляли товарищи вместе, да подгулявши, как водится, сперва обнимались, целовались, а после — неведомо как и с чего — поссорились, побранились да

немного было и подрались. Народ рад такому случаю: где два дурака дерутся, там уж наверное третий смотрит. На эту пору, однако ж, нашлись, видно, люди поумнее, развели драчунов, и они снова помирились, поцеловались и пошли вместе рука в руку в город. Кто видел их, сказывали, что они шли мирно и толковали только один другому, как найти и доспроситься в Казани своей артели и подрядчика: каждый из них поочередно недоумевал, как это сделать, и каждый опять толковал и объяснял, что язык до Киева доведет, не только до подрядчика.

Видно, долго перекачивались они с одного края дороги на другой: сумерки, а наконец ночь захватила их еще на пути. Сели товарищи наши вместе отдыхать под кустами над Волгой — снова стали считаться, видно хмель еще не прошла,— снова побранились и подрались, может статься, кто их знает, что у них тут было,— да только конец вышел из плохих плохой, такой, что крещеному человеку и вымолвить страшно.

Степан просыпается на заре — оглядывается кругом: он один; вокруг по косогору кусты, над головою по горе пролегает почтовая дорога, и тройка пронеслась с колокольчиком — пыль за нею разостлалась,— и все замолкло; у ног раздольная Волга, широкая, глубокая, тихая, как зеркало,— а товарища нет.

Стало обдавать Степана из-за плеч попеременно то варом, то студеной водой — начал он вспоминать что-то недоброе,— глянул себе под ноги на траву, увидел кровь и вдруг вспомнил все, будто молния осветила перед ним потемки страшной прошлой ночи. Степан зарыдал, закрыл лицо руками и долго сидел так, охал и стонал, как тяжко больной.

— Суди меня бог и государь,— сказал он наконец,— видно, по грехам моим и земля меня не снесет больше; за что я сгубил Гришку сердечного? Черноморец — ну, тому туда и дорога, прости господи: он на мою голову посягал; а этот чем виноват? Хмель ошибла его, как и меня, вот и все; а сколько раз подносил он мне, как товарищу, за последнюю гривну свою? Ох, тяжело, не снесу я этого греха! Не слушал я дедовского заклятия; знать, рассудил меня с ним господь: вот оно когда пришло неизбывное горе — не роди, мать сыра земля, пропащий я человек!

Степан встал, положил еще на прощанье земной поклон и поцеловал под собою мать сыру землю; перекрестился и взмолился в слезах: «Гриша, не помяни ты мне хоть на том свете греха моего», и пошел в город.

Натощак, как был,— не до еды ему теперь стало — явился Степан в земский суд. Рано, говорят, еще никого нет. Степан сел у ворот, где было человек с десяток разных просителей, и стал дожидаться. «Мое не уйдет от меня,— подумал он,— вот эти бедняки стоят всякий за своей нуждой, всякий добивается чего-нибудь, ищет за неправду, за обиду, а я ищу на себя. Суди бог и государь, а уж прощай, свет белый, родимая сторонушка, не видать меня тебе! Вот отец сердечный прочил за меня Марью, Машку Сошникову,— вот тебе и жених! Девка она хоть куда, нечего сказать, да уж я ей не под стать. Ах ты, головушка моя бедная, в омут какой усадила! Правду, видно, дед родимый сказывал, что коли пить не бросишь, Степан, так господь попутает тебя, покарает и наживешь ты себе горе неизбывное! Ох, оно и есть, оно и привалило теперь, неизбывное, вековечное, даже до представления света!»

Заседатель пришел — а в те поры этих становых и слыхом еще не слыхать было,— и Степан к нему, да в ноги. Заседателю надоели, видно, просители, и много их за день у него в ногах переваляется, он было и мимо; так Степан слово и дело вымолвил: «Прикажите, говорит, взять меня, я ночью человека убил»; так все и ахнули, и сам заседатель оборотился, поглядел на него, позвал в присутствие, поставил караул и стал допрашивать: как зовут, кто таков, чей, откуда, зачем, где паспорт, который год, какой веры, был ли у святого причастия, а там уж дошел до дела.

— Степан я, Воропаев, по отце Артемьев, годов, видно, будет мне чуть ли не двадцать четыре, Владимирской губернии и уезда, села Глухого Озера, православный, у причастия бывал каждогодно. Пошел я с товарищем Григорьем из такого-то села за таким-то делом в город; на дорогу выпили мы оба; шумело в голове у меня, шумело, видно, и у него; пошли мы считаться, что, вишь, он взял у меня полтинник да отдавал по гривне и по две, а я считал еще за ним пятнадцать копеек,— раза два бранились, и чуть до драки

не доходило — все, батюшка, хмель виновата, ничего не помню, хоть убей. Тут сели мы отдыхать да полудновали; опять я его попрекнул, опять стал считаться; он обидел меня, маркитантом обругал, я его — ох, и вымолвить страшно,— я его обухом в голову и ударил: на грех и топор этот случился под рукой. Гриша мой покатился, кровь носом полилась ручьем; я испугался — а мы сидели под кустами, недалечко от берегу,— испугавшись, я его стащил на берег, сунул в воду, да и спустил его по воде; так и сгубил я душеньку занапрасно. Видит бог, батюшка, все одна хмель виновата, ничего знать не знаю, ведать не ведаю. Что было, все сказал; теперь что господу богу угодно, то и станется надо мной; что следует по закону, то и делать прикажите — и прикажите заковать.

Все это записали, приправили, как надо было по закону и земскому обычаю,— и Воропаева, связав, повели заковывать в кандалы. Сам подавал и держал Степан и руки и ноги; «не жаль, говорит, их было — туда и дорога, лишь бы скорее конец, лишь бы не дали сгнить в остроге».

Отвели и туда его; там караульные осмотрели да ощупали кандалы, все ли исправно, обыскали кругом арестанта, приняли бумагу и расписались; рассыльный взял опять книгу свою под мышку и, не взглянув больше на Степана, ушел. Дело привычное.

В первый раз попал Степан в такое место — в первый раз, может статься, и заслужил это. И темно, и сыро, и душно, и грязно. Товарищи такие, что страшно на них и взглянуть: кто в лохмотьях, зарос волосами, космы мотаются; кто исхудал под замком, лица не знать, голосу нет человеческого; а кто еще свеж и дюж, да глядит таким головорезом, что и в остроге страшно рядом с ним лечь. Было тут, как и всюду в таких местах, человека три Ивана Непомнящих; мужики здоровые, бороды чуть не по пояс, а говорят: «Иваном зовут меня, а опричь того ничего не знаю и не помню: ни где родился, ни где вырос, ни отца, ни матери, ни родины — ничего не знаю»,— Иван да Иван — так весь век и шатался. Один сидел с женой, с детьми, и тот то же говорит, и жена ничего не помнит, не знает, только знает, что зовут ее Марьей. «Господи боже мой,— подумал Степан, когда обжился немного в тюрьме,— что за диво, что за Иван да Марья,

и выросли и состарились, а знать не знают, ведать не ведают: кто они и чьи они?»

Разговорился раз как-то Иван Непомнящий со Степаном и стал уговаривать его вместе бежать. Степан отказался: «Я, говорит, своей волей попал».— «Как так?» — «Да вот так и так».— «Дурак же ты, видно, был, дурак и есть; да ты отопрись и теперь: улики нет, и ничего тебе не сделают». Но Степан, сколько ни скучал, сколько ни томился в заключении, остался при своем показании и ожидал спокойно участи своей.

Между тем дело все шло своим чередом; водили Степана раза по два в неделю в суд, все снова доспрашивались, добирались — нет концов больше никаких, все одно и то же. Дознались, какой такой был товарищ его Гришка, разослали повсюду объявления, не найдется ли где,— выждали отовсюду ответы, что нигде такой человек на жительстве не оказался, и, покончив наконец все розыски, как уже с того света справок навести было не можно, присудили учинить над Степаном, по собственному сознанию его, по закону, и сослать его в каторгу.

Пошло, однако же, дело это своим порядком, еще из уездного суда в уголовную палату — и там его в одни сутки не порешили; однако же добрались наконец и до него, нашли, что все исправно,— утвердили решение суда, только осталось прокурору отметить: «Читал», да губернатору утвердить приговор, скрепив его по листам, как приказано законом.

Прокурор был человек добрый, а пуще всего смирный, против правды не хаживал, однако же и за дело горазд не стаивал, не надрывался ни над чем. Много за год разных приговоров через его руки проходило, тысячи две, да кроме того тысяч под тридцать решений и постановлений из губернского правления и палат. Все шло у него гладко и ровно, бумага не кричит, что ни напиши на ней,— так она и была нашему смирному прокурору товарищ сподручный; прочтет не прочтет, а напишет с поля: «Читал» — и концы в воду.

Однако приговоры уголовной палаты старик читывал, по крайней мере от слова: «Приказали»; прочел и дело нашего Степана, да и положил его — не Степана то есть, который все еще сидел в остроге, а дело,— положил на ломберный стол, покрытый цвет-

ной салфеткой. На стол этот попадали у него все дела с обстоятельствами сомнительными, по коим собирался он когда-нибудь на досуге подумать.

Долго прокурор наш, расхаживая по комнате или лежа на диване с трубкой, косился на сомнительный стол свой, и в особенности на приговор, по которому приходилось наказать человека за то только, что он сам сознался в своем преступлении, на которое не было никаких улик. «Оно, конечно, так,— думал про себя прокурор,— тело унесло по Волге. Волга широка, и глубока, и длинна — коли его и примывало где-нибудь к берегу, так мужики такую беду от себя ночью шестами спроваживали; и ничего нет мудреного, что тела нигде не отыскали. Да не знаю почему, а дело кажется мне сомнительным; приговор незаконный; кажется, будто на этом нельзя основать приговора. Надо справиться хорошенько в пятнадцатом томе». Подумав так, прокурор покосится, бывало, опять на столик свой, да и задремлет либо, смотря по времени, наденет сюртук да отправится на вист.

Между тем время шло: напоминает секретарь один раз прокурору об этом деле, напоминает и в другой и в третий — завтра да завтра, и вместо трех дней давно прошли три недели, а приговор не просмотрен. Наконец пристали к прокурору плотнее, заторопили его не на шутку и говорят, что мы-де в ведомостях о нерешенных арестантских делах покажем это дело за вами.

Только что собрался было прокурор наш, скрепив сердце, подмахнуть приговор, чтобы кончить дело мирно, без шуму, как сам председатель уголовной палаты прикатил под прокурорское крыльцо — и вошел и стал, поздоровавшись, рассказывать такие чудеса, что прокурор от удивления под конец сложил молча руки, запустив накрепко пальцы в пальцы, и только пожимал плечами.

— В памяти ли у вас дело,— так начал председатель,— дело Степана Воропаева, который, по собственному сознанию своему, убил товарища своего на Сухом овраге? Ну так вообразите же, покойник-то жив!! Да, жив, либо сам нечистый влез в шкуру его да в ней и ходит! Вчера бурлаки или плотники, что ли, какие-то взбунтовались у привольного кабака, подняли такой шум, что весь город сбежался. Что же? Да

признали они, сударь, того самого плотника, которого Воропаев прошлою осенью убил. Пристали к нему: «Кто-де ты таков, откуда взялся?» — «Я, говорит, вот такой-то Григорий, ходил в это лето за Волгу, а теперь пробираюсь домой да зашел по пути выпить; в этом, говорит, я виноват».— «Да ведь тебя прошлого лета убили?»—«Нет, господь миловал, покуда терпит еще грехам нашим — живем».—«Да ты со Степаном Воропаевым знался?»—«Как же, знался; летось мы с ним работали вместе вот там-то, и за ним еще моих пятнадцать копеек осталось».—«Ну а вместе с ним вы летось в Казани были?»—«Нет, маленько не дошли, расстались».— «Так ведь тут-то он тебя и уходил; он и в остроге сидит, и скоро его уж на кобылу поведут!»— «Оборони господь; нет, этого не было; мы, признаться, оба хмельны были, так и повздорили, выпито было у нас на полтинник — я, вишь, с него еще правил пятнадцать копеек, а он их на мне считает: известное дело, хмельной разум. Так мы сели было отдохнуть, ночь нас захватила, тут я опять приступил к нему да по шее его и ударил; он меня и сам хватил и рыло разбил мне, я и бросил его, умылся на берегу, да и пошел сам по себе, а его покинул. Он, видно, отяжелел больно да тут же и уснул. Больше я его не видал и слыхом об нем не слыхал».

Председатель с прокурором подивились такому дивному случаю; прокурор радовался, что не пометил еще приговора, и стали толковать о других делах: о шести в сюрах и прочее.

Между тем Гришку с таким показанием отправили в земский суд, оттуда в уездный, там к делу, в уголовную палату, а оттуда уж вместе с делом и со Степаном опять назад, для пополнения следствия. Сколько ни допытывались, ни от Гришки, ни от Степана другого не узнали: а на очной ставке Степан крестился, вздыхал от страха, глядя на Григория, считал его выходцем с того света и говорил: «Власть ваша, что хотите, то и делайте надо мною, а я его убил». А Гришка уличал его, что он врет, пересказывал ему, припоминал, по приказанию суда, все, как что у них было; а Степан, немея и цепенея от страху, не понимал ничего, ровно одурел, хлопал глазами, вздыхал и оставался при своем показании: больше, говорит, ничего не знаю.

Дело, разумеется, кончилось тем, что освидетельствовали Степана, не сумасшедший ли он, а после сказали ему дурака за то, что он наделал только пустой тревоги, да и велели убираться на все четыре стороны.

Хоть я и не совсем знаю, как все это объяснить, но кажется, что Степан, поссорившись и подравшись хмельной и наяву, видел во сне, будто убил товарища, и видел так живо, что греза показалась ему правдой. Может быть, тут подействовало и воспоминание о невольном убийстве Черноморца в собственную защиту свою, которое осталось навсегда нераскрытым. Не нашедши спросонья подле себя товарища, который ушел ночью, ничего ему не сказавши, да увидав еще на траве или на песке у берега следы крови,— Степан и вовсе смутился, уверил себя, что все это не сон, а явь, пошел да сам на себя и донес. Страх довершил эту несчастную уверенность, и ложное убеждение заступило место истины. Но когда объявили Степану положительно, что он свободен и притом не убийца, то бедняк залился слезами и сказал:

— Нет, уж видно, мне так на роду написано: судьбы не минуешь! Вяжите ж меня опять, я еще другого человека убил...— но ему не дали договорить, а зажали рот и выпроводили вон, приказав убираться. Никто ему не верил, а все считали помешанным, хоть господа доктора и дали свидетельство, что он в полном и здравом уме.

Долго не мог он опамятоваться после такой проделки; долго ходил ровно без ума, покуда наконец Гришка, приставая к нему без всякого успеха целые сутки, чтобы им вместе запить горе,— успел наконец кой-как убедить его, что он несет дичь. Тогда только Степан вздохнул свободно, перекрестился вольной рукой, вспомнил все прошлое — и подумал о будущем. Зелено вино, это продажное горе, опротивело ему до того, что он в жизнь свою не мог вынести и духу его. Перестав пить, Степан Воропаев вышел человеком и не только зарабатывал что следовало на себя и на своих, но лет через восемь завел свою артель, ходил в синей сибирке с саженью в руках; отец и дед его благословили, и Машка Сошникова, ныне Воропаева, готовила ему, между тем как он был на работе, щи да кашу, а в пост калинники, превкусные и превонючие калиновые пироги.

ПЕТЕРБУРГСКИЙ ДВОРНИК

На дворе погода какая-то средняя, то есть люди заезжие полагают, что она дурна; коренные жители находят, что она довольно сносна, и надеются, что к вечеру еще проведрится, а каретные извозчики ею вполне довольны: езды в крытых экипажах больше.

Один дворник метет плитняк, другой, насупротив, на общую пользу салопов и шинелей пешеходов, лакирует чугунные надолбы постным маслом с сажей.

— Никак, Иван, у тебя масло-то неваренное? — сказал тот, что с метлой.

— А что?

— Да так, что-то не слыхать его через улицу; а то, бывало, таки переносит от тебя к нам.

— И то сырое. Тут не до варки, а вымазать бы только, чтоб не потянули опять.

Чиновники идут средней побежкой между иноходи и рыси, так называемым у барышников перебоем; первый дворник метет размашисто всех их сряду по ногам. Они поочередно подпрыгивают через метлу; один, однако же, миновав опасность, останавливается и бранится.

Дворник продолжает свое дело, будто не слышит, и ворчит после про себя, но так, что через улицу слышно: «А обойти не хочешь? Нешто глаз во лбу нету?» Другой дворник, для которого, собственно, острое словцо это было пущено, смеется и, выпрямившись, засучивает несколько рукава, шаркнув себя локтем по

боку, передает черную масляную ветошку, для отдыха, из правой руки в левую, а освободившеюся рукою почесывает голову.

Порядочно одетый человек останавливается у ворот дома, смотрит на надпись и, оглядываясь, говорит:

— Эй, любезный, где здешний дворник?

Григорий молчит, будто не слышит; тот повторяет вопрос свой погромче и понастойчивее.

— Там, спросите во дворе.

Господин уходит под ворота; второй дворник, Иван, смеется:

— Ты что ж не отозвался?

— Много их ходит тут! — отвечает первый и продолжает мести.

В это время извозчик на выездах проезжает шагом, дремля бочком на дрожках; лошадь разбитая, дрожки ободранные, кожа между крыльями прорвана, из-под подушки кругом торчит сено, гайка сваливается с колеса.

Дворник с метлой глядит несколько времени вслед за извозчиком, потом выходит на средину улицы, подымает гайку и кладет ее в карман. Колесо с дрожек соскочило, извозчик чуть не клюнулся носом в мостовую, соскакивает, останавливая лошадь, оглядывается кругом и бежит назад. Увидав дворника на пути со средины улицы к плитняку, обращается к нему:

— Ты, что ли, поднял, дядя?

— Кого поднял?

— Да гайку-ту; отдай, пожалуйста!

— А ты видел, что ли?

— Да чего видел? Отдай, пожалуйста.

— Отдай! Что я тебе отдам? Ты бы сперва двугривенный посулил, а там бы говорил «отдай».

Спор становится понемногу жарче; извозчик сперва просит, там божится, что у него нет ни пятака, что он только вот выехал; потом пошла брань и крик, в котором, кроме обычных приветствий, слышно только с одной стороны: «Отдай, я тебе говорю, отдай!» — а с другой: «Что я тебе отдам? Да ты видал, что ли?» С этим воинственным криком неприятели друг на друга наступают; дворник Иван, с помазком в руке, пользуется приятным зрелищем и, улыбаясь, отдыхает от трудов; народ начинает собираться, образуя кружок.

Какой-то дюжий парень также останавливается и, узнав в чем дело, говорит извозчику:

— Да ты что горло дерешь, толкуешь с ним, с собакой? Ты в рыло его, а я поддам по затылку.

И едва это было сказано, как и тот и другой, будто по команде, в один темп исполнили на деле это дельное увещание.

Народ кругом захохотал. А оглушенный неожиданным убеждением строптивый Гришка, потряхнув слегка головой, достал гайку из кармана шаровар и отдал извозчику с советом не терять ее в другой раз, а то-де ину пору и не воротишь; иной и не отдаст; а за нее в кузнице надо заплатить целковый, да еще накланяешься, да напросишься: вашего брата там много!

Зрители, натешившись этим позорищем, разошлись своим путем, оглядываясь по временам назад; извозчик надел колесо, навернул гайку и во все это время бранился. Дворник Григорий принялся опять за метлу и ограничился повторением того же дружеского совета. Дворник Иван подшучивал, смеючись слегка над товарищем:

— Извозчику-то ты что ж так спустил? Эка, здоров кистень у парня-то!

В это время господин, проискав дворника по пустякам во дворе, вышел опять из-под ворот и обратился к нашему приятелю довольно настойчиво:

— Да ты, что ли, здешний дворник, эй!

— А вам кого надо?

— Титулярного советника Былова.

— На левую руку под ворота, в самый вверх, двери на левой руке.

— Так что ж ты не сказал мне давеча, как я спрашивал тебя? Ведь ты дворник здешний?

— Дворник! Мало ли дворников бывает! У других, у хороших хозяев, человека по три живет; это наш только вот на одном выезжает.

Посетитель должен был принять эту логику особого разбора за ответ, пожал плечами и пошел по указанию.

По ту сторону улицы проходят две барыни, у одной из них в руках какая-то шавка; барыня ее усердно лижет и целует.

— Вот,— сказал веселый дворник Иван,— барыни — те детей своих пестовать не хотят, а со щенятами нянчатся!

Обе барыни оглянулись на веселого дворника и посмотрели на него такими глазами, будто он сказал непростительную дерзость.

Между тем из дома дворника с метлой выскочила чумичка, сложив руки под сальным ситцевым передником, который она сшила на свой счет, обидевшись тем, что барыня вздумала подарить ей для кухни пару тиковых или холстинных.

— Григорий!— начала она кричать.— Ах ты, господи, воля твоя, какой народ! Григорий, да что ж ты, не принесешь, что ли, сегодня воды?

— Поспеешь! Что тороплива больно?

— Поспеешь! Ах ты, боже мой! Барыня бранится, в третий раз гоняет меня; я по целому дому бегала — нет как нет; а он вот еще тут прохлаждается, словно Христа ради воду носит нам, право!— Да иди, что ли, принеси!

— Принеси? Тут вот любое, либо по воду иди, либо улицу мети; а как надзиратель пойдет — так вот и будем мы с тобой у праздника.

— У праздника? Да мне что праздники! Там вы себе, пожалуй, празднуйте, а ты воды принеси!

Григорий поворачивается медведем и отправляется к воротам; чумичка, победив красноречием своим упорство его, убегает проворно под ворота; он сильным взмахом кидает вслед за нею метлу, а Иван кричит, повысив голос:

— Эх! Ушла полубарыня! А так вот чуть-чуть не огрел ее! Больно тонко прохаживаться изволите! — промолвил он, намекая на босые ее ноги.— Чулки отморозите, сударыня!

В промежутке этих забав, однако ж, Иван и Григорий сделали свое дело, потому что за них никто не работал. До свету встань, двор убери, под воротами вымети, воды семей на десяток натаскай, дров в четвертый этаж, за полтинник на месяц, принеси. И Григорий взвалит, бывало, целую поленницу на плечи, все хочется покончить за один прием, а веревку — подложив шапку — вытянет прямо через лоб, и после только потрет его, бывало, рукой.

Там плитняк выскреби, да вымети, да посыпь песком; улицу вымети, сор убери; у колоды, где стоят из-

возчики, также все прибери и снеси на двор; за назем этот колонисты платили, впрочем, охотно Григорию по рублю с воза: вишь, немцам этим все нужно. Тут, глядишь, опять дождь либо снег, опять мети тротуары — и так день за день. Во все это время и дом стереги и в Часть сбегай с запиской о новом постояльце; на ночь ляжешь не ляжешь, а не больно засыпайся: колокольчик под самой головой, и уйти от него некуда, хоть бы и захотел, потому что и все-то жилье в подворотном подвале едва помещает в себе огромную печь. Сойдите ступеней шесть, остановитесь и раздуйте вокруг себя густой воздух и какие-то облачные пары, если вас не ошибет на третьей ступени обморок от какого-то прокислого и прогорклого чада, то вы, всмотревшись помаленьку в предметы, среди вечных сумерек этого подвала увидите, кроме угрюмой дебелой печки, еще лавку, которая безногим концом своим лежит на бочонке, стол, в котором ножки вышли на целый вершок посверх столешницы, а между печью и стеною — кровать, которая вела самую превратную жизнь: она дремала только днем, как дремлет искра под пеплом,— ночью же оживала вся, питаясь тучностью нашего дюжего дворника. Он был независтлив и говаривал, что-де не обидно никому.

Замечательно, что домашняя скотинка эта приучена была к колокольчику, как саженая рыба, только в обратном смысле: она разбегалась мгновенно, когда зловещий колокольчик раздавался над головою спящего Григория, и терпеливо ожидала возвращения его и смело опять выступала мгновенно в поход, лишь только он ложился, натянув одну полу тулупа себе через голову. Подле печи — три коротенькие полочки, а на них две деревянные чашки и одна глиняная, ложки, зельцерский кувшин, штофчик, полуштофчик, графинчик, какая-то мутная порожняя склянка и фарфоровая золоченая чашка с графской короной. Под лавкой буро-зеленоватый самовар о трех ножках, две битые бутылки с ворванью и сажей для смазки надолб и, вероятно, ради приятного, сытного запаха, куча обгорелых плошек. Горшков не водится в хозяйстве Григория, а два чугунчика, для щей и каши, постоянно проживают в печи, или по крайней мере с шестка не сходят. Мыть их, хотя по временам, Григорий считал

совершенно излишним, убедившись на опыте, что, сколько-де их не мой, они все черны[1].

Тулуп и кафтан висят над лавкой, у самого стола, таким образом, что Григорий во время обеда с товарищами мог доставить и себе и им удовольствие тереться о платье головою. В углу образа, вокруг вербочки, в киоте сбереженное от святой яичко и кусочек кулича, чтоб разговеться на тот год; под киотом бутылка с богоявленской водой и пара фарфоровых яичек. Об утиральнике, который висит под зеркальцем в углу, подле полок, рядом с Платовым и Блюхером, надо также упомянуть — хоть бы потому, что он с алыми шитками; утиральник этот упитан и умащен, разнородною смесью всякой всячины досыта, до самого нельзя, и проживет, вероятно, в этом виде еще очень долго, потому что мыши не могут его достать с гвоздя, а собак Григорий наш не держит, но он именно испытал однажды на своем веку, что голодная собака унесла тайком такой съедобный утиральник, который и пропал бы, вероятно, без вести, если б собака эта не погрызлась из-за лакомого куска с другим псом; ссора эта обратила внимание нашего дворника на спорную добычу, которая и не досталась ни одной из тяжущихся сторон, а была у них отбита. Григорий пнул еще ногою одного пса, встряхнул раза два утиральник и повесил его на свое место. Он в известных случаях любил порядок.

Отчего же — спросите вы — двор и улица были всегда так чисты у Григория, когда конура его не могла похвалиться хозяином слишком чистоплотным? Ну, этой внешней чистоте был виноват не Григорий, а не спускавший с него глаз надзиратель. Вот почему дворнику нашему чистота и надоела до такой степени и опостыла; он все это вымещал на своем подвале, который был у него в полном распоряжении, и тут только Григорий дышал свободно, наслаждаясь мягкою, сальною наружностью всех предметов своего маленького хозяйства, упиваясь благовонием, пресыщаясь питательною густотою доморощенной атмосферы.

---

[1] Впрочем, Григорий уверял меня однажды, что моет всю посуду свою каждогодно — в понедельник на велнкий пост, но не для чнстоты, а радн греха, как он сам выражался. *(Прим. автора.)*

На другое утро Иван да Григорий опять поздоровались через улицу с метлами в руках.

— Что ты! Аль не можешь?

— Нет, что-то плохо; через силу хожу — так и подводит животы.

— А ты бы натощак квасу с огурцами поел, посоливши хорошенько.

— Нет, я уж вот золы с солью выпил; авось отпустит.

Но, видно, от золы с солью не совсем отпустило; Григорий пошел к лекарю своему, к лавочнику, и просил помощи. Тот долго не расспрашивал, а, узнав главнейшие обстоятельства, положил Григория у себя на печь, велев ему лечь плотнее животом на горячий ржаной хлеб; накрыл больного тулупом, дал ему выпить чего-то горячего и к обеду поставил его на ноги. Григорий поблагодарил своего лекаря и рассудил, что не худо после этого поберечься и довольствоваться в этот день легким постным столом, то есть: квашеной капустой, огурцами, тухлой рыбой и фонарным маслом.

Григорий любит иногда покричать, любит подчас и нагрубить; но так же охотно смиряется, довольствуясь тем, чтоб, отвернувшись, поворчать, а за глаза и побранить. Сто раз говорил он уже через улицу Ивану, что последний день живет у этого хозяина, отойдет завтра же непременно, а наутро опять выходил на службу с метлой, с лопатой, с ведрами. Хозяин был им доволен, в особенности за честность и строгий присмотр.

Григорий узнавал подозрительных посетителей чутьем, по первому взгляду и выпроваживал их обыкновенно тем, что начинал придираться вопросами о том, к кому и зачем идешь, а потом спросами о паспорте и месте жительства. О таких предметах, как Григорий знал по давнишнему опыту и навыку, люди этого разбора беседуют очень неохотно и потому обыкновенно, не затягивая разговора, удалялись на поиски в иное место. Иногда Григорий, встретив в воротах человека с полуобритой бородой, в засаленном цветном бумажном платке и в изорванной шинелишке, пускался немедленно в откровенные с ним объяснения, уверяя его, что здесь-де, брат, нет тебе поживы никакой,

право нет, ступай с богом. А поймав у себя в доме подобного человека, он во избежание, по его мнению, лишних хлопот, потаскав незваного гостя за чуб, выпроваживал его взашей. Веселый дворник Иван тешился в таких случаях иначе: он заставлял вора лезть в тесную подворотню и погонял его сзади с разными поговорками метлой.

Но если какой-нибудь счастливый находчик проносил под мышкой попавшееся ему где-нибудь платье, то Григорий с преспокойной совестью торговал и нередко покупал вещь, коли ее отдавали за бесценок и она годилась ему в переделку. «А мне что,— говаривал он,— я почем знаю? Нешто я украл? Украдено, так не у нас».

В праздник Григорий любил одеваться кучером, летом в плисовый поддевок, зимой в щегольское полукафтанье и плисовые шаровары, а тулуп накидывал на плечи. У него была и шелковая низенькая, развалистая шляпа. Так он сиживал нередко за воротами, сложа руки, насвистывая сквозь зубы или лакомясь моченым горохом, который доставал из красного, как жар, платка. Такие платки ныне в редкость; они назывались «бубновыми», и белые бубны, вытравленные по алому полю какой-нибудь кислотой, вскоре обращались просто в дырочки, что и подавало Григорию повод подбирать по временам горошины с земли, обдувать их и съедать поодиночке. Иван, сидя рядом или насупротив, предпочитал кочерыжки, а если их не было,— репу. Вкусы того и другого мирились летом над недозрелым зеленым и жестким крыжовником, не крупнее гороха, и оба дворника запасались тогда почти ежедневно двумя или тремя помадными банками этого лакомства, которое носила по улице уродливая, пирогом повязанная старуха, вскрикивая петухом: «Крыжовник спела-ай! Крыжовник садовай, махровай» и прочее. Она не заламывала головы на верхние окна, а косилась обыкновенно в подвальные жилья и за копеечку нагребала помадную банку верхом.

Орехов Григорий не терпел, уверяя, что грызть орехи прилично только девкам.

В этом состоял весь праздник Григория; изредка только он напивался вволю, поставив наперед какого-

нибудь земляка на целые сутки на свое место. Не приняв наперед этой меры, он не гулял никогда. Всегдашняя поговорка его, когда кто поминал праздник, была: «Какой нашему брату праздник!» Он совершенно соглашался с одним мастеровым, который даже о рождестве как о празднике отозвался однажды с примесью философской хандры, сказав со вздохом: «Что за праздник нашему брату! Тут и всего-то три дня; не успеешь не то что погулять, а на съезжую попасть».— «Ну, наперед не угадаешь, брат, где будешь»,— заметил было недогадливый Григорий, но мастеровой отвечал, пожав плечами: «Нет, не берут; первые три дня не приказано брать никого». Но годовые праздники при всей малозначительности своей для Григория как дни пированья замечательны были для него тем, что он ходил по порядку собирать со всех постояльцев. И у него, как у самого хозяина, квартиры все были расценены по доходу, от гривенника, получаемого по два раза в год с прежалкого и прекислого переплетчика, проквашенного насквозь затхлым клейстером,— и до красненькой двух квартир второго жилья. Он перенял у остряка Ивана давать постояльцам своим прозвания по числу рублей, получаемых от них к рождеству и к святой: «двугривенный переплетчик», «трехрублевый чиновник» и прочее. Этим способом, о котором слухи доходили иногда до честолюбивых жильцов, ему даже удавалось повышать водочный оклад, и жилец поступал тогда с трехрублевого в пятирублевый разряд. В случае перехода нового жильца Григорий умел сообщить ему всегда заблаговременно, до наступления праздников, сведение, сколько получалось обыкновенно от его предшественника. С жильцов беспокойных, которые постоянно возвращались домой по ночам, Григорий иногда понастоятельнее требовал на чай, уверяя, что за ними-де хлопот очень много.

У Григория был еще небольшой промысел: он занимался в своем кругу оборотишками по небольшому домашнему банку и отдавал за верным поручительством или под заклады до сотни рублей в рост. Более восьми или десяти со ста в месяц ему редко удавалось взять; а если его попрекали таким запросом, уверяя, что из казны можно взять за пять или за шесть со ста,

то он, махнув рукой, говорил преспокойно: «Ну так поди в казну, а не то вот к графскому камердинеру: тот с тебя возьмет по двадцати в месяц да еще расписку, что залог им куплен у тебя, да, не дождавшись сроку, и продаст его, коли хороший покупатель найдется». Григорий не видал тут никакого греха: я, говорит, никого не неволю, никому не напрашиваюсь; мои пятьдесят рублей место не пролежат у меня и в сундуке. Что дело это надо делать тайком — это он очень хорошо понимал; но не потому тайком, чтоб оно было дело виноватое, а потому-де, что, известно уж, во всяком деле надо беречься от придирки да знать его про себя; тут, пожалуй, попадешься за всякую безделицу и во всем виноват останешься. Как старый дворник и уличный петербургский житель, которому нередко случалось сталкиваться и дружиться с народом всякого разбора, Григорий был не только коротко знаком со всеми плутнями петербургских мошенников, но понимал отчасти язык их, и молодой сосед его, Иван, брал у бывалого приятеля своего иногда уроки в этом полезном знании. «Стырить камлюх», то есть украсть шапку; «перетырить жулилу коньки и грабли», то есть передать помощнику-мальчишке сапоги и перчатки; «добыть бирку», то есть паспорт; «увести скамейку», то есть лошадь,— все это понимал Григорий без перевода и однажды больно насмешил веселого Ивана, когда они сидали в праздник рядком за воротами, упиваясь чадом смердящих плошек; небольшая шайка проходила в это время, как видно было, от разъезда театра и, увидев товарища, поставленного для наблюдения за *ширманами* (то есть за карманами) пешеходов, встретила его вопросом: «Что клею?» — то есть: «Много ли промыслил?» А Григорий отвечал преспокойно: «Бабки, веснухи да лепень», то есть деньги, часы да платок; и мошенники с недоумением посмотрели на Григория, не зная, мазурик ли это, то есть товарищ ли, или предатель. Иван научился также от Григория пугать мошенников и узнавать их в толпе; стоит только сказать: «стрема!», то есть «берегись!» — и всякий мазурик сейчас же кругом оглянется.

Отчего же, спросите, Григорий, как и все товарищи его, зная и встречая людей этих иногда и с поличным,

зная даже нередко по слухам, кто, что и где украл,— отчего же он не ловил их, не доносил на них куда следовало, а смотрел на все это равнодушно, как на постороннее для него и безвредное дело? Оттого, что у него были свои понятия и убеждения, свой взгляд и своя житейская опытность, переходящая с поколения на поколение. Противу таких укоренившихся и воплотившихся доводов спорить трудно. Григорий был твердо, логически убежден, что виноват тот, кто попался, а не тот, кто украл; что только открытое преступление — вина и, наконец, что всегда виноват будет тот, кто гласно впутается в такое опасное дело. У Григория была на это сотня нелепых примеров в запасе: как один будто виноват остался за то, что донес на вора, а другой за то, что его впутали в свидетели; как третьего затаскали в расспросах и показаниях и присудили *за разноречие* о таком деле, о котором он ровно ничего не знал и сказал один раз, что ничего не знает, а в другой раз, что не знает ничего; как такого-то взяли и посадили за то, что он остановился мимоходом и поглядел на плывущий по воде труп, или так называемое «мертвое тело»; как такого-то записали и осудили прикосновенным к делу за то, что он вздумал было вступиться, когда при нем хотели ограбить человека; словом, Григорий почитал себя человеком опытным и по привычке судил о подобных делах весьма хладнокровно.

Григорий знал наизусть звон каждого из жильцов. Просыпаясь ночью от звона, который мгновенно производил такой переворот в жильцах или постояльцах собственной его квартиры, он ворчал обыкновенно про себя спросонья: «Двугривенный барин — ну, не горячись, поспеешь»; потом медленно поворачивался, почесывался, зевал, накидывал свой тулупишко и, взяв ключи, отправлялся босиком по мерзлому снегу, попадая путем-дорогою правою рукою в левый рукав тулупа; не находил спросонья рукава, останавливался еще раз под воротами, проворчав: «Кой леший, наглухо, что ли, рукав-эт пришит?» Потом кричал вслух: «Сейчас»,— и ворчал, впрочем не совсем про себя: «Постой, тебе говорят; надорвешься; замерз, что ли, там!» Но растворив наконец калитку, Григорий обыкновенно делался вежливее и мягче в обращении сво-

ем и пропускал жильца молча или даже иногда проговаривал, будто нехотя, пополам с позевком: «Извольте-с». У Ивана была на этот счет другая замашка: он, как человек веселый и живой, не заставлял долго дожидаться у ворот; но если время было уже поздно, то, раскланиваясь с вошедшим, говорил только, стоя на морозе босиком в одной рубахе: «У нас, сударь, был тоже один такой, что все поздно домой приходил. Да хороший барин, спасибо, вот как и ваша милость, все бывало, на чай дает». Заметьте: *на чай,* а не на водку; у Ивана был земляк-полотер, человек довольно тонкого обращения, и у него-то Иван выучился объясняться несколько вежливее.

Остается сказать несколько слов о семейных, родственных, хозяйственных и вообще домашних отношениях нашего Григория.

Плох ли он был, хорош ли, честен *по-своему* или *по-нашему,* много ли, мало ли зарабатывал, а кормил дома в деревне семью. И он, как прочие, рассказывал о быте своем все одно и то же: «Вишь, пора тяжелая, хлеба господь не родит, земли у нас малость — а тут подушное, оброк, земство... за отца плати, потому что слеп; ну, за отца все бы еще ничего — а то и за деда плати, потому что и дед еще жив, и даже не слеп, а только всю зиму на печи сидит, как сидел когда-то Илья Муромец; да еще за двух малых ребят, за одного покойника да за одного живого.

Еще на десяток годов станет Григория, может статься и на полтора; там либо пойдет он и сам сядет на печь, сбыв дела, либо займется в деревне торговлей, коли деньги тут не пропадут в закладах. Приедет домой, привезет сотни три-четыре — вырубит под избой продольное окно, подопрет висячий ставень шестом и развесит в лавочке пучков десяток лычных и пеньковых веревок, обротей, недоуздков да три венка репчатого лука; поставит бочку дегтя, другую меда — они по пословице вместе живут, десяток ременных кнутов, тесаных дуг, оглобель, лаптей, пряников, тесемок и несколько вязанок барашек. Вот и все припасы и вся торговля; а если вы думаете, что Григорий при таких оборотах из-за хлеба на квас не заработает, так ошибаетесь; он человек бывалый: деготь у него

будет такой нескончаемый, что он из одной бочки в розницу две либо три нацедит, мед он пластает и размазывает так мастерски, что коли за чаем не высосешь картузной бумаги, на которую наклеит он четверку, так и вкусу этому меду не узнаешь. А веревки, наконец... да веревкам его конца нет; он меряет их маховыми саженями и намахает вам их столько, сколько угодно, вот только в глазах рябит, как пойдет разводить руками; дело дорожное — взять негде, так и берут.

Иван, я думаю, не пойдет в деревню, а пойдет, надумавшись, либо в кучера, либо станет зимою лед колоть, а летом яблоками торговать; весной же и осенью перекупать и продавать что случится на толкучем. Удали его в дворниках тесно, а дома скучно; со столичным образованием человеку в такой глуши жить тяжело...

ДЕНЩИК

(Физиологический очерк)

Говорят, в каждом человеке есть сходство с тем или другим животным — по наружности, по приемам, собственно по лицу или даже по свойствам и качествам. Единственный в своем роде Гранвиль неподражаемо умел схватывать сходство и отношения эти и переносить их карандашом на бумагу. Если бы у меня многотрудное уменье или искусство не отставало от вольного в разгуле и дешевого воображения, то я бы, кажется, мастерски нарисовал денщика Якова Торцеголового в виде небывалого, невиданного чудовища, составленного из пяти животных: одного недостаточно, потому что достоинства Якова слишком разнообразны. *Верблюд,* сутулый, неповоротливый, молчаливый,— а подчас несносно крикливый — и притом безответный работник до последнего издыхания; *волк,* с неуклюжею, но иногда смешною хитростью и жадностью своею, дерзкий и неутомимый во время голода; *пес,* полазчивый, верный, который лает на все, что только увидит вне конуры своей; *хомяк,* домовитый хозяин, с запасными сумками за скулами, который полагает, по-видимому, будто весь мир создан для того только, чтобы было откуда таскать запас и припас в свою норку, и, наконец, *бобр-строитель,* который на все мастер, все умеет сделать, что нужно в доме, и хоть из грязи, да слепит хатку и живет по-своему хорошо. Вот эти пять животных — вот какой сложный зверь вышел бы у меня из Якова

Торцеголового; а чей хвост, чья голова, чьи руки и ноги у него — разбирайте сами!

Он попал в денщики по малому росту и сутулости, был сверх того левша, любил на ходу глядеть в землю, махать руками, переваливаться и распускать около себя одежду повольнее. Из карманов шаровар его и казачьего кафтанчика всегда почти висели концы ниток и бечевок, а на дне кармана лежали пробки, мелок, рожок или тавлинка, горсть гороха и другие подручные принадлежности; а когда полк стоял в южной России, то во всех карманах у Якова, не исключая и жилеточных, были рассыпаны для обиходного лакомства арбузные семечки.

Иногда какое-нибудь стеклышко, отбитая от чашки ручка, обломок сургуча или найденная где-нибудь петелька, гвоздь, крючок, попав в карман Якова, держались там очень долго, по нескольку месяцев; шарит, бывало, по карманам за чем-нибудь, попадется в руки мелок, пробка или гвоздь — он поглядит на него, иногда еще попробует на зуб, не серебро ли, и положит опять на место. Перебирая от нечего делать редкости эти, Яков припоминал, где и как они найдены или достались ему, по какому случаю попали в карман, и тешился таким образом живыми воспоминаниями своих похождений. В этом скопидомстве вы, конечно, узнаете хомяка.

Как тесного, так и короткого платья Яков не мог терпеть и говаривал, что он был этим испуган в малолетстве. Когда барин хотел было ему однажды сшить из старого мундира куртку, то Яков разревелся как верблюд, уверяя в отчаянии, что после этого нельзя больше жить на свете. Он любил, чтобы все около него было и просторно и прикрыто, и потому предпочитал всякой иной одежде темно-зеленый казакин со сборками; но только не в обтяжку. Один из карманов или лацкан этого облачения были обыкновенно надорваны, обшлага с исподу вытерты *на нет*, до самой кисти, на лацкане же, на ребро в шов, затыкались торчмя про всякий случай булавки, а сбоку претолстая игла, укутанная ниткой в виде цифры восемь. Жилетка обыкновенно пользовалась преимуществом красной выпушки; фуражка с козырьком — обносок барина — и сапоги своей работы довершали наряд.

На сапоги свои Яков любил иногда глядеть безот-

четно и засматривался на них по целым часам, особенно когда они были недавно вычинены им и вымазаны салом. Тогда Яков охорашивался, сидя где-нибудь в углу, повертывал перед собою ногу и старался заглянуть под подошву, чтобы полюбоваться новыми подметками. Он мурлыкал в такое время про себя: «Растоскуйся ты, моя голубушка!» или насвистывал сквозь зубы другую заунывную песню.

Яков служивал на веку своем у всяких господ, как уверял он, и служил верой и правдой. Первый барин его был немножко беспокойного нрава, любил повеселиться — но был очень скучен навеселе и крутенек. Угодить на него было мудрено; но Торцеголовый, благодаря бога, ладил и с ним; плакался Яков на него, это правда, но плакался, как жалуются по привычке на весь божий свет, а не то чтобы взаправду, как жалуются на беду неминуемую, известную, общую: на господ-де, известное дело, не угодишь; господской работы не переработаешь; работа наша, хоть день и ночь прибирай, не видная,— ровно все ничего не делаешь, а к вечеру поясницу разломит и прочее, а затем в утешение себе же он приговаривал: «Что ж, известно, на то они господа». С этим-то барином, человеком по чину очень небольшим, Яков ехал однажды на перекладных; скакали сломя голову день и ночь в погоню за самонужнейшим делом. Может статься, время было холодное, или бессонье одолело путника, или, наконец, его растрясло невмочь,— но только он по привычке своей подкрепился раз, а там и другой и третий — да так крепко, что слег вовсе. У нас принимают вообще три степени этого отвлеченного состояния: с *воздержанием,* с *расстановкою* и с *расположением;* при первой степени одержимый может еще пройти подле стенки, придерживаясь за нее; при второй, с расстановкою, может идти, если двое поведут его под руки, а третий будет расставлять ноги; при последней же степени, с расположением, одержимый располагается где случится, где припадок захватит его врасплох, и, растянувшись во весь рост, лежит бесчувственно, так что никакие силы не могут более воздвигнуть его на ноги. Этой-то третьей степени самозабвения достиг барин Якова на одной из станций — но помнил еще одно обстоятельство: что ему надо ехать,

надо торопиться, погонять и драться. Барин Якова не был, собственно, дантистом, как классически выразился Гоголь, но подчас все-таки считал приятным долгом заняться по сей служебной части.

Между тем на станцию входит какой-то проезжий и видит следующее: на диване лежит, растянувшись во весь рост и закрыв глаза, человек довольно длинный и стройный; подле сидит на стуле другой в темнозеленом казакине, из кармана коего торчит коротенькая трубка и висит какой-то ремешок; этот человек звенит почтовым колокольчиком над головою сонного, который по временам, в светлые минуты, тщетно силится раскрыть глаза, замахнуться кулаком и заставляет непослушный, суконный язык свой прокричать грозное: «Пошел!» — и снова замахивается кулаком. Проезжий остановился пред этой занимательной живой картиной, спросил вполголоса: «Что это такое?» — и Яков, продолжая звенеть, отвечал со вздохом: «Да вот, сударь, другие сутки едак едем: как перестанешь звенеть, так дерется; пошел, говорит, да пошел; спросит водки — да опять пошел; вот и едем».

Долго ли, коротко ли Яков с барином ехали таким образом и далеко ли уехали — не знаю; но этот способ езды, столь докучливый для Якова, оказался также вредным для барина его, который, пустившись в бесконечные поездки и путешествия этого рода, вскоре волею божиею помре. Когда несчастие это совершилось, то бедный Яков Торцеголовый в отчаянии ударил руками об полы и залился слезами. Он пересчитывал и припоминал все дурные свойства и качества покойного, оканчивая, однако же, каждый раз припевом: «Да все-таки барин добрый был! Бывало, сердечный, жалованьишко прогуляет, есть нечего до трети: «Нет ли, брат Яков, каши?» — «Да каши, сударь, нет — крупы-то ведь немного отпускается, сами знаете».— «Ну, говорит, так хлеба ломоть отрежь, жалованного, казенного». Добрый барин был! Конечно, что правда, то правда, как подгуляет, бывало, так больно дерется... Ну, на то они господа; а все барин был добрый!»

Чувствительность и добродушие русского человека при подобных случаях заслуживают всякого уважения. Например: везут знаменитого, сановного покойника; бабы, выскочившие толпой, с любопытством смотрят

на поезд и готовы, пожалуй, и заплакать, смотря по тому, кто как сумеет направить их участие. «Да это кто же?» — спрашивает одна. «Это покойник, тот и тот, известный на всю Россию человек».— «Ох, он батюшка мой родной, сердечный... А это что же вон едет за ним?..» — «Это называется печальная колесница, это карета покойного...» — «Ох, она моя матушка, голубушка...» — и баба, забыв от избытка участия покойника, готова горько плакать над каретой!

Яков побежал объявить о смерти барина своего адъютанту и сказал ему предлинную чувствительную речь, которой смысл — по отрывистому расположению дум Якова — трудно выразить, но в коей несколько раз повторялось: «Власть господиня, все мы под богом ходим, покуда грехам нашим терпит — а у меня, сударь, известное дело, теперь родных больше нет, окроме вас, больше заступиться за меня некому».

Адъютанта этого Яков причел в родни, потому что тот более других знался с барином его и часто дружески его журил, стараясь убедить, что из него мог бы выйти очень порядочный человек, если б он не обращался слишком часто в скотину. Тогда, бывало, и Яков, простояв во все время такой речи у дверей и переступая спокойно с ноги на ногу, принимал слово по уходе адъютанта и читал барину наставления вроде следующих:

«Ну что, сударь, бросьте, ей-богу бросьте, они правду говорят. От этого что хорошего будет — ничего не будет; вот намедни вы изволили заснуть в передней на лавке — а тут впотьмах вас завалили было шинелями; что доброго, так бы и задохнулись; ведь я насилу вас вытащил; право, сударь, ведь целый ворох шинелей накидали на вас, а уж вы без памяти изволили быть; или вот хоть на той неделе, как изволили с господами гулять, да кучер Ивана Марковича свалил вас в одни пошевни, развозил вас по домам; подъехал к фатере вашей и кричит: «Яков, а Яков, поди возьми своего барина», говорит. Я вышел, а вы еще изволите упираться, а там и драться. «Не тронь, говорите, не подымай меня, не твое дело». Ну чье же, сударь, дело, коли не мое? Известно уже, коли я не присмотрю за вами, так кто же приглядит? Нехорошо, сударь, воля ваша, что этак-то хорошего будет? Ничего не будет!»

Когда, по внезапной смерти барина, пришли описывать и опечатывать имение его, то Яков из усердия к покойному заступился за так называемое имение это и не хотел допустить никого; за это попал он под караул и чуть не было еще хуже. Что он думал в это время, как мог отстаивать мундир и панталоны покойного барина силой,— этого не мог он объяснить толком никогда; но отговаривался и оправдывался впоследствии тем только, что, «известно-де, за покойника заступиться некому; как же мне не беречь господского добра?».

Относительно прав собственности у Якова Торцеголового были вообще особенные понятия, кои требуют некоторого пояснения. Нельзя сказать, чтобы он действовал всегда на правах волка,— но давно сказано: гони природу в дверь, она влетит в окно. Он, во-первых, дошел своим умом до основных понятий философии Канта, с тем только различием, что употреблял при всеобщем разделении вселенной множественное число вместо единственного; весь мир распадался для него на две половины: на *мы* и *не мы*. *Мы* — это были для него сам он с барином своим и со всеми пожитками: *не мы* — это были все прочие господа, весь видимый мир. В более обширном смысле *мы* означало также свою роту, батальон или даже полк, а в самом пространном значении *мы* принималось в смысле: вся армия, все военные, и тогда *мы* и *не мы* было то же, что приятель и неприятель.

Затем обязанности Якова как человека, христианина и служивого были в глазах его тем священнее и ненарушимее, чем теснее можно было применить к вопросному случаю понятие *мы*; но он потакал сам себе тем более в произвольном применении этой истины, чем шире становилось философское понятие, не признавая за собой уже почти никаких обязанностей за пределами этого основного понятия; тут Яков обращался в волка с ног до головы; тут он вступал уже, как полагал по всем правам, в неприятельскую землю и понимал своим умом буквально и очень ясно изречение: «Бей и маленького: вырастет — неприятель будет!»

Вор — слово постыдное в глазах Якова; вор был у него тот, кто готов был обокрасть барина своего или собрата, сотоварища, кто ворует у той половины вселенной, которую Яков называл *мы* и *наше*. Яков плю-

нет на такого человека и отойдет. Но если б вы сказали ему, что и сам он вор, потому что в хозяйстве его находится некупленный ухват, взятая где-то мимоходом сковородка, сапоги, стоящие рубля четыре и купленные по известным причинам за двугривенный,— то Яков выпучил бы на вас глаза и с чистейшею совестью, покачав головой, сослался бы на барина своего и на весь полк: они-де знают его, Якова, как человека, которого можно осыпать золотом, и он ничего не тронет. Затем он, смотря по обстоятельствам, или разбранил бы клеветника своего в глаза, или сказал бы: «Бог с ним, обидеть, известно, можно всякого человека, хоть кого угодно — бог с ним».

Из беды и напасти, то есть из острога, после заступничества за имущество покойного барина Якова выручил другой барин, который взял его в денщики. Яков обещал и тому служить верой и правдой и сдержал по-своему слово. Он, может быть, от избытка усердия попадал иногда впросак, но не смущался этим, зная раз навсегда, что на господ не угодишь. Однажды он вычистил золоченые пуговицы кирпичом; он положил в другой раз четверть фунта корицы в суп, полагая утешить барина французским столом; он по ошибке заправил щи вместо уксуса ваксой,— видно, бутылочки обе стояли рядом; он положил плохо завязанный узелок с толченою солью в барский чемодан и пересолил белье и платье насквозь; он на светло-серую шинель барина своего положил заплату оливкового цвета, пристегав ее белыми нитками; он дергал от избытка усердия седой волос из бобрового воротника; он выскреб для опрятности стол красного дерева косарем, потому что у первого барина его не было такого домашнего обзаведения, а были стол и лавки простые, какие в деревне случались. Становился ли он умнее после каждой из подобных проделок — этого не знаю; но он видел только в неудовольствии барина каждый раз новое подтверждение важнейшей статьи из опытной премудрости своей — что-де, известное дело, на господ не угодишь; но не сердился нисколько, когда его бранивали за подобные проделки, потому что и это-де известное дело, без того нельзя, чтобы не побранили, на то они господа.

Бывало, Яков собирается писать домой письмо; тогда он ходит несколько дней призадумавшись, забы-

вает дело и отвечает невпопад. Например: «Яков!» — молчок. «Яков!» — «Сейчас, сударь». — «Яков, что ты не идешь, когда я зову?» — «Да там нельзя было бросить и отойти...» — «Что же ты делал?» — «Собирался было руки помыть...» Письмо крепко озабочивало Якова, и хотя это случалось никак не более одного или двух раз в год, но зато он в это время жил душою дома, где не бывал уже лет около двадцати. Письма этого рода пишутся, как известно, отъявленными писаками, на заказ, и разделяются по цене на два или три разряда, смотря по тому, *полные* ли или *не полные* посылаются поклоны; Яков не противоречил, однако же, и тому, когда один заказной плут из писарей взял с него лишнюю гривну за то, что полк перешел далее и что письмо Якова теперь далеко пойдет.

Полные или не полные поклоны, смотря по количеству финансов Якова, — если он не решался упросить кого-нибудь написать письмо в долг, — составляло вообще самое существенное различие этих писем, в которых, однако же, всегда говорилось несколько слов о барине. Человек двадцать родных было еще у Якова — русский человек без них не живет, — и он отписывал каждому порознь и поименно милостивого государя или государыню, любезного, возлюбленного, вселюбезнейшего — а затем нижайший, глубочайший, усердный, преусердный или другого разбора поклон; называл себя *мы,* сестру или брата *вы,* испрашивая у родителей, дядей, теток и прочих, у каждого порознь, их родительского или родственного благословения, навеки нерушимого, прибавляя: «А о себе скажу, что мы, благодаря бога, живы и здоровы обретаемся, чего и вам желаем, и вседневно и всечасно у создателя в горячих молитвах испрашиваем», и заканчивал обычным и приличным оборотом: *уважаемый вами* — такой-то. Он иногда вставлял еще где-нибудь известия о здоровье или нездоровье своего барина, говорил, что мы-де с барином собираемся жениться и прочее.

Разговорный язык Якова также отличался галантерейностью своею и часто смешил людей. Он поздравлял барина и других офицеров с собственными своими именинами: «Ваше благородие, имею честь поздравить, я именинник»; он говорил из вежливости: «Я изволил вам докладывать, или вы изволили мне доложить», разделяя весь видимый мир по теории Кан-

та на *мы* и не *мы* — на приятелей и неприятелей,— он об редком человеке относился с равнодушием или даже со спокойствием и большею частию горячо вступался за людей или бранил их без пощады. Кто хорош, тот был для него золотой и хорош без меры; а кто досадит, тот уже никуда не годился от козырька до закаблучьев. Замечательны были в сих и подобных случаях доводы и причины Якова, коими он оправдывался пред барином своим или посторонними людьми. Например: Якову досталось однажды съездить куда-то на лошади соседнего помещика Губанова; лошадь не показалась Якову или пристала, что ли, дорогой,— и с этого времени он придумал для брани поговорку: «А чтоб тебя с Губановым на пристяжку пустить!» Когда нашлись люди, которые заметили Якову, что нехорошо браниться так и некстати, то он отвечал: «Помилуйте, сударь, что тут не браниться, я, власть ваша, никого не займаю,— а только после этого уж и на свете жить нельзя». «Не ходи ты, Яков, с бреднем по этому озеру — сколько раз тебе это добрые люди говорили, ты плавать не умеешь, а тут омут на омуте!» — «Ничего, сударь,— отвечал Яков,— что же делать, власть господня, вот и намедни в Грачевке мальчик эдак же утонул...» А затем, в тот же день вечером, опять-таки отправился с бредником на озеро.

Замечательное и преполезное для барина его свойство Якова заключалось еще в том, что он был везде дома, куда бы ни пришел. «Здравствуйте, хозяйка; здорово, хозяин»,— и затем он, перекрестившись, протягивал руку за ухватом и кочергой, очищал, где следовало, место себе и барину, знал по навыку, где найти чулан, каморку, клеть и чего и где там искать, как задобрить или застращать хозяйку, чем угодить хозяину,— и, между прочим, знал также такое слово, от которого дружился с каждой собакой, как только шагнет на двор. «Отчего на тебя, Яков, и собаки не лают?»— спрашивали у него, бывало, и он отвечал, смотря по расположению своему: «Они мне все свои, я всех их знаю»; или: «А что ей лаять — не видала, что ли, она человека?» Он всегда давал собаке кличку по шерсти, с первой встречи, спорил с хозяином, если тот уверял, что это не серко, а куцый; и куцый, по-видимому, соглашался с этим и охотно бежал на зов нового приятеля.

Известно, что календарь нашего крестьянина отличается по способу выражения от нашего: мужик редко знает месяцы и числа, но знает хорошо посты, заговенья, сочельники, все праздники, святых и, избирая более замечательные в быту его сроки, обозначает их сими названиями. У Якова был свой календарь, довольно понятный в его кругу: время назначения новых капралов, фельдфебелей, ротных, батальонных, полковых, бригадных и, наконец, корпусных командиров; смотры, постройка или пригонка амуниции, лагерь, ученье, перемена стоянки, марши, походы, дневки, привалы — и, наконец, замечательные события в роте, в батальоне, в полку: такой-то арестант бежал; такой-то солдат сломал приклад ружья, потерял штык; тому или другому дана награда, такой-то произведен чином, такой-то умер, переведен, вновь определился и прочее. Вот эпохи, по коим Яков определяет прошедшее; для настоящего ему не нужно было календаря, потому что оно пролетало мимо его, как мимо всех нас; а для будущего — потому что он все будущее предоставлял богу и говорил только: «Даст бог, будет то и то — авось вот дождемся»,— и знал, кроме того, четыре времени года, как все пять пальцев. Ведро и ненастье, тепло и стужу измерял и определял он также по-своему: на дворе холодно, хоть ружье в избу поставь, так разве чуть только отпотеет; на дворе мороз, лошади на конюшне всю ночь протопали; видно, сыро, барабан чуть слышно; жара такая, что за козырек рукой нельзя взяться; такой дождь, что ломоть хлеба из пекарни под полой сухим не донесешь домой, и прочее. Честен был Яков по-своему, о чем мы уже говорили; честен и неподкупен для себя, для своего барина, роты, батальона, полка, но чем дальше и шире расходился этот круг, тем жиже становилась честность нашего Якова, и на самых пределах перехода видимого мира из *мы* в не *мы* она была до того мутна, что терялась вдали, как серый туман, без лица, без цвета и без образа. Чтобы употребить другое, может быть более удачное, подобие, скажем, что честность его расходилась от него во все стороны клином и оканчивалась в известном или неизвестном расстоянии, будучи снята *на нет*.

Таков был Яков, и таковы будут все Яковы наши, по крайней мере большинство их. Мастер и доточник,

или источник, на всякую домашнюю потребу, он чинил сапоги, латал, как мы видели выше, платье, строгал, заклепывал, долбил, клеил и ладил все, что было нужно в походном хозяйстве. Как комнатный, кравчий и постельничий он ставил чайник, варил кофе, набивал трубки, бегал за вином рысью и откупоривал бутылки, стлал солому, покрывал ее простыней или рядном и клал в голову подушку, а в ноги халат и про запас еще шинель, чтобы одеться; как конюший и ясельничий, стремянный и кучер он ходил за лошадью, когда она была у барина, седлал ее выбракованным гусарским седлишком или закладывал в пошевни; как приспешник готовил он до четырех блюд: щи, кашу, пирог и битки. Верблюдом был он на походе, когда, запустив шаровары в сапоги и навьючившись разным скарбом, месил грязь мерною поступью; волком — как и где случалось: в нужде, за недосугом купить или выпросить то, что ему было нужно; верным псом был он всегда, и вся забота его, все назначение состояли в том, чтобы хранить и оберегать, по крайнему разумению, господское добро; хомяком был он на зимних квартирах, на стоянках, когда несколько месяцев постою на месте казались ему веком, и он обзаводился в то время всякою дрянью, будто век с ней жить, для того только, чтобы после долгих вздохов и соболезнований кинуть все это, когда приходилось выступить в поход; наконец, бобром-строителем Яков делался, если не на каждом привале, то по крайней мере на каждом ночлеге; вилы, два шеста или хворостина, рядно да охапка соломы — и дворец готов, извольте, ваше благородие, перебираться!

ПАВЕЛ АЛЕКСЕЕВИЧ ИГРИВЫЙ

Повесть

В небольшой комнате было два стола — один так называемый ломберный, складной, очень ветхий, другой сосновый, который некогда был выкрашен голубой краской, затем белой и, наконец, красной, и потому на вытертых углах и лысинах стола видны были все три слоя краски. Еще стояло тут семь стульев — пара очень затасканных, оплетенных осокой, пара вовсе деревянных, как будто дружки сосновому столу, но один был облечен в первоначальную масть этого стола, то есть голубой, а другой, по-видимому, принял участие во втором перевороте и оделся в белую сорочку; пара тяжеловатых кресел неизвестного склада и масти, одетые издавна пестрядевыми чехлами, видимо состояли в близком родстве с таким же раскидистым диваном; подушка седьмого стула, наконец, если рассмотреть ее тщательно, показывала, что была когда-то вышита шелками по сукну или казимиру неопределенного цвета, но все это давно поблекло, полиняло, шелк местами вовсе повытерся, казимир посекся. В комнате стоял еще перекосившийся шкаф, доживавший век свой пузатый комод, горка с трубками величиною с Гаркушин курган, а стены были увешаны несколькими старообразными ружьями и другими отставными охотничьими припасами, а также старосветскими картинами в красных узеньких рамочках.

На диване лежал человек средних лет, рослый, плотный, видный, в весьма поношенном халате; он чи-

тал какую-то истасканную книжонку, или по крайней мере держал ее в руках, и сосал погасшую трубку. Среди пола лежал врастяжку большой легавый пес, ворчал и лаял про себя во сне.

Павел Алексеевич Игривый — так звали этого барина — оглянулся с улыбкой на своего любимца, потянул опять трубку и, заметив, наконец, что она погасла, закричал: «Эй, Ванька!» Иван вошел, не говоря ни слова, подал барину на смену другую трубку, а покойницу унес для дарования ей новой жизни, то есть для чистки и набивки.

Много пять минут продлилось молчание, прерванное несколькими вздохами и зевками барина и бессловесными возгласами его любимца, как опять раздалось: «Эй, трубку!..» По третьему подобному призыву своему, однако же, помещик наш встал, потянулся, спросил у Ваньки: «А что, рано еще?» И узнав, к своему удовольствию, что уж не так рано, а час девятый, решил, что пора спать, и пошел в соседнюю почивальню. Ванька последовал за ним. Здесь мёбель ни в чем не уступала кабинетной: односпальная кровать о двух тюфяках и двух перинах, с целой копной подушек и бессменными на вечные времена занавесками, стояла во всей готовности для приема в недра свои хозяина.

— Ну, брат Ванька,— сказал он,— коли так, отойдем, помолившись, ко сну. Ты раздень и разуй меня, уложи меня, накрой меня, подоткни меня, переверни меня, перекрести меня, а там, поди, усну я сам.

— Да никак, сударь,— сказал Ванька,— и дворнято вся спит без просыпу. Хоть бы приказали собраться да волков попугать; ведь вот вечор телку зарезали у Карпова, того гляди ребят обижать станут. Бывало, вы, сударь, охотились сами.

— Э, бывало! Было, да быльем поросло. Пожалуй, соберитесь на днях да поохотьтесь себе.

— То-то, сударь, холостому человеку все не в охоту; хоть бы, сударь, невесту себе выбрали да женились, и мужики все жалеют об вас.

Барин захохотал.

— Эка, вовремя собрались пожалеть! Нет, брат, уж мои невесты, чай, давно на том свете козлов пасут... Эка забота моим мужикам! Ну, видно ж, им не о чем больше тужить: по грибы не час и по ягоды нет — так хоть по еловы шишки.

— А что ж, сударь, и вестимо, что так: они за вашею милостью живут захребетниками и не тужат, а вам так вот, видно, скучно; была бы хозяйка...

— А зови-тка ради скуки Меледу с понукалкой, так вот и уснем под шумок и размыкаем горе.

Меледой прозвали сказочника Гаврюшку, своего, доморощенного поварского помощника, который в четыре года не мог выучиться готовить простых щей с забелкой, отговариваясь тем, что все ночи напролет сказывает барину сказку и потому днем должен спать, вследствие чего-де и учиться некогда, да и проспал память. Меледа вошел разутый и полураздетый, принес по обычаю под мышкой одр свой — войлочек и подушонку, постлал его в ногах у барской кровати, присел на него, почесываясь, и ждал барского «ну». В то же время вошел в комнату еще другой человек, одетый и обутый, но с такой дурацкой рожей, что посторонний не мог бы взглянуть на него без смеха. Он стал спокойно у дверей, сложил руки, выставил одну ногу и принялся зевать, будто по заказу, растворяя пасть как широкие ворота и поднося то ту, то другую руку к бороде и растопыривая все пять пальцев. Лицо это было известно в доме под должностным званием *понукалки,* а Меледа называл его обыкновенно дармоедом и надоедалой. Это была также ночная птица для потехи барина; обязанность его состояла в том, чтоб не давать уснуть преждевременно сказочнику и понукать его, если тот задумается или запнется. Когда один из приятелей Павла Алексеевича спросил его, глядя на эту знаменитость, откуда он достал такого урода и свой ли он, то Павел Алексеевич отвечал: «Нет, это наемный, проскуровский мещанин, я плачу ему по четыре целковых в месяц да отпускаю еще месячину. Свой на это дело не годится, сам первый уснет наперед сказочника, тогда что я с ним стану делать — браниться да драться? Нет, этого я не люблю. А этот боится, знает, что сгоню со двора, коли нехорошо служить станет, так он и держит ухо остро. Притом и я к нему привык: не могу глядеть на него, чтоб не стало клонить ко сну, а как растворит ворота да зевнет — так тут и я уснул».

Когда все это устроилось в порядке и оба должностные лица заняли свои места, Павел Алексеевич покряхтел, потом вздохнул, там зевнул и промычал: «Ну». Сказочник начал покрякивать, а понукалка при-

осанился и с этой минуты вступил в свою должность. Командное словечно «ну» развязывало и ему самому язык на это же коротенькое словцо и давало ему власть понукать сонного сказочника. Этот начал очень плавно и бойко, молол с четверть часа безостановочно, а там забормотал менее внятно и захотел перевести дух. «Ну»,— начал его пришпоривать понукалка, у которого также слипались глаза, но который не смел прилечь, чтоб не заснуть, и все стоял на своем месте. «Ну...» Меледа крякнул и продолжал:

— На том на море на окияне, на острове на буяне стояла береза — золотые сучья, на тех на сучьях яблочки серебряные, в них зернышки — граненый алмаз...

— Ну,— начал опять от скуки понукалка, покачиваясь и не слушая, впрочем, говорит ли тот сказку или дремлет.

— Стояла корова — золотые рога; на одном рогу баня, на другом котел: есть где помыться, попариться...

— Ну...

— Ну да ну; чего ты нукаешь?

— Да, вишь, ты не бойко говоришь, дремлешь...

— Сам ты дремлешь, дармоед; гляди: затылком двери пробил; а я не дремлю... На том на острове текут речки медвяные, сытовые, берега кисельные; девка выйдет, ударит коромыслом, черпнет одним концом — зачерпнет два красна холста; черпнет другим...

Тут Павел Алексеевич всхрапнул довольно внятно и несомнительно; сказочник, сидя на полу и обняв руками колени, понурил на них голову и замолк, а понукалка не счел уже нужным его тревожить и, постояв еще немного, вышел в соседнюю комнату и там прилег.

Часу в седьмом утра Павел Алексеевич проснулся, и все в доме зашевелилось. Обувшись в бараньи сапожки домашней выделки и в халат свой, он умылся, помолился и стал советоваться с Ванькой, чего бы напиться сегодня: малины ли, бузины ли, шалфею, липового цвета, кипрею, ивана-да-марьи, ромашки с ландышами или уж заварить настоящего чаю? И Ванька рассудил, что бузина пьется на ночь для испарины, малина после бани, шалфей в дурную погоду, липовый цвет со свежими сотами, иван-да-марья и ромашка, когда неможется, кипрей, то есть копорский или иван-чай, по нужде, за недостатком лучшего, и потому полагал заварить сегодня настоящего китайского чаю, что

и было исполнено. От чая сделан был незаметный переход к завтраку; а между тем староста, мельник, скотница и другие сельские сановники отбывали доклады свои и получали приказания. По временам книжка будто невзначай опять попадала в руки Павла Алексеевича, но вскоре другие занятия развлекали его и вековечная книжка оборачивалась корешком кверху. Не успели оглянуться, как Иван подал щи, кашу да жаркое; там оказалось полезным отдохнуть часика два; там Павел Алексеевич прошелся по хозяйству и по саду, напился липового цвета с сотами, разобрал несколько ссор и жалоб, отдал приказания на завтрашний день, осведомился, не рано ли, и, услышав, что девятый, поспешил перекусить немного, помолился, лег, и Меледа с понукалкой явились снова тем же порядком, как и вчера.

Вот ежедневный быт, будничная жизнь Павла Алексеевича. По праздникам он облачался в сюртук бурого или кофейного цвета, выпускал белый воротничок, брал соломенную шляпу или полутеплую фуражку, смотря по погоде, трость и белые перчатки, которые, впрочем, никогда не надевались, и отправлялся в церковь, бывшую у него же на селе. Иногда, хотя довольно редко, кто-нибудь заезжал к нему; еще реже он бывал у других; но настоящим праздником для него был тот почтовый день, в который гонец привозил ему из города письмо. Такое письмо, казалось, одно только привязывало его всей душой к жизни; Павел Алексеевич оживал, был в тот день деятельнее и веселее и, прочитав письмо раз-другой про себя, перечитывал его еще Ваньке и одной дворовой женщине, известной в доме под названием мамушки.

Что же читатели скажут о Павле Алексеевиче, о быте его и роде жизни, которую мы старались изобразить точно и верно? Я думаю, что иной, может быть и вовсе незлобный, столичный житель готов будет с чувством собственного достоинства пожать плечами и назвать его животным; может быть, даже и самый снисходительный приговор будет еще довольно жесток для скромного деревенского жителя и не избавит его от сострадательного презрения. Но всегда ли наружность достаточно изобличает внутреннюю ценность человека? Почему знать, что помещик наш передумал и перечувствовал на веку своем, невзирая на бесчув-

ственную, довольно плоскую и бессмысленную наружность?

Лет тому двадцать пять в сельце Подстойном помещичья семья сидела за вечерним самоваром и с нетерпением ждала кого-то. Живой и плотный белокурый старик, в долгополом домашнем сюртуке, с огромными усами, с большими, но бессмысленными серыми глазами, с отставными военными ухватками и молодечеством, похаживал взад и вперед, то останавливался у открытого окна, глядел и прислушивался, то посматривал на стенные часы с двумя розочками и двумя незабудками по углам и наконец, продувая трубку свою, сказал:

— Нет, уж видно, я говорю, сегодня не будет.

— А может быть, и будет,— заметила хозяйка его, заглянув в чайник и прибавив туда на всякий случай водицы.— Ведь ему надо быть к сроку, к ярмарке; а уж он, чай, не обманет, коли обещал заехать к нам по пути да привезти весточку от Любаши.

— Ну, загулялся в Костроме,— возразил старик.— Человек, я говорю, молодой, поехал в город, да еще с деньжонками, так ему и не до Любаши; она еще ребенок.

— Никак едут-с,— сказал, вошед торопливо, слуга, указывая слегка в ту сторону, откуда ждали гостя.

— Ну, вот видишь,— проговорила хозяйка с изъявлением радости,— между тем как хозяин вышел на крыльцо, а вслед за тем обнял желанного вестника и при громогласном разговоре ввел его в комнату.

— Уж и ждать было перестали! — так встретила его хозяйка.— Особенно Иван Павлович, говорит: видно не будет; а я все жду-пожду; нет, говорю, будет... Чайку прикажете с дороги или закусить чего?..

— Благодарю,— отвечал молодой человек,— чашечку выпью, но я тороплюсь домой, немножко позамешкался, позадержала Любовь Ивановна...

— Как, она? Не-уж-то? Голубушка моя! Что ж, видел ее? Что она? Не скучает? Здорова?..— Так посыпались вопросы матери.

— Здорова,— отвечал тот, немного зарумянившись,— и шлет вам много поклонов и поцелуев; я раза три навещал ее.

— Уж и поцелуи! — сказал, захохотав, отец.— Слышите, что я говорю? Я говорю: уж и поцелуи; ха-ха-ха!

— На словах, разумеется,— возразил приезжий.— И хотя словесный поцелуй, да еще и передаточный, утешителен для того только, кому назначен, но я принужден был покориться строгости костромских пансионских правил, по которым не дозволяется даже поцеловать ручку воспитанницы!

— Смотри, пожалуй! — стал опять острить отец.— Дети они, дети, а только покинь их без присмотра, тотчас вот по натуре своей наколобродят... ха-ха-ха! Слышите, что я говорю? Я говорю: вот тотчас по натуре своей и наколобродят.

— Да порасскажите ж нам, голубчик Павел Алексеевич, что-нибудь о Любаше,— сказала с нетерпением хозяйка, выручив этим молодого человека из замешательства, в которое поставило его бестолковое, но громогласное замечание Ивана Павловича.— Расскажите, что она, моя голубушка, и как?

Павел Алексеевич принялся выхвалять Любашу с большим чувством, и сознание, что он может и даже обязан делать это в настоящем своем положении, отдавая об ней отчет ее родителям, доставляло ему большое утешение. Вскоре у матери на глазах навернулись слезы, старик, стоя, наклонился вперед и подымал брови все выше да выше, как будто прислушивался внимательно, а между тем беспрестанно перебивал всех остротами своими и заставлял выслушивать их по два и по три раза, приговаривая: «А слышите, что я говорю? Я говорю: ха-ха-ха!»

— Начальница и дамы не нахвалятся ею,— продолжал Павел Алексеевич,— а вы не нарадуетесь, когда свидетесь. Она выросла, уже почти совсем сложилась...

— Ох, боже мой,— сказала мать, всплеснув руками.— В эти годы, можно ли?

— А что ж, матушка? — заметил отец.— Ведь и ты по шестнадцатому году за меня вышла, вспомни!

— И то правда,— отвечала она, сосчитав что-то по пальцам.— Да ведь она ребенок еще, видит бог, ребенок...

— Ну, ребенок,— заревел Иван Павлович, позабыв, что он сам сейчас называл дочь ребенком,— ну, такой же ребенок, как и ты! Ха-ха-ха! Слышите, что я говорю!

— Как, мать такой же ребенок, как и дочь?

— Ну да, матушка, да ведь я говорю о прошлом, я говорю...

— Да, о прошлом! Ох, разумется, все мы были праведными младенцами...

Расторопный слуга вошел и спросил робко у барина, не будет ли каких приказаний насчет чего-нибудь, и при этом покосился как-то странно на гостя. Это значило: кучер гостя ужинает, так не напоить ли его пьяным, чтоб барина задержать по обычаю на ночь, или уж не снять ли на всякий случай у брички колесо? На этот раз подобных распоряжений не последовало: хозяин знал, что гостю надо быть дома к сроку и ехать на ярмарку, и потому после долгих прощаний, благодарений, дружеских приглашений и благословений его благополучно отпустили.

— А о косе-то я и позабыла спросить! — ахнула старушка, когда бричка покатилась со двора, и кинулась было к окну, но опоздала.— Сама Любаша ничего толком не напишет... такой ветер! А я и не знаю, выросла ли у нея коса-то, хоть бы вот четверти в три?

— Выросла, матушка,— утешал ее отец,— слышишь: сложилась девка совсем. Ха-ха-ха! И выросла и сложилась!

Скажем теперь, проводив Павла Алексеевича, что это был сосед в шести верстах от старика Ивана Павловича Гонобобеля и супруги его Анны Алексеевны, к которым мы сейчас заглянули. Мы были там невидимками, и потому с нашей брички также колес не сняли; но редкому гостю удавалось выехать из сельца Подстойного без этой проделки.

Павел Алексеевич Игривый, полный хозяин хорошенького имеьица Алексеевки, возвратился года за полтора из университета, не кончив курса, для приема имения своего по случаю внезапной смерти отца и взялся за хозяйство. Он съездил теперь по своим делам в Кострому и привез любезным соседям весть о дочери их, которая, как мы слышали, оканчивала свой учебный курс в частном пансионе, названном на вывеске, не знаю, почему, *Образцовым.*

Полчаса, которые Игривый ехал от Подстойного до Алексеевки, прошли в таком же точно сладостном забытьи и бессвязных, розовых мечтах, как все время пути от Костромы до Подстойного. Павел Алексеевич

думал о том, что Иван Павлович прав и Любаша вовсе не дитя, как полагала Анна Алексеевна; что сам он сказал истинную правду относительно строгости пансионских учреждений и одной только словесной передачи поцелуя, хотя, в сущности, такое задушевное, заповедное рукопожатие, каким он мог похвалиться, едва ли не перевесит иного необдуманного, легкомысленного поцелуя; что, наконец, Любаша неизъяснимо мила, несмотря на свой возраст отроковицы... Вот сущность мечтаний Игривого, который не скучал перебирать думу эту со всех концов, разыгрывать ее на все лады и тешиться ею на просторе. Обстоятельства не позволили ему кончить университетского ученья и заслужить ученую степень; но он твердо намеревался сделать это при первой возможности, приведя дела свои в порядок, с нетерпением рассчитывал и соображал он теперь что-то по годам и месяцам и заглядывал в будущую судьбу свою гораздо далее вперед, чем это нам дозволено.

Годик прошел незаметно; в Подстойном и в Алексеевке все оставалось по-старому, с тою только разницей, что Игривый соскучал без Костромы, к счастью, вскоре опять нашел необходимым съездить туда по своим делам и опять привез много поклонов от Любаши; а затем наконец ныне событие необычайное было на мази в Подстойном: Гонобобель с хозяйкой снаряжались в путь-дороженьку, все в ту же Кострому, и притом уже за своей Любашей. Она окончила свое образцовое пансионское ученье. От суеты и крика Ивана Павловича вся дворня стояла всенощную уже семеры сутки сряду; дорожный рыдван выкатывали на широкий двор и опять подкатывали в сарай раз по пяти на день. Хозяин сам ничего не смазывал и не увязывал, но ходил день-деньской в дегтю и в смоле и не выпускал из рук какой-то толстой бечевки. Все приказания его отдавались дважды и трижды в один дух, с сильным ударением на «я говорю», но одна часть приказаний этих была уже исполнена накануне, а другая до того противоречила первым или даже самому здравому смыслу, что «сейчас» и «слушаю-с» вырывались из уст прислуги только по исконному обычаю, а вовсе не для того, чтоб кто-нибудь думал об исполнении. Анна Алексеевна переправлялась по несколько раз в день из задних покоев в сарай с несколькими попутчицами

из девичьей: все они были навьючены и нагружены, как верблюды, и вся поклажа эта, большею частью съестные припасы, укладывалась тихомолком в рыдван.

«Половину этого Иван Павлович непременно выбросит вон,— думала скромно про себя Анна Алексеевна.— Так пусть же другая половина останется: дорогою пригодится. Кострома не близкий свет: на своих неделя езды».

Тут были не только крендели, кокурки, пироги, курник и пирожное всех родов, но были и сушеные вишни, и яблоки, и даже моченый горох, собственно для Ивана Павловича. До моченого гороха Иван Павлович был страстный охотник, ел его о всякую пору, особенно дорогой, и им-то Анна Алексеевна очень удачно затыкала мужу рот, когда он начинал ворчать слишком упорно и назойливо.

Игривый наведывался в это время почасту к соседям, и не раз уже вырывались у него такие странные выражения усердия и готовности быть чем-нибудь полезным при снаряжении их в дорогу, что походило на то, будто ему хотелось скорее их выпроводить. Казалось бы, они ему ничем не мешали тут — но, видно, он думал об этом иначе, или даже у него была тут какая-либо не прямая, а косвенная думка.

Наконец взошло то солнышко, которому суждено было до заката своего осветить поезд Гонобобеля из Подстойного в Кострому. Рыдван шестерней да троичная телега стояли у подъезда. Несметная дворня, разделенная на две густые толпы, стояла направо и налево от крыльца, острила над кучером и выносным, над девкой в дорожном уборе, в какой-то куцей куртке и барыниных башмаках и ожидала господ. В покоях послышались голоса: барыня простилась с кошками своими в девичьей и там отдала уже все приказания насчет корма и присмотра за ними; но барин прощался с собаками гласно, как на мирской сходке.

— Кирюшка!— кричал он, стоя на крыльце.— Да чтобы навар был дважды в неделю, слышишь, а по будням овсянка — слышишь? Я говорю, чтоб они праздник знали... ха-ха-ха! Слышите, что я говорю?— и народ, кланяясь угодливо, от души засмеялся.

— Это что? — спросил Иван Павлович, остановившись на втором приступке кареты.

— Дорожные припасы, мой друг,— отвечала примирительным голосом Анна Алексеевна.

— Это вон — ха-ха-ха! И вот это вон, и это вон, ха-ха-ха! Слышите, что я говорю? — И узлы с мешками летели из рыдвана в открытые двери. Дворня подхватывала мешки и мешочки на лету и по знаку Анны Алексеевны передавала все это втихомолку на запятки и в телегу. Довольный этою победой, Иван Павлович весело уселся, сказав: — Ну, вот теперь милости просим, матушка Анна Алексеевна! Слышите, что я говорю,— а? Вот теперь милости просим — ха-ха-ха!

Поклоны и пожелания дворни посыпались громогласно; кучер свистнул, тряхнул вожжами, и карета покатилась. Телега была нагружена перинами, подушками, девками, овсом и бог весть чем, а потому большая часть узлов и мешков, вылетевших из кареты мановением руки Ивана Павловича, поступили на временное попечение того, кто сидел на запятках. Бедняк обнял во все руки и держал целый воз поклажи, так что ни он не видел свету, ни свет не видал его.

— Вот это у немцев считается миля,— сказал Иван Павлович, выглядывая из окна и вспоминая былое время походов.— Это семь верст.

— Ах ты, боже милостивый! — проговорила, словно проснувшись Анна Алексеевна и закрыла лицо руками.

— Что там такое?

— Ох, уж не знаю, как и сказать, Иван Павлович! Надо же такому греху случиться...

— Да что же такое? Говори, я говорю.

— Да ларец с Любашиным бельем ведь позабыли, весь...

Гонобобель вспыхнул как ракета и рассыпался звездочками в упреках и нравоучениях. Сто раз повторил он, что уже не воротится и что Анна Алексеевна может теперь управляться как ей угодно. Проехав, однако же, еще версты две, он закричал: «Стой!» — велел отпрячь лошадь из-под телеги и послал за ларцом, приказав привозить его прямо на ночлег. Нравоучения все еще сыпались обильно, но, по явному истощению запаса, повторялись все одни и те же, и притом майор брюзжал даже с некоторыми расстановками, переводя дух с большою свободой. Тогда Анна Алексеевна, все

не говоря ни слова, рассудила, что пора прибегнуть к моченому гороху: молча подставила она супругу своему мешочек; старик жадно запустил туда руку и, набивая рот горстями, ворчал уже так бессвязно и невнятно, что Анна Алексеевна вольна была принять это за молчание или даже за изъявление удовольствия.

Минуем теперь прочие события на пути четы нашей в Кострому, даже и то, что на первом привале, где стали закусывать, оказались в наличности одни только вилки, и притом полная дюжина, а ножей не было ни одного; оставим и то, что Гонобобель нашел в карете козла в мешке, как он уверял, и кричал, и хохотал и бесновался, и показывал всем людям, что барыня взяла с собою на дорогу козла в мешке, и заставлял всякого ощупывать рога, и велел его выкинуть вон,—и как, наконец, оказалось, что это был вовсе не козел с рогами,а кисеты с табаком и запасными трубками самого Ивана Павловича,— оставим, говорю, все то и пойдем вместе с родителями встречать и принимать из пансиона единственную дочь их, Любашу.

Странно, скажу и я при этом случае в скобках, приглашая всех и каждого послушать, что я говорю,— странно: все пансионы, воспитательные и учебные заведения учреждаются, как должно полагать, для того, чтоб воспитать и образовать человека вовсе не для пансиона собственно, а для света, в котором всем нам приходится жить... А между тем, пошлюсь на любого,— этому ли там всегда учат или этому ли там научаются?..

Публичный экзамен, с музыкой и угощением и танцами, с венками и цветочными вензелями, с речами на трех языках, прощальными стихами и прочими принадлежностями, был уже окончен, когда Гонобобели вкатились в рыдване своем шестерней в Кострому. Большая часть выпускных девиц были уже разобраны родителями, прибывшими к этому экзамену, и Любаша, в сиротстве своем, несмотря на живой и веселый нрав, пролила уже немало слез, глядя в томительном ожидании на своих подруг. Она, запыхавшись, вне себя выбежала навстречу родителям, пропустив на этот раз вовсе мимо ушей столь важные и дельные наставления начальницы, которая припоминала ей вслед, как себя держать, как приседать и кланяться и как приветствовать отца и мать. Она бросилась на шею матери, по-

том отцу, там опять матери, рыдала и смеялась. Анна Алексеевна плакала также навзрыд, и зрелище это вышло бы в самом деле невыносимо умилительным, если б Иван Павлович не позаботился придать ему несколько более успокоительный оттенок. Старик встретил дочь громким и глупым смехом, врал и молол без умолку, обращая кстати и некстати внимание присутствовавших на умные речи свои. Девицы, вышедшие скромною вереницей в приемную проводить подругу свою и разделить с нею радость, стояли все в слезах и готовились заранее еще к обильнейшему плачу,— но они были до того озадачены поведением этого папеньки, что стояли в совершенном недоумении, как бесчувственные куколки. Сама даже начальница была поставлена в затруднительное положение и с свойственною ей находчивостью тотчас же приискала повод, чтоб пожурить вполголоса покорных овечек своих и тем отвлечь их внимание от странных замашек Гонобобеля. Но его нельзя было надоумить этим или сбить с кону: как вежливый, светский человек, он, напротив, считал долгом своим придать более веселый вид этому свиданию и прощанию и занять девиц, а потому и обратился тотчас же к ним, засыпал их вовсе непонятными для них остротами и, забывшись несколько раз, протягивал руку, чтоб по привычке своей придержать своего собеседника за пуговицу. Он наступал на бедненьких, испуганных девиц вплоть и кричал почти в уши, то одной, то другой: «Слышите, что я говорю: я говорю, ха-ха-ха — я говорю: дочка переросла матушку — а? Каков ребенок? Я говорю, ха-ха-ха! Слышите, что я говорю? Я говорю: невеста хоть куда — отбою не будет от женихов,— слышите? Ха-ха-ха! А ну, поди-ка сюда,— продолжал он,— поди да покажи-ка нам левое ушко свое, моя ли ты дочь,— ведь она у меня меченая, ха-ха-ха,— слышите, что я говорю? Она меченая у меня — ты ли это, не подменили ль тебя? Нет, моя дочка, моя; вот и меточка — видите, смотрите! Ушко поротое... ха-ха-ха!»

Кто взглянул бы в это время на розовое ушко Любаши, которое она, улыбаясь, подставила, а папенька ее держал между пальцев, тот мог бы увидеть на нем небольшой рубчик длиною с ноготок. Это, без всяких шуток, была метка, которою отец пометил дарованных ему богом детей, дочь и сына, чтоб они не затерялись

или чтоб их не подменили. Благоразумие или предусмотрительность, достойные Ивана Павловича Гонобобеля.

Перерасти матушку, как заметил Иван Павлович, Любаше было, впрочем, не мудрено, потому что Анна Алексеевна едва доставала носом до средних петлиц на фраке своего мужа. Любаша была среднего роста, гибка и такого приятного очерка в стане, что казалось, было бы легко обнять ее двумя пяденями, приподнять и поставить перед собою на стол. Головка ее была живописна кругом и со всех сторон; светло-русые волосы с пепельным отливом, слегка извиваясь волной по обе стороны пробора, оттеняли немножко азиатское по складу личико, нежное, хотя немножно смугловатое, но с удивительною живостью и яркостью румянца. Большие голубые глаза, довольно резко обозначенные брови, прямой лоб, носик, который спереди казался несколько плосковатым, но сбоку представлял легкий погиб, резко обозначенные ярко-пунцовые губки, ямки на щеках, истинно калмыцкие, поднизанные на подбор зубки и изумительно прелестный погиб бархатной шеи — все это оживлялось еще необычайною жизнью во взоре и во всех движениях, несколько поспешных, но плавных и нежных, доказывающих, однако же, опытному наблюдателю, что здесь женственность была развита в высшей степени и первое впечатление, чувство брало верх над рассудком...

Между тем предусмотрительный сосед Гонобобеля, рассчитав, к какому времени можно ожидать соседей обратно из Костромы, и убавив на всякий случай денька три из этого счета, отправлялся ежедневно под вечер, то пешком для прогулки, то верхом, то на дрожечках, в сельцо Подстойное, а иногда проезжал еще версты две за него и возвращался шажком домой. Он делал это, сам не зная к чему и для чего, делал потому, что ему хотелось гулять в эту сторону, а не в другую и что он волен был располагать и собою и временем. Никакой положительной мысли в нем не созрело: он детски играл мечтами и был счастлив.

Подъезжая однажды к усадьбе Ивана Павловича, он увидел на другом конце сельца облако пыли — вещее взыграло недаром: это катил рыдван шестерней и троичная телега. Дорожная поклажа усилилась еще и наросла разными покупками в губернском городе, и

потому коробки, кузовки, картоны, мешки и узлы навалены были гора-горой как на телеге, так даже и на чердаке рыдвана, который, несмотря ни на какие возражения и остроты Ивана Павловича, в этом безобразном виде, круглый и пузатый, как готовый к отлету воздушный шар, величаво приближался к барской усадьбе. Игривый считал в это время всякое посещение неуместным и потому хотел было воротиться потихоньку домой; но, высматривая с осторожностью некоторые подробности этого поезда и стараясь по временам проникнуть взором в необъятную, темную хлябь через опущенное окно рыдвана, Павел Алексеевич невзначай встретил высунувшуюся оттуда головку: она кивала ему приветливо; затем, оборотившись на одно мгновение внутрь, казалось поспешно что-то проговорила и опять уже с улыбкою выглядывала в окно. За нею показалось в тени еще какое-то широкое лицо и, кажется, также третье, и, наконец, даже сидевший за каретой на горе Монблане Филька снял дорожный картуз свой и низенько раскланивался.

Нечего было делать — Игривый подъехал ко двору и, встретив хозяев у крыльца, стал их высаживать. Наперед всего вывалился сам Гонобобель, изъявляя громогласно радость свою при нечаянном свидании с дорогим соседом и строго приказывая всем слушать, что сам он, Гонобобель, говорит. Дворня окружила господ, стая собак бросилась с лаем и воем на почтенного хозяина и сбила его с ног; а какой-то шальной теленок, которого всполошили собаки, метался как угорелый между людьми, лошадьми, постромками и собаками, лягался и ревел благим матом. Гонобобель отбился наконец от домочадцев и обнялся с гостем, взяв его при этом случае руками за уши, как самовар; он сам не мог нарадоваться этой замысловатой выдумке и кричал и объяснял ее после целый день. Высаживая Анну Алексеевну, Игривый поцеловал у ней ручку и не успел покоситься через старуху в рыдван, как третья и последняя птичка уже выпорхнула оттуда сама, приветствовала соседа, быстро оглядывалась кругом, припоминая предметы, знакомые ее детству, улыбалась радостно, а между тем слезинка дрожала на русой реснице... Дворня также со слезами бросилась в ноги барышне, и нянюшки чуть не унесли ее на руках.

— Что ж ты, привез ли мне для сюрприза на новоселье кобеля-то? — заревел Гонобобель, когда все вошли в покои, напоминая Игривому обещание его.

— Нет, не привез,— отвечал тот.— Я не надеялся застать вас сегодня здесь...

— Так черт ли в тебе, коли ты один приехал! Ха-ха-ха, слышите, что я говорю? Я говорю: черт ли в тебе, коли ты ко мне приехал один... ха-ха-ха...

Между тем как кошки взметывались от радости в комнатах под самый потолок, а оттуда валились клубом под ноги, мяукали и ластились, а девки и вся дворня зашевелились, как пчелиный рой, Анна Алексеевна старалась ласками своими загладить по возможности довольно странное приветствие своего супруга. Игривый, конечно вовсе в этом не нуждаясь, с умилением смотрел на стоявшую перед ним молодую девушку, которая рассказывала ему необычайные для нее дорожные приключения. Несмотря на завидное положение свое, он, однако ж, вскоре опомнился, простился, обещав опять навестить соседей, и оборотился к передней, но здесь новое неожиданное препятствие остановило его: дорожные чемоданы, сундуки, ларцы, коробки, кузовки, мешки и узлы разного рода и вида не только покрыли собою весь пол и не давали ни конному, ни пешему прохода, но поклажа эта взгромождена была у самых дверей горой, выше роста человеческого. Один подавал, другой принимал, ставил все тут же и убегал в другую сторону, и, таким образом, дверь была загорожена. Только после долгого шума, крика и многих острот со стороны хозяина наконец дорога была кой-как очищена и сосед окончательно раскланялся.

— Мы к вам в воскресенье к обедне,— кричала ему вслед в окно Анна Алексеевна, и он, раскланиваясь, просил пожаловать и зайти к нему закусить.

Утром крестьяне и крестьянки пришли к барышне своей на поклон с ягодами, яблоками, яйцами, цыплятами и полотенцами. Все это было ей очень ново и странно — она беспрестанно оглядывалась на мать, ожидая от нее наставления, как и что делать; вмешавшись же наконец в толпу, она перецеловала всех девушек и тем доставила старикам крестьянам большое утешение.

Что же Любаша нашла в отчем доме и чем отозвалось в ней все то, что она там на первый случай встре-

тила? На первый случай — она была довольна и счастлива: она вышла из-под тягостной опеки на волю; она была уже вовсе не тою девочкой, которую мадам журит весь день, при каждой встрече, наказывая держаться прямее, ходить плавнее, приседать милее; она сама сделалась внезапно какою-то повелительницей, и все в доме смотрели бырышне в глаза, чтобы только на нее чем-нибудь угодить. О хозяйстве, о должном порядке в доме у нее, разумеется, не было никакого понятия, и ей казалось, что до всего этого ей нет и не будет никакой нужды; она рождена на свете и воспитана в образцовом костромском пансионе; для чего? Да, для чего? Это вопрос слишком неожиданный и странный; о подобном вопросе она еще и не слыхивала, а полагает, если только должна быть особая цель и назначение ее бытию,— полагает, что она родилась на свет для радости, для веселья, для того чтоб порхать, и тешиться, и забавляться в течение белого дня, а по ночам дремать под сладкие грезы... О неуклюжих странностях отца она судить не смела и потому его не осуждала, хотя часто краснела от него; она чувствовала, что ей как-то неловко, но скоро опять забывала это и наконец решила, что, видно-де, этому так и должно быть...

В воскресенье Игривый хлопотал уже с утра о достойном приеме дорогих гостей. Они точно приехали к обедне, а из церкви вместе с хозяином пошли его навестить. Тут закусили, осмотрели хозяйство и сад, а когда наконец вошли в покои и стали собираться в обратный путь, то не могли доискаться Любаши, которая одна-одинехонька бегала по саду. Скрепя сердце Игривый сидел в это время чинно со стариками: но чувства и думка его, конечно, бродили в ином месте.

— Где она? — кричал Гонобобель.— Пропала, что ли? Так недаром же она у меня меченая — ха-ха-ха! Слышите, что я говорю? — и взял вбежавшую Любашу за ушко, чтоб освидетельствовать знаменитую метку.— Так, она и есть, не подменили; да где же ты это пропадаешь? Уж не хочешь ли здесь остаться — а? Слышите, что я говорю — ха-ха-ха...

Анна Алексеевна с трудом замяла этот довольно странный вопрос, который, впрочем, нисколько не смешал Любаши, потому что она вовсе не поняла его значения.

— Вы скоро к нам будете? — спросила она Павла Алексеевича, который провожал дорогих гостей на крыльцо.

— Скоро, когда угодно, когда позволите,— отвечал он.

— Приезжайте,— продолжала она,— вот хоть завтра... Я начинаю скучать без моих добрых подруг. А вас я видела там с ними, и мне с вами веселее. Я давно вам хотела сказать, что вы походите на Машу Суслонцеву: это мы все решили и прозвали ее за это вашим именем.

Отец подошел в это время с новыми замысловатыми остротами своими, ухватил Игривого за пуговицу и, повертывая его справа налево и слева направо, врал и хохотал ему на ухо. Линейку подали, Гонобобели уехали. Игривый долго глядел им вслед, задумчиво поплелся в сад, отыскивая на песке по дорожкам следов пары маленьких ножек,— а вся дворня, вся деревня, наконец и все соседи и весь околоток начали понимать, намекать и пророчить, что из этого-де что-нибудь да выйдет.

Так мирны, тихи и складны были дела и сношения между Алексеевкой и Подстойным и оставались в этом виде целый год. Соседи так свыклись между собою, что им было скучно друг без друга, если они два дня сряду не видались: а Игривый и Любаша в самом деле казались связанными уже гораздо более, чем одними узами светской приязни. Никогда, правда, между ними речи не было о разъяснении этого чувства и взаимных их отношений; но всякий посторонний зритель не мог ни на минуту оставаться насчет этого в сомнении. Они бессознательно наслаждались мирным и тихим блаженством своим, не нуждались доселе ни в каких более объяснениях и не думали еще о перемене своего положения — так оно казалось им хорошо.

Между тем как у них у обоих не было заветных тайн друг от друга, то и бывала почасту речь о том, что Игривый намерен вскоре отправиться на год в университет для окончания курса. Он говорил об этом охотно, как будто к слову и случайно, замечая, как и чем это отзовется в Любаше, и услаждаясь тем, что она, смотря по расположению своему, то хмурила брови, подтягивала губку и немножко дулась, то озадачивала друга нежным и убедительным взглядом, то

прямо старалась отклонить его от этого намерения словесными убеждениями и доводами, которые всегда подавали повод к нежным беседам, хотя в них, собственно, о нежности и о любви не упоминалось. Вследствие ли этих объяснений и детских упреков или по другим причинам, но Игривый собирался уже и не поехал в первое полугодие или семестр после приезда Любаши, не поехал и во второе, после нового года, а теперь собирался, как будто не шутя, на третье, расписывая в воображении своем сладкую горечь разлуки, блаженство свидания и наконец внезапную счастливую развязку, которая должна повершить дело. Ему казалось, когда он размышлял об этой блаженной будущности, что тут препятствий никаких быть не может; в Любаше он был уверен, а со стороны родителей ее не только нельзя было ожидать каких-либо затруднений, но, напротив, они, по-видимому, весьма желали этого союза, приличного и выгодного во всех отношениях. Отдать дочь за порядочного и не бедного соседа — какой же отец и мать от этого откажутся?.. Впрочем, мы здесь взялись пояснить, может быть, более, чем и самому Игривому было ясно; все размышления эти происходили в нем почти бессознательно, и когда он ловил себя на них врасплох, то сам первый восклицал: «Какой вздор — ну, с чего ты это взял?»

Однажды вечером Игривый расхаживал рядом подле Любаши взад и вперед по дорожке в саду, перед чайным столом, за которым сидели родители ее и еще два-три соседа. Он опять завел вполголоса речь о скором отъезде своем в конце каникул и собирался с духом для дальнейших необходимых объяснений. Любаша привыкла уже слышать в общих словах об этом любимом предположении своего друга: но будущее казалось ей всегда так далеко, что положительное назначение столь короткого срока как-то неприятно поразило ее. Она задумалась: ей представилось живо это одинокое, томительное смутное время, когда она будет одна на свете, когда у нее даже не будет под рукой Павла Алексеевича, и она не могла понять: почему же она прежде жила спокойно без него, а теперь этого не может? У нее недоставало духа на какое-либо объяснение; она потупила глаза, повесила голову, стала задумчиво играть веточкой, которую держала в руках, и

сама не замечала ни странности своего молчания, ни томительного ожидания своего друга.

— Будете ли вы меня помнить? — сказал он наконец.— Узнаете ли вы меня, когда я ворочусь опять к вам?

Она быстро взглянула на него, и какой-то скорый ответ едва было не вырвался из уст ее, но она опомнилась и выговорила только едва внятно:

— Я? — Потом смолкла и опять опустила голову.

Игривый был поставлен еще в большее затруднение и ломал себе голову, как понять это «я» и каким образом теперь продолжать. Если сказать на это: «Да, вы», то это также ничего не выражало и казалось пошлым, растягивая без нужды объяснение, которое по важности своей должно бы быть как можно более сжатым; времени было немного... Если повторить вопрос, сказав: «Да, будете ли вы меня помнить?» — то это казалось слишком настойчиво; и без того уже для этой торжественной минуты было сказано довольно много... Игривый только что нашел было середину, вздохнул и хотел сказать: «Вы не отвечаете?..» — как поравнялся с чайным столиком и у него в ушах раздалось:

— Слышите, что я говорю, Павел Алексеевич? Ха-ха-ха, я говорю: а по чьей же дудке и плясать жене, как не по мужниной — ха-ха-ха!

Эта необычайная острота Гонобобеля заставила Игривого из приличия остановиться и даже кивнуть головой и улыбнуться; затем он был вовлечен в общий разговор, а подруга его услана матерью с хозяйственным поручением. Она воротилась с каким-то постным лицом: щеки ее горели, губки, и без того резко обозначенные, были как-то сжаты, а глаза, по-видимому, избегали встречи со взором опасного соседа. Игривому казалось, что этот вечер должен решить судьбу его, что более приличного случая для окончательной развязки нельзя ожидать. Он внимательно подстерегал все движения Любаши и выбирал только время, чтоб сказать ей несколько слов, как послышавшийся вдали колокольчик привлек к себе всеобщее внимание.

— Не уезжайте,— сказала Любаша почти шепотом, подняв глаза прямо на своего друга, и в то же время, как будто боясь продолжения этого разговора, подошла ближе к матери и стала обращать внимание ее на колокольчик.

О, этот колокольчик и через двадцать лет еще часто раздавался в ушах Игривого, когда он в одиночестве своем сидел повеся голову и глядел умственными очами картины волшебного фонаря воспоминаний своих. Этот колокольчик напоминал ему задушевное выражение голоса и взора Любаши, когда она просила: «Не уезжайте!» Этот же колокольчик внезапно прервал беседу, которая, вероятно, решила бы судьбу Игривого иначе, чем она решилась теперь,— все через тот же роковой колокольчик!

— Верно, исправник,— говорил, прислушиваясь, один.

— Нет, зачем ему теперь быть,— заметил другой.

— Наше место свято! — кричал третий и хохотал при этом на весь мир.— Слышите, что я говорю? Я говорю: наше место свято — ха-ха-ха!

Между тем колокольчик все ближе да ближе; щегольская коляска остановилась у подъезда на дворе — и мать, отец и дочь бросились с криками радости навстречу одному из двух уланов, выскочивших из коляски: это был вновь произведенный корнет Карп Иванович Гонобобель, сын Ивана Павловича и Анны Алексеевны и брат Любаши.

— Ротмистр Шилохвостов Семен Терентьич,— сказал молодой корнет, представляя родителям своего гостя и попутчика, когда первые порывы восторга свидания успокоились.— Позвольте представить вам моего искреннего друга, самого благородного и отличного офицера.

— Ты меня заставляешь краснеть,— сказал скромно Шилохвостов, взглянув на друга своего, потупив глаза и подходя к ручке матери и сестры его.

— Очень рады, милости просим, очень благодарны за доброе расположение ваше к Карпуше, просим покорно...— сказала Анна Алексеевна.

Гонобобель облобызал гостя и, забывшись, чуть не ухватил его при этом также за уши — до того ему шутка эта полюбилась, и сказал:

— Вот мы всё думали, что Карпуша дурак,— прошу покорно, очень рад,— а он вот какого дорогого гостя привел — ха-ха-ха, очень рады! Ай да Карпуша!

Ободренный этим, Карпуша обратился к своему приятелю и сказал:

— Вот, братец, видишь, тебе все рады. Сделай милость, будь как дома.

Гостям отвели комнату, поставили снова самовар, посылали спрашивать, не хотят ли пообедать или так чего-нибудь поесть: ягод со сливками, огурцов с медом, простокваши, варенца, творогу; подали сметаны со ржаным хлебом — некогда любимое кушанье Карпуши, и не знали, чем бы угостить Шилохвостова, который не брал в рот молочного и даже чай пил по-китайски, без сливок.

— Экие недогадливые! — закричал наконец догадливый хозяин.— Вздумали уланов угощать сливочками да сметанкой? Ха-ха-ха! А вы горькой подайте — это всегда кстати — да ромку к чаю, с позолотцей выпьем — а? Слышите, что я говорю? Я говорю: с позолотцей — ха-ха-ха!

Подали того и другого, и Карпуша, к крайнему удивлению маменьки, тотчас же покинул и сметану и чай со сливками и подсел, нисколько не обинуясь, к горькой и к рому. Ротмистр скромничал и заставлял себя просить, уверял даже, что он почти вовсе не пьет, но товарищ его, на которого отец не мог налюбоваться, распоряжался полковым порядком: он вылил в глотку большую рюмку, не прикасаясь к ней руками, а охватив ее всю, прямо со стола, губами и опрокинув голову назад. Эта штука привела папеньку в восторг; маменька же, напротив, как будто силилась улыбнуться, чтоб не нарушить общей веселости; но заботливые морщинки скоплялись на челе ее, и она никак не могла принудить себя разделить одобрительный возглас своего сожителя; а между тем Карпуша от перетроёной настойки этой даже не поморщился и не крякнул.

Любаша не могла отвести глаз от милого братца, с которым уже два года не видалась, и уланский мундир прельщал ее донельзя. По временам встречала она также взором благообразного ротмистра с большими русыми бакенбардами, с прекрасными усами, шелковистыми кудрями и серыми, но выразительными и нежными глазами. Наружность ротмистра была в самом деле приятна, все приемы его ловки, обращение скромно и обязательно.

Игривый бывал сыздетства товарищем Карпуши, а потому и поздоровался с ним по-братски, и они при

этой встрече остались опять по-прежнему на *ты* и *ты*. Перемены, которые Павел Алексеевич в это короткое время мог заметить в Карпуше, не слишком утешали Игривого; новый гость, которого тот привез, как-то еще менее был по вкусу соседа; не менее того, когда по распоряжению хозяина подали на радости так называемого шампанского, то все трое молодых людей, ротмистр, корнет и отставной студент, по настоянию расходившегося майора пили вкруговую за здравие друг друга, обнялись на побратимство и скрепили дружбу свою братским *ты*. Впрочем, мы уже видели, что молодой корнет и прежде этого был с ротмистром своим на такой короткой ноге.

Игривый не навещал соседей после этого дня три, желая дать им покой, и был приглашен в Подстойное к обеду, который давался в честь нового корнета. Если Павла Алексеевича и без того уже взяло какое-то раздумье после описанного нами вечера, то теперь он подавно был сбит с толку. Любаша как-то робела и мешалась при нем, даже будто избегала разговора и все держалась около брата, от которого не отходил ни на шаг благообразный ротмистр. Три побратима прохаживались после обеда по саду, где все общество рассеялось, и Карпуша после нескольких двусмысленных намеков сказал:

— Какой чудак этот ротмистр! Послушай, Павел: я его привез потому, что прочу в женихи сестре — он, ей-богу, славный, преотличный человек и благородный малый,— а он ломается теперь да несет бог весть что.

Павла Алексеевича, конечно, не бархатом по сердцу погладило от этих слов; но он собрался с духом, осилил всякое движение, казался спокойным и взглянул только слегка вопросительно на того и на другого.

— Ты, братец, по дружбе своей слишком хорошо обо мне относишься,— сказал довольно равнодушно Шилохвостов, глядя в землю,— ведь я... Да, впрочем, всякому позволено сомневаться, составит ли он счастье девушки, и даже подумать о том, не навьючат ли ему, может быть, арбуз... Да и согласится ли сама сестра твоя... Почему она меня знает? Она может думать, что я какой-нибудь подлец...

Карп Иванович, которому еще не было двадцати лет и который тридцатитрехлетнего ротмистра своего называл «малым», прибавляя к этому беспрестанно то

«добрый», то «славный», то «благородный»,— Карп Иванович не дал ему договорить, ручался за успех, ссылался при этом беспрестанно на *Павлушу*, то есть на Игривого, и предлагал посватать сестру сегодня же, сейчас же и запить невесту в этот же вечер. Разговор о питье был любимым у Карпуши, и он редко без него оканчивал беседу.

Игривый был поставлен в самое странное положение. Он мог только отмалчиваться. К счастью, собеседники его были оба слишком заняты своим разговором, и Карпуша, ссылаясь то и дело на Павлушу, не ожидал, однако же, ответа его и врал сам по себе дальше.

Вечером плясали шумно и весело; ротмистр был отчаянный мазурист того времени, когда бросались в мазурке на колени перед дамой своей, топали, шаркали, щелкали каблуками и побрякивали шпорами. Победа в танцах на этот раз бесспорно осталась за уланами; Любаша еще в жизнь свою не танцевала так много и притом в большом обществе, а на долю ее достался первый и превосходный кавалер, ротмистр Шилохвостов. Она была вне себя от удовольствия, и все, все девицы, от первой до последней, завидовали ей как нельзя больше. Ей то и дело шептали в уши: «Ах, машер, как ты счастлива! Ах, какой он милый! Ах, машер, поздравляю с победой...» Разумеется, что это чрезвычайно льстило самолюбию бедненькой девушки, хотя она в этом и не сознавалась и даже, может быть, сама этого не знала. Игривый глядел на все это в каком-то раздумье и также сам не знал, как понять то, что он видел, и чем все это кончится.

Когда к ночи после бала ротмистр с корнетом остались глаз на глаз и притом немножко с позолотой, то речь между ними сейчас опять зашла о Любаше.

— Что же? — сказал братец ее, скинув мундир, присев на кровать свою и подпершись в обе руки.— Что же? Видно, брат Сеня, Любаша тебе не нравится, а я думал уж, как тебе услужить!

Сеня прохаживался большими шагами по комнате, набивая из кисета трубку.

— Послушай,— сказал он, остановясь перед Карпушей,— ведь сестра твоя не шутя девушка предостойная, премилашка... Ну, воля твоя, братец, мне совестно; ну за что же я заем у нее веку? За что я ее

утоплю за себя? Другое дело какая-нибудь там Перепечихина или Перепутилова, да коли этак поддеть можно ее душ на сотенку, ну что ж? Это не грех; а ты подумай, братец: мы с тобой друзья закадычные, да ведь и она тебе родная сестра!

— Да о чем же ты хлопочешь, Сеня? Я тебя, воля твоя, не понимаю! Ну так чем же она тебе не дружка? Ну, говори! Сам говоришь: и хороша, и мила, и достойна, и душ хоть сотня не сотня, а под семьдесят на ее долю наберется; а мне ведь все равно, не миновать же раздела; так уж лучше ж пусть тебе достается. Ведь я же говорю это, любя тебя; а ты какую-то дичь несешь. Что ж ты, боишься, что ли, ее? Ведь она агнец; а уж как бы мы зажили с тобой — ух! Только пыль столбом! Я, брат, еще не скоро женюсь, мне еще рано, я бы подле вас так пошел пробавляться, а ты, душа моя... Да ведь мне бы хотелось тебе услужить, а лучшего мужа я сестре своей не найду, хоть свет пройду, ей-богу.

— Братец ты мой, душка ты моя! Все это правда; да ведь я-то подлец... Ну, скажи, ради бога, правду, ну, ведь просто подлец? [1]

— Никогда! — возразил с жаром братец, вскочив с кровати и замахав руками.— Никогда, ни за что! Бог с тобой! Откуда ты это взял?

— Ну да как же, милый ты мой,— продолжал тот, покачав головой и опустив руки.— Ведь из трех полков меня выгнали и тут служить со мной не хотят; ну и пьяница я, и буян я,— ну, ведь буян? — и картежник я, и по роже бит, а тут вот еще связался с тобой... Ну, рассуди же сам, ну, не подлец ли я? Ну, кто же я таков?

— Премилый и разлихой малый,— возразил опять братец.— Ну, дай же себя обнять, да хорошенько, вот так... Да не отворачивай рыла-то, дай сюда его — чмок,— премилый, преблагородный, пребесподобный и редкостный малый! Душа моя, ну, зять ты мне? Зять? Говори! Сестричку мою берешь за себя? А? Породнимся, что ли?

— А что же ты думаешь, в самом деле? — сказал Шилохвостов, надумавшись и разнежась в объятиях

[1] Все это происходило, как видно из окончания повести нашей, несколько десятков лет тому назад. Замечаем это во избежание недоразумений. (*Прим. автора.*)

друга.— Может быть, я и не хуже другого: ведь мало ли подлецов на свете, да еще каких — ух!! Ведь и я тоже человек, и доброго сердца человек, женишься, переменишься; ну, исправлюсь и я...

— Исправишься, милашка мой, душечка мой; ей-богу, исправишься. А на свете, разумеется, мало ли подлецов, об этом что и говорить! Ну, по рукам же!

— По рукам! — сказал расхрабрившийся ротмистр, ударив с размаха корнета по плечу так, что тот покачнулся. Друзья обнялись и облобызались, еще раз ударили по рукам и снова принялись обниматься; шальной и полупьяный Карпуша хотел сейчас же бежать сватать сестру; ротмистр удерживал его и принужден был наконец отнять у него почти насильно сюртук, обнимая и упрашивая успокоиться до завтра. Они строили планы до бела света о том, как они будут вместе жить; Карпуша разжился на этот чрезвычайный случай еще бутылкой рома, сахаром и самоваром, а Сенюшка клялся ему с восторгом, что милее Любаши он в жизнь свою не видел девушки и что при первом взгляде на нее влюбился насмерть.

На другое утро Карпуша пошел сватать сестру свою. Правда, что, проспавшись, Шилохвостов струсил и начал было опять впадать в свое отчаянное уничижение; но вскоре собрался с духом, находя, что он действительно влюблен в несравненную Любашу, что, впрочем, вся вина должна пасть на брата ее, что теперь, когда его самого опять уже выжимали из полка, ему всего выгоднее было выйти в чистую отставку, жениться на помещице и зажить спокойно домком и двором. К этому рассуждению присоединилась и несомненная уверенность в самом себе, что он непременно исправится и сделается хоть и не самым отличным, но все-таки, в сравнении с теперешним бытом своим, очень порядочным человеком.

Любаша испугалась было сначала предложения брата своего, который вбежал к ней без толку, выплясывая мазурку и побрякивая шпорами, потом стал божиться, что ротмистр влюблен в нее насмерть, и вследствие того предлагал ей за него выйти; но положение ее казалось ей столь новым и так сильно ей льстило, что сватовство это стало ее тешить; она начала забавляться им и впала вскоре с братом в ребяческие шутки, и сама возвратилась на время к годам

своего детства в пансионе, где шпоры и эполеты раз навсегда брали верх над фраком и где гусар или улан мгновенно привлекал к окну всю белолицую и остроглазенькую толпу, тогда как платье гражданского покроя никогда не удостоивалось и взгляда. Блестки, рассыпанные по вихрю, мелькнули в глазах девушки и ослепили ее; другому чувству не было простора. Карпуша, впрочем, не выждал положительного ответа сестры, которая еще не успела опомниться, а, наговорив ей с три короба и насулив небывалого счастия, расцеловал ее и побежал к отцу. С матерью он не хотел об этом толковать из опасения, чтоб дело не затянулось.

Ивану Павловичу Карпуша также с первого раза закидал глаза неожиданным счастием, которое ожидает сестру. Он лгал и хвастал, по милой привычке своей, без всякого дурного намерения; кажется, что его при этом соблазняла более всего честь называть ротмистра зятем и что он был подкуплен снисходительностью своего эскадронного командира, с которым он был, как мы видели, на самой дружеской, братской ноге. Он уверил отца, что Шилохвостов первого дворянского рода в России; что он богат, много наживает от эскадрона и ремонта и еще более вскоре получит от дяди, который уже на ладан дышит; что эскадронный командир его самый лихой, самый добрый и благородный малый и притом лучший служака, из-за которого поссорились все полковые командиры целой дивизии. Карпуша очень хорошо знал, что у ротмистра ремонта нет, а вскоре не будет и эскадрона, что наследства он может ожидать разве только от своего денщика; но что нужды? Карпуша плел и путал все так, как ему теперь казалось выгодным, и не хотел выдать своего лихого товарища, а потому дозволил себе для друга отступить несколько от истины.

— Вот оно каково! — сказал Гонобобель, приподняв брови и заложив обе руки в карманы.— Вот оно каково! Ха-ха-ха! А я было, признаться, прочил Любашу за соседа; ха-ха-ха! Я говорю: вот оно каково!

— Как же можно, папенька! — поспешил заметить сынок.— Ведь Павлуша... ведь он, то есть, добрый человек, добряк и друг мне — да ведь он тюфяк; ну, как же его сравнить с моим ротмистром, то есть с Сеней? Ведь это, не в укор ему говоря, все равно что...—

И остановился, не зная, что дальше сказать и какое бы прибрать сравнение.

— Ну да, разумеется, ха-ха-ха! Я ведь и говорю, что в поле и жук мясо, а на безлюдье и Фома дворянин... ха-ха-ха! Карпуша, слышишь, что я говорю? а?

Анна Алексеевна, узнав наконец, в свою очередь, об этом сватовстве, покачала головой и вздохнула раздругой; она собиралась поговорить об этом толком с Иваном Павловичем, но все не могла выбрать времени. Ротмистр, конечно, льстил и ее самолюбию, но все не выходила у нее из памяти «позолота» и бутылка рома, взятая Карпушей к ночи. Павла Алексеевича ей было жаль, очень жаль; к тому же и земля его подходила вплоть к их меже, и был он человек предобрейший, и устроил все хозяйство после отца как нельзя лучше. Анна Алексеевна стала было что-то говорить сыну, но хват убежал, не дослушав ее; она встревожилась и хотела поговорить с мужем, но и тому было не до нее. «Ну, бог с ним! — подумала она.— Конечно, отец волен в дочери, и, наконец, бог весть, может быть, Павел Алексеевич и не думает сватать Любашу!» И, подумав так, она, по-видимому, успокоилась, пошла и села в свою комнатку, а между тем колени у ней дрожали бог весть от чего.

— Веди же его сюда, своего ротмистра, веди сюда с повинною! — кричал Гонобобель сыну, удерживая его сам за пуговицу, между тем как тот от нетерпения порывался скорее вон и придерживал пуговицу рукой, чтоб папенька не оторвал ее.— Веди, да пусть он нам сам порасскажет, чего ему угодно.

Ротмистр вошел скромно, с поклоном, в небольшом замешательстве; он уже не первый раз на веку своем бывал, или по-крайней мере слыл, женихом; но тут было не до штук и не до шуток: должно было представить истинного, настоящего жениха.

Гонобобель поднял с криком руки — это был особый род приветствия — и стал спрашивать со странными ужимками: «А что вам, сударь, угодно? Ха-ха-ха! А зачем вы, сударь, пожаловали? А в чем, я говорю, состоит ваше сердечное желание?» — И, не дослушав хорошо сложенной речи Шилохвостова, послал брата за сестрой, принял ее не менее странно и спрашивал настойчиво: «Хочешь ли ты за ротмистра, за улана, за ремонтера, за экскадронного командира, за молод-

ца? Хочешь ли, говори, я говорю!» И когда Любаша, истинно не зная, что и где она, прошептала в слезах: «Как вам угодно», то майор сложил руки их без дальних околичностей, приговаривая в это время вместо благословения похвалу своей послушной дочери, и, рассыпаясь в шутках, советовал жениху держать жену свою так же строго, как ее держал дома отец, чтоб она слушала его беспрекословно. Старик, к общему удивлению, сам прослезился при этом, но хохотал и болтал вздор; даже у Шилохвостова как будто глаза сделались влажны. Любаша была очень бледна, едва стояла на ногах, внезапно зарделась от неожиданного поцелуя жениха своего, опустила руки и глаза, дышала тяжело и несколько времени была неподвижна как статуя.

Когда все это было кончено, Иван Павлович вспомнил, что у него есть еще в доме жена и хозяйка, а у Любаши мать. Он почувствовал все неприличие своего поступка и побежал за Анной Алексеевной сам, привел ее и, по-видимому, старался шумом, криком и неуместным хохотом скрыть несколько свое замешательство и странность последовавшего за тем явления, в котором матери не оставалось ничего, как, собравшись с духом, благословить и обнять детей своих.

В это самое время в комнату, где все это происходило, в большую залу вошел Павел Алексеевич. Ничего не зная, он, однако ж, провел крайне беспокойную ночь, не знал, куда деваться с головой своей или сердцем, и наконец решился, не теряя времени, идти к соседу для объяснения. Обращение Любаши с ротмистром, конечно, наводило на Игривого какое-то недоумение; но, припоминая последние слова ее: «Не уезжайте», и голос, выражение, с которым она их сказала, взор ее или глаза, которыми она при этом на него взглянула, он ободрялся, чувствовал в себе некоторую самоуверенность и, во всяком случае, захотел знать, чего ему ожидать и чего бояться.

— А-а!— закричал Гонобобель встречу соседу, который остановился в каком-то недоумении почти на самом пороге, видя все семейство в сборе и притом в каком-то строгом чине непосредственно после благословения матери.— А! Вот и он, вот легок на помине! Ха-ха-ха! Слышите, что я говорю? Я говорю: вот на помине легок! С праздником, сосед; девки-то уж нет:

выдали, брат, выдали вот за проезжего молодца! Ха-ха-ха! А я было прочил ее за тебя, ей-богу, за тебя; а ты, видно, себе на уме! Ха-ха-ха! Ну, милости просим!

Окинув взором всех членов семейства, Игривый, к ужасу своему, в то же мгновение убедился, что глупая шутка Гонобобеля была, однако ж, не шуткой, а плачевной истиной. Негодование, которое им овладело, выручило его из самого тягостного положения: он очень спокойно и чинно раскланялся на все четыре стороны, поздравляя и желая много счастия, обнялся даже с отцом, женихом и с братом, поклонился Любаше и объявил в то же время, что он, с своей стороны, не зная и не подозревая этого семейного праздника, пришел только проститься, отправляясь завтра же в Москву. Извинившись поспешностью своего отъезда, он, даже не присев, раскланялся и опять уехал.

Любаша все еще стояла в том же положении, бледная, неподвижная, как неживая; но в то самое время, когда коляска Павла Алексеевича, застучав, покатила со двора, невеста пришла в себя, стала всхлипывать, и ей сделалось дурно. Мать приняла ее на руки, отец кричал: «Что с тобой? Ха-ха-ха!» Брат подал ей руку, а жених стоял поодаль в каком-то замешательстве.

Полтора года спустя после этого происшествия Игривый опять подъезжал к своей Алексеевке, и на этот раз, несмотря на то, что сердце и думка его, без всякого сомнения, были полны мыслей и чувств о жителях Подстойного, он, однако ж, был очень доволен, что путь из Москвы шел не на Кострому и не пролегал мимо усадьбы майора Гонобобеля. Старика Ивана Павловича, впрочем, в это время уже не было на свете: он скончался довольно скоропостижно вскоре по отъезде Игривого, отпраздновав благополучно свадьбу дочери.

Странная смесь воспоминаний, чувств и мыслей волновала и в то же время успокаивала Игривого, то тешила его, то досаждала ему. Со дня отъезда из Алексеевки он получал известия с родины только через своего старосту, который уведомил его о свадьбе в Подстойном, а также о смерти майора и других происшествиях, но, впрочем, не пускался ни в какие подробности, устраняемые вообще обычным складом и слогом этого рода писем. Игривому все казалось, буд-

то судьба его еще не решена, будто ему предстоит еще что-то впереди; а между тем, когда он, опомнившись, соображал спокойно все случившееся, то ясно видел и понимал, что ему-то, собственно, ожидать здесь более нечего и что он, как ребенок, играл какими-то темными, несбыточными грезами.

На другой день по приезде, осмотрев хозяйство и натолковавшись об нем досыта, Игривый стал расспрашивать своего старосту о том, что делается в Подстойном.

— Да что, сударь, плохо там! Молодой барин приехал, стал делиться с сестрой да выделять мать, и перессорились все; там Семен Тереньтьевич взяли с хозяйки своей доверенность, чтоб Любови Ивановне не знать ничего, не вступаться ни во что; а старую барыню уговорили отступиться от своей доли да жить на хлебах у сына да у зятя,— ну, и поделились. Тут, видно, Семен Терентьич себя не обидели; Карп Иванович по молодости верили им во всем, так они и отвели себе, то есть на свою долю, почитай все луга по Муховке. Так и Карп Иванович сам остался без сена, да и мужики его без лугов. Вот как спохватились да думали было как-нибудь поправить дело, ан Семен Терентьич луга те уже все отрезал по самую околицу да продал соседу, Ивану Онуфриевичу. Ну, как продал да деньги взял, так уж ему и не живется дома: сел да поехал. Пропадал он бог весть где месяца три, что молодая хозяюшка, сказывают, глаза по нем выплакала, и воротился такой, что не на что глядеть. Поехал в коляске, с деньгами, а воротился оборванный, чуть не в одноколке — в какой-то жидовской бричонке. Тут они с Карпом Ивановичем загуляли: что божий день, то у них во дворе хороводы, да песни, да пляски,— одни мужики да старухи только и ходят на работу; ну, а баба либо девка — известное дело, волос долог да ум короток — этому делу и рада. Такие же, как их милость, съезжаются к ним со всех сторон и бог весть откуда берутся: прежде что-то таких, благодаря богу, здесь и не слыхать было; а в городе, сказывают, в гостинице прибили за своей подписью объявление, что-де такой-то Семен Терентьевич да Карп Иванович всех проезжающих созывают к себе на усадьбу в гости попить да погулять. Так вот и живут себе беспросыпно, не памятуючи ни себя, ни других.

— А молодая барыня что ж? — спросил Игривый.

— Да что ж, сударь! Известно, женское дело — капля камень долбит, а чужая слеза, что с гуся вода. Родила с месяц тому сыночка, окрестили по дедушке Иваном.

Подумав немного, Игривый в тот же вечер отправился в Подстойное. Он нашел все точно в том виде, как староста описал. Крик и шум слышались издалека, попойка шла горой. Несмотря на крайнее негодование свое, Игривый вошел прямо в это буйное сборище: человека четыре сидели за столом, уставленным бутылками и стаканами; Карпуша, полураздетый, стоял и кричал, будто на собаку: «Тибо! Аванс! Пиль!» — а какой-то оборванец, исправлявший должность дурака, полз через всю комнату на карачках к рюмке вина, накрытой ломтиком хлеба с сыром, и по слову: «Пиль» — выпил ее залпом и закусил. Карпуша как был, так и остался — все тот же отъявленный сорванец: он с бесстыдством врал и без зазрения совести говорил в похвальбу себе правду, не подозревая даже по глупости своей, что он сам себя выставляет мерзавцем. Казалось, впрочем, будто все в Подстойном обрадовались Павлу Алексеевичу, кто больше, кто меньше, каждый по-своему. Шилохвостов обнял его в восторге, как старого товарища, но немножко совестился его и будто первое время был в недоумении, какой тон на этот раз принять; вскоре он расходился, однако ж, и начал было покрикивать: «Шампанского!» Игривый остановил его очень спокойно, сказав: «Оставь, это некстати»,— и ротмистр не смел противоречить. Несмотря на хмель, Шилохвостову было как-то неловко; он нашелся, предложив Игривому отвести его к своей жене. Тут Семен Терентьевич снова оправился, повеселел, и когда Любаша вскрикнула от радости и изумления, то он закричал: «Да ну же, обнимитесь да поцелуйтесь»,— и толкнул Игривого прямо на Любашу. В первый и почти последний раз Павел Алексеевич обнял и поцеловал бывшую свою подругу — и сам не мог после отдать себе отчета, как это случилось и кто из них первый подал к тому повод. Шилохвостов убедительно просил соседа остаться и занять Любашу, а сам, по какому-то чувству сострадания или, может быть, чтоб обеспечить себе более свободы на будущее время, оставил их одних. «Сделай

милость, братец, докажи дружбу свою, навещай нас почаще: я то и дело отлучаюсь по хозяйству и по другим делам, и бедная жена скучает — так развесели хоть ты ее немного».

Любаша в эти полтора или два года возмужала. Теперь можно было сказать об ней, что она совсем сложилась, и телом и духом. Она села против друга своего, смотрела на него непросыхающими голубыми глазами, жадно слушала его, расспрашивала и не утомилась бы этой беседой, если б она продлилась сутки сряду. О себе она молчала или говорила в общих словах; ни одним словом не обвиняла она мужа, легко и с редким природным чувством скользила по тем щекотливым предметам, которых беспрерывно и невольно надобно было касаться, беседуя о своем положении и домашнем быте. Наконец она показала Игривому своего младенца и повела к старушке Анне Алексеевне, которая жила где-то в глухой каморке. Старушка расплылась в слезах, увидев Игривого, обнимала и целовала его беспрерывно, не переставая говорить о том, что вот кто был бы сыном ее, вот кому прочила она любезную дочь свою, вот с кем она была бы счастлива и вот кто бы призрел ее самое под старость. На прощанье она просила Павла Алексеевича со слезами не забывать их; Любаша взяла руку его в обе руки свои и просила о том же; Игривый поцеловал у нее руку и скорыми шагами удалился. Он уже не был в состоянии более переносить все то, что перед собою видел и вокруг себя слышал. Только вышед несколько на простор, он мог вздохнуть свободно.

Оправившись немного, он хотел прямо ехать домой и потому вышел в сени, оставив пирующих в стороне, и велел человеку подать коляску. «Да никак, сударь, кучер ваш нездоров»,— отвечал человек, переминаясь. Игривый понял ответ и вышел сам на двор — но не мог отыскать ни кучера своего, ни коляски. Уже давно смеркалось и было темно; он решился, однако ж, отправиться домой пешком. «Кто идет?» — раздалось в воротах: тут поставлен был караул и ни под каким предлогом не пропускал гостя. Игривый не хотел употребить силу, но истощив все просьбы и угрозы, воротился и вошел в комнату, где шла попойка. Радостный крик приветствия встретил его; но Карпуша, отчаянный буян, когда бывал пьян, нарезался между

тем окончательно и объявил ему наотрез, что до рассвета нет выхода отсюда и что он, Карп Иванович, будет стрелять по всякому, кто бы захотел прорваться силою, как по военному дезертиру. Вместо ответа Игривый повернулся и вышел опять на двор; но едва сделал он несколько шагов, как выстрел раздался из окна и вслед за тем страшный крик и вопль. Бегом бросился Игривый назад и встретил все пропойное общество в испуге и заботах около Карпуши, который был весь в крови.

Карп Иванович вследствие угрозы своей действительно схватил заряженный пистолет и выстрелил, как полагал, по упрямому гостю,— но в то же время, в рассеянности, он заткнул дуло пистолета пальцем собственной своей левой руки, которого теперь и не досчитывался.

Семен Терентьевич ревел и рыкал, метался как безумный и кричал в один дух сто раз, что Карпуша застрелился. Когда же дело наконец объяснилось, хотя стоило и немалого труда вразумить пьяного и заставить его молчать, то он расплылся в стенаниях, слезах и вздохах.

Семен Терентьевич в подобных случаях всегда приходил в себя, каялся и давал преполезные, хотя и запоздалые наставления. «Ах, боже мой,— говорил он, всплескивая руками. — Вот тебе и на, вот тебе и догулялись! Ну, скажи, ради бога, Карпуша, что мы с тобой наделали? Ну, скажи на милость, не подлецы ли мы? Ну, помилуй, не мерзавцы ли мы, опомнись, что мы это делаем! Видишь ли: вот оно что из этого выходит; пьем без просыпу, таскаемся, не помним ни бога, ни себя, спились с кругу, выбились из ума — ну, просто скоты мы, воля твоя, Карпуша, скоты!»

Тревога по целому дому пошла страшная, слух разнесся, что Карп Иванович застрелился. Игривый обмыл и перевязал его, выслал собутыльников его и велел их также уложить, потом успокоил испугавшуюся насмерть Любашу и насилу выбрался к полуночи домой, не могши отвязаться от изъявления признательности и раскаяния Шилохвостова, который поносил сам себя тем выразительнее, чем позже становилось и чем более сон и хмель одолевали его.

Было о чем призадуматься Игривому, когда он дома на покое припоминал все, что видел и слышал

в Подстойном. Сердце у него надрывалось, когда он обдумывал неразлучную с этим на всю жизнь судьбу Любаши, а помощи не мог он придумать никакой. «О, если б только бог надоумил меня и вразумил, как облегчить крест этой страдалицы,— подумал он,— клянусь не щадить ни имущества, ни самой жизни своей и сделать все, на что у меня станет средств и сил...»

Между тем мужики пришли всем миром к господам Подстойного с жалобой, что их побили на лугах, проданных Ивану Онуфриевичу, и не дают косить, и спрашивали, что же им делать теперь, куда девать скотинку и чем ее кормить — сена-де нет ни клочка. Мужики ходили часа два по двору, то к старой барыне, то к молодой, то добивались Карпуши, то Семена Терентьевича, не зная, к кому обратиться, и не находя нигде ни ответа, ни привета. Наконец Шилохвостову надо было выйти и потолковать с ними; он стоял перед ними таким дураком, что ему самому стало совестно. Он стал предлагать крестьянам кормить скот сечкой, древесными листьями, уверяя, что это даже почти лучше сена, и, заняв их несколько хозяйственными разговорами и благоразумными советами в этом же роде, распустил по домам.

Мало-помалу для Игривого вошло в привычку и обратилось в потребность заканчивать день свой в Подстойном. Там сидел он с Любашей или прогуливался с нею по саду, почти никогда не спрашивая, дома ли муж или брат ее,— который впрочем, жил подле, но в особом доме,— и, таким образом, многолетняя страсть эта разгоралась обоюдно без всякой помехи, но и без всякой надежды. Любаша была каждый день до того утешена урочным появлением Игривого, что забывала в это время все свои бедствия и снова оживала; но, конечно, можно было предвидеть, что такое мнимое спокойствие, как неестественное, не могло быть и прочно: совершенно расстроенное состояние и хозяйство, несчастие быть связанною навсегда с таким мужем, нестерпимые огорчения и оскорбления, которые она от него должна была переносить, безнадежность глубоко вкоренившейся любви — все это неминуемо должно было постепенно изнурять жизненные силы несчастной женщины.

Анна Алексеевна не могла даже и временно успокоиться и утешиться: до того житье ее было горько. Забытая, заброшенная, она должна была сносить высшую степень небрежения от зятя и родного сына, между тем как дочь могла только тайком с нею плакать, но не могла доставить ей даже самого необходимого для жизни, потому что сама во всем нуждалась. Анна Алексеевна дошла до того, что обносилась кругом и не могла допроситься ни у сына, ни у зятя десяти рублей на буднишнее и самое необходимое платье; Анна Алексеевна на старости лет должна была не только отказывать себе в чашке чая, но иногда и даже в другом блюде, сверх людских щей или каши. Вот запоздалая, хотя, может быть, и заслуженная кара за гибельное воспитание сына — кара ужасная, хотя поздняя и бесполезная, потому что она у нас часто даже не служит примером для других, а почитается просто случайным несчастием...

Наглядевшись и наслушавшись всего этого вволю, Павел Алексеевич, подумав и переговорив с Любашей, приехал однажды в карете, посадил туда старушку мать ее со всеми пожитками и увез к себе. Он сделал это без всяких предварительных объяснений с сыном или зятем, которые, впрочем, и не заботились об этом происшествии, как о деле, до них не касающемся.

Однажды Игривый вошел по обычаю своему в гостиную Любаши и при первом взгляде заметил, что фортепьяна ее не были на том месте, где они столько лет стояли и где он столько раз сиживал подле нее, разбирая понемногу с нею вместе какой-нибудь романс или подбирая аккорды к знакомому голосу. Большого уменья или дарования к музыке не было ни в ком из них, но за фортепьянами и за песенкой им всегда легко было размыкать горе и забыться на полчаса среди горькой действительности, от которой некуда было уйти. Я думаю вообще, что музыка, доведенная до высшей степени совершенства, не составляет для нас такой потребности и даже редко бывает так благотворна, как музыка домашнего обихода. Утомительные обстоятельства, при которых мы слушаем публично виртуозов, бывают для семейных домоседов большою помехой, и подручные фортепьяна да

приятный голосок иногда с избытком вознаграждают отсутствие Листа и Виардо. Игривый спросил Любашу, куда девались фортепьяна ее; она покраснела, взглянула на него, и лицо ее выражало просьбу — не спрашивать об этом. Он стал, однако ж, настаивать, вероятно догадываясь, в чем дело, и услышал, что Семен Терентьевич, собираясь опять куда-то по ярмаркам и не могши нигде добыть на это денег, продал или заложил фортепьяна жены все тому же сострадательному соседу, Ивану Онуфриевичу.

Игривый зашел вечером к хозяину дома, поздоровался с ним, спросил, куда бог опять несет, и сказал очень спокойно:

— На что ты продал вещь, которая жене твоей доставляла столько удовольствия, и еще продал за бесценок, как я слышу? Уж лучше бы ты у меня выпросил взаймы эти сто рублей, коли они тебе необходимы. Нельзя ли выкупить фортепьяна?

Шилохвостов чрезвычайно обрадовался — во-первых, тому, что отделался так дешево и не был вынужден выслушать при этом случае целого ряда скучных упреков, а во-вторых, тому, что открыл новый и неожиданный источник для небольших займов, тогда как ему давно уже никто решительно не верил на два гроша. Он расчувствовался от признательности, побранил самого себя, повинился, а потом сказал:

— Послушай, братец, я признаться, давно уже гляжу на вас, не надивуюсь. У меня сердце болит, меня жалость берет — а ведь томите и мучите вы сами себя ни за что ни про что. А? Что же ты молчишь? Поговорим хоть раз откровенно, грудь нараспашку. Я вижу и знаю все, что делается, даром что пьян бываю,— все знаю. Ведь вы друг по друге сохнете; вы любили друг друга прежде; любитесь же с богом и теперь — кто вам мешает?

Игривый молчал, а Шилохвостов очень спокойно продолжал:

— Видишь, брат Павел, ведь я обижать обижаю Любашу и горькую чашу она от меня пьет — ну что же делать? Видно, такова судьба ее, власть господня; а ведь я ее люблю, ей-богу, уважаю и желал бы ей лучшей участи. Ты же мне друг — и за тебя я рад в огонь, ей-ей рад. Из-за чего же вы сами себя казните? Ведь я негодяй, я не стою и мизинца ее! Что же ты

молчишь, Павел, и глядишь на меня так? Ты думаешь, я тебя обманываю? Ей-ей нет; вот как перед богом; я ведь вижу и знаю все. Сами вы себя казните ни за что ни про что.

На речь эту Игривый, помолчав, отвечал:

— Я очень рад, любезный, что тебе все известно; ты поступаешь справедливо, что не ревнуешь жены своей: она перед тобой не виновата ни в чем.

— И это глупо.

— У всякого об этом свои понятия.

— Что же ты мне этим глаза колешь? Я сам лучше всякого знаю, что я подлец; что же мне делать?

— Ну, уж с совестью своею мирись как знаешь; в этом я тебе не указчик. Я тебя, впрочем, никогда и ничем не попрекал и теперь не упрекаю.

— Ну, а больше что?

— Ничего.

— Глупо это, братец, ей-богу глупо! Вот видишь: я последний, пропащий человек, вот этого не стою,— и сам щелкнул,— а я такому человеку, как ты, говорю в глаза, что это глупо. К чему такое фанфаронство? Кто тебе за него спасибо скажет?

— Тот,— отвечал Игривый, понизив голос,— кто тебе велит честить самого себя негодяем. Я щажу тебя, Семен Терентьевич, ради жены твоей; иначе я бы сказал тебе больше. Впрочем, не забудь, пожалуйста, что ты говоришь теперь об ней, о своей жене, и что уверял меня сейчас же в уважении к ней.

— Ну так что же ей в нем, в этом уважении?

— Оно дорого даже и от такого человека, каков ты.

— Чудаки вы, да и полно! — сказал Шилохвостов, пожав плечами.— Модники! — А сам встал и начал расхаживать по комнате.— Ну, делайте что хотите, вас не разберешь. Не покидай, однако, Любаши. Я еду, братец, завтра; мне нужно, есть делишки, а тебе грешно будет — ты ее не забывай.

— Прощай, мой друг,— сказал он вечером жене,— я еду с Карпушей. Послушай, будь поласковее к Павлу Алексеевичу; видишь ли, он старушку мать твою взял к себе и призрел — за что? Ведь он нам чужой и только что добрый человек; он вот и фортепьяна твои хочет выкупить, а я и муж твой, да скотина, не стою волоса его и не стою тебя. Мне жаль вас обоих, так бог с вами — я вам не помеха...

Любаша побагровела до самых ушей и молча смотрела вслед мужу большими лучистыми глазами. Он обернулся в это время, остановился и спросил кротко:

— Что ты так дико на меня смотришь?

— Уйди, ради бога уйди,— проговорила она с трудом, отворотившись и закрыв лицо руками.

Шилохвостов посмотрел на нее призадумавшись, вышел молча и ворчал про себя: «И здесь нет приступа — вот не знала баба горя, купила баба поросят!.. Того и гляди какой-нибудь несчастный роман разыграют — и все на нашу шею, на мою то есть с Карпушей; мы и отдувайся после».

Игривый по-прежнему навещал почти ежедневно Любашу, а иногда и Любаша приезжала на часок к своей матери в Алексеевку, а по воскресным дням к обедне. Любаше как-то совестно было взглянуть первое время на Павла Алексеевича она все припоминала слова своего мужа; но Игривый непринужденным, искренним обращением своим скоро заставил ее забыть это; она уверилась, что муж ее не проговорился Игривому, и успокоилась. После отъезда Карпуши и Шилохвостова дорога вслед за ними заглохла, и слуха об них не было никакого. Между тем Анна Алексеевна захворала; с неделю уже ездил к ней уездный лекарь и утешал ее подробностями о найденных в уезде и подкинутых трупах, о том, что оказалось при вскрытии, и о предстоявших ему еще в этом роде подвигах. За микстурами беспрестанно посылали верхового в город; дочь и сам Павел Алексеевич не отходили от больной и через несколько дней закрыли ей глаза. Лекарь, приехав на другой день, рассказал по этому случаю несколько очень забавных анекдотов, заключил кратким изложением статистики скоропостижной смертности в уезде и уехал.

Тихо и чинно похоронили старушку в семейном склепе Подстойного, отпев ее в Алексеевке. Любаша с Павлом Алексеевичем шли вдвоем за гробом, который все крестьяне и крестьянки Подстойного проводили от самой церкви в Алексеевке до семейного кладбища своих господ.

Возвратившись с прогулки, сын и зять с горя решились продать часть своего имения; а как она прилегала к полям Алексеевки, то Игривый сошелся с ними и купил ее. Прочие крестьяне Подстойного пришли по это-

му случаю всем миром к Павлу Алексеевичу и, кланяясь ему в ноги, просили, как они выражались, «отобрать» их всех от Гонобобеля и Шилохвостова и «взять за себя». Они привыкли видеть в соседе своем какого-то опекуна и защитника и человека с некоторым влиянием даже и на своих беспутных господ. Они в таких резких и выразительных чертах представили бедствие свое, крайность своего нищенского положения, что трудно было им возражать. Игривый успел, однако ж, успокоить их несколько, обещав пособить им при посеве и растолковав, что продажа зависит от их господ, а на покупку нужны, кроме доброй воли, еще и деньги.

По случаю этой сделки, в которой Шилохвостов действовал также уполномоченным за Карпушу, он ухаживал день-другой около соседа, как будто у него было что-то на душе, и наконец, сидя у него после расчета с трубкою за стаканчиком чая с позолотой, повесил нос в стакан, стал помешивать чай свой в раздумье ложечкой и сказал:

— Подстойное наше, чай, все не минует твоих рук, Павлуша; да и с богом. Право, я тебе этого желаю. Беспутному сыну богатство не впрок. А кормить станешь нас, бобылей, меня то есть с Карпушей, под старость нашу, а?

— Накормил бы я вас лучше смолоду,— отвечал Игривый,— да так, чтоб вы не только до новых веников помнили, а не забывали и под старость.

Шилохвостов весело захохотал: этот лад речи был ему по вкусу. Он затянулся трубкой, прихлебнул чаю, перекинулся назад в кресла и, устремя с улыбкой глаза на Павлушу, сказал:

— Что правда, то правда; да уж и вы мне хороши; я, брат, себя не жалею, и сам браню себя, и другим не заказываю; да уж зато позволь попенять путем и тебе: я таких чудаков, признаться, не видал и во сне.

— Ну что же? — отвечал Игривый.— Будем удивляться друг другу — больше нечего делать.

— Послушай, модник,— продолжал тот,— я тебе не шутя сделаю еще одно предложение. Чтоб совесть тебя не мучила, коли ты больно совестлив, так дело можно бы обделать хорошо так, что были бы и волки сыты и овцы целы...

— Я покуда еще тебя не понимаю,— сказал Игривый равнодушно,— но, признаться, добра не чаю от

кудреватой речи твоей; не лучше ли тебе на всякий случай наперед обдумать то, о чем хочешь говорить, или уж просто промолчать?

— Да нужно, братец, сделай милость, полно дурачиться; выслушай меня спокойно да подумай после сам. Вот что,— продолжал он с небольшим, скрытным смущением, наклонившись вперед к собеседнику и положив оба локтя на стол,— я, братец, ей-богу, влюблен в Ивана Онуфриевича...

— Влюблен в Ивана Онуфриевича! — перебил Игривый и захохотал от души.— Ну что же? Мне сватать его за тебя, что ли?

— Э, братец! Да хоть не перебивай, дай договорить: я не шучу, ей-ей. Я говорю, что я влюбился в Ивана Онуфриевича Машу... Что бы тебе посвататься? Ведь за тебя отдадут ее обеими руками...

— А за тебя разве не отдадут?

— Да полно же, сделай милость; ведь я говорю дело: женись, а там разменяемся; вот и квиты!

— Ах ты голова-головушка моя! — сказал Игривый, покачав сам головою.— Нет, брат, я вижу, что ты все еще льстишь себе, когда честишь самого себя и так и этак...

— А что?

— Да так, больше ничего...

— Ну, Павлуша, послушай же, не дурачься... Ну, сделай милость, не дурачься! Ну, ругай меня! Что ж? Я сам все это знаю: ну, пьяница; ну, буян; ну, картежник, мот, негодяй; ну, подлец, одним словом... Женись, Павлуша, послушайся хоть раз в жизни моего братского совета! Ну что же ты так глаза на меня уставил? Я этого не люблю. Что ты смотришь так, о чем думаешь, скажи!

— Да я думаю, что бы такое придумать, какого рода мерзость, перед которою бы ты запнулся?

— Правда, братец, ей-богу правда; только не вор я, вот что!.. Нет, вор, ей-ей вор! Таки просто украл раз у пьяного сто рублей — каюсь тебе, как на духу, а правда. Но уж зато душегубства нет на моей совести, видит бог, нет.

— Но есть надежда и на это,— продолжал Игривый.— Жену свою ты уморишь, этого не миновать.

Шилохвостов призадумался было, а потом спросил:

— А ты спасти ее не хочешь?

— Пулю б тебе в лоб,— сказал сурово Игривый, привстав со стула и понизив голос.— Но нет, и это ее не спасет. Ты заел всю жизнь ее, и один только милосердный бог спасет ее там.

Он оставил гостя и вышел один в поле. Шилохвостов никогда не видал его в этом духе; Семен Терентьевич долго глядел за ним вслед, потом посвистал, кивнув головой, и сказал: «Так вот оно куда пошло, ага!» — и уехал домой.

Бедный Игривый мог только смутно размышлять о тяжелом своем положении. Ему казалось, что у него уже недоставало более сил переносить все это; ему опять и нынче, как уже сто раз прежде, приходило в голову бросить все и уехать куда-нибудь подальше, надолго или даже навсегда. Ему казалось, что он здесь сойдет с ума. «Что меня держит? — думал он.— Для чего я здесь сижу и изнываю, как истинный, не баснословный Тантал?»

«А там опять,— думал он,— на кого же я ее покину? Если б она была одна-одинехонька — другое дело: тогда бы она здесь, среди своих крестьян и соседей, могла жить спокойно и беззаботно; но при таких защитниках и покровителях, как муж и брат ее,— нет, при них я отлучиться не могу. Бог укрепит меня; останусь здесь и буду пить горькую чашу эту, капля по капле, до дна. Что мне теперь до себя? Думать и заботиться о себе — мне было бы стыдно: я должен видеть одну только страдалицу свою и жить для нее. Малодушно было бы изменить теперь и себе и ей и покинуть ее преждевременно на жертву этим негодяям».

При таких размышлениях Игривый не успел подумать о том, куда он направил путь свой, как он вступил в небольшую кленовую просадь, которая вела к усадьбе в Подстойном. Он сам улыбнулся этой странности, этой случайности и продолжал медленными шагами путь; приветливо кивала ему из окна русая головка, к которой прижималось белое личико младенца; вежливо и доброхотно встретила его прислуга, суетившаяся на крыльце и в комнатах по поводу укладки чемоданов и снаряжения обоих в дорогу. Игривый прошел прямо к хозяйке дома — по имени, хотя она на деле и была в доме, можно сказать, чужая.

— Добрый вечер, Любовь Ивановна!

— Здравствуйте, мой добрый Павел Алексеевич! Посмотрите-ка на моего Ваню: он первый вас увидел и полез было прямо из окна к дяде Пау.

— А поди-ка сюда, маленький разбойник, поди к дяде Пау! Ну что твои рыбки делают? А посмотри, какого я тебе сейчас жука поймал — вишь какой, с корову, и рог на затылке! Давай-ка, где твоя маленькая тележка, запряжем его!

— Я должна воспользоваться сумерками,— сказала вполголоса Любаша,— чтоб вы не видели, как я краснею, и поблагодарить вас за фортепьяна... Их привезли сегодня — я так была этим обрадована...

— Вот так, в оглобли его,— продолжал Игривый громко, закладывая своего жука и не обращая никакого внимания на слова Любаши.— Постой, постой; мы и дугу поставим и супонь подтянем...

— Я даже и за это вам благодарна,— продолжала она,— что вы теперь не слышите, о чем я говорю. Мне от этого как-то легче на сердце.

— А здоровье ваше каково сегодня? Что голова и грудь?

— Слава богу, хорошо; сегодня легкий день, и мне в самом деле лучше.— Сказав это, она как бы невольно взглянула в окно на приготовления к отъезду мужа и брата.

— Ба! Да вот он, наш любезный друг и сосед! — сказал, вошедши в комнату, Семен Терентьевич.— Вот спасибо, так спасибо, друг! А мы совсем. Прощай, Любаша... Видишь ли, каков он человек,— продолжал Шилохвостов, указывая на фортепьяна,— а? Не чета тому скоту, который заложил было их Ивану Онуфриевичу и, разумеется, никогда бы не выкупил. Прощайте ж, друзья мои,— и обнял их обоих,— не поминайте лихом. Прощай, мальчишка, господь с тобой,— и вышел.

Игривый с Любашей проводили его до крыльца; Карпуша сидел уже в коляске и бросил оттуда рукой поцелуй сестре и гостю. Коляска покатила. С час времени Павел Алексеевич побыл еще в Подстойном, а там, отложив и выпустив на волю Ваниного жука, побрел тихим шагом домой. И в этот раз опять было молодая кровь в нем взыграла, возволнованные чувства породили бурные, черные мысли, доводившие его до отчаяния; но спокойная совесть вскоре одолела эту

душевную тревогу, малодушие было побеждено, и доблестное мужество одержало верх. Игривый вступил под кров свой с спокойным духом.

Несмотря, однако ж, на уверение Любаши, что ей теперь гораздо лучше, здоровье ее, видимо, расстраивалось. И в самом деле, какое сложение могло бы устоять против этих жестоких и беспрерывных ударов судьбы, которые выпали на ее долю? Какое женское сердце в состоянии перенести это двойственное томление — быть женою Шилохвостова, а между тем видеть ежедневно Игривого — и это вечное раскаяние с упреками совести за легкомысленный поступок во время первой, неопытной молодости своей, когда и сама еще не понимала, что делала, когда молча согласилась отдать руку человеку, как отдают ее на четверть часа для мазурки или кадрили... Какой конец этому будет? Где тут отрада? Где самая надежда?

Игривому уже часто казалось, что Любаша постепенно худеет и что здоровье ее мало-помалу расстраивается; но видя ее почти ежедневно, он не мог заметить никакой внезапной перемены; она все еще была в глазах его тою же миловидной Любашей, как прежде; а когда он заботливо спрашивал о ее здоровье, то принужден был довольствоваться общими ответами ее, которые ничего положительного не объясняли. Однажды он, посидев у ней по обычаю своему часок, простился с нею и отправился было домой, как при входе в кленовую просаду, ведущую от барской усадьбы на большую дорогу, был остановлен мамушкой Любаши.

— Не прогневайся, батюшка, кормилец наш,— говорила старуха,— я к тебе, все к тебе да к богу, больше не к кому, сам знаешь; ну что же я стану делать с барышней своей (она Любашу все еще звала барышней и никак не хотела отстать от этой долголетней привычки)? Ну ведь сохнет, моя голубушка, как вот цвет на стебле...

— Говори, говори, Тимофеевна, что такое?

— Ох, уж не знаю что и говорить... Разговоры наши все тебе ведомы давно, и знаешь ты все, знаешь, кто раскинул нам печаль по плечам, кто пустил сухоту по животу... Изойдет она горем: не ест, не спит, все так сидит либо плачет; в рот не берет ни росинки; все подпершись локотком сидит, ночи напролет, по белой груди рукой поводит — там, знать, сердце болит,

ноет. Ох, уже изведет он мою барышню госпоженку... Тогда-то мы что с тобой делать станем, ась?

Расспросив еще несколько старушку и успокоив ее, сколько умел, Игривый, конечно, не мог добиться от нее большего толка; но материнские опасения ее напугали его, заставили обратить более внимания на положение Любаши, и он также стал за нее опасаться. «Надобно вовремя что-нибудь сделать,— подумал он,— шутить этим нечего; может быть, есть еще противоядие этой медленной отраве...» Он раздумывал, что ему делать; тут нужен был совет умного и опытного врача; уездному лекарю, который так хорошо рассказывал присказки о подкинутых мертвых телах, Игривый ввериться не хотел; он отправил чем свет коляску в другой, соседний город за врачом, к которому у него было более доверия.

Врач приехал, выслушал наперед Игривого, который рассказал ему все, что знал о состоянии здоровья Любаши; потом они вместе отправились к ней. Она несколько изумилась, увидев вместе с Игривым незнакомого ей пожилого человека; но когда дело объяснилось, то она была так тронута этим новым и вовсе неожиданным доказательством его любви и заботы об ней, что с трудом удерживалась от слез.

— Ну что же я вам скажу о нашей милой больной? — начал доктор, когда он остался наедине с Игривым.— Что мне сказать вам? Вы, я думаю, видите, слышите, чувствуете, понимаете и соображаете в этом случае нисколько не хуже меня. Я думаю, если несчастное положение этой женщины не изменится, то она, несмотря на то, что, по-видимому, владеет собою, при глубокой чувствительности своей, однако ж, легко может сделаться жертвою этих несчастных обстоятельств.

— Она и теперь давно уже жертва этих обстоятельств,— сказал Игривый, опустив мутные глаза на землю.

— Да; но я понимаю слово это иначе; я хочу сказать, что сожительство с мужем ненавистным и беспрерывные, тяжкие оскорбления от него, а с другой стороны, многолетняя и безнадежная склонность, а может быть, и страсть, которая, по обстоятельствам, еще беспрерывно разжигается, притом и материнские заботы о будущей судьбе детей своих,— я говорю, что все это

составляет психическую причину болезни ее, этой грудной боли, биения сердца, почти беспрерывной маленькой лихорадочки, истощения, бессонницы, недостатка позыва на еду, и что все это может кончиться изнурительною лихорадкой; тогда поздно будет думать о помощи. При болезни тела страдает и душа; при боли души изнемогает тело. Это круговая порука. Между тем первое условие для выздоровления — вынуть занозу, устранить самую причину болезни: без этого нет пользы ни от пластыря, ни от микстуры, ни от пилюль.

— Посоветуйте, доктор, что же тут сделать?

— Ей надобно удалиться отсюда на несколько времени, окружить себя новыми предметами. Может быть, до того времени тут что-нибудь изменится. Пошлите ее за границу.

— За границу?

— Да, на воды куда-нибудь, не для вод, а для прогулки. Пожалуй, хоть в Мариенбад или в Теплиц. Ушлите ее на год: можете быть уверены, что здоровье ее от этого выиграет. Это польза прямая,— а косвенная, что мы выиграем время, и вы подумаете, что делать дальше. Вот мой совет.

— Но как это уладить, я не знаю; мысль эта для меня так нова, что я не умею взяться за исполнение...

— Признайтесь мне откровенно, вы не хотите расстаться с нею?

— Избави бог, любезный доктор, что вы это говорите! Я... я не знаю, как вам обяснить это, но сам был бы готов бежать отсюда бог весть куда, и я чувствую глубоко, что был бы сам спокойнее, если б ее здесь не было. Что же касается до нее, то, конечно, нет жертвы, которой бы я не принес ей на пользу.

— Ну так что же? Подумайте. Вероятно, как-нибудь устроите. Если помощь моя при этом нужна — я к вашим услугам. Расходы будут не так велики; из нашего уезда собираются в Теплиц Маслаковы, которые даже были в родстве с покойным Гонобобелем и, как я полагаю, не откажутся принять вашу недужную под свое покровительство; а Маслаков человек надежный.

Игривый поблагодарил доктора за этот умный совет, просил его поговорить с Маслаковым, сам убедил Любашу дать на то согласие и взялся кончить дело с Шилохвостовым. Предложение это, конечно, сначала

крайне озадачило ее, но, будучи передано убедительными устами Павла Алексеевича, не могло встретить большого противоречия. Бедная Любаша и сама поняла, что ей необходимо вздохнуть на свободе или задохнуться в этом чаду.

Протаскавшись недели три бог весть где, Семен Терентьевич наконец благополучно возвратился, разумеется, в том жалком виде, как обыкновенно возвращался с этих отчаянных прогулок. Игривый, не теряя времени, воспользовался первым удобным случаем, первым порывом уничижения Шилохвостова, чтоб склонить его к согласию на отпуск Любаши.

— Послушай, Семен Терентьевич,— сказал Игривый,— я когда-то пророчил тебе, что ты жену свою уморишь. Образ жизни своей, права своего ты не изменишь, и потому я пришел к тебе не для упреков и не для поучений, но спрашиваю тебя торжественно, хочешь ли ты дать этой страдалице еще небольшую отсрочку, хочешь ли подарить ей несколько спокойных дней, если это будет тебе стоить одного только твоего слова?

— Охота тебе, братец, как говаривал наш полковой писарь, вдаваться в такое отчаянное сложение без реванша — то есть стращать меня такими мудреными загадками!.. Что ж мне тебе на это говорить? Ведь уж про самого себя мне тебе нечего рассказывать, уж ты меня знаешь, и знаешь, что я принимаю с признательностью всякую брань, всякое поношение, но уж наставлений не терплю; виноват, не варит желудок! Говори нараспашку.

— Кажется, Семен Терентьич, я тебе никогда не надоедал наставлениями и теперь об этом не думал. Но дело вот в чем: жена твоя хворает; я привозил сюда Межевского, он находит положение ее опасным и настоятельно советует ей ехать за границу, именно в Теплиц, в Богемию.

— В Богемию! Эк вас куда нелегкая несет!

— Нет, не нас, а одну только бедную и больную жену твою; может быть, с Маслаковыми.

— Да ведь там, слышно, шулера где-то на водах тех собираются,— так туда, что ли?

— Может быть, и собираются — об этом я не разузнавал; знаю только, что другие люди, кроме шулеров, ездят туда лечиться, и за этим-то надо бы ехать и Любови Ивановне.

— Что ж я стану делать тут? Я бы рад, хоть бы уж там каков бы я ни был, да с чем же я ее отпущу? Я ведь понимаю, чем это пахнет, а у меня, кроме должишек, нет ровно ничего; разве вот что: купишь ты у нас с Карпушей еще клок землицы? Пожалуй, по самую усадьбу отрежем, нечего делать,— а? Ладно, что ли? Ну, по рукам да давай деньги!

— Это особь статья; я только спрашиваю тебя, отпускаешь ли ты жену ради болезни ее?

— Отпускаю, братец, ей-богу! Что? Не веришь? Я еще когда задумал жениться, так сказал и Карпуше дал слово, что исправлюсь, вот что! Ведь я хоть и негодяй, а душа у меня предобрая!

Рассудив, что имение Карпуши и Шилохвостова промотано, пропало невозвратно и расходится по клочкам, располагая притом сделать из него со временем особенное употребление, Игривый прикупил еще и другую часть его, условившись наперед, чтоб известная сумма выдана была Любаше на поездку за границу. Между тем все было для поездки этой изготовлено; срок, по условию с Маслаковыми, назначен, и Павел Алексеевич приехал проститься с Любашей и проводить ее за усадьбу; далее провожать ее казалось ему неприличным, потому что у нее были тут и муж и родной брат.

Она приняла его грустно и радостно, сидя среди дорожных ящиков и чемоданов. Он стал утешать ее, старался немного развеселить и дал ей несколько советов и наставлений на дорогу; она долго слушала его спокойно и наконец спросила:

— Но когда же все это будет, друг мой? Мне кажется, что все приготовления наши сделаны на ветер.

— Что это значит? Я вас не понимаю.

— Я говорю, что, вероятно, никогда не соберусь и не уеду отсюда.

— Как не соберетесь? Вам непременно должно выехать сегодня в положенный час, чтоб не опоздать, разве вы не совсем?..

— Я совсем...

— Ну так за чем же дело стало?

Любаша помолчала, потом взглянула на Игривого и сказала вполголоса:

— За... мне ехать не с чем: я не получила и, конечно, не получу ни копейки.

— Как это можно? Да я вчера уплатил все сполна, и, будьте спокойны, вотчина будет сбережена для ваших детей...

— Я вам уже столько обязана, что не умею более благодарить. Верьте мне, я поняла ваше благородное намерение, хотя вы мне не говорили доселе ни слова, конечно, щадя меня... и за это я вас благодарю... Не менее того у меня денег на дорогу нет, и потому я не поеду.

— Но объясните мне, ради бога, все это; я ничего не понимаю.

— Объяснение очень просто; Семен Терентьич с Карпушей уехали в ночь бог весть куда и взяли все деньги с собой, до копейки.

— А! так вот что!.. Ну, это уж моя вина,— сказал Игривый.— Оплошность моя непростительна. И в самом деле, как я мог думать только, что, взяв деньги в руки, они сдержат свое обещание! Воля ваша, а это так забавно, что, право, тут сердиться не на кого! Тут я один виноват, и я же за это в дураках. Впрочем, это все равно, это мое дело, я с ними сочтусь.

Он отправился поспешно домой, через час воротился, привез денег, отправил и проводил Любашу. Она молчала и плакала, поручила другу своему детей — у нее было их уж двое, Ваня и Анюта,— и, обнимая его, всего в другой и в последний раз во всю свою жизнь, сказала:

— Что бы ни случилось, ворочусь ли я, нет ли, ради бога, обещайтесь мне быть отцом моих детей: они сироты...

— Обещаюсь вам, Любовь Ивановна, и после этого обета вы можете быть спокойны; разве меня не станет. Вы были моею: бог нас соединил, люди разлучили; но на детей ваших я смотрю как на своих.

С сокрушенным сердцем глядел Игривый вслед за исчезавшею вдали коляской, и ни одна душа из многолюдной дворни, проводившей любезную барыню свою до этого распутья, не нарушила каким-либо звуком продолжительное, задумчивое молчание Павла Алексеевича. Народ уважал его и, казалось, понимал по какому-то безотчетному сочувствию. Приехав домой, бедняк несколько успокоился, ему стало полегче; тяжелый камень, хотя временно, свалился с плеч его; он был свободен, он мог бы ехать вместе с Любашей; он

сильно чувствовал потребность эту, должен был даже сознаться, что и для нее это было бы наконец ясным, счастливым временем после стольких ненастных, бедственных лет,— но он не хотел пожертвовать доброй славой ее и старался вести себя с возможною осторожностью. Прислуга, чрез которую обыкновенно расходятся все домашние вести и сплетни, не только вся была на стороне Игривого, но также была убеждена в чистоте дружбы его с их молодой барыней и из уважения к ним обоим стояла за правду: в целом уезде отношения этой четы были известны в настоящем их виде, и, несмотря на все толки, пересуды, сожаления и шуточки, вообще все-таки знали, что Игривому и Любаше упрекнуть себя не в чем.

Возвратившись в одиночество свое, Павел Алексеевич занялся еще прилежнее хозяйством, особенно же старался привести в порядок расстроенных крестьян, приобретенных у соседа, и успокоить тех, которые остались еще заложенные и перезаложенные за Карпушей. Шилохвостов продал весь участок женин; но не менее того, по тесной и неразрывной дружбе с шурином, с которым у него было все пополам, управлял некоторым образом остатком его имения, если только эти бестолковые распоряжения можно было назвать управлением. Игривый почти каждый день бывал в Подстойном, присматривая за детьми Любаши, и почти каждый раз должен был успокаивать крестьян то убеждениями, то кой-какими пособиями. Он часто не знал, как быть и что делать.

Уклонившись, собственно по этому тягостному чувству, от добровольно принятой им на себя обязанности и не побывав несколько дней в Подстойном, Игривый поехал однажды опять проведать малюток. Он оставил их до этого на руках отца; а теперь, когда отец отправился опять вместе с Карпушей провожать какой-то цыганский табор на ярмарку, Павел Алексеевич нашел детей брошенных почти без всякого надзора. Ваня чуть было не утонул, Анюте сердитый гусак чуть не выбил крыльями глаз, оба не одеты, не умыты — а виноватого нет. Бедные малютки так обрадовались Павлу Алексеевичу, что повисли на нем и не хотели отцепиться. «Останься, дядя Пау»,— кричал один. «Я хочу к тебе, дядя Пау»,— кричала другая. «Дядя

Пау» прослезился, обнял их, посадил к себе в коляску и увез в Алексеевку.

Это сделать было легко; но что дальше? Дети в этом возрасте, и без матери... У Павла Алексеевича сжималось сердце, он понимал, что это значит. Наемная рука хорошо сечет ребенка, но дурно ласкает. Любовь матери — вот что ему нужно, как младенцу грудь ее, и если последняя еще иногда может быть заменена, то первая едва ли.

«Я должен отыскать для них мать, я должен найти такое существо, которое бы их любило. Пусть она не знает по-французски, пусть даже будет и вовсе необразована, я сам буду наставником ее и их, и этот недостаток во всяком случае со временем легко исправить; мне нужна теперь для них мать в том смысле, как в ней нуждается и щенок и цыпленок».

Удачный выбор Игривого пал при этом случае на женщину, о которой мы должны сказать несколько слов.

Ко времени выпуска Любаши из образцового пансиона была приготовлена для нее, по общезаведенному у нас порядку, горничная, молодая и довольно пригожая девушка, взятая нарочно для этого покойницей Анной Алексеевной во двор. Маша — так ее звали — была сирота; кроткая, добродушная и смышленая, она вскоре переняла все хорошее, что видела и слышала, и по врожденной склонности к порядку и опрятности, даже и по наружности своей выгодно отличалась от прочей дворни. Маша сильно привязалась к барышне своей, которая также полюбила ее и от скуки занималась ею как воспитанницею, припоминая пансионские уроки. Любаша не скоро могла освоиться с бытом деревенской барышни и не вдруг оставила все пансионские обычаи, привычки и мечты; без уроков, без учителя и учениц ей как будто чего-то недоставало, и если она смотрела на всех старших себя, заслуживших ее уважение, как на учителей и воспитателей своих, то младшие и подчиненные, особенно девушки, ей казались ученицами младшего класса, о которых она должна заботиться. Маша подросла, сложилась, похорошела, распевала на весь двор ясным голосом своим перенятые у барышни романсы или бежала с рукомойником под гору, чтоб принести своей повелительнице ключевой холодной воды умыться, и громко чи-

тала наизусть «Цыган», «Полтаву» или «Онегина», делая без всякого дурного умысла небольшие поправки вроде следующей:

В свою деревню в ту же пору
Помещик новый прискакал
По имени Владимир Ленский:
С душою прямо гренадерскою,
Красавец, в полном цвете лет, и прочее.

Вдруг Иван Павлович Гонобобель, приводя однажды хозяйственные надворные дела свои в порядок, распорядился выдать Машу замуж за молодого кучера. Возражений на это не было... Жених с невестой явились благодарить барина и поклонились ему в ноги; Любаша снаряжала любимицу свою, готовила ей, сколько и из чего могла, приданое, была у нее на девичнике и убирала ее под венец. Разувая своего князя, Маша с покорностью вынула из одного сапога два пятака, а из другого плетку и подала ее молодому, припав сама на колени и поникнув послушно головою, хотя и обычай этот был придуман, конечно, не для нее и ей подобных, кротких безответных невест. Сначала все шло хорошо; но, перешед по смерти Гонобобеля во владение Шилохвостова, молодой кучер запил, потом пьяный нагрубил барину и прибил бедную Машу; потом разбил вдребезги коляску и утопил лошадь, и Семен Терентьевич сдал его в рекруты, получил квитанцию, которая, разумеется, была продана, а деньги употреблены, собственно, на тот же предмет, за который кучера отдали в солдаты.

Как бы то ни было, но Маша не успела оглянуться и выплакаться за последние побои беспутного мужа своего, как осталась вдовой при живом муже, с первым грудным ребенком. Она была незлопамятна и, позабыв все, что переносила от мужа, помнила в это время только одно, что он хоть лыками сшит, да ей муж; отчаянье ее, когда его повезли в город, превосходило всякую меру, хотя оно, по тихому, кроткому нраву ее, и не обнаруживалось такими страстными порывами, как это большею частию случается в простонародии. Любаша плакала с нею и за нее, но не могла пособить ей ничем. Лишь только Маша стала было несколько приходить в себя, покорившись не-

избежности своей участи, как новый удар поразил ее едва ли не с большею жестокостью, чем первый. Оставшийся при ней младенец один только и был утехой ее в этом бедствии; она не выпускала его из рук, и барыня ее, соболезнуя к участи своей любимицы, не тревожила ее, не спрашивала с нее работы и призывала только иногда, стараясь ее развеселить. Если б этот младенец был просто похищен у Маши смертью, то, конечно, и этот удар в такое время был бы жесток; но случилось еще гораздо хуже — судьба была к этой сирой вдовице еще немилосерднее. По обычаю, довольно общему у нас в народе, Маша укладывала ребенка спать вместе с собою, на свою постель; вся сила привязанности ее сосредоточивалась теперь на этом младенце, которого она любила через меру и не могла выпустить из своих объятий. С того дня, как она лишилась мужа, ребенок спал всегда при ней. В одно раннее утро вся дворня была испугана внезапным диким криком несчастной матери; все сбежались и с ужасом увидели, что она держала на руках своих мертвого младенца. Она, как говорится у нас в народе, «заспала» его.

Этому новому удару бедная Маша не могла уже противостоять. Ее обуяло какое-то дикое отчаяние, чуждое кроткому ее нраву. Она посягнула было на самоубийство; потом состояние это постепенно перешло в тихую, немую задумчивость, из которой по целым дням нельзя было ее пробудить; одна только Любаша могла с нею разговаривать, и беседа эта всегда оканчивалась обильным и горьким плачем несчастной матери, что облегчало, по-видимому, хотя временно, ее страдания. При виде каких-либо детей лицо ее как будто прояснялось: она подымала глаза, смотрела на них робко, но спокойно, ласкала их и даже иногда улыбалась. Мало-помалу она по наружности несколько возвратилась к жизни, но всегда была грустна, почти не говорила, сидела задумавшись, прилежно работала, не пропуская ни одной службы в церкви, где во все время стояла на коленях и клала земные поклоны. Так как церковь была в Алексеевке, то Игривый встречал ее там нередко, говорил с нею, стараясь ее успокоить и вразумить и поселить в ней веру и смирение вместо овладевшего ею отчаянья; таким образом, по расспросам об ней и по разговорам с нею самой,

узнал он ее ближе и оценил все природные достоинства этой женщины.

Когда Игривый стал мысленно приискивать для приемышей своих няньку, или, вернее сказать, вторую мать, то остановился выбором своим на Маше. Ему казалось, что она во всех отношениях будет отвечать этому выбору.

Маша встала рано утром смутная,— она все еще жила на господском дворе, работая, что ее заставляли, и ее за это по-прежнему милостиво кормили, когда было что есть другим,— Маша встала смутная, задумывалась при работе и вздыхала.

— О чем опять загрустила, Маша?— спросила другая молодая женщина.— Полно! Уж сколько тебе говорят, что полно!

— Нет, Анна,— отвечала та,— я так... я что-то...

— Да ну, говори... кто тебя обидел, чем?

— Никто, Анна; кто ж меня обидит... за что меня обижать? Нет... Да я сон видела...

— А какой сон, Маша, расскажи; может статься, к чему-нибудь... может, и к добру? Ну, расскажи!

— А видела я, ровно еще живу в девках и пошла по воду; тут гляжу — башмаки лежат под кустиком, сафьянные, рябенькие, красные, а по ним зерна черненькие. Тут я будто стою по-над рекой, а на руках у меня цыпленочек, да такой хорошенький, с хохолочком... Я его вот будто стала поглаживать рукой, да и обронила в воду. Вот я так испугалась, так сердце и дрогнуло во мне... Кинулась я за ним, бродила по воде, всю речку исходила, нет,— так и пропал. Я вышла на берег вся мокрая, да села, да и гляжу,— а тут отколе ни возьмись два голубка белых ровно снег, прилетели, да и сели на меня — один на одно плечо, другой на другое. А тут я уж будто в барских покоях сижу, и платье на мне не то, а белое, подвенечное, что ли,— да все закапано чем-то, ровно чернилами, вот будто все мухи сидят; а голубочки все склевывают, все склевывают пятнышки, обирают их с меня; а тут уж и не знаю, ровно барышня меня позвала громко... Проснулась, ан только дедушка Макар на печи кашляет...

— Ну, Марьюшка,— сказала Анна,— ведь это сон такой, что ведь не скоро увидишь его в другой раз, ейбогу; ну, о чем же ты горюешь? Ведь это, стало быть,

все к хорошему, к добру... это, стало быть, замуж, что ли, тебе приходится идти...

— Господь с тобой, Анна, что ты говоришь это...

— Да ведь хорошее что-то, Маша; ну, ей-богу, воля твоя... Степановна! а Степановна! Поди-ка сюда, пожалуйста, поди,— продолжала Анна, увидав старуху коровницу, знаменитую снотолковательницу.— Матушка Степановна, послушай, вот Маша-то все горюет, а сон видела хороший, ей-богу хороший, только уж мудреный больно, что и не разберешь... Вот послушай...

И Степановна, присев на завалинке рядом с двумя молодыми бабами, сложила руки, слушала, придакивая и понукая по временам, а там объявила, что этот сон к добру и притом очень ясен, что понять его не мудрено.

— Что ж,— сказала она,— и вестимо, что сон хороший. Вот видишь ли: башмачки — это прошлое, это, выходило, тебе замуж идти, ну и вышла; красные башмаки — веселая свадьба, а чубаренькие — горе; вот оно и выпало на твою долюшку: цыпленочек — сынок твой; ну и прижила его, да и погубила — и обронила в воду, и не нашла. А в воде ходить, мокрой быть — это все слезы; и немало ж их и было у тебя, Марьюшка,— вот и река. Ну, а вот дальше — так это видно еще будет вперед; а что будет — богу одному ведомо, все это одному богу известно. Голубки-то, вишь,— кабы муж у тебя здесь был, так сказать бы, что детки у тебя будут, да и чуть ли не двойни...

— Господь с тобой!— перебила ее Маша, перекрестившись.— Что ты это говоришь, Степановна! Да этого и слушать нельзя...

— Так погоди ж, моя красавица, дай срок, не перебивай; ведь я тебя ничем не порочу: я говорю, кабы муж был — а как его нет, ну так уж и не знаю; к другой ли, что ли, это радости, к вестям ли к каким — не знаю, уж это богу известно. А что обирали они с тебя черные те крапины, ну так это все к добру: позабудешь старое горе по новым радостям, вот что. Греха-то ведь на тебе и нет, Марьюшка, а ведь вся душенька твоя померкала, хоть и нечаянно сгубила младенца, а все душа его на тебе... Ну вот, и сымут с тебя голубочки грех этот, и господь тебя простит...

Маша горько заплакала, а подруга ее напустилась за это на старуху:

— Уж ты, Степановна, господь с тобой,— право, господь с тобой,— говоришь бог весть что и еще стала попрекать Машу старым, не жалеючи ее, да вот опять и разжалобила, когда она и без того изнывает! Иди, иди, добро, к телятам да к коровам своим, слышь, по тебе плачут...

А сама стала утешать Марьюшку, припоминая ей одну только хорошую сторону этого сна и слов старухи, и вслед за тем принялась клясться и божиться, что все это к добру.

В этот же день после обеда нарочный от Павла Алексеевича приехал за Машей. Она тотчас же довольно беззаботно собралась и поехала, нисколько не обеспокоенная этим неожиданным зовом, потому что Игривый был любим всеми и ни один добрый человек не чуждался его.

— Зачем бы это,— думала она однако ж, когда телега с нею покатила со двора,— разве кружевница не нужна ли Павлу Алексеевичу — да на что же ему? Он человек одинокий. Посмотрим; вот близко — церковь видать из-за лесу,— и, перекрестясь, она спокойно стала выжидать конца.

— Маша,— сказал он, когда она вошла к нему, молча поклонилась и, подпершись локтем, стала у дверей,— Маша, отгадай-ка, для чего я тебя позвал?

Маша вздохнула, потупила глаза и молвила:

— Стало быть, вы знаете, Павел Алексеевич, когда позвали; а я слуга ваша.

— Ну, однако ж, отгадай?

— За добрым делом, Павел Алексеевич; за худым не позовете.

— Так, правда твоя, Маша, за добрым делом; я позвал тебя за богоугодным, христолюбивым делом. Послушай, Маша: господь взыскал тебя страданиями. Что ж? На это была воля его святая; он и сам страдал больше нашего. Но я думаю, что теперь время твоего искуса миновалось — полно же плакать, Маша, полно; слушай меня хорошенько: я не к слезам говорю с тобою, а к радости. Я думаю, что если только сама теперь не откажешься от своего счастья, то ты будешь весела и спокойна... Слушай, Маша: бог дал тебе опять детей — и не одного, а двух разом!

Маша вздрогнула, отняла руки от лица — слезы текли по щекам ее, и она, пораженная последними словами Игривого, смотрела на него в каком-то недоумении.

— Дети,— продолжал он, растворив дверь в соседнюю комнату,— Ваня, Анюта, подите сюда!

Вошла женщина, которая держала на руках Анюту и вела за руку Ваню.

— Вот это будут покуда дети твои, Маша, до возвращения нашей доброй Любови Ивановны; а там, коли ты матерински призришь их, чай и она их у тебя не отымет...

Теперь только Маша поняла в чем дело: она зарыдала и кинулась обнимать и целовать попеременно то Ваню, то Анюту, то самого Павла Алексеевича, то даже, наконец, ту женщину, которая привела детей и которая была временно придана им вместо отпущенной старой няньки. Маша кинулась к ней поспешно и от нее хотела опять броситься к детям; но та принялась чинно целоваться с нею, переваливая ее со щеки на щеку, и, похристосовавшись таким образом, с важностью ей поклонилась. Наконец Маша упала Павлу Алексеевичу в ноги. Он поднял ее и спросил:

— Хочешь ли заступить мать у этих полусирот?

Маша с трудом промолвила: «Хочу, хочу...»— опять бросилась обнимать детей, взяла Анюту и в этот вечер уже более не спускала ее с рук.

Памятливая, умная и послушная, она строго следовала наставлениям Павла Алексеевича при воспитании доверенных ей деток; она легко поняла и всегда помнила, что первым условием при воспитании детей есть: не лгать перед ними или при них и не обманывать их никак, ничем и никогда, ниже в малейшей безделице. Через этот камень преткновения всех мамушек и нянюшек Маша легко перешагнула и, живучи отныне с ними и для них, расцвела и сама опять для жизни и грешную молитву свою о том, чтоб бог скорее ее прибрал, заменила другою, более христианскою: о благоденствии доверенных ей малюток. Заботливее Маши не могла быть для детей и лучшая мать; а Игривый отныне не только заступал у них место родного отца, но сделал гораздо более: он спас всю их будущность от гибельного влияния этого человека. Он же, Игривый, был и первым наставником и учителем их,

когда судьба впоследствии возложила на него и эту обязанность.

Семен Терентьевич, который и самую женитьбу свою припоминал иногда потому только, что считал себя с грехом пополам помещиком, каким сделался посредством женитьбы,— Семен Терентьевич, возвратившись с последней поездки, и не заметил в первые дни отсутствия детей своих; потом спросил как бы мимоходом:

— А что же, кажется, ребятишек не видать?

И узнав, что сосед увез их с собою, промычал что-то вроде: «а!» или «мм!»— и пошел своим путем.

Когда все это устроилось, то и Павел Алексеевич ожил несколько. Его не тяготила более день за день и с часу на час участь Любаши: он знал, что она теперь весела и спокойна, что даже в его воле было продлить это спокойствие; детки ее были пристроены; он также не ездил более в Подстойное, не видел беспрестанно перед собою этого бесчинства и теперь даже не хотел и слышать о том, что там делается. Он внезапно стал семьянином, жил не только для себя, но и для других, милых ему существ, и день казался ему вдвое короче и яснее прежнего.

Прошло уже с лишком год, как Любаша была за границей; она писала Игривому, скучала по нем и по детям, но сама сознавалась, что здоровье ее чрезвычайно поправилось. Игривый выслал ей еще денег, написав ей, что они получены от мужа ее и брата, и просил остаться еще за границей. Он сделал это, рассудив, что ей возвращаться на первый случай незачем и что три недели, проведенные ею опять в Подстойном, без сомнения нанесли бы ей более вреда, чем год, проведенный в Теплице, мог принести пользы. Любаша писала ему на это:

«Не смею даже благодарить вас — вот в какое положение вы меня поставили! Итак, благодарите от меня мужа и брата... Но что тогда, если благодарность эта, несмотря на слепое послушание мое вам, не дойдет до них, а останется при том, кому она следует?.. Все равно; я вам уже столько обязана, что считаться с вами не могу...»

Между тем на взбалмошного Шилохвостова вдруг напала хандра: он стал скучать по жене и начал ез-

дить к Игривому, чтоб видеть детей. Нежность эта шла к нему, как к корове седло,— не менее того он был муж и отец и никто не мог ему запретить вздыхать и скучать по жене и ласкать детей. Сколько ни морщился бедный Павел Алексеевич, а должен был показывать вид радушия при этих посещениях. Мало-помалу Шилохвостов и сам привык к этим поездкам в Алексеевку, где его кормили и даже несколько поили, тогда как он дома нередко сиживал, посвистывая, и думал: «Как бы теперь хорошо было съесть что-нибудь порядочное и запить как следует и чем следует...» Он нашел, что в Алексеевке гостить выгоднее, чем жить дома, и под предлогом, что скучает один, что не может жить без жены и без детей, которые-де составляют единственное его утешение, проводил у соседа целые недели. Он вскоре там до того обжился, что, по-видимому, считал алексеевскую усадьбу настоящим местом своего жительства. Этого мало: вообразив себя хозяином Алексеевки, Шилохвостов начал и сам хозяйничать там. «Вина! Водки! Рому! Закуски! Горького!» — эта команда раздавалась громогласно под скромною кровелькой Игривого, где ни сам хозяин, ни люди в доме не привыкли к жизни этого рода. Вскоре и Карпуша, встосковавшись по друге своем, стал его навещать; затем также нашел, что его никто домой не гонит и там дети по нем не плачут, что, наконец, и жить на чужой счет выгоднее и удобнее,— а потому также поселился у соседа и поселил тут же слугу своего и кучера с тройкой лошадей.

Истощив все осторожные намеки, а с тем вместе и терпение свое, Игривый наконец решился во что бы ни стало очистить дом свой от такого нашествия. К этому подал довольно приличный повод незначительный по себе случай: Шилохвостов с Карпушей, кроме разных бесчинств, вздумали для забавы напоить пуншиком пятилетнего Ваню и прибить бедную Машу за то, что она вступилась и не хотела этого дозволить. Разобрав и покончив дело это и дав буянам проспаться, Игривый сказал без обиняков Шилохвостову:

— Послушай, однако ж, любезный! Ты, кажется, намерен поселиться у меня совсем?

— А что?— спросил тот.

— Да так; я бы желал знать мысли или намерения твои по этому делу,

— Эх, любезный Павел Алексеевич! Ты друг и благодетель наш. Я ведь не то чтоб... я так, погостить думал у детей... Ну, куда же мне деваться, ну, посуди сам: дома одному тоска — мочи нет; ты знаешь, я люблю семейную жизнь, тихую, укромную... Ну, брани меня, я сам знаю, каков я, знаю это лучше тебя... Да ведь дома-то, брат, скука, что с души воротит... Бестолковый Карпуша этот — Карпуша да Карпуша — о, да и надоел же он мне...

— А между тем ты и сюда привел его хвостом за собой — и он также тут поселился...

— А черт ли его приводил! Да коли хочешь, так я, брат, с удовольствием вытолкаю его отсюда в шею!

— Нет, не трудись; этого я не хочу; но, признаться, хотел бы быть у себя в доме сам хозяином и господином. Посуди сам, Семен Терентьич: мы с тобой хоть и приятели, но жить вместе нам не приходится. Приезжайте раз в неделю, хоть, пожалуй, на весь день,— и я тебе буду рад; повидаешься с детьми, побалагуришь, да и с богом домой. А Карпушу, сделай милость, не вози ко мне вовсе: он, чай, не соскучился ни по сестре, ни по племянникам, ни по мне — так ему здесь и делать нечего.

— Так я детей своих только раз в неделю и увижу?

— Это довольно, любезный; вспомни, ты покидал их прежде и не на одну неделю: стало быть, тебе не идет теперь прикидываться таким нежным отцом... Ты в этот день, например в воскресенье, приедешь к обедне, соберешься с силами и останешься порядочным человеком на весь день, не станешь кричать: «Водки! Рому! Горького!» — не станешь браниться с людьми моими ни за что ни про что, оставишь в покое девок — одним словом, покажешь отеческий пример детям, чтоб им не стыдно было смотреть отцу в глаза; а там поезжай с богом и делай дома что хочешь.

— Бог тебе судья, Павел! Да ведь добро наше теперь все почти у тебя в руках.

— Что же? Разве я его взял у вас наездом? Разве ты можешь попрекнуть меня, чтоб я приобрел его какими-нибудь непозволительными средствами!

— Нет, я этого не говорю; да ведь помнишь ли, не я ли спрашивал тебя тогда же, что кормить-де под старость нас, дураков, станешь!

— А вспомни, не я ли тогда же отвечал, что накормил бы вас путем смолоду, а теперь лих-поздно?

— Правда!— сказал тот со вздохом.— Ну, брат, так прощай; да только скучно же мне будет дома возиться с мужиками да с дураком с Карпушей... Знаешь ли что? Уж я давно об этом подумывал; ведь пора бы жене моей воротиться: надо же и честь знать; вот бы мы и зажили!

С этого времени несчастная мысль о возвращении Любаши не оставляла Шилохвостова, несмотря ни на какие убеждения Игривого. Соглашаясь, что он подлец и негодяй, что ему опять скоро прискучит жить с женою, Шилохвостов, однако ж, козырял правом своим и как супруг требовал жену свою налицо. Он до того увлекся этою несчастною мыслью, что не шутя стал собираться сам за женою, если она не послушается зова его и не приедет.

Что тут было делать? Обдумав все, Игривый уже решился было для спасения бедной Любаши принять к себе в дом Шилохвостова, надеясь отвлечь его этим от исполнения угрозы, но колебался, предвидя нескончаемую для себя муку от этого сожительства и, сверх того еще, будучи уверен, что Шилохвостов не в состоянии долго жить спокойно, а, кроме всех проказ своих, непременно опять вскоре примется за старое и будет настаивать, чтоб Любаша возвратилась. В этих заботах Игривый провел несколько беспокойных дней, а может быть, и недель, как Шилохвостов, не шутя готовившийся уже в путь, прискакал к нему сломя голову, кинулся на него как сумасшедший и с криком: «Детки мои, сиротки мои... Павлуша мой... боже мой...» — бросился ему на шею. Он неистово ревел и завывал, так что Игривый с трудом только отвел его в свою комнату и запер двери, желая устранить позорное зрелище это от прислуги. С отчаянным движением Шилохвостов выдернул из кармана письмо, подал его Павлуше, а сам упал в кресло и закрыл лицо руками. Игривый прочитал уведомление от неизвестного человека, какого-то немецкого доктора, что Любаши уже нет на свете. Она скончалась довольно внезапно и похоронена в Теплице, успев, однако ж, написать еще приложенное завещание, которым передает все имение свое мужу и умоляет его быть отцом своих детей, но

предоставить воспитание их Игривому, если только Павел Алексеевич просьбы ее не отринет.

С сожалением и презрением смотрел Игривый на этого беспутного во всех отношениях человека, который рвал на себе волосы с отчаянием по жене, между тем как сам же отравил все бытие ее. Теперь Любаша была, по словам Шилохвостова, и друг его неоцененный, и любовь его, и радость, и ангел-хранитель... Теперь наконец уничижение этого человека дошло до того, что он не находил слов для выражения брани, которою бы мог достойным образом поносить себя... К вечеру Семен Терентьевич привел себя с горя в такое отчаянное положение, что был отправлен домой в беспамятстве; кучер, привезя его домой, долго кричал людям: «Да возьмите, что ли, барина-то! Долго ли ему тут лежать? Ведь я коляску-то задвину в сарай; ночью дождь будет...»

Поутру Шилохвостов с трудом только сообразил вчерашние похождения свои, послал записку к Игривому, умоляя его прислать хоть пятьдесят рублей, и поехал для рассеяния покутить в ближайший город.

Не станем теперь следить за всегда ровною и одинаковою жизнью Шилохвостова и Карпуши, которые, как мы видели, никогда не стеснялись какими-либо узами долга и приличия, а теперь и подавно хозяйничали на просторе, так что все соседи покачивали головой и с некоторым беспокойством пророчили, что все это *чем-нибудь* да кончится. Опасение, которое выражалось в этом двусмысленном *чем-нибудь*, было не без основания, и конец вылился из дурных дурной.

Шилохвостов был уже круглый бобыль; он давно промотал все женино имение и жил нахлебником на крохах у шурина, над которым приобрел такую власть, что командовал и управлял всем. Люди ненавидели его, как «врага рода человеческого», во-первых, потому что считали его, не без основания, соучастником в окончательном разорении вотчины, а во-вторых, за развратную жизнь, в которой он постоянно был наставником Карпуши.

. . . .

Карпуша поехал куда-то на недельку один, а Шилохвостов остался дома. Соскучась сидеть и пить, он велел оседлать коня и поехал в поле. Прошло час, два или три, как вдруг на барском дворе сделалась трево-

га, стали сбегаться люди со всех концов села, и вскоре сбежалось все село, стар и мал, мужики, бабы и дети.

— Что там такое, Тимоша? — спросил едва движущийся старик с печи или с полатей барской людской, когда в двери вбежал молодой парень и сорвал поспешно с гвоздя кафтан свой и шляпу.— Чего там народ сбежался ровно на пожар? Ась? Не слышу!

— Да ничего, дедушка Макар; поди-ка погляди: гнедой гостинца привез.

— Какой гнедой? Какого гостинца?

— А привез барина, Семена Терентьича.

— Ась? Привез барина? Ну что ж за диво?

— Да, что за диво! Поди погляди, дедушка: диво-то такое, что поехал барин на коне, а приехал под конем; вот и диво. Крестись, дедушка, да молись: бог прибрал его.

Сказав это, Тимоша выбежал опять из избы; старик перекрестился и прочел молитву, а между тем полез, кряхтя, с печи. Вышед на двор, он заметил, что здесь собралось все село. Пробравшись с трудом в середину толпы, он увидел оседланную верховую лошадь Семена Терентьевича, который лежал неживой и в обезображенном виде на земле, а одною ногой висел в стремени. Лошадь была в поту и в мыле, вся дрожала и фыркала; староста держал ее под уздцы, а сам тужил и горевал вслух о том, что не знает, как теперь быть и что делать: он разослал уже конных за исправником, за Павлом Алексеевичем и другими, но сомневался, чтоб земская полиция могла вскоре прибыть, а между тем не смел прикоснуться до того к покойнику и в то же время недоумевал, как удержать бешеную лошадь в этом положении и не дать ей освободиться от трупа. Бедный староста стоял бледный, расстроенный, тпрукал, почесывал у себя затылок, оглядывался, тужил и горевал, между тем как лошадь храпела, дрожала всем телом, оглядывалась и рвалась то в бок, то в сторону. Народ стоял молча, то перешептываясь между собою, то опять поглядывая на страшное зрелище, и ждал, чем все это кончится.

Когда наконец суд выехал и произвел следствие, то обнаружилось только ровно то, что мы сейчас описали: Шилохвостов поехал живой, но вполпьяна, и лошадь принесла его убитого в стремени. Суд заклю-

чил, что Шилохвостов был сбит лошадью, повис одной ногой и таким образом затаскан до смерти.

. . . .

Крестьяне Подстойного давно уже были разутые и раздетые бобыли: с них поживиться было нечем, как ведомо было всякому; рассудили, что не стоит заводить дела и шуметь из-за пустяков, и потому предали его воле божьей.

Услышав об этом происшествии на чужбине, Карпуша как будто немного опомнился. При всей бутылочной храбрости, у него, однако ж, подкосились было ноги и язык онемел. Он вспомнил, что говорили ему не раз соседи и что пророчила какая-то темная молва, и рассудил, что коли зять его теперь «пристроен», то о нем заботиться нечего, а надобно-де подумать о себе. Убедившись, что он теперь остался на свете один, горемычным сиротою, без наставника и товарища, с которым так свыкся, Карп Иванович сделался малодушным и горько заплакал. Он струсил до того, что даже не решался ехать в вотчину свою и долго не знал, что делать. Наконец бог его надоумил.

Павел Алексеевич сидел после обеда на своем диванчике, Ваня и Анюта лазили по нем, а Марья Кондратьевна, то есть Маша, стояла с веселою улыбкою перед ним и уговаривала детей, загрязнившихся в песке, надеть другие платьица; Ваня шагал на плечо дяди Пау и не хотел расстаться с алой рубашонкой, а Анюта тянулась вслед за ним и также повторяла: «Не, няня, ни-ни!» В это время коляска прокатила мимо окон; Игривый узнал ее тотчас, встал и встретил Карпушу.

— Павел Алексеевич! Беда! Спаси! — проговорил он и начал его крепко обнимать.

— Какого же ты чаешь от меня спасенья?

— Да я услышал вот — меня не было дома,— я вот вчера только узнал и не могу еще опомниться... Ты был там?

— Был.

— Что ж, правда?

— Я не знаю, что ты называешь правдой: покойник стоит здесь в церкви — завтра похороны.

— Ах, боже мой, боже мой... Но ведь говорят, будто...

— Это говорят; но, видно, слух при розыске не подтвердился: суд не изъявил подозрений и разрешил уже погребение.

— Как ты думаешь, что же мне, сироте, теперь делать?

— Идти дальше тем же путем: пример в глазах.

— Ах, Павел! И ты можешь теперь так шутить...

— Я не шучу, Карпуша, я говорю только горькую истину.

— Да что же мне делать теперь? Не опасно ли мне будет воротиться домой и жить там?

— Этого я не знаю. Это ты сам должен знать лучше.

— Послушай, Павел, я решился: ради бога, развяжи меня с Подстойным совсем — и много ли там его осталось? Возьми все, оцени сам, дай мне угол у себя — я туда не поеду...

— Если хочешь продать мне остатки твоей вотчины — изволь, я покупаю и могу дать тебе цену выгоднее других, потому что мне покупка эта сподручнее другого. Но угла я тебе у себя в доме не дам; на этом не взыщи.

— И тебе не грешно, Павел? За что же ты так со мною обходишься?..

— Ты не так спрашиваешь: *за что,* это походит на то, будто я хочу тебя наказать за прошлое или мстить тебе; а этого за мной нет. Но спроси *почему* или для чего я тебе отказываю в пристанище, и я тебе скажу, не обинуясь, что нам с тобою жить под одной крышей нельзя. Рассуди сам: мы смотрим врознь; общего в роде жизни нашей нет ничего; мы друг для друга не годимся.

— Да куда же мне деваться? — спросил жалким голосом Карпуша, который, лишившись вожака своего и наставника, был без него как без головы.

— Немножко поздно задаешь ты себе этот вопрос — я думаю, денег тебе станет на год веселой жизни; тогда опять спросишь кого-нибудь: куда деваться; может быть, посоветуют лучше меня.

Отчаянный Карпуша сделался смирен и кроток, как ягненок; он упросил Игривого позволить ему погостить у него только до уплаты денег, обещаясь вы-

ехать в тот же день, когда дело будет кончено,— послал домой за платьем и кой-какими вещами и через неделю отправился, сам не зная куда. Никто не слышал и впоследствии о том, куда молодой Гонобобель девался; а потому мы прощаемся с ним навсегда: он пропал без вести для нас, как и для прочих.

Выпроводив от себя благополучно несчастного Карпушу, который при всем отчаянии и малодушии своем бушевал, сердился, плакал, бранился и напивался пьян с горя и никому в доме не давал покоя, Игривый зашел к деткам. Это было вечером; они уже спали; а Маша сидела за грамотой и что-то так прилежно выписывала, что даже не слышала, как барин вошел, и вдруг торопливо привстала. Взглянув на лежавший перед нею листок, он прочитал: помяни господи во царствии твоем рабов твоих: Ивана, Семена, Кондратия, Ивана, Анну, Любовь, Марию. Что ты это пишешь, Маша? Что за поминовение?

— Хочу подать в церковь, Павел Алексеевич, по родителям — чтоб поминали их.

Игривый еще раз взглянул на листок и спросил:

— Да кто же это? Кондратий отец твой — а прочие?

— А тут матушка покойница да покойные господа. Любовь Ивановну голубушку я уже приписала в Покров, а теперь вот села было приписать и Семена Терентьевича... А это сыночек мой... Карпа Ивановича да мужа своего я записать не посмела: бог весть, ведь может статься, они еще и живы где-нибудь...

Привязанность эта и незлопамятность, даже относительно самого Шилохвостова, тронули Игривого. Подумав немного, он сказал:

— Ну, Маша, уж коли так, то вычеркни еще одно имечко из тех, что написала.

Маша глядела на него, ничего не понимая.

— Да, да, Маша; вычеркни еще одно имя; тут у тебя записан живой, или живая: Любовь Ивановна жива и здорова; слышишь, она жива, Маша!

Маша зарыдала и бросилась Павлу Алексеевичу в ноги. Он поднял и обнял ее и вскоре успокоил, рассказав, что Любаша действительно жива и никогда не думала умирать; что вести в то время пришли ложные, а теперь получил он от нее самой письмо. Опомнившись, Маша пошла крестить спящих малюток и

сама молилась, не зная куда от радостных слез деваться.

Объясним теперь в двух словах недоумение читателей. Любаша точно не думала умирать, но и слухов о смерти ее до Павла Алексеевича не доходило: все было придумано им в крайности, когда сумасшедший Шилохвостов вдруг стал настаивать, чтобы она непременно воротилась, и до того взбеленился, что готов был ехать за нею сам. Не видя никакого спасения для Любаши, Игривый написал ей об этом поспешно, присовокупив, что ей ничего не остается, как сказаться мертвою. Он советовал ей попросить кого-нибудь из надежных знакомых ее написать горестную весть эту прямо мужу и в то же время уведомить о том его, Игривого. Все это, как мы видели, было вовремя исполнено, и тайна сохранилась до настоящего времени.

Теперь Игривый вздохнул еще свободнее. Он терялся в размышлениях и сам едва мог поверить всем переменам, которые произошли в глазах его. Все то, что столько лет томило его, отравляло всю его жизнь, все, что, казалось, тяготело вечным, пожизненным бедствием над несчастной Любашей,— все это исчезло каким-то волшебным ударом с лица земли: Шилохвостова нет, и уже нет навсегда; он не с цыганами кочует по ярмаркам, он не возвратится уже оттуда избитым и оборванным, промотав лошадей, коляску и сюртук с плеч своих,— он выбыл навсегда, и никто на этом свете его более не увидит. Любаша свободна; ей только двадцать три года, а Подстойное обратилось в собственность Павла Алексеевича, того самого робкого молодого человека, который так недавно еще стоял как ошалевший перед покойным Иваном Павловичем, когда этот в присутствии всей семьи своей хохотал до слез и кричал в уши ему: «С праздничком, сосед, а девки-то уж нет; выдали, брат, выдали, вот за проезжего молодца...» А теперь уже не было на свете ни самого Ивана Павловича, который с таким торжеством возглашал победу свою, ни старушки Анны Алексеевны, которая с недовольным и озабоченным видом слушала громогласные возгласы своего почтенного сожителя, ни даже этого знаменитого проезжего молодца, как будто кинутого судьбою поперек пути всем добрым людям, которым суждено было где-нибудь и когда-нибудь с ним столкнуться...

Игривый продолжал еще несколько месяцев спокойно свой род жизни, уведомив с осторожностью Любашу о том, что в отсутствие ее случилось, и успокоив ее насчет детей. Ответы ее приходили как-то чрезвычайно медленно, и Павел Алексеевич замечал в них какой-то странный, небывалый оттенок... Письма Любаши оставляли в нем с некоторого времени такое впечатление, будто она не досказывает чего-то, будто у нее на душе остаются какие-то заветные чувства и думы. Рассуждая об этом сам с собою, он, задумавшись, пересчитал по пальцам, что по смерти Шилохвостова прошло уже полгода, а затем поднял голову и спросил мысленно у самого себя, чего он теперь еще сидит на месте и почему бы ему не ехать за границу, пасть подруге своей в Мариенбаде как снег на голову и посмотреть, что из этого выйдет дальше. «Надобно быть таким чудаком, как я,— подумал он, улыбнувшись,— чтобы давно уже не сделать этого: еду. Зима не удержит меня, я еду не лечиться; весной воротимся...»

— Ну, Маша,— сказал он, когда стал готовиться в путь,— я покину тебя с ребятишками месяца два либо три: я поеду за вашей барыней. На тебя оставляю их: помни, что ты им мать взамен родной.

— Вы меня воскресили, Павел Алексеевич,— отвечала веселая Маша, которая весь день ясным голосом своим распевала песенки с детьми.— От ваших приказаний я ни шагу; а детки, сами знаете, и своих-то, может статься, не сумела бы так полюбить, как этих...

Приведя хозяйство свое в порядок на время отсутствия, Игривый сделал также несколько распоряжений, чтоб убрать у себя в доме комнаты и изготовить немного мёбели.

— Вот эти синие стулья,— говорил он своему Ивану,— выкрасить хоть в белую краску — они пообтерлись, а это будет поопрятнее; их можно будет поставить в залу; а мой стул с шитым чехлом (работы Любаши) прибереги, чтоб его без меня не таскали.

Расцеловав детей и строго приказав им слушаться няни, Игривый в хороший зимний день покатил со двора.

«Я, благодарю бога, здоров и еду не лечиться»,— повторил он про себя, улыбаясь, не подозревая того, что он точно нездоров и что именно едет лечиться...

В небольшом, но очень благовидном местечке живописной Богемии стоял укромный домик ратсгера, по-нашему — гласного, хотя бы и гораздо правильнее было называть этого гласного безгласным,— и в домике этом внизу жил сам хозяин, а вверху — постояльцы. Черепичная кровля была припудрена снегом; нагие сучья дерев виднелись через опрятно окрашенный забор; по улице казалось пусто, потому что в городке недоставало нескольких тысяч летних посетителей. Кто бывал там, помнит, вероятно, в числе обыкновенных прогулок так называемую мельницу, Амальину Гору, деревню Аушовиц, лесничий дом Кенигсварт и развалины Фрауэнберг. Все это хорошо летом, когда притом съезжаются в это местечко люди со всех концов света, кто по рецепту доктора, кто от скуки, кто для поживы; но в домике, о котором мы упомянули, гости остались и на зиму. Они занимали три комнаты; заглянем прямо во вторую. На небольшом диване сидит чета: молодая, прекрасная женщина, которой наружность теперь не станем описывать подробнее, и мужчина, несколько постарее ее, но также довольно благовидный, хотя и белокур до такой степени, что с первого взгляда можно догадаться о норманском его происхождении. Женщина со вниманием читает книгу, наклонившись вперед и положив руку на плечо мужчины, который, окинув руку вокруг гибкого стана своей подруги, облокотился другою рукою на стол и, внимательно следя за чтением молодой женщины, по-видимому поправляет иногда произношение ее и объясняет ей некоторые слова. Вслушавшись несколько в эти звуки, мы тотчас можем убедиться, что не ошиблись в родине белокурого учителя: они читают книжку датскую или шведскую. Учитель, глядя несколько времени пристально в лицо ученице своей, забылся и не поправлял ее, хотя она, запнувшись, тщетно пыталась произнести какое-то мудреное слово на два или на три лада; она взглянула на него; голубые глаза их встретились на расстоянии нескольких вершков; он отрывисто поцеловал оба глаза своей подруги и сказал:

— Точка; смеркается, друг мой; испортишь эти дорогие глазки: береги их.

Она сложила книгу, улыбнулась и спросила по-немецки:

— Ну что, скажи мне правду, выучусь ли я когда-нибудь этому трудному языку?

— Да ведь ты же говоришь и теперь уже довольно свободно; чего же тебе еще? Мы познакомились с тобой в мае, помнишь? А ты стала учиться в августе — всего пять месяцев!

— Но мне бы хотелось чище произносить; нет ничего хуже, когда кто коверкает язык, не умея выговаривать слова, как должно.

— Еще полгода,— отвечал он,— и никто не поверит, чтоб ты была иностранка, которая теперь только начала заниматься чужим ей языком. Божусь тебе, я не постигаю, как ты с первого раза верно и чисто стала произносить наши двугласные, которых нет в других языках, и, кажется, всего менее в вашем.

— Ты мне часто это говоришь,— сказала она весело,— но ты не льстишь мне и не шутишь?

— Нет, друг мой, никогда ты от меня этого не дождешься: разве ты не видишь, что я каждый день радуюсь твоим успехам? Знаешь ли что? Одни только русские могут перенять так скоро и верно чужой язык, и этому две причины: во-первых, полногласность собственного их языка; во-вторых, общий обычай учить детей двум-трем языкам: после такого навыка не мудрено подделаться под всякое произношение.

— Ну, спасибо тебе, что ободряешь меня,— сказала она на языке своего учителя, который от радости бросился ее обнимать. Поцеловав его, она с кротостью отвела его руку и, встав, подошла к окну. Стройный рост, гибкий стан и пышная круглота членов обозначились во всей их красоте; свежее лицо дышало миловидностью, а русые, пепелистые волосы обращали на себя внимание необыкновенным для этого цвета волос свойством — слегка курчавиться; приглаженные по обе стороны пробора, они сбегали легкой волной.

— Холодненько,— сказала она, подошед к железной печке на курьих ножках и с вычурными балкончиками,— у нас в России теперь теплее!

— У вас теплее? — спросил, изумившись, мужчина.

— Да, потому что у нас теплые печи; у меня была в моей комнате печь из синих изразцов, то есть с синими узорами; бывало, мой Ваня разбирает цветочки на них, а сосед наш,— ты знаешь, наш добрый сосед? — рассказывает ему, где фиалка, где незабудка...

Она замолкла, опустила взор и стояла несколько секунд в этом положении... Тук-тук-тук... молоточек, заменяющий наш звонок, ударил в двери, и горничная пошла отпирать. Кто-то вошел, и чужой голос спрашивал о чем-то девушку. Хозяева стали прислушиваться,— она, женщина, которую мы описали, едва только выглянула в первую комнату, как вскрикнула и рухнулась, будто пораженная молнией, на пол. Друг ее вскочил в соседней комнате с дивана и кинулся к ней на помощь; то же сделал вошедший с противной стороны посетитель, и оба, встретившись над лежащей в обмороке молодой женщиной и едва взглянув только друг на друга мельком, поспешно приподняли вместе обмершую и осторожно положили ее на диван.

Лишь только она стала немного приходить в себя, как неизвестный посетитель отошел в сторону, чтоб она его не видала, и, постояв немного, чтоб удостовериться в возвращении ее к жизни, вышел тихонько в двери и спустился по лестнице. По последним ступенькам шел он как-то неверно, покачиваясь, а внизу остановился, придерживаясь обеими руками; наконец он невольно присел, где стоял, прислонившись головой к перилам. В эту минуту выглянула из соседних дверей пожилая женщина, посмотрела на чужого и, сказав: «Ах, боже мой, что с вами? Вы больны, вам дурно»,— позвала еще женщину на помощь, подала недужному стакан воды, а когда он несколько оправился, то просила его зайти отдохнуть, сожалея и извиняясь, что мужа ее, гласного, теперь нет дома.

— Мы вас видели,— сказала старушка, когда она усадила Павла Алексеевича Игривого на большие кресла,— мы вас видели, когда вы пошли наверх; но скажите, ради бога, что с вами сделалось и что делается там? Я говорю, мы видели вас, а потом услышали наверху, у постояльцев наших, стук, какого никогда прежде там не бывало; мы послали туда девку узнать, что там сделалось, и слышим вот сейчас, что мадам Шильвакс сделалось дурно; я и хотела было заглянуть туда, думаю, не нужно ли какой помощи, выхожу да тут и вижу вас. Так это с вами случилось? И как же они вас так отпустили?

Игривый доволен был многоречивостью старухи, потому что мог в это время молчать и, сидя спокойно, отдыхать; но когда она наконец, в свою очередь, за-

молчала и ожидала ответа на вопрос свой, то он не знал, что отвечать на все это; он едва мог только опомниться, что и с кем и где он,— так все это неожиданно на него накинулось,— а чтоб у него в глазах позеленело, чтоб зашумело в ушах и голова пошла кругом — так этого с ним еще и отроду не бывало. Он, однако ж, собрался с силами и отвечал:

— Да, я поступил немного неосторожно — и ее напугал и сам перепугался. Я привез этой даме очень горестную для нее весть о смерти близкого ей человека — и она так была этим испугана, что ей сделалось дурно...

— Ах, боже мой, скажите!.. Что ж, ей лучше теперь?

— Да, она уже пришла в себя.

— А вы, верно, также родственник ее? Вы из России?

— Да, я из России. Скажите, давно эта дама у вас живет?

— Давно; она уезжала раза три в Теплиц и еще в Прагу и другие места, но, возвращаясь, всегда опять у нас останавливалась. Прекрасная дама, предобрая! С тех пор как муж ее приехал, они живут у нас — вот уж третий месяц.

— Так это муж ее — я его ведь не знаю; кажется, его у нас, то есть на родине нашей, не было...

— Да, муж; это также приезжий, человек ученый, профессор; они, видно, познакомились где-нибудь здесь, поблизости, или в Праге; да, кажется, в Праге.

— Но вы знаете наверное, что это муж ее? Я не успел спросить ее об этом — да и не было для этого времени.

— Да, это ее муж; так они по крайней мере говорят, и почему ж в этом сомневаться? Они хорошие люди оба. Съездив в Прагу, мадам Шильвакс сказала нам, что получила письмо от мужа и что он скоро будет; вслед за тем он и приехал. Да, она добрая, хорошая женщина, прекрасная женщина; мы ведь знаем ее здесь давно.

— Однако ж я отдохнул и мне пора идти,— сказал он, услышав над хозяйскою комнатой опять какое-то движение.— Прощайте, благодарю вас, извините, не взыщите за беспокойство...

Удушлив показался ему воздух на улицах Мариенбада; зимнее угрюмое солнце заткало светлую обитель свою серыми тучами; с соседних гор тянулись грядами облачка, ополчаясь против вёдра и угрожая ненастьем. Игривый шел скоро; ему беспрестанно казалось, будто за ним кто-то гонится, будто его зовут; он бежал, придумывая, куда бы ему укрыться; наконец, запыхавшись, остановился, поднес руку ко лбу, перевел дух и заметил, что голова его очень тяжела и все еще идет кругом, а в ушах свист и гул. Он оглянулся — за ним все было пусто. Взглянув на проскакавшую мимо его почтовую коляску, он как будто вспомнил что-то и бросился опять беглым шагом вперед.

Но посмотрим, что делает Любаша, опомнившись после обморока, потому что мадам Шильвакс, как называла ее хозяйка, переиначивая по-своему прозвание Шилохвостовой, была не иной кто, как сама Любаша. Открыв глаза и облегчив удрученную грудь свою несколькими глубокими вздохами, она долго смотрела как спросонья, оглядываясь кругом, будто чего-то искала и припоминала, и, несмотря на нежные лобызания своего друга, не скоро еще окончательно пришла в себя. Друг или муж ее, кто бы он ни был, после многих усилий и стараний с трудом мог привести ее в чувство, и тогда только наконец обильные слезы облегчили ее томление.

— Зачем же он ушел? Куда он девался?— говорила она.— Это человек, который сделал мне больше добра, чем мои родители, которого я уважаю более, чем кого-либо в мире! Я хочу, я должна его видеть... Неужели он не воротится? Я хочу его видеть и сказать ему все и выслушать все от него, что бы он ни сказал, сколько бы упреков он мне ни сделал... Я не перенесу только одного: его презрения!

Датчанин поцеловал у ней руку, взял шляпу и обегал весь Мариенбад, но нашел только свежий, едва простывший след того человека, которого искал: Игривый уже уехал, и никто не знал куда; хозяину сказал он, что по спешным делам немедленно уезжает в Россию. Датчанин вздохнул, отер пот с лица и безнадежно побрел домой. Любаша была сильно поражена и встревожена этим известием; она долго рассчитывала что-то по пальцам, спрашивая мужа: так ли? И наконец сказала: «Нет, он не мог еще получить

моего письма — он не знал еще ничего, и... и... о, как я перед ним виновата!..»— и, накрыв опять лицо руками, горько заплакала.

Спустя несколько дней, которые показались бедной Любаше годами и в продолжение которых муж ее тщетно искал Игривого с утра до поздней ночи, крестьянин принес ратсгеру письмо на имя Любаши и сам тотчас удалился. Она узнала надпись, сильно взволнованная разорвала обертку и принялась читать:

«Любовь Ивановна».

Она невольно вздрогнула и, переведя дух, продолжала:

«После нескольких бурных дней я наконец опять завладел собою и, кажется, могу говорить спокойно. Дайте ж мне высказать вам все, что у меня есть на душе; позвольте мне разъяснить себе самому все это на бумаге... Я в этом нуждаюсь — чувствую, что письмо будет длинно,— не пеняйте за это — оно, вероятно, последнее.

Я виноват перед вами вдвойне: во-первых, я слишком неожиданно явился перед вами, не испросив на это вашего согласия; во-вторых, вероятно, не менее растревожил вас и тем, что так внезапно скрылся, покинув вас почти прежде, чем вы опомнились от первого испуга. Но зачем же этот испуг? К чему или отчего он? С вами, Любовь Ивановна, я могу только говорить, как с самим собою,— или я должен молчать... Но я буду говорить... Я объясняю себе то, что с вами сталось, таким образом: все женские чувства ваши были некогда принесены на жертву и попраны недостойным образом; вам не дали узнать той любви, без которой такая женщина, как вы, существовать не может. Дружба ваша ко мне и преувеличенная признательность за мое сочувствие,— позвольте мне высказать все, для меня это необходимо,— эта дружба и признательность сделались, может быть, господствующими в вас чувствами и при угнетенном положении вашего духа удовлетворяли вас — за неимением лучшего; сердце ваше могло иногда хотя несколько согреться среди этого холода, от которого костенели ваши члены и остывала кровь... Но птичка в клетке и птичка на воле, на просторе — не одно и то же. Все ожило в вас, когда вам дозволено было вспорхнуть и оглянуться на свободе; силы возвратились, грудь вздохнула глубоко, сердце забилось

сильнее — и земное потребовало земного, а небесное небесного. Встреча в такое время с человеком, который достоинствами своими затмил перед вами многих, а может быть, и всех, который на чужбине явился перед вами, как посланный свыше, для спасения и успокоения вашего и избавления вас от грозивших вам неприятностей, который, наконец, и сам, может быть, еще впервые встретил подобное вам существо,— словом, встреча с таким человеком тронула вас, настроила душу вашу к тому чувству, которое, может быть, давно уже вас истомляло, не находя себе пищи... Что ж мудреного, если оно теперь увлекло вас и если вы теперь наконец, да, наконец, после стольких страданий, после четверти века жизни, после многолетней истомы и отчаяния,— если вы теперь не могли, да и не хотели налагать вязи этому чувству, которое вам впервые посулило на деле то, что прежде смутно представляли грезы тысяча одной ночи?

Вы видите, что я уже знаю все или удачно дополняю своим воображением то, чего не успел узнать. Словом, я знаю довольно, я понимаю вас и положение ваше; узнаю в вас все ту же Любовь Ивановну, которая не пугалась приезда алексеевского соседа в Подстойное, но была поражена прибытием его в Мариенбад. Путь подальше; нельзя было ожидать его сюда, этого соседа,— так; но верьте: и вы те же и сосед все тот же.

Успокойтесь же: вы вправе были располагать собою, и никто в мире не может сделать вам за это упрека. Вы принадлежали только себе и более никому. Если сосед этот и строил когда-нибудь воздушные замки, то никто, по крайней мере ни вы, никто, говорю, не давал ему ручательства в осуществлении его бреда. Вы не станете судить строго этого соседа, если он и обманывал сам себя временно — как, может быть, и вы некогда обманывались; он пробудился от обаятельного сна, не ропщет на суровую действительность, а благодарит даже за то, что был некогда счастлив во сне, и говорит: если даже избранному суждено жить только воспоминаниями и надеждой, то рядовой может удовольствоваться и одними первыми; он еще будет в барышах против того, кто век свой должен тешиться одною только надеждой, между тем как у него все прошлое представляет залежь, поросшую чертополохом...

Вы видите: бывший и нынешний сосед ваш — мудрец... О нет, не шутите так! Он ребенок, но он по крайней мере в состоянии написать вам то, что вы теперь читаете, и рука его, кажется, не дрожит...

Итак, одно кончено — вы в своем праве и обязаны отчетом в том, что вы делаете, самой себе, более никому. Теперь два слова о другом: о насущном.

Ваш муж, как ученый, привязанный к родине своей званием и местом, которое занимает и которое его содержит, уже по одной этой причине в Кострому не поедет. Вы знаете также, что все опять тот же сосед лишил вас всего вашего достояния, воспользовавшись удобным случаем, чтоб присоединить его по соседству к своему. Вы, сверх того, конечно, знаете и то, что, собственно, ваше именьице, если б оно и уцелело для вас, по незначительности своей не могло бы содержать вас с семейством. Итак, если еще ко всему этому вспомнить, что «жена да последует мужу», то позволено заключить, что Кострома вас более не увидит. Этому так и быть должно — по многим причинам, и потому позвольте мне считать это решенным; в таком случае вы будете исправно получать небольшие доходы с вашей вотчины, где бы вы ни находились, а дети ваши... о детях ваших забудьте, как обо всем прошедшем: они мои дети — дети мои будут воспитаны, пристроены и обеспечены со временем всем достоянием названного отца их.

Вот, кажется, все... Рука не повинуется, не пишет прощания навек, хотя голова и освоилась уже с мыслию, что этому быть так, а не иначе... Ответ ваш я получу в Алексеевке; напишите мне несколько строк: это меня укрепит и успокоит; благословите заочно на добрые дела...»

— Ради бога,— воскликнула Любаша, обливаясь слезами,— ради бога, друг мой, отыщи этого человека! О, он жесток, даже своим великодушием,—я его должна, должна видеть!..

На светло-голубых глазах датчанина навернулись слезы; он крепко обнял подругу свою и, схватив шляпу, снова пустился на поиск. Долго бегал и спрашивал он безуспешно — как ему вздумалось воротиться опять домой и расспросить еще раз хорошенько хозяев своих,

которые приняли от крестьянина письмо. Здесь он узнал, что крестьянин, подавший письмо это, по всей вероятности, был из селения Аушовиц. С этим сведением датчанин поспешил наверх, изъявляя Любаше готовность свою ехать в селение это сейчас же в надежде отыскать там беглеца. Она обняла друга своего за добрую весть, но не хотела и слышать, чтоб ему ехать сперва одному на разведку. «И я с тобой, и я с тобой!» — говорила она и уже хваталась рукой за салоп и шляпку. Через полчаса они катились по направлению к горам среди обмершей, но все еще прекрасной природы.

Недолго искали они в Аушовице, как им указали на небольшой крестьянский домик, сказав, что там на днях остановился приезжий из Мариенбада и притом иностранец. Чета наша подъехала к крылечку этого дома; сердце Любаши забилось так, что она с трудом переводила дух и, входя в сенцы, опиралась на своего друга; он растворил дверь, чтоб спросить хозяина, и Павел Алексеевич стоял перед ними.

Любаша бросилась с громким восклицанием ему на шею.

— О, какие вы! — сказала она, опомнившись несколько и успокоившись.— О, вы жестоки!

— Этого я не хотел,— отвечал он, собравшись с силами,— нет, не вините меня в этом, Любовь Ивановна...

— Нет, нет, не виню,— продолжала она.— Мне вас винить?.. Нет! Это было только так сказано, чтоб облегчить сердце... Но вы все-таки жестоки! Оставить меня целую неделю среди этой пытки... И вы меня прощаете? И вы можете меня простить?

— От всей души и чистого сердца прощаю, если вы только полагаете, что в чем-нибудь против меня виноваты, чего я, однако же, не знаю. Я высказал вам в письме все.

— Все, и от искреннего сердца?

— Все, и от искреннего сердца. У меня нет на душе более ничего. Я бы мог только разве для полноты покаяния прибавить к этому, что хотел было попенять вам, для чего вы не уведомили меня о том, что сделалось; но я рассудил тут же, что и это было бы глупо; кто мне дал на это право?

— Так обнимитесь же,— сказала она, сведя быстро вместе обоих друзей своих и кинувшись сама третья в

общие их объятия.— Мир и любовь навсегда! Благодари его,— продолжала она, обратившись к мужу,— благодари за все то, за что нельзя отблагодарить никогда...

Они пробеседовали вместе несколько часов; тут было пересказано все, как и где молодые наши встретились, по какому случаю познакомились, какие услуги он ей оказывал, как заботливо ухаживал за больною, отыскав ее брошенную без призрения и помощи, как она узнала в нем того человека, без которого не могла жить, и как он очутился точно в том же положении, и прочее. Любаша объяснила также и последнее недоумение Игривого: она действительно была уже обвенчана с датчанином, но по какому-то ложному стыду долго не решалась писать об этом Павлу Алексеевичу и наконец писала подробно несколько дней перед его приездом, почему он и разъехался с письмом. Когда зашла речь о детях Любаши, то она со слезами на глазах схватила руку его и хотела было ее поцеловать. Игривый узнал в датчание, как и полагал по слухам, человека с большими достоинствами и с чувством.

Наконец должно было расстаться: не надеясь более на силы свои, Павел Алексеевич не решился на этот подвиг; он обещал еще навестить друзей до отъезда своего, с твердым намерением не исполнять этого, обнял еще раз обоих, и, несмотря на общие восклицания: «До свидания», он их не видал более. Он выехал рано на другой день и гнал безостановочно до самой Алексеевки.

Приехав домой, он долго обнимал детей, которые повисли у него на шее, а затем и Машу, благодаря ее за материнское об них попечение. «Даст бог, скоро увидишь свою барыню,— сказал он ей,— она хотела быть сюда на тот год с мужем, за Анютой. Ваня остается у нас».

Маша была в одно и то же время так обрадована предстоящим ей свиданием с Любашей и опечалена скорой утратой своей Анюты, что не могла ни печалиться, ни радоваться, а со свойственною ей кротостью безропотно предалась судьбе своей. Но ей долго еще не пришлось расстаться с своей воспитанницей: в году много дней и часов — и через год многое переменилось. Через год Павел Алексеевич получил заграничное письмо с черною печатью; в письме этом муж Люба-

ши — к сожалению, уж не на шутку — уведомлял его с отчаянным сокрушением, что лишился своей подруги после непродолжительной болезни. Человек твердеет постепенно, мужаясь против непрестанных ударов рока,— и под конец нет уже такого удара, который бы мог сокрушить его. Игривый, не унывая, продолжал начатое благое дело и кончил воспитание Любашиных детей. Ваня хотел идти в военную службу; Игривый предоставил ему в этом отношении полную свободу, но с тем только условием, чтоб он наперед чему-нибудь путному научился, а потому и требовал, чтоб он кончил прежде курс в университете. Ваня исполнил это добросовестно и пошел в гусары.

Анюта росла и выросла дома, и надобно признаться, что только разве такой матушке, какова была Кондратьевна, то есть Маша, при таком названом отце, каков был Павел Алексеевич, можно вырастить и выходить без матери и без посторонней помощи такую девушку, какою выдалась Анюта. При достоинствах ее и общеизвестности богатого приданого, которым Павел Алексеевич ее наделял, можно бы приноровить к ней и к толпе женихов ее сказку о Сивке-Бурке или о Несмеяне-Царевне. В самом деле, в Алексеевке тричетыре года сряду не было отбоя от женихов: так падки были и в то время уже костромитяне на пригожих, умных и богатых невест. Наконец Анютин час ударил, и дело состоялось: судьба в этом отношении была к ней несравненно милосерднее, чем к бедной ее матери: Анютин муж был человек достойный. В числе приготовлений к свадьбе Игривый, между прочим, выкрасил старинные, некогда голубые, а потом белые стулья свои под красное дерево. Отпраздновав же свадьбу, обняв и окропив родительскими слезами свою названую дочь, Павел Алексеевич опять остался в берлоге своей один и стал по-прёжнему трудиться для других, хозяйничать и копить для своих названых детей.

Об эту-то пору Павел Алексеевич жил в Алексеевке истинным патриархом, среди крестьян своих и соседей, жил домоседом, заботясь только о своем хозяйстве да потешаясь по длинным вечерам доморощенным сказочником и наемным понукалкой; а истинным праздником для него был тот день, который приносил ему письмо,— потому что письмо это, наверное, было от Вани либо от Анюты: другой переписки в Алексеевке

не производилось. Тогда призывался верный Иван, который служил Игривому уже тридцать лет, и призывалась мамушка Кондратьевна, бывшая солдатка Маша,— и письма перечитывались по нескольку раз; в такой вечер и сказочник и понукалка увольнялись.

Дошед наконец в рассказе нашем до того отдела жизни Игривого, в котором мы изобразили его при самом начале повести, мы можем повторить: не бывает ли иногда наружность обманчива,— и как знать, что человек передумал, перечувствовал на веку своем, прежде чем он сделался тем чудаком, каким мы его узнали?

В другом месте и при других данных Игривый, вероятно, сделался бы человеком более замечательным, или, вернее, более замеченным; вы, может быть, убедились, что у него достало бы на это и чувства и ума; напротив, при тех обстоятельствах, которые его окружали, он одичал немного и огрубел; он даже бегал от выборов и по чудачеству своему не хотел идти ни в депутаты, ни в как бишь их еще... Но, бесспорно, сделавшись чудаком, он остался, однако же, в малом кругу своем полезным и примерным по благородству человеком и примерным отцом чужого семейства.

ГОВОР

Лет тому с десяток сидели мы в тверской деревне моей с добрыми соседями в саду, под навесом (а у меня вокруг дома сделан широкий навес, сажени в три), пили чай не торопясь, курили трубки и балагурили. Беседа подошла к народному говору, который различается так резко и ясно для привычного уха не только в разных губерниях и уездах, но даже иногда в близких, соседних полосах. Разве лихо возьмет литвина, чтоб он не *дзекнул*? Хохол *у саду* (в саду) сидит, *в себя* (у себя) гостит; и по этому произношению, как и по особой певучести буквы *о*, по надышке на букву *г*, вы легко узнаете южного руса; курянин *хóдить* и *вúдить;* москвич *владеет* и *балагурит*, владимирец *володает* и *бологурит;* но этого мало: в Ворсме говорят не так, как в селе Павлове, и кто наострит ухо свое на это, тот легко распознает всякого уроженца по местности.

— Не совсем я на это согласен,— сказал один из гостей моих,— воля ваша, а вы опять сели на своего конька. Другие поддерживали моего противника: они соглашались, что у нас есть различие в говоре по губерниям или, вернее, по полосам, что особенно реки обозначают пределы этих наречий, но утверждали притом, что по говору нельзя определить верно даже губернии, не только округа, что произношение в народе нашем какое-то общее, грубое, с небольшими оттенками, под Москвой на *а*, под Костромой на *о*, но вообще довольно неопределительное, шаткое, произвольное,

что к нему нельзя примениться и нельзя сделать по нем никаких верных заключений. Мнение это они подкрепляли еще тем, что, например, в Шенкурске находим почти белорусское произношение, а в Новгородской губернии весьма близкое к малорусскому, но что при всем том собственно в Великороссии все говоры эти сливаются более в один, и в этом одном оттенки не довольно значительны и точны.

На дворе пробежал дождичек, и опять проглянуло солнце; дорожки в саду были усыпаны каким-то илистым песком и сделались скользкими. Плотник, идучи мимо нас с доской — я строил беседку,— поскользнулся и чуть было не упал; я оборотился к нему и спросил:

— Что ты?

— Ничего,— отвечал он, прибавив к этому еще одно только слово, оправился, отряхнулся и пошел далее.

— Поверите ли вы мне на слово, господа,— сказал я,— что два плотника, которые у меня работают со вчерашнего дня, наняты в помощь моим не мною, что я их не видал, не говорил с ними доселе ни слова и что вот теперь, при вас, первый раз слышу, какой у этого человека голос?

— Коли вы говорите это, то поверим,— отвечали те,— почему ж нет?

— Ну, вы слышали, что он мне отвечал; скажите ж мне, откуда он?

Один недослышал, другие уверяли, что плотник отвечал только: «Ничего, скользко», и не брались вывести из этого никакого заключения.

— Это новгородец,— сказал я,— держу какой хотите заклад, и притом из северной части Новгородской губернии. А почему? Да потому что он сказал не *скользко*, а *склёзко.*

Пошли и спросили — вышло так.

Гости мои посмеялись этому случаю, потом начали подшучивать и наконец, по врожденному в нас духу сомнения, стали намекать, что едва ли я не подшутил над ними насчет моего знания народных наречий; они считали невероятным, чтоб я не знал, откуда пришли ко мне в дом плотники, а также не совсем похожим на дело, чтоб по одному слову *склёзко* узнать северного новгородца.

— Воля ваша, господа,— сказал я,— но мне случалось это уже не десять раз и на веку моем, и я очень

редко ошибался. Впрочем, я соглашусь в том, что собственно говор или произношение вернее указывает нам родину, чем то или другое слово, но иногда именно одного только слова достаточно, чтоб решить вопрос.

В это время доложили мне, что пришли два старца с сборною памятью. Я уже слышал об них; они разъезжали несколько времени по нашему уезду и обратили на себя по разным обстоятельствам некоторое внимание. Они вошли; один был старичок хворого вида и молчаливый, а другой молодец собой и красавец, ловкий, бойкий, но, впрочем, держал себя также очень прилично. Я их посадил, начал расспрашивать и удивился с первого слова, когда молодой сказал, что он вологжанин. Я еще раз спросил: «Да вы давно в том краю?» — «Давно, я все там».— «Да откуда же вы родом?» — «Я тамодий»,— пробормотал он едва внятно, кланяясь. Только что успел он произнести слово это — *тамодий* вместо тамошний, как я поглядел на него с улыбкой и сказал: «А не ярославские вы, батюшка?» Он побагровел, потом побледнел, взглянулся, забывшись, с товарищем и отвечал, растерявшись: «Не, родимый».— «О, да еще не ростовский!» — сказал я, захохотав, узнав в этом *«не, родимый»,* необлыжного ростовца.

Не успел я произнести этих слов, как вологжанин мне бух в ноги: «Не погуби!..»

Под монашескими рясами скрывались двое бродяг с фальшивыми видами и сборною памятью; мой ростовец был сидельцем на отчете, унес выручку и бежал. В раскольничьих скитах нашел он пристанище и доселе шатался по разным местам, собирая подаяние.

Это приключение рассмешило и утешило моих гостей; тут уже подлог с моей стороны был невозможен, и они убедились в основательности моих познаний по части отечественного языковедения.

ГРЕХ

В вотчинной конторе главный приказчик сидел на своем месте, на высоком круглом табурете, перед высокою конторкою; вокруг человека два побрякивали счетами, а в передней половине комнаты, отделенной перильцами, стояли несколько крестьян. Они подходили поочередно, кланялись, клали перед главным приказчиком несколько раскрытых ассигнаций и, если дело было в порядке, по знаку его молча либо со вздохом удалялись. Кому счастье послужило и оброк был выработан с избытком, тот был и с виду повеселее, потряхивал головой и разводил кудри руками; иной же бедняк вздыхал, и сопел, и поворачивался будто нехотя, когда приходилось туго либо надо было просить на одну часть оброка отсрочки. Приказчик обращался хорошо и довольно ласково с людьми, и кто вносил более половины за полгода и представлял дельные причины, тому он при надлежащих наставлениях давал отсрочку. Низко кланяясь и благодаря Ивана Тимофеевича за милость и льготу, тот уходил с отсрочкой своей домой.

Наконец приказчик обратился к крестьянину, который стоял поодаль в углу, держал шапку перед собою в опущенных руках, глядел в землю и во все время даже ни разу не почесался. Крестьянин этот незадолго перед сим отвечал приказчику:

— Нет у меня ни гроша, батюшка Иван Тимофеевич, власть ваша.

Иван Тимофеевич тогда поглядел на него только искоса и продолжал рассчитываться с другими; теперь же он, положив оба локтя на конторку, опять посмотрел на мужика попристальнее и сказал:

— Осип! Что ж это будет с тобой? Шутишь ты, что ли?

— Не шутки на уме, батюшка,— отвечал тот.— Такая задача задалась, что хоть ты что хошь делай. Известно, батюшка Иван Тимофеевич, ваше дело правое; на вас нашему брату жаловаться нечего, да и на господ плакаться грешно: милуете и жалуете, а свое, что следует, внеси; на то тягло держишь, на то землю пашешь. Что угодно, то и делайте, и отсрочки просить больше не стану — что ноне, что завтра, что через год,— знать, уж все одно, мне заплатить нечем; так задалось.

— Да отчего же так, Осип, отчего же другие платят и не жалуются, что оброк велик, а говорят, что по силам?

— И я, батюшка, не жалуюсь, благодарим господ своих и вас: оброк, нечего бога гневить, не то чтобы больно велик; да, вишь, как нет его, и воротился с пустыми руками, так что станешь делать? Невелика вещь вчерашний день: дней у бога впереди много, да уж не забудешь его, хоть надорвись. Сами вы изволите знать, что за мной ни пьянства, ни другого какого художества нет; да, видно, такое есть попущение божие, так задалось.

— Плохо будет тебе, Осип: другой срок упускаешь, и все неисправен. Я уж не знаю, что с тобой и делать стану; а потачки тебе нельзя дать, уж и ради других.

— Об этом кто говорит, Иван Тимофеевич, это известное дело, что нельзя; вы поноровите одному, а они все откажутся; пожалуй, с половины мужиков не сберешь оброку.

— Так хоть растолкуй мне, какая ж была тебе задача? Год ходил, руки работающие есть; отчего ж ты ничего не принес?

— А вот, батюшка, отчего: пришел я на место ни с чем, таки вот через силу дотянулся; а в Питере, известно, омут; как ввалился в рогатку, так и доставай мошну: билет выправить, больничные, да пошлинные, да за прописку — а есть надо, на гривенник одного

хлеба на день мало,— ну, и идешь к кому ни попало, таки живьем в руки разбойнику и отдаешься: только слава, что подрядчик, а христианской души в нем нет. Ну, работал я недели с три, а там схватило меня что-то, заболел; пролежал, и недолго, да подрядчик все в прогул ставит, вычету полагает по целковому на день. Легкое дело целковый! Отдать-то его не мудрость, да поди-ка заработай его! Тут, только что вышел из больницы, другая беда прилучилась, так вот ровно с неба за грехи свалилась: стал, то есть сделался прикосновенным — и бог знает за что; а затаскали было и пропал было совсем: раздавили на улице человека, наехала карета, сшибла его — и под колеса. Он лежит, а тут бой такой, не по-здешнему, карета за каретой, стук, крик — того гляди раздавят лежачего вовсе, а еще он, может статься, жив. Я подскочил, ухватил его под руки и оттащил к краю; то есть, по-тамошнему, плитувар называется, где ходят пешие; набежали эти городовые, взяли его, да и меня туда же. Я проситься у них: за что, мол, меня-то? Там, говорят, разберут все, а нам тебя, по прикосновенности, отпустить нельзя: пойдем и не толкуй.

Привели, да и увязили меня в такое место, что не дай бог ни другу, ни недругу. Сижу я неделю, сижу другую, денег со мной нет ни гроша — хоть пропадай! Наконец через великую силу упросил я, чтоб хоть послали обо мне весть подрядчику: авось хоть он не вступится ли. Подрядчик пришел, выкупил меня у писаря. Я измолился ему, как вот отцу родному; работал все лето, пришло дело к расчету — с костей да на кости — он насчитал еще рублей семь на меня! «Как, мол, так? Побойся ты бога!»—«Да вот как: вот, мол, что следует тебе за лето; вот сколько вычету за прогул, когда был болен, а вот сколько, как сидел в сибирке; да вот еще выкупу за тебя дано. Гляди, что осталось: вот, семи рублей не хватает».

Поплакался я на обиду да пошел к другому подрядчику: авось-де не посчастливится ль получше. Так старый подрядчик не отпускает, не отдает паспорта; принужден заиять у нового деньги да расплатиться: вот и заработал. А тут еще опять-таки за прописку, да то, да се, так я опять в долгу, как в репью. Ну, авось, бог милостив, отработаем, что-нибудь заслужим; благословясь, пошел опять снова. Проходит месяц, дру-

гой, третий, что-то подрядчик наш больно плох делается, все отнекивается; как придет дело к расчету, все, говорит, после, а выдает, кому уж больно нужно, по гривнам да по копейкам. Мы потолковали промеж собой — как быть? Уйдешь, все пропадет, что заработано; кажись, он человек добрый, и люди хвалят — останемся да поработаем, авось не обидит. Пришел срок, надо распускать рабочих, а подрядчика нашего нет, пропал. Снял он, вишь, работы с торгов, по планам, рассчитав по свае и по кирпичику, а тут вышло не то: как пришлось к делу, ан планы те и не годятся; тут прибавить, там убавить, тут на сводах сделать, там под бут сваи забить,— а всего этого по ряду и не было; он туда, сюда, хотел было откинуться — так не пускают; деньги-то усадил, пошел просьбы писать да смазывать — и сел; вот он, сердечный, утопился ли, как сказывали, бежал ли куда, только что пропал, а мы с одними руками да с брюхом остались. Покуда водили нас, да допрашивали, да выдали паспорты, так последние крохи и проели, и животики подобрались; срок паспортам вышел, гонят, ступай домой — вот я и пришел. Батюшка Иван Тимофеевич, что хочешь, то надо мною и делай.

Подумав немного, приказчик все-таки счел за нужное побранить Осипа и постращать его, тем более что и сам он не оспаривал пользы этого, уверяя, что народ ныне все друг на друга смотрят и что потачки нельзя давать никому. Но затем Иван Тимофеевич простил Осипа, то есть не наказывал его, а велел приходить еще раз за паспортом, обещав написать господам и просить их, чтобы еще потерпели до следующего года. «А коли тогда не внесешь, то уж не прогневайся, будет плохо: либо с тягла ссажу тебя да в работу пошлю, либо лоб забреем. Дальше делать с тобой нечего».

Осип провел дома, в семье, несколько недель довольно спокойно, готовясь опять в путь. «За один-то год,— говорил он,— бог даст, как-нибудь уплачу я оброк, а уж за два — хоть разопнуться, так не добудешь, об этом и думать нечего. А что будет со мной, как и на тот год приду, хоть не то, что как ныне, да с недоимкой? А что ж будет — будет, что богу угодно. Власть его святая».

Пришло время отправления, и Осип, получив паспорт свой и строгое повторение добрых советов и нака-

зов, отправился. Всю дорогу раскидывал он на умах, как ему ухитриться, чтобы отбыть повинность с недоимками и выйти хоть без поживы, да лишь бы самому быть живу. «Не до барыша,— думал он про себя,— была бы слава хороша...» А между тем и на умах у него концы с концами не сходились. Он опять подумал: «Власть господня»,— и пошел дальше.

Проработав еще круглый год, не заболев ни разу и не посягая на спасение погибающих, Осип заработал и на этот раз получил от подрядчика долю свою сполна; но ее едва только доставало на уплату годичного оброка, потому что он принужден был услать домой рублей семьдесят, частью на прокорм семьи, а частью на помощь ей же, по полученной отписке, что лошадка пала и работать нечем. Возвращаясь домой сам — третий, с двумя товарищами, он уже принимался рассчитывать на все лады; но и тут и там не хватало, потому что и тут и там были долги после несчастного года. Горе стало больно опять одолевать нашего двоеданца; а когда его еще и товарищи обидели дорогой, напившись пьяными и поколотив его сам — друг за то, что он во весь путь не хотел поднести им ни одной косушки, то он, крепко разбранившись с ними, покинул их хмельных и пошел один вперед. «Что ближе из неминучей беды, то лучше,— подумал он,— за горами только страсти живут».

На другой день, когда заветная дума стала у него все больше и больше разыгрываться, он то упадал духом, плачась на судьбу свою, то опять придумывал средства, как бы пособить горю, то со спокойствием и решимостью шел встретить свою участь. Невольно пришло ему при этом на мысль, что-де есть же люди богатые, которым ничего не стоило бы подарить бедняку сто рублев, и бедняк был бы спасен. Вспомнил он также известное в том краю происшествие, где крестьянин срезал чемодан у проезжавшего и нашел там, кроме вещей, большую сумму денег, так что разжился с той поры; между тем как прошло уже годов более десятка и никто не дознался этого дела, и мужик живет себе спокойно и богатеет. «Стало быть, не разорил же он того господина,— продолжал он думать, выводя бог весть из чего такое заключение,— а опосля того он зарекся и стал мужик смирный и честный, не оби-

жает никого... А пошел он на это дело, может статься, также не по своей воле, а по нужде...»

Осип оглянулся, а за ним тянется по сыпучему песку рыдван осмериком. Кляч напутано много, но толку мало: пески по ступицу. Рыдван поравнялся с Осипом. Время холодное, все кругом запутано, а на запятках привязан, будто для соблазна, чемоданище с замком, продетым в ременную мочку. С четверть часа Осип шел рядом с каретой, поглядывая то на ямщика и лошадей, то на чемодан, в котором, надо быть, набиты все одни деньги. Были сумерки, лес по обе стороны дороги тянулся вплоть, и Осип подумал: «Если б кто стал срезывать чемодан этот и даже воришку заметили бы с козел, то ему легко по первому крику соскочить и уйти в лес... А принести-то мне нечего барину, в контору то есть, хоть и все отдать, так все недочет велик; а дома-то что будет?»

Осип оглянулся — он шел следом за каретой — никого нет, все пусто. Он присел на запятки, думая: «Хотя доеду, все легче будет...» А между тем, ощупывая кругом чемодан и видя, что он только припутан веревкой, Осип достал из-за пояса топор свой и продолжал думать: «Вот как бары-то без оглядки ездят — видно, много у них лишнего добра,— долго ль до греха, вот ведь только подрезать веревку — и своротил его долой, пожалуй и сам упадет, как где тряхнет на кочке...» Думая это, он уже подрезал веревки, о которых говорил, сбросил чемодан на землю, а сам стоял перед ним в каком-то страхе и недоумении, оглядываясь во все стороны. Он почти уже хотел кричать вслед за рыдваном, чтоб взяли потерянный чемодан, но у него затянуло гортань, так что он с трудом только дышал, а говорить не мог.

«Что будешь делать,— сказал Осип, надумавшись,— стало быть, такая судьба моя; тут мудровать нечего: взял чемодан за ухо и потащил его через канавку в сторону». Уже порядочно смеркалось, а потому Осип далеко в лес не забирался, а расположился на опушке и, взрезав кожу, начал перебирать вещи, доискиваясь денег. Долго перерывал он белье, книжки, платья, одеяла и прочее и никак не мог понять, куда эти деньги девались. Перебрав все по ниточке и убедясь наконец, что денег нет, он встал, поглядел вокруг себя и опять на добычу свою и, горемычно по-

чесывая затылок, теперь только стал раздумывать, как же ему быть и куда с вещами деваться. Во-первых, он чемодана не донесет на себе; во-вторых, если б и донес или выбрал что есть получше из вещей, так неминуемо с ними попадется, потому что на следующей же станции проезжающие, без сомнения, объявят о пропаже, а село наше оттуда всего двадцать верст. «Эка притча,— подумал он,— эко грех попутал! Догнать было их да сказать, что нашел, так не догонишь теперь, да и не поверят: веревки обрезаны, попадешься и не разделаешься...» Осип плюнул, проклял соблазнителя своего, перекрестился и пошел скорыми шагами вперед, бросив чемодан и вещи на произвол судьбы.

Между тем двое товарищей его, с которыми он поссорился, покинув их назади, проспались, протрезвились и, торопясь домой, к рассвету пришли на мамаево побоище, как они его называли, на то место, где лежали распоротый чемодан и разбросанные вещи. Они также шли сторонкой, тропой, и потому прямо наткнулись на Осипову беспутную работу. «Это что, парень, гляди-ка!»— поглядели сперва, оробели было немного, полагая, что тут был разбой и убийство, но, разобрав и догадавшись вскоре, в чем дело, рассудили, что чем добру этому пропадать тут даром, так лучше его забрать.

— Весь чемодан с собой тащить опасно,— сказал один.— А мы, брат Серега, разберем-ка лучше по рукам что есть получше, да, завернув во что-нибудь, привесим себе замест котомок, и пойдем: гляди-ка ты, что добра тут! Это вот, вишь, белье все тонкое, хорошее, и платье тож; придем домой, спрячем, а опосля продадим.

— Разумеется,— сказал другой.— Нам что, мы ни в чем не причастны, без греха: нам бог послал; а это чья работа — мы не ведаем.

Но едва успели они подойти к ближайшей деревне, где была станция, как их обоих обступили, потому что тут уже стерегли, не покажется ли какой-нибудь подозрительный человек. Туда-сюда, стали их ощупывать, осматривать, нашли у одного в кармане шелковый платочек и принялись развязывать котомки. Тут деваться было уже некуда: бедняки мои пали в ноги и стали божиться и заклинаться, что они не воры, а

находчики. Их связали и отправили вместе с найденным по их же указанию чемоданом в суд.

Осип пришел домой, поздоровался с хозяйкой и ребятишками, рассказывал немного, был как-то молчалив и угрюм и поминал несколько раз беду свою, что не знает, как и с чем завтра показаться в контору. Ему на другой день будто нездоровилось, и он просидел дома. К вечеру в этот же день пришла на село весть, что Серега с товарищем попались вот по какому делу; что, видно-де, лукавый попутал и хоть жаль ребят, а пропадать им не миновать: добра в чемодане было на большие деньги. Чего доброго — сошлют.

Осип как будто этого и ждал: как только у него в соседстве раздался вой Серегиной хозяйки, которая вышла нарочно для этого на улицу, заламывала руки и причитывала, то Осип встал, попросил прощенья у жены своей, которая не могла понять, что это значит, благословил ребятишек и пошел в контору.

— Здравствуйте, батюшка, Иван Тимофеич,— сказал он.— Много благодарен милости барской и вашей, что не разорили вы меня, а ждали оброк с меня третий год. Что бог дал, я принес, вот все до копейки, не оставил дома ни гроша. Только вот что, Иван Тимофеич, вы извольте поскорее отправить меня в суд. Хоть Серега со Степаном обидели меня больно, побили задаром, да уж за это бог их простит, а напраслины им терпеть нельзя: чемодан-то я срезал сдуру у проезжих, вот и топор мой, им и веревки обрезал, да опосля бросил, не взял ничего; а они ни в чем не виноваты, они пришли на готовое. Так уж простите, батюшка Иван Тимофеич, вы меня грешного, — продолжал Осип, повалясь в ноги,— что и вас, то есть и барина, я этим изобидел; а меня прикажите вести в суд: видно, судьба моя такая.

ДВУХАРШИННЫЙ НОС

Ну, извозчик, теперь мы с тобой выехали на простор: за рогаткой не будет езды такой, как в городе, и разговориться тебе свободно: сказывай же!

— Да что, батюшка барин, что вам сказывать-то? Житье-бытье наше известное — не барскому чета, а бога гневить нечего, жить можно.

— Оброку что платишь?

— Оброку? Да оброку-то, вишь, многонько платим; оно бы и ничего, кабы его добыть можно, а то, того гляди, поворотят тебя на работу, а в дому-то и худо будет. Оброку чистого платим мы с тягла — сперва было сто пятьдесят рублей, а теперь пошло на серебро, так положили сорок пять целковых.

— И уж больше нет повинностей никаких?

— Опричь того, три дня работы с сохой, три дня жать, три дня косить, три дня сено грести, да хлеб перевозить на барское гумно, да три дня молотьбы, да опять хлеб в город свозить — вот эта гоньба одолела нас, что стоянки за нею много,— ну да еще зимой двенадцать возов дров привезти из лесу да десять рублев караульных, на усадьбу, за сторожей; а там казенное подушное внести, да и ступай, куда хошь.

— А много ль это всего, по вашему счету, на деньги будет?

— Да на деньги, батюшка, коли то есть кто домой не едет круглый год, уж чтоб хозяйки его не обижали, нанимает за себя, на все,— так сходит никак по две-

сти по двадцать ассигнациями и по тридцать. Все бы это ничего, кабы хоть уж земля была — знали бы, за что платим,— а то землей мы больно обижаемся.

— А что, не хороша земля у вас?

— Да уж чего хороша, батюшка: это известно, божье дело, не наше; какова ни есть, такову и паши; да пахать-то нечего: всего по две мерочки посеву — вот что.

— Видно, плохо унавоживаете, то есть позему мало кладете?

— Э, баринушка, одной женой да одной коровой десятины не обрядишь, хоть что хошь делай. Известно, были б луга, держали б скотинку; ан их нет, ничем ничего, и сено купуешь. Да кабы еще на казенный лес, так хоть трубу закутай на круглый год, и дыму б не понюхал дома: лес у барина заповедной, что добудешь в казенном бору, то и горит. Порядки-то ныне пошли вишь какие, большие, что проходишь да проездишь за выправкой, так ино и полено того не стоит; ну, а славу богу, бога гневить нечего, все живется; что ни сорвет лесной, а все без тепла не живем.

— Ну, и слава богу, это, стало быть, ладно; теперь сказывай, как живешь у хозяина, почем что зарабатываешь да какова бывает удача.

— Да это, барин, известное дело, нанялся — продался, семь дней работать, а спать на себя. Хозяин платит рублев двадцать в месяц, кормит, дает верхнее платье; съездишь в день — да не равно, как бог даст: на три, на пять и на десять ину пору, в праздник, ассигнациями то есть; за счастливым поедешь боронить по улицам, не зевай только, и посадишь как раз; только свалил его — другого; а не задастся, так без почину домой приедешь, и то бывает; либо и того хуже, как полубарин какой-нибудь ездит, ездит целый день, лошадь замучит, надо бы с него получить рублей пять, а он соскочил где-нибудь: «Сейчас, братец»,— да в проходной двор и шмыгнет; вот и ищи его! а тут еще простоишь да прождешь его часа два...

— Ну, а по чему же хозяин учтет тебя: может статься, ты обманешь его?

— Зачем обманывать, барин! Разумеется, кто этого не боится —пожалуй, на то воля; да ведь уж этакой долго не наживет у хозяина, а новый уж того жалованья не положит тебе, что старый. Ведь они дело это

знают. Сам утаишь, так лошадь скажет: ведь он видит, сколько то есть умучена она; опять же выйдет посмотреть, как она есть. А конь, бывает, стоит повесив голову, а ты с недовыручкой, так вот он и знает. Хозяин кладет кругом свой расход, на содержание, с квартирой, с харчами, с ковкой, со всем, какова цена бывает на овес, рубля три, и поменьше и побольше; на чай, на калач, хоть гривенник, хоть ину пору и два, это сам хозяин велит: ведь мы обедаем ночью, как домой приедем. Ну, а уж коли от тебя вином несет, так никакой выручке не поверит, этого не любит. Вот уж разве как сам ину пору загуляет — ну, тогда и все пошли и нашего брата не удержишь. Тогда он, сердечный, как придет домой, а под шапкой то есть пойдет на конюшню, осмотрит лошадей, глянет на ребят, что тоже есть хмельные,— покачает только головой: «Ну, говорит, гуляй, ребята, покуда я гуляю: а вот ужо я вас приму в руки... как бросим пить...»—так опять и пошел по хозяйству по-прежнему, и даром что гулял, а все знает, все помнит, попрекнет каждого всем, что было.

Если, примером сказать, какой грех случится над нашим братом, то хозяин в счет ставит, вычитает. Вот я возил раз барина в Парголово, а оттуда ехал ночью; грязь, темь, хоть глаз выколи; пьяные чухны всю дорогу заставили — я и свалил дрожки в канаву: бился, бился, не подыму один, хоть надорвись; попросил чухонца — он, спасибо, пособил да впотьмах вожжи и украл. Туда, сюда — нет; а вожжи ременные, плетеные. Хозяин десять рублей и вычел! В другой раз я, не знамши, арестанта посадил, из госпиталей. Так уж тут не до того было, чтоб с него что взять, а насилу от него-то ушел: поймают — за тобой еще пуще погонятся, чем за ним; с него-то нечего взять. Наш брат этого-то и боится. Иной смелый лихач вон и с мазуриками ездит по ночам, на хропок: двадцать пять и пятьдесят рублей за ночь получает — да нет, эта пожива плоха: у нас был один такой — пропал; подъехали к часовому мастеру, высмотрели, мазурик соскочил да двери в сенях припер поленом, взял из саней такую рукавицу, с гирей, пробил цельное окно, что захватил часов в охапку, сорвал, на сани, да и удрал. Мастер кинулся к дверям, покуда догадался, что приперто, да побежал кругом, через двор, а тут уж и след простыл. Однако

в те поры было, видно, такое время, что ловили их, то есть по строгости, и поймали как-то, и пропал наш лихач, что слуху по нем не стало.

Кто у колоды стоит, на хорошем месте, да дешево не возит, тому не в пример легче нашего брата. Лошадь у него сыта, меньше четвертака, а иной и полтинника, он ее и с места не тронет; съездит раз, другой — на то же наведет. Еще нашему брату по гривенникам того и не сколотить.

— Ну, любезный, а какие ж еще бывали с тобой напасти?

— От этого не уйдешь, известное дело, хоть как хочешь раскидывай умом. Есть, спасибо, добрых людей на свете довольно. Бог с ними! Все жить можно. Вот раз еду на острову, около Николаевского; барин какой-то, уж немолодой, и крест на шее,— накупивши полный платок апельсинов, нанял и поехал. Я еду да еду — и невдогад мне, что народ смотрит на седока моего, ровно не видал его; вдруг апельсины те с дрожек покатились — я оглянулся, а барин, ровно хмельной, голова мотается и сам с дрожек ползет. Испугался я, остановил лошадь, соскочил, не знаю, апельсины ль собирать, его ли придерживать,— я к нему, а он уж богу душу отдает... Так вот у меня ноги и подкосились: беда! Нечего делать, повез я его прямо в часть, спасибо недалече было; привез его чуть живого, тут и помер. Ну, и посадили меня; не так жаль себя, как сердешной лошади,— уж так жаль, так жаль, что индо плакал, ей-богу... Вот так вовсе замучали ее, такие живодеры! Кормить не кормят, а гонять гоняют зря, кто куда попало... Ах, ты господи боже мой, что ты будешь делать? Вот беда пришла! Сижу; а меня только и выпускают за тем, чтоб, вишь, навоз подгребать вокруг лошади своей... Побойтесь вы бога, говорю, какой тут навоз будет; скотина другие сутки не евши, то есть вот хоть бы тебе зерно дали, былинку одну... Как вывели меня на двор да взглянул я на нее, сердешную, так вот я тебе и залился слезами: крюком согнуло ее, кормилицу мою; сама стоит да из навоза-то и теребит соломку... Я так вот и взвыл: что хотите делайте, и дрожки возьмите, и кафтан с меня возьмите, говорю, только меня с нею отпустите! Вот в те поры и пропалатаки лошадка эта у меня, не выходил уж я ее, пала.

Я и остался без рук. Нечего делать, пошел опять к хозяину, на чужих ездить... А ее и татарам не продал, вот что, пожалел...

— А от своей у тебя много ли больше оставалось на очистку, чем от хозяина?

— Как же можно равнять это! Все-таки своя лучше. От своей закладки, кого бог благословит, иной год двести пятьдесят и триста рублей ассигнациями на очистку выйдет. Ну, известно, над кем беда встрясется, вот хоть бы как надо мной, что пропала лошадка ни за грош,— уж тут не до барышей; не до жиру, а быть бы живу. Оно, конечно, все ничего, жить можно, поколе господь грехам нашим терпит, бога нечего гневить, лучше молчать. Вон у нас сосед есть, тоже помещик называется, так семерых в один кафтан согнал — и то живут, да еще и песни поют—вот как. Мало ли, на свете не без того, есть всякая обида, да нашему брату надо терпеть. Вот у нас ину пору, например, номерной староста кого вздумает прижимать, коли из чести не даешь ему полтинника за выправку нумера: так чем ему взять? Вот он и пойдет наряжать тебя раз в раз, как требуют извозчика в часть, глядеть, когда над нашим братом расправа бывает, за какую провинность; вот он и наверстает тебе на то же, и полтиннику не рад будешь, а того гляди без хлеба останешься. Или вот городовой — ну, свезти бы его в часть с пьяным каким, что ли, это бы можно, ничего; так ведь там-то стоишь после, стоишь, уехать не смеешь, покуда не отпустят, либо еще номер отберут: вот и находишься после за ним. Зато уж наш брат знает это: как только завидел его где, что оглядывается, то вот как зайцы из-под облавы, все врознь, кто куда попало, только давай бог ноги... Ну уж зато как оплошаешь да попадешься, так только держись... А все ничего, слава богу, то есть нечего бога гневить, жить можно.

— А рекрутство как у вас идет?

— Да мы, благодаря бога, некрутством не обижаемся; у нас хорошего мужика не отдаст барин ни за что, хоть сто лет живи; а вот как чуть который зашалит, так ему и забреют лоб взачет, запас и есть; а набор пришел — квитанции у барина готовы. А там у них есть чередной, хоть жеребьевой, все одно: и очередь и жребий — все в воле божьей да в руках начальства. Есть у меня там кум, богатый мужик, да из-за этого

самого дела вот того гляди по миру пойдет: известно, всякому своего жаль; мы того не разбираем, что и другому своего жаль: кошке котя, а княгине ребя — тоже дитя. Ну, как только набор скажут — а семья у него большая,— так он и пойдет хлопотать; раз усадил сотню-другую невесть куда, и в другой раз, а в третий уж никак сот семь. Другие, известно, обижаются этим, ходят, просят, ярыжек зазывают, потчуют, задаривают, напиши то есть просьбу; ну, тот, известное дело, что богаче мужик, что больше с него надеется вымозжить, то и просьбу длиннее пишет, и настрочит тебе в просьбу то, чего и сроду не бывало, а может статься, коли и было что, так ведь, не обмотав вокруг пальца, не докажешь. Вот и стал виноват. Одного потянули, другого потянули, все перепугались, так что беда. За кого тут взяться? Известно, за богатого. Опять принялись за моего кума сердешного, да так то есть обработали его, что никуда не годится. А что проку? Год прошел, опять сказан набор, опять дело его не минует: отбыть уж и не стало сил; разориться разорился в разор, а року не миновал: среднему сыну таки забрили лоб.

— А у тебя из родни есть кто в солдатах?

— Есть брат, да не родной. Ну, нечего грешить, его таки отдали за дело: за свою правду стал, да уже задорен больно — вот хоть с кем, так на драку готов. Отобрали, вишь, конопляник у него, что уж годов с двадцать все владел и наземом поправлял, а отвели другой, почитай что кочкарник, обделывай, дескать, снова. Ну вот он тут за свою обиду и постоял да вилами всю одежду перепорол на том мужике, за которого с барского двора, от самого то есть господина, девку отдали, а за нею и конопляник этот пошел, как будто то есть в приданое. Пришел сам приказчик унимать,— ну, а брат стоит себе с вилами на стороне, настороже. на своем коноплянике, никого, говорит, не пущу, хоть что хошь делай. Приказчик к нему, да то есть чтобы в зубы его, а тот его по лбу вилами, да на них же поднял, да через тын и махнул; тот насилу встал, словно бока отлежал. Вот оно какое дело было. Ну, барин и осердился и приказал тотчас его сдать. Как сказали ему, что в солдаты, так он и бросил вилы и пошел сам, говорит: «Вилы как не сменить на государево ружье;

пойду сам и никого не затрону, не опасайтесь». Ну, и пошел; живет себе, ничего, служит — не тужит; он прошлого года писал домой, так пишет, что, благодаря бога, жить можно на свете. Оно и точно, сударь, можно; поколя господь грехам терпит.

— Ты помянул, однако ж, про двух покойников, которых возил, а рассказал только про одного: какой же такой был у тебя другой?

— А другой, батюшка барин, был вот какой: на маслене посадил я под качелями двоих плотников, что ли, каких-то, и везти было их в Ямскую. Оба они, правда, хмельны были, а один так уж и вовсе ноги волок. Товарищ втащил его, уселись, поехали. В Чернышевом переулке вдруг что-то у меня развалились седоки, а сидели было сперва смирно; я оглянулся: один глаза под лоб закатил, а другой, соскочив с саней, да давай бог ноги,— видно, со страху и хмель прошел,— так по Садовой и пустился. Гнаться мне за ним нельзя, а испугавшись беды, я остановил лошадь, поглядел на товарища его — ничего, мол, бог милостив, видно больно хмелен, отойдет. Усадив его кой-как в сани, я скорее до места; там ребята обступили, как стал я доспрашиваться, где тут плотники живут. Посмотрели они на седока моего, который уж весь под полсть съехал, узнали его в лицо. «Это, говорят, Гришка, вон он где стоит, там у него и хозяйка». Привожу туда и спрашиваю Гришкину хозяйку; она было вышла, да как поглядела на него, как увидела, что неживой, а уж он у меня и помер в санях, так и откинулась: не принимает, да и только, хоть ты что хошь делай. «На что его мне, говорит, ты, коли извозчик, так живых вози, а не мертвых».

Я туда, сюда, народ собрался, кричат, день же праздничный, кто говорит ей: «Прими, дура, ведь твой»; кто кричит: «Не принимай, беда будет». Бился, бился: нечего делать, повез в часть... Видно, такая моя доля! Наплакался я и этот раз, и другу и недругу закажу покойников возить: «Найди, говорят, да поставь нам товарища его»; так где же я его возьму? «Уж коли вы, господа, не отыщете его, так нашему-то брату где ж его взять? Ведь я посадил его на улице, хлеба-соли с ним не важивал, паспорта его не прописывал и на уме его не бывал, не знаю, куда он повернул из Садо-

вой да куда удрал»; так нет, говорят, подай: «Покуда его не найдем, и тебя не отпустим». Лошадь же моя была хозяйская, так хозяин и хлопотал; подержали с месяц и выпустили.

А вот, барин, помянул я про паспорт, а вы про все расспрашиваете, так к пиву едется, а к слову молвится,— к слову пришлось рассказать вам: вот за паспорт притча была со мной, так, чай, сколько свет стоит, ни с кем этого не бывало. Слыхали ль вы когда, чтоб у нашего брата был нос не по чину, в маховую сажень? Ну, так вот я же вам расскажу: диво, ей-богу, да и только! Дело это было уж годов тому семь. Я оброк уплатил вперед за год, бог пособил, а у нас без этого не пускают; либо по третям вноси, так и билет на четыре месяца выдадут. Вот я и взял паспорт годовой и пошел, ни о чем не горюя. В те поры поднялись мы, человек пять, сколотившись деньжонками, в извоз; товар клали недалече от себя, а везти было в Москву. В одном городишке — и на город-то не похож, хуже иной деревни — пошел один из наших прописать паспорты, и, видно, прописывали по строгости, что недавно, вишь, наслан был новый городничий, а старого сменили; приходит — все ничего, и не впервые уж прописывались, даже не раз становые и прочее начальство глядели. Ну, известно, не без того, за прописку возьмут с тебя и отпустят; а тут вот какая притча сталась:

— Где у вас Алексей Федотов?

— При лошадях остался.

— Пошли его сюда.

Прибежали ребята и кричат меня. Я пошел.

— Ты Алексей Федотов?

— Я, мол, сударь.

— А зачем ты с чужим паспортом ходишь?

— Я, мол, не знаю, сударь, какой изволите казать паспорт, а у меня, надо быть, свой был.

— Нет, врешь, приметы не твои. Посадить его под караул!

Вот тебе и расправа! А тут, батюшка, вот какая беда прикрутилась; известное дело, в паспорте, супротив примет, писаря выставляют, как положено: рост — два аршина шесть вершков; лицо — круглое; волоса — русые; нос — средний; подбородок — обыкновенный; а видно, писаришко-то у нас либо хмелен был, проклятый, либо недоглядел да против росту поставил: сред-

ний, вместо носу; а против носу — два аршина шесть вершков! Вот тебе и примета!

Узнав все это, я и говорю:

— Помилуйте, не погубите, не держите, наше дело дорожное: нам сутки простою с лошадьми дороже головы... помилосердуйте!

— Нет, говорят, паспорт не в порядке, не то фальшивый, либо чужой.

— Чем же я виноват тому, что мне там прописали? Я человек неграмотный, взял, что подали,— только и вины моей. А что носу такого нет у меня, батюшка, так где ж его взять? Ведь это хоть по всему свету пройти, так такой не найдется! Шутка, чтоб нос у тебя был в два аршина и шесть вершков! Эка штука!

Вот как, батюшка барин, и нос этот, по строгости тогдашней и по новости городничего, дорого нам обошелся...

А все, слава богу, нечего гневить его милосердие, жить нашему брату можно. Какая беда хоть и станется над нами под лихой час, все по грехам нашим; а поколе господь грехам терпит, все жить можно.

ХЛЕБНОЕ ДЕЛЬЦЕ

Да скажите, пожалуйста, Иван Абрамыч, откуда у вас берутся подачи эти? Искусный вы человек, право. Не понимаю, то есть и не могу постигнуть, как это вам счастье везет... Да на каких же вы теперь опять дураков напоролись?

— На ловца и зверь бежит, сударь мой. Дураков-то у нас непочатый угол — про это и говорить нечего; да дело тут не в них; почтеннейший, на одних дураках недалеко уедешь; нужно тут нашему брату быть не оплошным да суметь подвести как следует дельце, чтобы и умница рад был попасть в дураки,— вот в чем дело! Откуда берется?— спрашиваете вы; да нам, с позволения сказать, ину пору черт на хвосте приносит — мы и тем не брезгаем! А что дураки-то они не вовсе дураки, сударь мой, кто-то есть чтит, и чествует, и уважает нашего брата; попались бы хоть бы вот и вы, благодетель мой, как, например, Амалия Кейзер,— а это мужчина, хоть и Амалия, а она-то тут лицо подставное, так не в обиду вашей чести сказать, а были бы и вы таковы...

— Ну вот, вот Амалия-то Кейзер: об этом-то я и хотел спросить вас, Иван Абрамыч; пожалуйте, распотешьте, расскажите, а вот я еще за бутылочкой ренского пошлю...

— Да вот, сударик ты мой, у нас, изволишь видеть, заведение вообще такое, что делишки, какие набегают, разбираются самим *им* по разборам — это уж *его* рук

не минует, и всякое дельце, прежде чем сдается и пойдет в ход, соображается по достоинству, чего оно то есть стоит. Хорошее дело, хлебное, следственный оставляет за собой и производит его под своим наблюдением, сам распоряжается и направляет его там куда и как следует; тут нашему брату поживы нет; многомного что достанется обрывать гривеннички; а делишки пустые, второй и третьей руки, с которых поживы мало, раздаются прямо на нашу братью, мелкую сошку, с обложением, по обстоятельствам, по достоинству дела; вот то есть тебе делишко, подай за него хоть пять, десять, двадцать целковых, а там ведайся, выручка твоя; уж это твое счастье, что бог даст, этого никто не отберет. Ину пору, кто не изловчился, того и гляди, что своих приплатишь, сам насилу отвертишься; а ину пору, кому счастье счастьем, да подспорнись уменьем, так и вымотаешь требушину и поживишься. Вот, сударик ты мой, наш брат и бьется над этаким делом и ухитряется, как бы из него соку повыжать, а разумеется, что воля дана только на производство, пишешь только, куда и что по соображению оказывается нужным, а подпись все его же, ну уж он только не мешает. И тут берегись одного: чтобы все было шитокрыто, чтоб его то есть не подвести под ответ, а то по шее, тотчас вон, и пошел на мостовую в ногти дуть, хоть сам иди в мазурики.

Например сказать, то есть, так вам, на улице случилась драка; драка простая, без грабежа, без злоумышления, без увечья, без прикосновенности, ну вот хоть бы в пьяном виде, и все только народ черный; это делишко пустое; подрались фабричные, все с себя наперед пропивши,— хвать ему в карман, ан дыра в горсти; народ предусмотрительный, взятки гладки. Вот такое-то дельце, с обложением одним целковеньким, и сдается нашему брату. Надо выручить целковенький, да еще и себе не в убыток, чтоб то есть было из чего хлопотать и чтоб как-нибудь прокормиться; ведь это, чай, нечего говорить вам, и сами вы знаете, что в жалованье, каково оно ни есть, только расписываешься, а и в глаза его не видаем. Как тут быть? Ну, попридержишь маленько драчунов, чтоб посбить с них спесь, позовешь к допросу, постращаешь, прикрикнешь, а не берет, так опять управишь его туда же, чтоб уходился. Позвавши в другой раз, уже и растол-

куешь, в чем сила, чтоб то есть показаньице сделал нужное, сослался хоть на свидетеля, с которого бы шерсти клок сорвать можно, как отпрашиваться станет, чтоб не путали его. Например, вот указали на такого-то, что шел-де мимо да не отворотил рыла; больше нет за ним ничего, только что видел,— с нас и этого довольно, где больше взять? Требуется в часть; знать не знаю, ведать не ведаю, и не видал никакой драки, и об эту пору по улице не ходил; ладно, мол, барин, оно и не в том сила, а пожалуйте завтра пораньше, да наутре опять, а не пожалуете, так приведем. Пришел, посидел часа три-четыре; просится, молится — а мы: некогда теперь, недосуг; что делать, потерпите, дело нужное; а как отпустим, опять то же: пожалуйте завтра! Вот, батюшка, такими-то мизерными способами, глядишь — а все целковенький свой с лихвой воротишь. Как отпустишь его совсем, ан на поверку выходит, мы оба с ним довольны остались! Что выжмешь, то и зашибешь; такая должность наша.

Ну, государь мой, а коли дельце в силу уголовного уложения поважнее, каково, например, следствие не для ради одной острастки, не следствие сокращаемое, а настоящее, на основании предписания начальства, по воровству-краже либо по воровству-мошенничеству, а ведь ину пору и по убийству бывает,— тогда вся штука в смётке, чтоб притянуть между делом к прикосновенности с человека с *подбоем,* которому б было чем разделываться; вот его будто к допросу; показывай он себе что хочешь, нам все равно, только ври больше; а мы все пишем да пишем, а там опять допрашиваем да опять себе пишем; сличив на досуге все показания его, и выведешь противоречие; вот дело-то уж и принимает другой оборот. Тут прочитаешь ему относящиеся до этого обстоятельства статьи: об уликах, очных ставках, о ложном показании свидетелей и о прочем. Ну, разумеется, кто же сам себе ворог, не каменная душа в человеке, размякнет; иной жмется долгонько, все уж под конец подастся; вот мы и на переговоры и подоим его маленько; а все допросы эти и показания из дела вон да в успокоение его при нем же начетверо; потрохи эти, видишь, и к делу-то не идут, а подкладываются временно, для одной только острастки. Вот, государь мой, и тут сноровка нужна немаловажная, чтоб дело-то вести в два порядка и не спутывать их, а помнить,

в каком показании про что поминать, а о чем умалчивать либо о чем отбирать показаиие особо, в виде дополнительиого; это-то мы и называем *потрохами*, ихто и можно в случае чего побоку, а дело все идет да идет себе своим порядком; так и плетем.

Слушатель с жадиостью и завистью внимал наставлеииям этим, вадохиул, иаполиил стакаичик своего гостя и сказал:

— А дельце Амалии Кейзер, Иваи Абрамыч, сделайте одолжеиие...

— Дельце Амалии Кейзер,— начал тот,— о котором вы давеча помянули, или бишь я то есть помяиул, а вы напросились на иего... Разболтался я больио иыне для праздничка... Ну, да уж быть так! Да-с, это дельце выдалось хлебное, нечего сказать... богатейшее! Нашему брату, мелкой сошке, редко на веку такое достается... А ведь для иезиающего человека плевое дело было, гроша ие стоило; чего ведь уж наш следственный не иовичок, не олух, не промах, уж ои то есть видывал виды, и знает толк, и зубы съел на этом, да и тот, взгляиув на дельце это, на явочное прошеиие по вздорной покраже, суиул его мне, по *обиходной*, поиашему то есть, и всего-то за три целковых... Да, три!! Да в других руках оио и трех гривеииков не стоило, а иедельки через две ие тремя запахло; в моих-то руках, любезиейший, оио то есть вот как развернулось, что, пожалуй, к трем-то и два нолика без греха приписать бы можио — вот что. Ну так вот послушайте-ка.

У графа Трухина-Соломкииа — знаете, в Волошской, от моста третий дом,— какая-то прачка ли, судомойка ли украла батистовый платочек. А кто ворует да коицов хоронить не умеет, тот нашего брата кормит. Ее прислали в часть. Ну, первое дело, известио, поиаведаться в дом графа для разиых допросов; бывает и в таком доме, что впутается кто-иибудь сторониий да пожелает разделаться по-приятельски, чтоб в таком деле ие было его имеии на бумаге; бывает, что струсит, как закииешь иамек, что следует-де вас в часть потребовать, снять показаиьице; а иет, так просто надоешь частыми приходами да расспросами; уж тут самому скучать никак иельзя. Вот ииому барину беспокойно покажется, и ои тебя, то есть с моим удовольствием, поблагодарит, только ие беспокой его. Вот иедавио также по воровству стали потаскивать день за деиь

для допроса то кучера, то комнатного, то повара — глядишь, а барин-то день без лошадей, день без обеда, день без чищеного платья и сапог,— и пропаже своей не рад. «Бросьте, говорит, дело, не желаю продолжать иска».— «Нельзя, говорят, следствие должно идти своим порядком»; в убытках вы вольны прощать вора, а в уголовном деле — нет, не ваша воля, да и не наша, и мы не вправе». Вот барин-то и видит, что надо раскошеливаться; двадцать пять и поднес, только оставь его в покое да не таскай людей; да, вишь, не мне достались они, а *самому*.

Ну, так о нашем-то деле; тут, в этом доме то есть, ничего то есть не далось, самая сущая безделица, потому, знаете, что это дом не такой: тут надо с осторожностью поступать и деликатно. Тут даже и поличного не приложили, то есть платка батистового, как девку при объявлении отправили в часть, а ведь уж это первое, чтоб поличное было налицо, хоть оно и не важное дело — платочек, а все годится... Ну тут и этого не удалось: дом не такой, нельзя было и настаивать очень, надо было осмотрительнее. А иную пору, вот и в прошлом году, только что также нам по усам текло, а в рот не попало— две серебряные ложки сряду выудил *наш* из дому после покражи серебра, для сравнения, а уж за третьей не посмел идти, так и бросил дело... А в другой раз шубку украли в доме; он меня и взял с собою для допроса, да и стал было приставать, чтоб все приметы записать, и все опять допрашивает... «Ну,— говорит хозяин,— уж извините, я вижу, чего вам хочется, да у меня другой такой шубы для сравнения нет...» Срезал злодей!

Ну, сударь мой, так-то я вижу, что толку нет, на подметки не выбегаешь, незачем и ходить к графу. Как быть, а три целковеньких задано, надо умудряться. Вот я вечером опять взялся за дело, за производство то есть, поглядел на него — с которого конца не приступись, и гроша не стоит, не только трех рублей. Если что-нибудь с девки сорвать — так безделица, едва ли и расходы воротишь, а уж тогда выпустить надо и порешить дело. Не хочется, убыточно. Ну, думаю, не поищешь, не постараешься, так и не найдешь. А потерять свое жаль. «Брось,— говорят товарищи,— ничего не доищешься, хоть и не перечитывай»; да и стали еще под-

смеиваться, да и подшучивать надо мною, мигнув друг другу, да вполголоса: «Вот зашибет человек копейку, так зашибет!»

Ну, ладно. Перепустил я листы еще разок промеж пальцев — чего смотреть, явочная от управителя графского, да адресный билет Матрены этой, да два листка отобранных мною показаний — только и есть. Как ни верти, не вывертишь, а вывертеть надо. Гляжу — так вот глазами и напоролся тебе на аттестацию подсудимой по-прежнему местопребыванию, на адресном то есть билете; во-первых, подпись не засвидетельствована в квартале, а во-вторых, аттестация подписана твердою, скорописною мужскою рукою: *Амалия Кейзер.* «Врешь,— подумал я,— Амалии Кейзеры так не пишут; и у меня почуяло что-то ретивое и будто бархатною рукою по сердцу провело. Поглядел еще и молчу; думаю, пусть посмеются, а последний смех будет лучше первого.

Вот, сударик ты мой, тотчас закинули мы то есть крючок туда, где жила прежде Матрена наша, да вытребовали управляющего дома. Пришел. Мы его адресный билет с аттестатом на стол: это, мол, что? Глядит. У вас-де в доме жила такая-то и перешла на другое место; там она прокралась и шибко попалась — дело уголовное; а тут вот и аттестат не засвидетельствован в квартале. «Виноват, говорит, как-нибудь недоглядели; дело прошлое, не вводите в беду...» — «Чего не вводить, ты видишь, чай, что и без нас сам влез, и с головою. Ныне время строгое, нашему брату за вас не отвечать; чай, законы знаешь не хуже нашего: штрафу причтется за передержательство по полтора целковых за сутки, и всего за девяносто семь дней».

Вот мой управляющий туда, сюда. «Поправьте как-нибудь, говорит, беду нашу; ведь тут худого умысла не было; просмотрели, а девка ушла; где искать ее станешь? Возьмите по-христиански, да и концы в воду».— «Что долго толковать,— сказал я,— дело видимое, на ладонке: либо по полтора целковых за девяносто семь дней, либо тридцать на стол — больше и говорить не стану». Почесался мой управляющий, однако ж принес денежки. Мы послали билет от себя засвидетельствовать в квартал — и концы в воду.

— Ну, это конечно,— сказал я.— Теперь примемся за другое. Кто такая у вас в доме Амалия Кейзер?

— Ну,— говорит,— уж про то сама она знает, кто она; она и всего-то с год, как приехала сюда не знать откуда, из Риги либо из Ревеля, из Гамбурга, и больно щеголяет. Доходы она, видно, получает знатные.

— А по-русски знает хорошо?

— Где хорошо, через пятое в десятое ломает.

«Есть поживишка,— подумал я,— теперь есть, не уйдет». Вот принес черт на хвосте, так принес! Пишем опять в квартал: объявить Амалии Кейзер, чтоб соблаговолила пожаловать в такую-то часть. Заметьте, это так пишется у нас в первый раз: «Объявить, чтоб соблаговолила», потому что надо же не об одном себе подумать, а выручить при случае товарищей: по этому приглашению она еще не явится, а местный квартальный только что попользуется небольшим гостинцем. Сождали мы недельку да черкнули другое приглашение: «Представить немедленно в часть для допроса». Вот тут-то уж она, голубушка моя, не отвертелась от нас, не тем голосом заговорила: отдав там целковенький, чтоб за великую милость позволили ей приехать в своем экипаже, а не водили с городовым — ведь тоже анбициантка есть, людей стыдится,— изволила прикатить в парной колясочке, в щегольской, сударь; а лошадки, хоть бы и не ей прокатиться, тысячные; сама в бархате, в шелку, в перьях... ну вот глядеть любо; этаких-то подай нам больше, тут хоть щипком урвешь, так на магарычи будет!

«Служила у вас такая-то?» — «Слюшил». — А, слюшил — понимаем. Вы ее отпустили тогда-то?» — «Да, пустил».— «Пустил, хорошо и это. А кто ей за вас аттестат подписал на адресном билете, извольте-ка посмотреть, коли эту грамоту знаете. Вы по-русски знаете читать и писать?»—«Нет, я не знай».— «Не знай, так кто же это подписался: Амалия Кейзер?» Позамялась было моя красавица, хотела прикинуться немогузнайкой да грехи слезами смыть; да у нас на этой масти не выезжают; мы ее к ногтю; коли-де не угодно честью покаяться, так у нас про вашу милость есть такое местечко, что там на досуге подумать можно... не угодно ли — и растворили ей двери в каморку. Вот, сударик ты мой, полились слезы ручьем по шелку да по бархату, а легче нет. Вынула она бумажник да кошелечек, все высыпала — и всего-то целковых с двадцать. «Нет, говорит, больше ни гроша»,— только просится все:

«Пусти, пусти». — «Ну, мол, сударыня, пустить мы пустим и тревожить тебя больше не станем, мы найдем такого, что и сам за себя постоит, только изволь говорить правду, не то насидишься. Кто это писал?» — «Это писал один мой знаком. Я девушка бедная, иностранка, порядков ваших не знаю, я его и попросила написать что надо». — «Да это все хорошо, с вами-то уж мы разделались, да он-то кто таков? Как зовут, где живет, чем занимается?»

Сколько ни жалась голубушка, а назвала виноватого, этого знакомого, то есть франтика, щеголя, мотишку; да как раскланялись мы с нею, так она тебе принялась приседать во все стороны, и сторожам-то всем по низенькому поклону, да чуть в пляс не пошла от радости до самой коляски своей! Ступай, бог с тобой; наша пуля виноватого сыщет.

— Что,— сказал я, глядя на товарищей,— кто кому посмеялся? Да кто же думал, дескать, там искать, где ты нашел; дело о воровстве, а он приплел подпись адресного билета прежнего места жительства! В том-то, сударики мои, и штука; не мудрено из готового выкроить; а ты сам потрудись кудельку вычесать, да выпрясть, да основу высновать, да уток проложить — да что тогда выкроишь, так уж это твоя работа, и никто тебя не смеет попрекнуть. Вот что!

Ну, на другой день навели мы справочку: оказалось, у этого Амалия Кейзера мать тут же в городе налицо; да что мать, у кого ее нет, как то есть кормить придется, а это такая, что сама кормит, а он-то только обирает! Богатая и знатная барыня, а в сыне души не слышит, и разъезжает с ним все в карете по самой знати, невест выбирает. Разузнав обо всем обстоятельно, отправляюсь к ней. Сказать по правде, что нашему брату без привычки даже трудно в дом такой войти: робеешь и сам не знаешь отчего, на стены глядя робеешь. Ну, а мне уж не впервые, ошмыгался, не стучит сердце, знаешь, зачем идешь.

— Что надо?

— Доложите барыне, что от следственного чиновник пришел.

— Барыня приказала сказать, что некогда ей, занята, а что нужно — скажите буфетчику, вот он доложит.

— Нет,— говорю,— нельзя; доложите-ка барыне, что сама жалеть будет, коли не переговорит со мною, да после поздно будет; уж пусть лучше не побрезгает, как быть; речь поведем о сыне ее по важному делу.

И тотчас, братец ты мой, изволишь видеть, растворяются двери, и просят в гостиную, и сажают на кресла! Вот оно каково! Что же ты думаешь, не сел? Сел, ей-богу. А обои кругом все шелковые, и картины в золотых рамах, и под ногами такие ковры расстилаются, что хоть бы тебе на праздничную жилетку! Ну, выходит моя барыня, маленько перепуганная, спрашивает, что такое сталось? «Да вот, сударыня, хоть и очень жаль вас, а несчастьице с сыном вашим приключилось».— «Боже мой, что такое?» — «Под чужую руку изволили подписаться. Сами изволите знать, это подлог и фальша такого рода — хоть оно и по неведению, может статься, по молодости, но ведь закон этого не разбирает...» Заломила руки старушка, просит объяснить все. «Есть, говорю, у них одна знакомая девица, должно быть, что девица, так то есть она себя показывает, родом из... из... из приезжих, заграничных мест; вот сынок ваш, конечно, из угождения только к ней, не чая в том худого, изволил за нее подписаться— вот, изволите видеть, чай знаете ручку своего сына, вот: *Амалия Кейзер*. Об этом завелось у нас дельце; девица эта оказалась прикосновенною к значительным, и даже, можно сказать, государственным, преступлениям; дело и выходит самое уголовное. Вы, сударыня, простите меня, неуча, потому что мы ведь законов не пишем, а только исполняем их, и что за это очень строго с нас взыскивается; а по закону таковая подпись именуется подделкой акта, и по суду приговаривается виновный к лишению прав состояния... Вот извольте видеть, я и томик этот со статьею захватил и нарочно для вас заложил закладкой...»

Перепугалась барыня моя насмерть, так что чуть не пришлось мне оттирать ее. А там, братец ты мой, кругом ковры персидские, разные мраморы и бронзы, зеркала-трюмы, богатство такое, что в другое время не нагляделся бы; ну, а тут не до того. Вот она, как ни бестолкова, как ни привыкла себе барничать да нашего брата похуже своего блюдолиза считать, однако смирилась, шелковая стала, хоть вокруг пальца обмотай. Послала она за сыночком — прилетел в таких

прическах да таким козырем, что беда. Как послышал, однако, о чем речь идет, да по-своему, по-французски, переговорили что-то с мамашей, так и побелел, что твое полотенце. «А,— подумал я,— вот то-то, видно пословицу-то про кошку да зайца люди не с ветру взяли».

Так-то, государик мой, побалагурили мы недолго, а дело сделали хорошее, и все остались довольны. Взял я, получил то есть, с позволения сказать, три сотенки серебром — да, да, хошь не гляди на меня комом, гляди россыпью,— зашиб-таки и я за свое старание на бедность, получил триста, да и разорвали мы на мировую адресный билет с аттестациею на мелкие клочки, чтоб его и помину не было.

Так вот, государик ты мой, как ину пору судьба милостями своими человека взыскивает, хоть она и гнетет ину пору нашего брата — ух, как гнетет! Дельце-то и всего снято было за три, по *обиходной* то есть, да и того-то оно в других руках не стоило, ан вся сила вышла не в батистовом платочке графа Трухина-Соломкина, а в Амалии Кейзер: ее-то нам нелегкий и принес на хвосте!

— Чудесно! — заметил собеседник.— Истинные чудеса. Да чем же вы покончили дело? Что сталось у вас по делу о покраже?

— Эк он о чем заботится! Да разве тут об этом речь? Плюнули, да и бросили. Вытребовали из адресной подлинный паспорт ее, сунули ей в зубы — и ступай на все четыре стороны.

СКАЗКИ

СКАЗКА
О ИВАНЕ МОЛОДОМ СЕРЖАНТЕ УДАЛОЙ ГОЛОВЕ, БЕЗ РОДУ, БЕЗ ПЛЕМЕНИ, СПРОСТА БЕЗ ПРОЗВИЩА

Милым сестрам моим
Павле и Александре

Сказка из похождений слагается, присказками красуется, небылицами минувшими отзывается, за былями буднишними не гоняется; а кто сказку мою слушать собирается, тот пусть на русские поговорки не прогневается, языка доморощенного не пугается; у меня сказочник в лаптях; по паркетам не шатывался, своды расписные, речи затейливые только по сказкам одним и знает. А кому сказка моя про царя Дадона Золотого Кошеля, про двенадцать князей его, про конюших, стольников, блюдолизов придворных, про Ивана Молодого Сержанта, Удалую Голову, спроста без прозвища, без роду, без племени, и прекрасную супругу его, девицу Катерину, не по нутру, не по нраву — тот садись за грамоты французские, переплеты сафьяновые, листы золотообрезные, читай бредни высокоумные! Счастливый путь ему на ахинеи, на баклуши заморские, не видать ему стороны затейливой, как ушей своих; не видать и гуслей-самогудов: сами заводятся, сами пляшут, сами играют, сами песни поют; не видать и Дадона Золотого Кошеля, ни чудес неимоверных, Иваном Молодым Сержантом созидаемых! А мы, люди темные, не за большим гоняемся, сказками потешаемся, с ведьмами, с чародеями якшаемся. В нашей сказке на всякого плясуна по погудке, про куму Соломониду страсти-напасти, про нас со сватом смехи-потехи!

В некотором самодержавном царстве, что за тридевять земель, за тридесятым государством, жил-был

царь Дадон Золотой Кошель. У этого царя было великое множество подвластных князей: князь Панкратий, князь Клим, князь Кондратий, князь Трофим, князь Игнатий, князь Евдоким, много других таких же и, сверх того, правдолюбивые, сердобольные министры, фельдмаршал Кашин, генерал Дюжин, губернатор граф Чихирь Пяташная Голова да строевого боевого войска Иван Молодой Сержант, Удалая Голова, без роду, без племени, спроста без прозвища. Его-то царь Дадон любил за верную службу, его и жаловал неоднократно большими чинами, деньгами, лентами первоклассными, златочеканными кавалериями, крестами, медалями и орденами. Таковая милость царская подвела его под зависть вельмож и бояр придворных, и пришли они в полном облачении своем к царю и, приняв слово, стали такую речь говорить: «За что, государь, изволишь жаловать Ивана Молодого Сержанта милостями-почестями своими царскими, осыпать благоволениями многократными наравне с твоими полководцами? Мы, не в похвальбу сказано, не в урок помянуто, мы, кажется, для тебя большего стоим; собираем с крестьян подати-оброки хорошие, живем не по-холопьи, хлебом-солью, пивом-медом угощаем и чествуем всякого, носим на себе чины и звания генеральские, которые на свете ценятся выше чина капральского».

Царь этот царствовал, как медведь в лесу дуги гнет: гнет — не парит, переломит — не тужит! Он, послушав правдолюбивых и сердобольных советников своих, приказал немедленно отобрать от Ивана Молодого Сержанта, Удалой Головы, без роду, без племени, спроста без прозвища, все документы царские, чины, ордена, златочеканные медали, и пошло ему опять жалованье солдатское, простое, житье плохое, и стали со дня на день налегать на него более вельможи, бояре царские, стали клеветать, обносить, оговаривать. Подстреленного сокола и ворона носом долбит; свались только с ног, а за тычками дело не станет! Бился, бился наш Иван — какого добра еще дожидаться? Надувшись на пиво, его не выпьешь; глядя на лес, не вырастешь, а смотря на людей, богат не будешь. Задумал он наконец худое дело сделать, бежать из службы царской — земля государева не клином сошлась; беглому одна дорога, а погонщикам — сто; а пойма-

ют — воля божья, суд царев: хуже худова не бывает, а здесь несдобровать. Выждал он ночь потемнее, собрался и пошел куда глаза глядят, куда стопы понесут молодецкие!

Приятель наш нехорошо сделал, что сбежал, о том ни слова, но и то сказать, человек не скотина; терпит напраслину до поры до времени, а пошла брага через край, так и не сговоришь! Исподволь и ольху согнешь, а вкруте и вяз переломишь!

Не успел выйти Иван наш на первый перекресток, видит-встречает, глазам своим молодецким не доверяет, видит прекрасную девицу, стоит девица Катерина, что твоя красная малина! Разодетая, разубранная, как ряженая суженая! Она поклонилась обязательно, приветствовала милостиво и спросила с лаской: кто он таков, куда и зачем идет или послан, по своему ли желанью или по чьему приказанью? «Не торопись к худу Иван Молодой Сержант, Удалая ты Голова, без роду, без племени, спроста без прозвища,— продолжала она,— а держись блага — послушай ты моего девичьего разума глупого, будешь умнее умного; задумал ты худое дело делать: бежать из службы царской, не схоронишь ты концов в воду, выйдет через год со днем наружу грех твой, пропадет за побег вся служба твоя; подумай-ка ты лучше думу да воротись; не всем в изобилии, в раздолье жить припеваючи, белорыбицей по Волге-реке разгуливать; кто служит, тот и тужит; ложку меду, бочку дегтю — не съешь горького, не поешь и сладкого; не смазав дегтем, не поедешь и по брагу! Мало славы служить из одной корысти; нет, Иван, послужи-ка ты своему царю заморскому, под оговором, под клеветою, верою и правдою, как служат на Руси, из одной ревности да из чести! Воротись, Иван Молодой Сержант, да женись ты на мне, так мы бы с тобою и стали жить да поживать; любишь — так скажи, а не любишь — откажи! Запрос в карман не лезет».

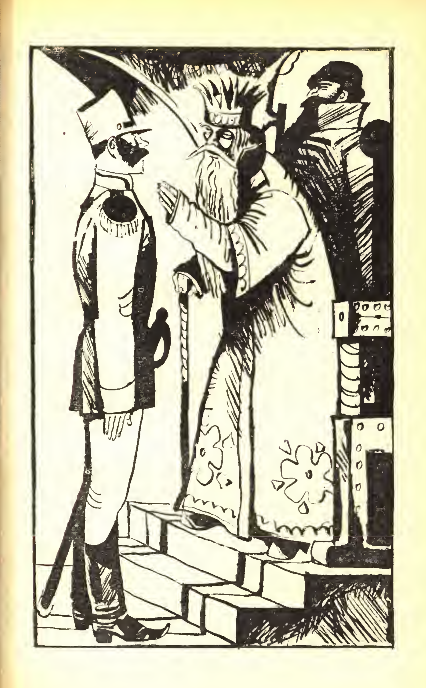
Есть притча короче носа птичья: жениться — не лапоть надеть, а одни лапти плетутся без меры, да на всякую ногу приходятся! И истинно; жена не гусли: поигравши, на стенку не повесишь, а с кем под венец, с тем и в могилу,— приглядись, принюхайся, а потом женись; примерь десять раз, а отрежь один раз; на горячей кляче жениться не езди! — Все это и справед-

ливо и хорошо, но иногда дело как будто бы наперед уже слажено, а суженого и на кривых оглоблях не объедешь! Так и тут случилось; капрал наш солдат, человек сговорчивый, подал руку девице Катерине — вот то-то свахи наши ахнут: что за некрещеная земля, где сговор мог состояться без них!!! — подал руку ей, она ему надела на перст колечко обручальное дарово-заветное, дарующее силу и крепость и нессякающее терпение, вымолвила пригодное слово, и чета наша идет — не идет, летит — не летит, а до заутрени очутились они в первопрестольном граде своем, снарядились и обвенчались, а с рассветом встали молодыми супругами.

И вдруг, отколе что взялось, пошла Ивану опять прежняя милость царская, чины, и деньги, и лестные награды, и зажил он припеваючи домовитым хозяином, как ярославский мужик. И снова стал лукавый мучить завистью правдолюбивых, сердобольных министров царских, фельдмаршала Кашина, генерала Дюжина, губернатора графа Чихиря Пяташную Голову, и предложили они единодушно царю, чтобы Иван Молодой Сержант по крайней мере заслужил службою милость царскую, показал бы на деле рысь свою утиную лапчатую. Вследствие сего Иван Молодой Сержант наутро вычистился, белье натер человечьим мясом [1], брюки велел жене вымыть и выкатать, на себе высушил — словом, снарядился, как на ординарцы, и явился ко двору. Царь Дадон, трепнув его по плечу, вызывал службу служить. «Рад стараться»,— отвечал Иван. «Чтобы ты мне,— продолжал царь,— за один день, за одну ночь, и всего за одни сутки, сосчитал, сколько сот, тысяч или миллионов зерен пшеницы в трех больших амбарах моих, и с рассветом доложил мне об этом. Если сочтешь верно, пойдет снова милость царская пуще прежнего; а нет, так казнить, повинную голову рубить!»

Взяла кручинушка Ивана Молодого Сержанта, Удалую Голову, без рода, без племени, спроста без прозвища, повесил он головушку на правую сторонушку, пришел, горемычный, домой. «О чем тужишь-горю-

[1] Белье у солдата *что белится,* белая кожаная амуниция. Белят ее составом из белой глины, а натирается она и вылащивается голою рукою. *(Прим. автора.)*



ешь, очи солдатские потупляешь или горе старое мыкаешь-понимаешь?» — так спросила его благоверная супруга девица Катерина. «Всевозлюбленная и распрекрасная дражайшая сожительница моя,— держал ответ Иван Молодой Сержант,— не бесчести в загонях добра молодца, загоняешь и волка, так будет овца! Как мне не тужить, не горевать, когда царь Дадон, слушая царедворцев своих, велит мне службу служить непомерную, велит мне за один день, за одну ночь, и всего-то русским счетом за одни сутки, счесть, сколько в трех больших амбарах его царских сот, тысяч или миллионов зерен пшеницы; сочту, так пойдет милость царская, а нет, так казнить, повинную голову рубить!» — «Эх, Иван Молодой Сержант, Удалая ты Голова, дражайший сожитель и супруг мой! Это не служба, а службишка, а служба будет впереди! Ложись-ка ты спать, утро вечера мудренее,— завтра встанем да, умывшись и помолившись, подумаем»,— так рекла прекрасная Катерина; напоила, накормила его, и спать положила, и прибаюкивала песенкою:

За лесами, за горами горы да леса,
А за теми за лесами лес да гора —
А за тою за горою горы да леса,
А за теми за лесами трын да трава;
Там луга заповедным диким лесом поросли,
И древа в том лесу стоеросовые,
На них шишки простые, не кокосовые!

Сожитель лег, зевнул, заснул — а Катерина вышла за ворота тесовые на крылечко белокаменное, махнула платочком итальянским и молвила: «Ах вы, любезные мои повытчики, батюшкины посольщики, нашему делу помощники, пожалуйте сюда!» И тотчас, отколе ни возьмись, старик идет, клюкой подпирается, на нем шапка мотается, головой кивает, бородой след заметает; стал и послушно от повелительницы приказания ожидает. «Сослужи-ка ты мне, вещун-чародей, службу, сосчитай до утра: сколько в трех больших амбарах государевых счетом зерен?» — «Ах, любезная наша повелительница, дочь родная-кровная нашего отца-командира, это не служба, а службишка, а служба будет впереди»; сам как свистнет да гаркнет на своих на приказчиков, так со всех сторон налетели, тьма-тьмущая — что твоя туча громовая, черная! Как при-

нялись за работу, за расчет, не довольно по горсти — по зерну на каждого не досталось!

Еще черти на кулачки не бились, наш Иван просыпается, глаза протирает, сон тяжкий отряхает, беду неминучую, смерть верную ожидает. Вдруг подходит к нему супруга его благоверная, сожительница Катерина, грамоту харатейную, расчет верный зернам пшеничным подносит. А века тогда были темные, грамоте скорописной мало кто знал, печатной и в заводе не было,— церковными буквами под титлами и ключами числа несметные нагорожены: азы прописные — красные, узорчатые, строчные — черные, буднишние,— кто им даст толку? Да и не поверять же стать! Ни свет ни заря явился капрал наш на войсковой двор и подал грамоту по начальству. А придворные правдолюбивые фельдмаршал Кашин, генерал Дюжин, губернатор граф Чихирь Пяташная Голова мысленно капрала давно уже казнили, четверили, повесили, тело его всесожжению предали и прах от востока до заката развеяли. Царь передал грамоту и дело Ивана на суд царедворцам своим. А царедворцы его — кто взят из грязи да посажен в князи; кто и велик телом, да мал делом; иной с высоку, да без намеку; тот с виду орел, да умом тетерев, личиком беленек, да умом простенек, хоть и не книжен, да хорошо острижен; а которые посмышленее, так все плуты наголо, кто кого сможет, тот того и гложет, ну, словом, живут — только хлеб жуют, едят — небо коптят! Они повелели именем Дадона собрать всех счетчиков, арифметчиков со всего царства, составить заседание и поверить огромные итоги. Арифметчики бились, перебрали жалованья, каждый тысяч по нескольку, получили по чину сенаторскому, по две ленты на крест, по плюмажу на шляпу и решили наконец единогласно и единодушно, чтобы грамоту нерукотворную харатейную отдать на сохранение в приличное книгохранилище и передавать из рода в род позднейшему потомству яко достопамятность просвещенного века великоименитого, великодаровитого, великодержавного и великомудрого царя Дадона Золотого Кошеля; что же именно касается выкладки счета сего, то оно действительно может быть так, а может быть и не так; а потому не благоугодно ли будет вышепоименованному Ивану Молодому Сержанту повелеть, яко остающемуся и пребывающему

под сомнением, повелеть службу служить ему иную и исполнить оную с большим тщанием и раченнем? Царь Дадон пожаловал им теперь по кресту на петлицу, по звезде на пуговицу, по банту за спину.

А службу опять загадали Ивану безделицу: в один день, в одну ночь, всего-то русским счетом в одни сутки, выкопать вокруг города-столицы канаву, сто сажен глубины, сто сажен ширины, воды напустить, чтобы корабли ходили, рыба гуляла, пушки по берегам на валу стояли и до рассвету производилась бы пальба, ибо царь Дадон Золотой Кошель намеревался потешаться и праздновать именины свои. Если сослужит Иван службу эту — любить и золотом дарить; если нет — так казнить, голову рубить!

Вот когда нашему Ивану пришлось хоть волком взвыть! Разорвись наш брат надвое, скажут: две ноги, две руки, почему не начетверо? Подгорюнился, пришел домой, судьбу свою проклинает, смерть верную ожидает; попало зернышко под жернов, быть ему смолоту; с ветром божьим, с волею мастера не поспоришь. Но прекрасная Катерина, спросив и узнав кручину супруга-сожителя, снова намекнула ему: это не служба, а службишка, а служба будет впереди; положила спать, убаюкала тою же песнью, вышла и накликала вещуна-чародея. Идет, головой кивает, бородой след заметает; как свистнет да топнет на своих на приказчиков — ночи тьму затмили; а за работу принялись, так не только по горсти земли — по зерну, по одной песчинке на брата не досталось!

С рассветом дня царь, министры его, вельможи, царедворцы, думные и конюшие и вся столица просыпаются от гула пушек, и губернатор граф Чихирь Пяташная Голова, в легком ночном уборе, в *валентиновом* халате, с *парламентером* на шее, походя с ног на горного шотландца, выскочил из терема своего в *три авантажа* на *балахон* и старался усмотреть в *подозрительную* трубу подступающего неприятеля. Когда же дело все обнаружилось, то Иван за страх, причиненный царю Дадону, царедворцам его и всем честным согражданам, был схвачен и посажен до времени под стражу; губернатора графа Чихиря сделали комендантом новой крепости; фельдмаршалу Кашину за деятельные меры для отражения мнимого неприятеля

сшили в знак отличия кафтан из одних разноцветных выпушек; у прежнего же высокого совета арифметчиков, блажныя памяти, отобраны все знаки отличия, ордена, ленты и звезды; за нехитро придуманную, площадную, Иваном нашим легко исполненную службу признаны все учреждения и постановления их, да и сами они, несостоятельными, и сосланы они на теплые воды полечиться. А когда при вечернем осмотре царь Дадон Золотой Кошель нашел все новые укрепления со всеми угодьями в отличной исправности, то и отдал коменданту Чихирю все знаки отличий, коими пользовался, блажныя памяти, верховный совет его.

Между тем у новых советников царских малопомалу умишко поразгулялся, и они придумали-пригадали Ивану такую добрую службу сослужить, что от радости приказали поднести себе по кружке меду, закусили муромским калачом, ростовским каплуном и нежинским свежепросольным огурчиком, и понесли, убояся грамоты, речи свои царю на доклад. Да и хитро же придумали! Дурак камень в воду закинет, дурак узел завяжет, семеро умных камня не вытащат из воды, узла не развяжут! Ивану нашему велели службу служить, а сами за сказки да за пляски, за обеды да за беседы — народ деловой; два брата на медведя, два свата на кисель; из лука не мы, из пищали не мы, а поесть, поплясать — против нас не сыскать!

«Ох ты гой еси, добрый молодец, Иван Молодой Сержант, без роду, без племени, спроста без прозвища, витязь безродный и бесконный! Собирайся служить ты службу тяжкую; иди ты туда, неведомо куда, ищи того, неведомо чего; разойдись один по семи перекресткам, с семи перекрестков по семи дорогам столбовым; за горою лес, а за лесом гора, а за тою горою лес, а за тем лесом опять гора,— вспомнил теперь Иван наш колыбельную песенку супруги своей! — Придешь ты в тридесятое государство, что за тридевять земель, в заповедную рощу; в роще заповедной стоит терем золоченый, в тереме золоченом живет Котыш Нахал, невидимка искони века; у него-то есть гусли-самогуды, сами заводятся, сами играют, сами пляшут, сами песни поют; гусли эти принеси царю, ца-

ревичам, и царедворцам, и наперсннкам их играть, потешаться, музыкою заморскою забавляться; и чтобы все это было сделано в однн сутки! Исполнишь — хорошо; а нет, так третий и последний тебе срок — шапки с головы схватить не успеешь, как она тебе, и с головою, в ноги покатится!»

Уповая на благоверную сожительницу свою, прекрасную Катерину, н на помощь вещуна-чародея, Иван наш не унывал; но когда он пересказал сожительнице загаданную ему службу, тогда получил в ответ: «Вселюбезнейший и дражайший супруг мой и сожитель Иван Молодой Сержант, без роду, без племени, спроста без прозвища, Удалая ты Голова! Ныне пришла пора, пришла и служба твоя, н должно тебе служить ее самому; не в моих силах высвободить тебя, ниже подать тебе, бедствующему, руку помощи»; а за сим она его снарядила н в поход отпустила, как с судьбою, с случаями путем-дорогою ведаться научила, платочком итальянским своим подарила и примолвила: «Паси денежку про черный день; платком этим не иначе как в самой сущей крайности и в самом бедственном положении можешь ты утереть с лица своего молодецкую слезу горести и скорби! Не пренебрегай бездельным подарком моим: не велика мышка, да зубок остер, не велик сверчок, да звонко поет,— часом и лычко послужит ремешком!» Сели, подали хлеб-соль на прощанье, помолились богу — и пошел наш Иван, куда кривая не вынесет!

И кто бы благодерзновенный покусился сподвизаться на такие чудные и неслыханные похождения! Но плетью обуха не перешибешь — когда посылают, так идти; не положить же им, здорово живешь, голову на плаху; смерть не свой брат, хоть жить и тошно, а умирать тошнее; ретивый парень лучше пойдет проведать счастья молодецкого на чужбине, чем ему умирать бесславно на родине!

Иван наш уже на пути. Терпит он холод и голод и много бедствий различных переносит; бог вымочит, бог и высушит; потерял он счет дням и ночам. «Светишь, да не греешь,— подумал он, поглядев на казацкое солнышко, на луну,— только напрасно у бога хлеб ешь». И видит он вдруг, что зашел в бор дремучий и непроходимый, такой, что света божьего невзвидел;

пень на пне, то лбом, то затылком притыкается — устал хоть на убой! Подкосились колени его молодецкие, сапоги в сугробах снежных глубоких вязнут. Поднял он лычко подвязать голенище — горе лыком подпоясано! Вынул платочек даровой заветной супруги-сожительницы — вдруг его как на ходули подняло! Отозвалося лычко ремешком! На нем сапоги-самоходы, да и такие они скороходы, что и на одном месте стоят, так конному не нагнать; не успел шагнуть, полюбоваться рысью своею, и уже все вокруг него зазеленелось: зашел он из белой матушки зимы в цветущую благоуханную весну; и полетел наш Иван, оглянуться не успел, выходит из лесу соснового дремучего на лужайку вечнозеленую, травка-муравка вечно свежа-зелена, как бархатец опушкой шелковой ложится, ковром узорчатым под ноги расстилается. И стоит на лужайке той здание чудное, вызолоченное от земли до кровли, от угла до угла; столпы беломраморные кровлю черепичную-серебряную подпирают, на ней маковки горят золотые, узоры прихотливые, живописные и лепные под карнизами резными разгуливают, окны цветные хрустальные, как щиты огненные, злато отливают — ни ворот, ни дверей, ни кола, ни двора; без забора, без запора, говорится, не уйдешь от вора, а тут все цело, исправно, видно некому и воровать! Обошел капрал наш здание это раз-другой кругом, оглядел со всех сторон — всюду то же, и входа нет! Смелость города берет, а за смелого бог; без отваги нет и браги; не быв звонарем, не быть и пономарем! Стук, бряк в окно хрустальное, зазвенело-полетело, только осколки брызнули! Забрался наш Иван безродный, удалой, в терем золоченый, да и ахнул! Хороша куропатка перьями, а лучше мясом; здание внутри блистало такою красотой, что ни придумать, ни сгадать, ниже в сказке сказать! А палаты огромные пусты; никто на зов Ивана Молодого Сержанта не откликается; нет ответа, нет привета. Ходил, ходил Иван наш, выходил по всем покоям и видит, вдруг встречает, глазам молодецким не доверяет, стоит в углу чан дубовый, висит через край ковшик луженый. Выпил он на усталость крючок, за здравие благоверной сожительницы своей другой, за упокой клеветников и доносчиков своих третий — разобрало его, зашумело в голове, ходит по покоям золоченым один как перст,

похаживает, завалил руку левую за ухо на самый затылок и песенку русскую: «Растоскуйся ты, моя голубушка, моя дорогая» — во весь дух покрикивает. Вдруг незримая рука его останавливает, голос безвестный вопрошает: «Ох ты гой еси, добрый молодец, мало доблести, много дерзости! Зачем и откуда пожаловал, по своему ли желанью или по чьему приказанью?» — «Я Иван Молодой Сержант, спроста без прозвища, без роду, без племени, я Иван безродный, Удалая Голова, витязь бездомный и бесконный; служил я верно богу и некрещеному царю своему в земле, что за триста конных миль; сбили меня царедворцы завистливые с чести, с хорошего места, лишили милостей царских, службы непосильные служить посылали, золотые горы сулили-обещали; сослужил я службу, сослужил другую, душу познал их кривую — не дали, чего посулили, на произвол судьбы за третьей службой отпустили: «Иди туда, неведомо куда, ищи того, неведомо чего; разойдись один по семи перекресткам, с семи перекрестков по семи дорогам столбовым; за горою лес, а за лесом гора, а за тою горою лес, а за тем лесом опять гора; придешь в тридесятое государство, что за тридевять земель, в рощу заповедную; стоит там терем золотой, в тереме том живет Котыш Нахал, невидимка искони века; у него возьми гусли-самогуды, сами заводятся, сами играют, сами пляшут, сами песни поют; их-то принеси царю, царевичам, царедворцам и наперсникам их потешаться, музыкою заморскою забавляться!»

Отозвался невидимка снова: «Кого ищешь, Иван Молодой Сержант, того нашел. Зовут меня Котышем Нахалом, вековечный я невидимка, живу в заповедной роще в тереме золоченом. Знаю я художества разные и многие; умею я строить-набирать гусли-самогуды, да с уговором: грех пополам; я буду работать, а ты будешь светить мне лучиной три дня и три ночи без смены, без засыпу; просветишь — гусли-самогуды возьмешь; а заснешь, не то вздремнешь, так голову, как с воробья, сорву! До слова крепись, а за слово держись; попятишься — раком назовут!»

«Полез по горло,— подумал Иван,— лезть и по уши; уже теперь не воротиться же стать». Надрал он лучин хвойных, зажег, светит день, светит ночь, светит и еще день, сон клонит неодолимый; кивнул Иван го-

ловой, задремал. А Котыш Нахал толк его под бок: «Ты спишь, Иван?» — «Ох, спать, я не сплю и дремать не дремлю, а думаю я думу».— «А какую же ты думаешь думу?» — «А думаю я, глядя в окно, множество несметное растет по свету белому лесу разнокалиберного — а какого более растет, кривого или прямого? Чай, кривого больше». Котыш Нахал призадумался. «Погоди, говорит, постереги ты на досуге гусли, я пойду посчитаю». Пошел; а капрал наш тем часом залег да давай на скорую руку спать. Долго ли, нет ли ходил Котыш — не долог час на аршин, да дорог улочкою,— а Иван поспал изрядно; он, солдат, спит скоро; бывало, под туркою, походя наестся, стоя выспится. «Вставай, Иван,— закричал Котыш,— твоя правда, кривого лесу больше; и больше так, что на числа положить, так русским счетом и не выговоришь. Зажигай-ка лучину да садись за работу, свети трое суток сряду!» Светит капрал наш день, светит и ночь, добился и до другой — опять песня та же; крепился, крепился — задремал! А Котыш его толк в ребро: «Спишь? — говорит. «Ох, спать я не сплю и дремать не дремлю, а думаю я думу!» — «А какую же ты думаешь думу?» — «А думаю я: несметное множество людей на свете у бога да у земных царей, а мало ли было, да перемерло? Каких же больше людей на свете, живых или мертвых? Чай, мертвых больше!» Покинул Котыш опять Ивана на стороже, сам пошел считать. Ходил он сутки с неделей без семи дней, по-ихнему без году год со днем, выходил всю поднебесную; а Иван на брюхо лег, спиной укрылся, зевнуть не успел, заснул. «Вставай, капрал! Пора за работу, а правда твоя, мертвых людей больше; живых без четверти с седьмухой три осьмины, а остальные все мертвые!»

Светит Иван опять ночь со днем, перемогся и другую, а до третьей стало доходить — вздремнул, да так, что всхрапнул да присвистнул! Толкнул его Котыш в ребро: «Спишь, Иван?» А он очнулся, да не нашелся, а вымолвил с перепугу словцо русское: *виноват!* К пиву едется, а к слову молвится: *авось, небось* да *как-нибудь,* а если, на беду, концы с концами не сойдутся: *виноват!* Вот что нашего брата на русской земле и губит; вот за что нашего брата и бьют, да, видно, все еще мало; неймется! «Из твоей вины,— молвил

Котыш Нахал,— не рукавицы шить, не сапоги тачать, а если так, то делать нечего, смерть твоя пришла неминучая. Поди-ка выдь на лужайку муравчатую, на мою заповедную мелкотравчатую, погляди еще раз на белый свет, простися, покайся, умирать собирайся, а я голову с тебя, как с воробья, сорву! Охота хуже неволи; ты же сам обрекся не животу, а смерти; слово сказано языком да губами, а держись за него зубами!»

Вышел Иван Молодой Сержант на лужайку заповедную вечнозеленую, вспомнил родину свою, супругу молодую, прекрасную Катерину, и залился слезами горькими. Что рыбе погибать на суше и безводье, то добру молодцу умирать вчуже на безродье! Вынул Иван платочек заветный итальянский утереть в последний раз слезу молодецкую — а уж Котыш Нахал зовет его на расправу, под окном косятчатым сидя, в растворчатое глядя. Пришел к нему капрал наш, заживо мертвым себя почитает, молитвами грешными сам себя поминает. «Отколе ты взял платок этот?» — спросил у него Котыш Нахал, невидимка искони века. Иван рассказал, от кого и каким случаем платок ему достался. «Ладно, кума, лишь бы правда была,— отозвался Котыш.— Правду ли ты говоришь?» — «Божиться у нас не велят, да и лгать заказывают,— отвечал служивый,— что сказано, то и свято; на солдатском слове хоть твердыни клади».— «Не долго думано, да хорошо сказано,— молвил Котыш.— Если так, то ты бы мне давно это сказал — стало быть, ты женат на дочери моей прекрасной девице Катерине, и ты по завету, которому столько же лет, как ей самой, не только пребудешь жив, здоров и невредим и свободен от всякой пени, но и должен получить в приданое собственные мои гусли-самогуды, искони готовые, заветные, на которые и было положено завету заслужить любовь и руку дочери моей прекрасной девицы Катерины. Для милого дружка и сережку из ушка!» Снарядил его, в поход отпустил, гусли-самогуды в мошне кожаной на плечи повесил — заиграли, заплясали, песни чудные запели,— а Иван лыжи навострил да направил восвояси; шагает, как жар-птица летает, домой торопится-поспешает. Шел он оттуда високосный год без недели со днем, не то поменьше, не то побольше, не поспеть ему и назад в сутки! Стоит

над путем-дорогой избушка-домоседка, распустила крылья, как курочка-наседка, а в ней стукотня; лукошко, кузовок, корзина да коробок вместо цыплят вокруг похаживают, а две ведьмы, сестры, одна буланая, одна соловая, вокруг избы дозором объезжают, никого к ней не допускают. Повесил Иван гусли-самогуды на дерево, заслушались ведьмы игры чудесной, а он тем часом обошел кругом, да и в избу. Старик седой молотом полновесным перед жерлом огненным на наковальне булатной кует булавы стальные, запускает их в набалдашники золотые, а готовые на полати за печь кидает. Это был вещун-чародей, служивший на Ивана по повелению сожительницы его Катерины службы царские, но они друг друга не зна́вали в глаза. Старик принял радушно пришельца усталого. «Ляг, говорит, да отдохни; а старуха моя, коли похлебать чего хочешь, сварит тебе щец — за вкус не берусь, а горяченько да мокренько будет!» Словом, напоил, накормил и спать положил, а с рассветом выпроводил, да услышал, на беду, игру чудесную гуслей-самогудов, и стал он их у Ивана просить-выпрашивать. Не захотел отдать ему Иван сокровища своего заветного, плодов поисков, трудов и похождений неимоверных,— а тот не взял добром, так взял всемером; помощники, которым, как мы уже видели, числа нет, явились по мановению повелителя своего, воздух и небо затмили множеством своим. «Хочешь ли бороться с каждым и со всеми? — спросил вещун-чародей.— Или добровольно за булаву любую отдашь мне гусли твои?» Иван подумал, да и отдал гусли; коротки ноги у миноги на небо лезть! Выбрал булаву поувесистее и пошел, проклиная белый свет! Куда деваться ему теперь? Что делать? Как дома, как в люди показаться и принести повинную голову свою на плаху? А был уже так близок великой цели своей! В раздумье играя булавой, стал он набалдашник золотой отвертывать. Отвернул — из палицы кованой несметное и бесчисленное множество войска боевого, конного и пешего, вылетает, в строй парадный перед ним на лугу собирается, генералы с адъютантами своими во всю прыть на Ивана, витязя бездомного и бесконного, наскакивают, отдают честь должную полководцу, музыка полный поход играет, подвиги Ивана Мо-

лодого Сержанта выхваляет, армия вся в три темпа ружья на караул осаживает, правою ногою отступает. Это несметные полчища бесов вещуна-чародея, обмундированные, вооруженные. Надел Иван набалдашник золотой — исчезло все, как не бывало; снял — опять здесь, и бой, и музыка, и армия, и генералы с рапортами; а гусли-самогуды в котомке за плечами. Смекнул делом капрал наш; набалдашник надел, палицу в руку, котомку за плечи, самоходцы на ноги, и марш на один шабаш в родимую свою сторонушку. Поспел до рассвета; стал на луга заповедные царские, которые недовольно человек ни один не смел святотатными стопами своими попирать, но на кои и птица мимолетная не садилась; снял голову с булавы и построил армию несметную прямо против дворца царского, а гусли-самогуды заставил играть: «За горами, за долами!» Царь, проснувшись, разгневался на дерзостного пришельца необычайно, струсил без меры и послал губернатора графа Чихиря Пяташную Голову осведомиться немедленно: что, и как, и кто, и почему? Идет Чихирь, узнал Ивана Молодого Сержанта издали, подходит дерзостно, шляпы плюмажной не сымает, речи строптивые-ругательные произносит: «Не удивишь ты нас, Иван окаянный, что скоро воротился, и врасплох нас не застанешь! На тебя виселица готова давным-давно!» Притравил словом одним Иван бесов своих на старого недруга закоснелого: схватили — не довольно по клочку, по волоску на каждого не досталось! Ждал, ждал царь ответа с нетерпением великим. «Нет, говорит, видно этот музыки заслушался; поди-ка ты, фельдмаршал мой Кашин!» «Не ломайся, овсяник, не быть калачом»,— сказал ему Иван; и этому была участь не завиднее первого, и третьему генералу Дюжину также. Но теперь вызвался и пошел сослуживец и поборник Ивана Молодого Сержанта, поступивший ныне на место убылого, сосланного за тридевять земель по гусли-самогуды. Зная службу и дисциплину, стал он подходить к новому полководцу почтительно, держал мерный шаг, руки по шву, фуражку снял на приличном расстоянии, одним словом: шел — не спотыкался, стал — не шатался, заговорил — не заикался, и осведомился от имени царского о происходящем. Иван Молодой Сержант, спроста без прозвища,

без рода, без племени, а теперь фельдмаршал, полуторный генерал и сам себе кавалер, обнял его, приласкал, сказался именем своим, приказал царю бить челом и доложить, что Иван воротился из похода своего, сослужил службу царскую, принес гусли-самогуды из рощи заповедной вечнозеленой от Котыша Нахала, вековечного невидимки, царю, царевичам и наперсникам их потешаться, музыкою забавляться. Сам надел набалдашник на булаву, снял войско с заповедных лугов и в послушании остался ожидать решения царского. Царь Дадон Золотой Кошель выслал звать его ко двору на чай и ужин, произвел в военачальники свои, губернаторы, сенаторы, генералы и кавалеры,— но только что Иван дался в обман и пошел без подозрения на зов царский, как два наемные резчика с кистенями, с ножами бросились с остервенением ему навстречу: они имели повеление обезоружить его, отняв палицу, и бросить его в темницу. Велика Федора, да дура, а Иван мал, да удал; им было бы выждать, покуда он взойдет в тесные ворота дворцовые, и захватить его сзади, а они, не поглядев в святцы да бух в колокол, поспешили, людей насмешили, вышли рано, да сделали мало. Теперь Иван в последний испытал коварство царя Дадона Золотого Кошеля и советников его правдолюбивых; он выпустил войско свое, конное и пешее, навстречу убийцам, обложил дворец и весь город столичный, так что лишь только нашедшая туча дождевая пронеслась в недоумении, ибо некуда было и капле дождя кануть,— и истребил до последнего лоскутка, ноготка и волоска Дадона Золотого Кошеля и всех сыщиков, блюдолизов и потакал его. «Человеку нельзя же быть ангелом»,— говорили они в оправдание свое. «Но не должно ему быть и дьяволом,— отвечал он им.— И Соломон и Давид согрешали — давидски согрешаете, да не давидски каетесь! Нет вам пардону!» И поделом: они все, по владыке своему, на один лад, на тот же покрой — все наголо бездельники; каков поп, таков и приход; куда дворяне, туда и миряне; куда иголка, туда и нитка.

Иван был провозглашен от народа царем земли той, а супруга его, благоверная Катерина,— царевною; он был еще в цветущей молодости своей, да и она в отсутствие его не состарелась, ибо все неимоверные похождения его с Котышем Нахалом и гуслями-

самогудами действительно произошли в продолжение одних только суток. Царь Иван много лет здравствовал и царствовал, кротко и смиренно, милостиво и справедливо; пользовался мудрыми советами супруги своей, благоверной Катерины, ратью своею несметною держал во страхе и повиновении врагов своих и был благословляем народом. Празднуя же восшествие свое и супруги своей на престол, заставил на пиршестве обильном ликовать народ три дня и три ночи без отдыха; вина заморские лились через край; яств, каких, только прихотливая душа твоя пожелает, вдоволь; скоморохи, выписные и доморощенные, игрища многоразличные, горы, пляски, салазки и сказки, кулачные бои увеселяли народ, со всех концов царства обширного собравшийся.

И я и сват Демьян там были, куму Соломониду дома забыли, мед и пиво пили, по усам текло, в рот не попадало,— кто сказку мою дослушал, с тем поделюсь, кто нет — тому ни капли!

СКАЗКА О ШЕМЯКИНОМ СУДЕ И О ВОЕВОДСТВЕ И О ПРОЧЕМ; БЫЛА КОГДА-ТО БЫЛЬ, А НЫНЕ СКАЗКА БУДНИШНЯЯ

Карлу Христофоровичу Кнорре

Пробежал заяц косой, проказник замысловатый, по свежей пороше, напрыгался, налягался, крюк выкинул сажени в три, под кочкою улегся, снежком загребся, притаился, казалось бы его уж и на свете нет — а мальчики-плутишки заутре по клюкву пошли и смеются, на след глядя, проказам его; экий увертливой, подумаешь, ведь не пойдет же прямым путем-дорогой, по людски, виляет стороной, через пень, через тын, узоры хитрые лапками по снежку выводит, на корточки сядет, лягнет, притопнет; петлю закинет — экий куцый проказник! Ну, а как бы ему еще да лисий хвост? — И долго смеялись зайцу, а заяц уж бог весть где! Слухом земля полнится, а причудами свет; это не сказка, а присказка, а сказка будет впереди. Шемяка, судья и воевода напроказил, нашалил, и скрылся, как заяц наш, да след покинул рыси своей лебединой лапчатой; а русский народ, как известно всему свету, необразованный, непросвещенный, так и рад случаю придраться, голову почесать, бороду потрясти, зубы поскалить, и подымает на смех бедного Шемяку судью и поныне. Кто празднику рад, тот до свету пьян; у меня кума жила на Волге, Соломонида, бывало как вспомянет, что у свекрови на крестинах пономарь оскоромился, так и в слезы; а в Суздаде, сват Демьян, и на тризне, да хохочет! Уговор лучше денег, кто в куму Соломониду удался, ни сказки ни присказки моей слушать не садись; сказка моя о похождениях слезных, при-

ключениях жалостных Стоухаиа Рогоуховича и Бабарыки Подстегайловиы лежит у меия под спудом; а присказка о косом и куцом зайце и сказка о суде Шемякииом написаиа, к быту прииоровлеиа и поговорками с ярмоики Макарьевской разукрашеиа, для свата Демьяиа с честными сотоварищи: всякому зерну своя борозда; иа всех ие угодить; шапка с заломом, будь и бархатная, ие на дворянскую голову шьется — а по мне да по свату куцое платье, фраицузская булка иа свет ие родись! Нам подай зимою щи с пирогом; кашу; летом ботвииью, либо окрошку, тюрю, поставь квасу, да ржаного хлеба ломоть, чтобы было, за что подержаться, да зубами помолоть — а затем просим свата Демьяна ие прогневаться, небылицами коренными русскими потешиться, позабавиться; у иас с иим, как у людей, выше лба уши не растут!

Шемяка родился ие воеводою, а мужиком. Не родись умен, ие родись богат, а родись счастлив. Край его был бедный, иароду смыслящего мало, письменного не миого, а Шемяка у дьячка в святцы глядеть выучился, знал праздник, по приметам, отличать от буден, ходил в тонком кафтане — а как на безрыбьи и рак рыба, а в городе Питере и курица птица, так мир его и посадил в старосты. Шемяка мужик смирный: когда спит, так без палки проходи смело; и честный, заговорит, так что твои красиобаи, душа иа ладони и сердце иа языке; а что скажет, то и свято, где рука, там и голова; лихоимства не знал, бывало Федосей, покойник, царство ему иебесное, вечная память, смышлен и хитер иа выдумки, иа догадки, тороватей немца иного — ему пальца в рот не клади! Бывало и комар носу ие подточит; да любил покойник, нечего греха таить, чтобы ему просители глаза вставляли серебряные; бывало стукнет по голове молотом, не отзовется-ль золотом? Да и сам только тем прав бывал, что за него и праведиые деньги молились. Шемяка наш прост, хоть кол иа голове теши, да добр и богобоязлив; так мужики и надеялись иажить от него добра, да и оскоромились. Не то беда, что растет лебеда, а то беды, как нет и лебеды!

Приходит к старосте Шемяке баба просить иа парня, что горшки побил. Парню, лежа на полатях, соскучилось; поймал ои клячу, а как он был не из самых ловких и проворных, так не умел и сесть, покуда

кума его не подсадила. Клячонка начала его бить, понесла, а на беду тут у соседки на частоколе горшки сушатся — понесла, да мимо горшков; он, как пошел их лбом щелкать, все пересчитал, сколько ни было!

Судья Шемяка подумал, да и рассудил: чтобы кума заплатила проторн, убытки и горшки соседки, за то, что парня криво на клячу посадила.— Где суд, там и расправа; мы проволочки не любим! Деньги на стол, кума, да и ступай домой!

Чтобы тебе быть дровосеком, да топорища в глаза не видать, за такой суд, подумал сват Демьян; убил бобра! Заставь дурака богу молиться, так он и лоб расшибет!

Теперь подошла другая баба с просьбою. К ней в огород и во двор и в сени повадился ходить соседский петух; а поваженный, что наряженный, отбою нет; и такой он забияка, что бьет без пощады ее петуха и отгоняет от куриц; а соседка приберечь и устеречь его не хочет. Тогда судья Шемяка приказал поймать ей своего петуха и принести, и повелел писцу своему очинить ему нос гораздо потоньше и поострее, на подобие писчего пера, дабы он мог удобнее побивать петуха соседнего. Но он скоро, и не дождавшись победы своей, исчах и умер голодною смертью. Что ж делать; на грех мастера нет; и на старуху бывает проруха; конь о четырех ногах, да спотыкается, а у нашего петуха, покойника, только две и были!

Теперь еще пришла баба просить за мужика. Как квочки раскудахтались, сказал Шемяка,— визжать дело бабье! Ехали они вместе, баба с мужиком, на рынок; мужик стал про себя рассуждать: продам я курицу, продам яйца, да куплю горшок молока; а я, примолвила баба сдуру, я хлеба накрошу. Тогда мужик, не медля ни мало, ударил ее в щеку, и вышиб у нее два зуба; а когда она спросила, зарыдав, за что? Так он отвечал ей: *«Не квась молока».*— Мужик с бабой пришли к Шемяке и просили друг на друга; мужик, не запираясь ни в чем, принес два зуба, которые у нее вышиб, в руках.

— Квасить молоко чужое не годится,— сказал Шемяка просительнице,— на чужой каравай рот не разе-

вай, а пораньше вставай, да свой затевай! Но и ты не прав, земляк: вина одна; с чужим добром не носись, на утварь ближнего не посягай. Отдай бабе сей же час оба зуба, сполна, да и ступайте, господь с вами! тут и без вас тесно, и на брюхе пресно: сегодня еще ни крохи, ни капли в глотку не попадало, а хлопот полон рот — в голове, как толчея ходит; бьешься, бьешься, как слепой козел об ясли! Либо одуреешь с этим народом, прости господи, либо с ума сойдешь, либо, за недосугом, когда-нибудь без покаяния умрешь!

За такие и иные подобные хитрые увертки и проделки нашего судьи правдивого, старосты Шемяки, посадили его на воеводство, и стали уже отныне честить-величать по батюшке, Шемякою Антоновичем. Полюбится сатана лучше ясного сокола; вечером Макар гряды копал, ныне Макар в воеводы попал! Коси малину, руби смородину! Жил прежде, так стал поживать ныне; готовый стол, готовый дом, а челобитчиков, просителей, на крыльце широком, что локтем не протолкаешься! Шемяка возмечтал о себе, и стал, как овсяная каша, сам себя хвалить и воспевать: Я-де старого лесу кочерга, меня не проведешь, и на кривых оглоблях не объедешь; у меня чем аукнешь, тем и откликнется; судить да рядить я и сам собаку съел; я и малого греха, и малой неправды не потерплю ни в ком; от малой искры да Москва загорелась; вола и резник обухом бьет, убей муху! А у меня, кто виноват, так виноват, хоть себе невидимка, хоть семи пядей во лбу будь!

А как бы сват мой Демьян его подслушал, так и подумал бы про себя: Ври на обед, да оставляй и на ужин! Ох-ты гой еси добрый молодец, судья правдивый, Шемяка Антонович, сын отца своего родного-кровного Антона Поликарповича. Ни ухо ты ни рыло, ни с рожи, ни с кожи, а судишь так, что ни мыто, ни катано, ни брито, ни стрижено; у тебя ум за разум заходит, знать, чересчур перевалил; а где тонко, там, того и гляди, порвется! И сатана в славе, да не за добрые дела; а иная слава хуже поношенья. Ты богослов, да не однослов; мягко стелешь, да жестко спать; скажешь вдоль, а сделаешь поперек; запряжешь и прямо, да поедешь криво!

Все это подумал бы он про себя, а сказать, не скажет ни слова. Кто Шемяку посадил в воеводы, тот и отвечает. Солдат солдата под бок толкает: земляк! куда ты идешь, гляди-ка, тут головы не вынесешь без свища!» — «Про то знает тот, кто посылает,— проворчал старый служивый,— не ты за свою голову отвечаешь; а ты знай иди, да с ноги не сбивайся!» Так и я; не наше дело, попово, не нашего попа, чужого. Моя изба с краю, я ничего не знаю!

Пришел мещанин к воеводе Шемяке Антоновичу просить на соседа. Сосед у него был убогий, по имени Харитон, отставной целовальник. Он бы поехал и на топорище по дрова, да чай не довезет и до угла — так он и пришел просить у зажиточного хозяина кобылу. У меня, говорит, и дровни стоят наготове, и кнутишко припасен, и топор за поясом, так за малым дело стало: лошаденки нет! не откажи, батюшка!

Так и кума моя, Соломонида, что на Волге жила, не тем будь помянута, бывало о масленой пошлет внучку к золовке: приказала-де бабушка кланяться, собирается блины печь, так уж наставила водицы, натолкала и соли, припасла и сковородник, а велела просить: сковороды нет ли, мучицы гречневой, молока да маслица!

Ссудил сосед Харитона, отставного целовальника, кобылой, пришел тот к нему и за хомутом; а как хомута лишнего у этого не случилось, так он ему и не дал. Тогда убогий Харитон наш не призадумался: он привязал кобылу просто к дровням за хвост и поехал по дрова; когда же, навалив воз большой, возвращался из лесу домой, так был под хмельком; он ворота отпер, подворотню выставить позабыл, а сам кобылу стегнул плетью. Она бросилась через подворотню и вырвала себе хвост весь, а дровни остались за воротами. Харитон приводит кобылу без хвоста, а хозяин, не приняв ее, пошел на него просить.

Воевода Шемяка повелел кобылу ту привести и освидетельствовать, действительно ли она без хвоста! А когда сие оказалось справедливым, и присяжные ярыги и думные грамотеи в очках хвоста искали, искали и не нашли, тогда воевода Шемяка суд учинил и расправу и решение такое: Как оный убогий мужик,

Харитон, отставной целовальник, взял кобылу с хвостом, то и повинен возвратить таковую ж; почему и взять ему оную к себе, и держать, доколе у нее не вырастет хвост.

— Ну, вот и с плеч долой,— сказал Шемяка про себя;— сделаешь дело и душе-то легче! Премудрость быть воеводой! Ведь не боги же и горшки обжигают!

«Удалось смелому присесть нагишом, да ежа раздавить,— подумал сват Демьян,— первый блин да комом! Хоть за то спасибо, что не призадумается; отзвонил, да и с колокольни! Чуть ли наш воевода не с Литвы; а туда, говорят, на всю шляхту один комар мозгу принес, да и тот, никак, девки порасхватали, а на нашего брата не досталось, что шилом патоки захватить! Нашему воеводе хоть зубы дергай; человек другому услужил, а сам виноват остался; бьют и Фому за Еремину вину! Ни думано, ни гадано, накликал на свою шею беду —не стучи, громом убьет. Кабы знал да ведал, где упасть, там бы соломы подостлал — не давать бы кобылы, не ходить бы просить. Мое дело сторона; а я бы воеводе Шемяке сказал сказку, как слон-воевода разрешил волкам взять с овец по шкуре с сестры, а больше не велел их трогать ни волоском! Такой колокол по мне хоть разбей об угол! Поглядим, что дальше будет».

Приходит еще проситель, по делу уголовному. Сын вез отца, больного и слепого, на салазках, в баню, и спустился с ним, подле мосту, на лед. Тогда тот же Харитон, отставной целовальник, у которого и было ремесло, да хмелем поросло, шел пьяный через мост, упал с мосту, и убил до смерти больного старца, которого сын вез на салазках в баню. Харитон, подпав суду по делу уголовному, немного струсил; а когда его позвал Шемяка судья, то он, став позади просителя, показывал судье тяжелую, туго набитую кожаную кису, будто бы сулит ему великое множество денег. Шемяка Антонович, судья и воевода, приказал и суд учинить изволил такой: чтобы Харитону целовальнику стать под мостом, а вышереченному сыну убиенного прыгать на него с моста, и убить его до смерти. Долг платежом красен. Покойнику же отдать последнюю честь, и пристроить его к месту, то есть отвести ему

земли косую сажень, выкопать землянку, снять с него мерку, да сшить на него деревянный тулуп, и дать знак отличия, крест во весь рост.— Сват мой Демьян, услышав все это, замолчал, как воды в рот набрал, и рукой махнул. Теперь, говорит, дело в шапке, и концы в воду; хоть святых вон понеси! Да поры, до времени, был Шемяка и прост, да лихоимства не знал; а в знать и силу попал, так и пустился во всякие художества: по бороде да по словам Авраам, а по делам — Хам; из речей своих, как закройщик модный, шьет, кроит, да выгадывает, по заказу, по деньгам, по людям, по лицу — что дальше, то лучше; счастливый путь!

Наконец приходит еще челобитчик. Тот же пьяный дурак Харитон выпросился к мужику в избу погреться. Мужик его пустил, накормил и на полати спать положил. Харитон оборвался с полатей, упал в люльку и убил ребенка до смерти. Отец привел Харитона к судье, и, будучи крайне огорчен потерею дитяти своего, просил учинить суд и правду. Береза не угроза, где стоит, там и шумит! Харитон целовальник знал уже дорогу к правосудию: сухая ложка рот дерет, а за свой грош везде хорош. Он опять показал Шемяке, из-за челобитчика, туго набитую кожаную мошну, и дело пошло на лад.

Ах ты окаянный Шемяка Антонович! Судья и воевода и блюститель правды русской, типун тебе на язык! Лукавый сам не соберется рассудить беспристрастнее и замысловатее твоего; а кто хочет знать да ведать последний приговор судьи Шемяки, конец и делу венец, тот купи, за три гривны, повествование о суде Шемякином, с изящными изображениями, не то суздальского, не то владимирского художника, начинающееся словами: *«В некоторых Палестинах два мужа живаше»* — и читай — у меня и язык не поворится пересказывать; а я, по просьбе свата, замечу только мимоходом, что изображение суда Шемякина, церемониала шествия мышей, погребающих кота, и сим подобные, неосновательно называются обыкновенно лубочными: это, говорит Демьян, показывает невежество, и унизительно для суздальцев; изображения сии искусно вырезываются на ольховых досках, а не на мягком и волокнистом лубке. Но сват меня заговорил, и я от-

брел от кола; начал, так надобно кончить. Кто в кони пошел, тот и воду вози; не почитав сказки, не кидай указки!

Итак, по благополучном решении и окончании трех уголовных дел сих, Шемяка послал поверенного своего требовать от Харитона платы, которую он ему во время суда сулил и показывал в кисе кожаной. А Харитон целовальник отвечал: это не киса у меня, а праща; лежали в ней не рубли, а камни; а если бы судья Шемяка меня осудил, так я бы ему лоб раскроил! Тогда Шемяка Антонович, судья и воевода, перекрестясь, сказал: слава Богу, что я не его осудил: дурак стреляет, Бог пули носит; он бы камень бросил и, чего доброго, зашиб бы меня! Потом, рассудив, что ему пора отдохнуть и успокоиться после тяжких трудов и хлопот, на службе понесенных, расстроивших здоровье его, так что у него и подлинно уже ногти распухли, на зубах мозоли сели, и волоса моль съела,— поехал, для поправления здоровья своего, на службе утраченного, за море, на теплые воды. А Харитон, целовальник отставной, как пошел к челобитчикам требовать по судейскому приговору исполнения, так и взял, на мировую, отвяжись-де только, с одного козу дойную, с другого муки четверти две, а с третьего, никак, тулуп овчинный, да корову — всякого жита по лопате, да и домой; а с миру по нитке, голому рубаха, со всех по крохи, голодному пироги! Всяк своим умом живет, говорит Харитон; старайся всяк про себя, а господь про всех; хлеб за брюхом не ходит; не ударишь в дудку, не налетит и перепел; зимой без шубы не стыдно, а холодно, а в шубе без хлеба и тепло, да голодно!

Вот вам и всем сестрам по серьгам, и всякому старцу по ставцу! Шемяка родил, жену удивил; хоть рыло в крови да наша взяла; господь милостив, царь не всевидящ — бумага терпит, перо пишет, а напишешь пером, не вырубишь топором! Нашего воеводу голыми руками не достанешь; ему бы только рыло свиное, так у него бы и сморчок под землей не схоронился!

Чтож сказать нам про Шемяку Антоновича, как его чествовать, чем его потчевать? Послушаем еще раз, на прощанье, свата Демьяна, да и пойдем. Он говорит: Удалося нашему теляти да волка поймати! Простота хуже воровства, в дураке и царь не волен; по мне уж

лучше пей, да дело разумей: а кто начнет за здравие, а сведет на упокой, кто и плут и глуп, тот — на ведьму юбка, на сатану — тулуп!

Кланяйся, сват Демьян, куме Соломониде, расскажи ей быль нашу о суде Шемякином, так она тебе, горе мыкаючи, в волю наплачется; скажет: Ныне на свете, батюшка, все так; беда на беде, бедой погоняет, беду родит, бедою сгубит, бедой поминает! За грехи тяжкие, господь нас карает; ныне малый хлеб ест, и крестного знамения сотворити не знает — а большой, правою крестится, а левую в чужие карманы запускает! А мы с тобою, сват, соловья баснями не кормят, где сошлись, там и пир; новорожденным на радость, усопшим на мир — поедим, попьем, да и домой пойдем!

СКАЗКА
О ПОХОЖДЕНИЯХ ЧЕРТА-ПОСЛУШНИКА СИДОРА ПОЛИКАРПОВИЧА, НА МОРЕ И НА СУШЕ, О НЕУДАЧНЫХ СОБЛАЗНИТЕЛЬНЫХ ПОПЫТКАХ ЕГО И ОБ ОКОНЧАТЕЛЬНОЙ ПРИСТРОЙКЕ ЕГО ПО ЧАСТИ ПИСЬМЕННОЙ

Однокашникам моим
Павлу Михайловичу Новосильскому
и Николаю Ивановичу Синицыну

Идет рыба на блевку, идет и на блесну — кто наелся былей сытных, приторных, тот поди для праздника перекуси небылицей тощей да пряною, редькой, луком, стручковатым перцем приправленною! Истина нахальна и бесстыдна: ходит как мать на свет родила; в наше время как-то срамно с нею и брататься. Правда — собака цепная; ей только в конуре лежать, а спусти — так уцепится, хоть за кого! Быль — кляча норовистая; это кряж-мужик; она и редко шагает, да твердо ступает, а где станет, так упрется, как корни пустит! Притча — дело любезное! Она неряхою не ходит, разинею не прикидывается, не пристает как с ножом к горлу; она в праздник выйдет, снарядившись, за ворота, сядет от безделья на завалинку — кланяется прохожему всякому смело и приветливо: кто охоч и горазд — узнавай окрутника; кому не до него — проходи, как мимо кружки, будто не видишь, что люди по пятаку кидают! Вольному воля, а спасенному рай; а чужая совесть — могила; за каждой мухой не угоняешься с обухом, и мой окрутник за тобою не погонится!

В Олонецкой губернии, сказывают, много камня дикого и много болота мокрого — там вышел однажды мужик попахать. Пустил он соху по низовью, под скатом, так попал было в топь такую, что насилу вылез; выдрался с сохой он на горку, так напорол и вызубрил сошник о булыжник неповоротливый; а когда догадался поискать суходолья, так вспахал его и за-

сеял. Это не сказка, а присказка, а сказка будет впереди!

Сатана, не самый старший, всегда лично в первопрестольном граде своем царствующий, а один из приспешников и нахлебников его, один из чертей-послушников, праздновал именины свои; а звали того черта Сидором, и Сидором Поликарповичем. На пирушке этой было народу много, все веселились честно и добропорядочно; плясали пляски народные и общественные, не как у нас, на ногах, а скромно и чинно, на голове; играли в карты и выезжали все на поддельных очках; расплачивались по курсу фальшивыми ассигнациями самой новой, прочной английской работы, не уступающей добротою настоящим; но все это делалось, говорю, мирно и ужиточно. Вдруг входит человек в изодранном форменном сертучишке,— кто говорил, что это хорунжий, отставленный три раза за пьянство и буянство; кто говорил, что это небольшой классный чиновник, а кто уверял, что это отставной клерк, унтер-баталер, а может быть, и подшкипер. Не успел он почтить собрания присутствием своим, как в тот же миг ввязался в шашни миролюбивых посетителей и, не откладывая дела и расправы, ударил на них в кулаки. Люблю молодца за обычай! Да и не детей же с ними крестить стать! Черт-именинник как хозяин сунулся было разнимать, но как от первого русского леща у него в ушах раздался трезвон в семь колоколов с перезвоном, на языке и горько и кисло стало, а из глаз искры посыпались градом, так он присел и приемирел. Гости расползлись по домам, по вертепам своим, и храбрый воитель и победитель наш остался пировать один, как тетерев на току.

— Дурак ты,— сказал настоятель, сатана-староста, Сидору, когда этот пришел к нему плакаться на беду свою,— дурак круглый и трус, и худой, как я вижу, нам слуга, когда жалеешь для службы нашей шкуры своей и пары-другой зубов! Тебя, вижу я, надобно в черном теле держать! Ты бы обрадовался находке да последил ее; я давно вам, неизворотливым, сказывал, что мне чиновные озорники и пройдохи почетные нужны, чтобы вы их сманивали да зазывали, а вы знай ходите поджавши хвосты, как смиренники! Вы у меня как-то все от рук отбились: погоди, я вас

пригну к ногтю! Изволь ты у меня отправиться на землю, изведать на деле сушь и глубь и быт гражданский и военный и взять оседлость там, где для оборотов наших окажется повыгоднее; да прошу без всяких отговорок служить, как люди служат, не для поживы и личных выгод, а для блага и пользы общей нашей, не щадя ни живота, ни крови.

Сидор Поликарпович вылез из преисподней, стал ногами на твердую землю и оглядывался кругом на просторе; с него еще пар валил, как с московского банщика, и он все еще не сбил оскомину после вчерашней переквашенной русской закуски; а сверх того, сплечился немного в задней левой ноге, когда выбирался из пропасти преисподней, а потому прихрамывал и сел отдохнуть.

«Плохое житье наше,— подумал он про себя.— С тех пор как нашего брата с неба спихнули, все обижают; всякий ярыга дулю подносит и по ушам хлещет! Свались только ты, так и подобьют под ноги, а станешь вставать, оправляться, так подзатыльников и не оберешься! Народ умудряется и просвещается со дня на день, и бесхвостое это племя за все берется, во все ввязывается: под землю подрывается, бороздит по морю, крестит по воздуху,— не присвой я себе жару, огня ярого, так бы и не было у меня своего красного уголка, нечем было бы перед ними похвалиться! Бьешься, бьешься как рыба об лед, а поживы мало, часом и харчи не окупаются!»

Он оглянулся кругом, поводил рылом во все стороны, а он, как добрый гончий, искал верхним чутьем, вздохнул горько и сказал: «Идти добро промышлять отселе подальше — здесь, в этой земле, за причетом нашим, и босым и постриженным, приступу нет; они и без нашего брата управятся!»

Он встал и пошел на восток, ибо вылез из земли на самом крайнем западе, на взморье, под крутым берегом, где конец света и выдался мыском в море крайний клок земли, нашей части света. Шел он, шел, долго ли, коротко ли, вёдром ли, погодкой ли, а дошел до страны от нас западной, пригишпанской, королевства задорного; а обитают в королевстве том люди неугомонные, неужиточные, родятся в них замыслы несбыточные. Там-то Сидор наш встретил отрядец

солдат на привале. Солдаты те пришли из стран северных, необозримых, пространством морю прилежащему, ледовитому, равных; перешли путем земли многоязычные и отдыхали от трудов и утомительного перехода. Черт подсел к ним и начал расспрашивать их:

— Куда, ребятушки, идете?

— Идем мы, куда Макар телят не гоняет, куда ворон костей твоих не занесет; идем под Стукалов монастырь пить да гулять, а не сиднем сидеть, играть в мяча чугунного, грызть орехи каленые ядреные; идем хлебом-солью гостей чествовать, сажать боком-ребром на прилавки железные, узкие, граненые, за скатерти браные травчатые-муравчатые, за столы земляные; поить до упаду хмельным багряным вином, опохмелять закусками ручными — ореховыми, приговаривать: «Не ходи один, ходи с батюшкою»; припевать: «Не тебе, супостату, на орла нашего сизого, на царя нашего белого руку заносить окаянную!» Кому пир, а кому мир; а кому суждено, разбредемся — сляжем по землянкам даровым, не купленным, по зимовьям не просторным, низеньким; нашему брату жизнь — копейка, голова — наживное дело! Идем пожить весело, умереть красно!

«И гладко строгает, и стружки кудрявы! — подумал черт Сидор Поликарпович. — Дай еще с ним потолкую, авось не будет ли поживы!»

— А что, служивый, чай здесь житье ваше привольное, хорошее?

— В гостях хорошо, а дома лучше, — отвечал гренадер.

— Здесь девушки хороши, — намекнул черт.

Гренадер. Много хороших, да милых нет!

Черт. Хороши, да не милы! Сбыточное ли это дело?

Гренадер. У нас не по хорошу мил, а по милу хорош!

Черт. Так что же вы милых покинули, а зашли к немилым!

Гренадер. Не пил бы, не ел, все на милую глядел — да слезою моря не наполнишь, кручиною поля не изъездишь, а супостата вашего крестом да молитвою не изведешь; стало быть, садиться каза-

ку на коня, а нашему брату браться за пищаль да за щуп!

Черт. Да вы, господа кавалеры, волей или неволей сюда зашли?

Гренадер. Наша воля — воля царская; за него животы наши, за него головы!

Черт. Поглядишь на вашего брата, так жалость донимает! Кабы на мою немудрую голову — что бы, кажись, за радость в такой вериге ходить! Покинул бы честь и место, да и поминай как звали меня самого!

— А у тебя самого — распазить да навоз возить! — отвечал ему гренадер.

«Какой этот сторожкой! — подумал черт Сидор Поликарпович.— Пойду к другому! Дай пристану тут к заносному племени этому; к ним и ходить далеко и проживать холодно. Здесь, во стране пригишпанской, западной, сручнее будет мне с ними побрататься; а там — чем отзовется, попытаюсь с ними вместе и до их земли добраться!»

Наш новобранец, из вольноопределяющихся, пристал, служил и ходил под ружьем, терпел всю беду солдатскую, перемогался, но — крепко морщился! Ему в первые сутки кивером на лбу мозоль намяло пальца в полтора; от железного листа в воротнике шея стала неповоротливее, чем у серого волка; широкою перевязью плеча отдавило, ранцем чуть не задушило, тесаком икры отбило! Солдату, говорят, три деньги в день, куда хочешь, туда их и день; веников много, да пару нет, а мылят, так все на сухую руку! У солдата шило бреет, а шубы нет, так палка греет! «Эти поговорки приелись мне, как сухой ячмень беззубой кобыле, уходили меня, как кающегося грехи; это не по мне! Семь недель, как в великий пост, голодом сиди, семь недель мозоли сбивай, покуда раз, да и то натощак, угодишь подраться да поживиться! Что мне за неволя в таком хомуте ходить! Стану жить я по-своему».

Сказано — сделано. Полк вышел к смотру, у всех и ранцы и амуниция исправны, а у нашего Сидора ни кирпичика форменного, ни ваксы сухой, ни воску, ни лоску, пуговицы не чищены, ниток в чемоданчике, напоказ, ни серых, ни белых!

Сидор Поликарпович думал переиначить всю службу по-своему, да и опростоволосился крепко! Ему

это отозвалось так круто и больно, что он, забыв все благие советы и наставления старосты-сатаны, бросил все — и службу, и ранец, и ружье, и суму, проклял жизнь и сбежал. Он удирал трои сутки без оглядки, набил плюсны и пятки и присел наконец под липку перевести дух. Не успел он еще опамятоваться, как вдруг увидел перед собою человека невысокого росту, в низкой треугольной шляпе без пера, в расстегнутом сером сюртуке, длинной жилетке, в ботфортах, который стоял, сложив руки на груди и выставив левую ногу вперед, и разглядывал по очереди все отдаленные, через дол и лес пролегающие дороги, и был, казалось, в нерешимости, которую ему избрать. Черт Сидор подошел, обнюхал незнакомца кругом, в одно ухо ему влез, в другое вылез, и узнал таким образом все помышления и замыслы его. В это время вдруг подлетел латник с косматым шлемом и, указывая назад, донес, что он опять уже видел мельком пики на красных и синих древках и нагайки. Тот кинулся на коня и помчался стрелой; и наш Сидор, смекнув и разгадав дело, едва успел сунуть ему за пазуху письмо, которое он, пригнувшись на корточках за заднею лукою седла всадника, написал и которое при сей верной оказии вздумал отправить во тьму окромешную к командиру своему, сатане-старосте, чтобы известить его о плохих успехах своих и проситься домой. Сидор не колдун, да угадчик; письмо его запоздало несколько, это правда, но оно, застрахованное, действительно дошло наконец до места и передано всадником с рук на руки старосте-сатане, настоятелю Стопоклепу Живдираловичу; вот оно от слова до слова:

«Письмо от черта-послушника, Сидора Поликарповича, к сатане-старосте, Стопоклепу Живдираловичу, писанное на земле, во стране пригишпанской, западной, и отправленное во тьму окромешную при первой оказии с человеком невысокого росту в треугольной шляпе без пера.

Старосте нашему, Стопоклепу Живдираловичу, от послушника его и нахлебника, Сидора Поликарповича, нижайший поклон; супруге его, Ступожиле Помеловне, от усердного поклонника ее, Сидора Поликарповича, многия лета и нижайший поклон; теще его, ведьме

чалоглазой, Карге Фоминишне, по прозванию Редечной Терке, нижайший от нас же поклон и всякая невзгода мирская; равномерно и сожительнице нашей, драгоценной Василисе Утробовне, поклон и супружеское наше приказание, задним числом со дня отлучки нашей, пребыть нам верной; деткам нашим, сыновьям: Кулаку, Зарезу и Запою, дочерям: Мохнашке и Сивухе — родительское наше проклятие на веки нерушимое и поклон; брату нашему, Искусу Поликарповичу, и сожительнице его, Чуме Цареградовне, дяде нашему, Тузу Бубновому под крапом и сожительнице его, Крале Червонной Зотообрезной, а равно и всей преисподней — нижайший поклон наш и всякая неправда мирская и нечистые дела и соблазны; желаем им всякое наитие замыслов нечестивых и успех и воздаяние сторицею за понесенные труды и беды; а о себе скажем, что мы благодаря ходатайству старосты нашего, Стопоклепа Живдираловича, и процветающим в краях здешних глупостям и вздорным пакостям людским еще в живых и здравствуем, хотя все посильные наши попытки доселе еще мало понесли за собою плодов, и много мы бедствий земных на себе испытали, и осталася за нами одна только надежда, что новое предприятие наше принести нам долженствует успех вящий и жатву обильную, душегубительную. А вышли мы из преисподней во стране, бедной науками, и художествами, и просвещением, где блаженствуют наши, и босые и постриженные, на краю света,— почему и сочли мы за лишнее основать здесь пребывание наше, а отправились через горы высокие, снежные на Восток и обрели там людей, наклонных к дури и к пакостям, самодовольных и бессовестных; почему, рассудив также, что оные люди рук наших не минуют, раздавали мы им только значки, трехцветные и белые, для основания междоусобий; а потом и намеревались держать путь свой еще далее на Восток, как дошло до нас сведение, что нахлынули от стран северных люди, дюжие телом и крепкие духом, им же несть числа, а страна их ледовита и ими любима; и заложил во время оно преставившийся царь их, а наш первейший враг, столицу свою в земле неприятельской, и довершили ее наследники царя того и потомки, вопреки стараниям и покушениям нашим, а древнюю сто-

лицу свою, до которой нет нам приступу от великого множества церквей, коих числится сорок сороков, отстояли они ныне снова и подняли на дым, дабы не досталось в руки иноплеменникам двадесяти языков, под предводительством подручника нашего на царя и землю их покусившихся; и уморили они тех иноплеменников захожих голодом и холодом, и уходили и извели оружием, и написали сказку: «О беспечной вороне, попавшейся во щи гостей голодных», и следили того предводителя до земли и столицы его, где мы ныне обретаемся, и побивали его нещадно на каждом шагу. А посему и сочли мы за лучшую пакость подбиться к сим ненавистным нам доблестным и смиренным воителям и искусить их к совращению с пути повиновения и благочестия. Но сия попытка, несмотря на то, что, усердствуя ко благу нашему общему, не щадили мы ни плеч своих, ни шкуры, обошлась нам весьма несходно, и понесли мы от нее накладу более, чем барышей. Есть у них, например, обычай военный, что не спрашивается: *отколе взять,* а говорится только: *чтоб было;* глядишь — и есть; а чуть прогуляешь, проглядишь, так тотчас за расправу, а это вовсе не по нас! И пуще всего невзлюбили мы у них той музыки, что стучат в глухие бубны без бубенчиков да подыгрывают в два смычка без канифоли на кожаной скрипке; испытали мы притом жизнь холодную и голодную, так что часом и уведешь где-нибудь быка, да негде изжарить, некогда съесть; а по всему этому и рассудили мы наконец предоставить их участи своей, покинуть и сбежать. Они же, воители те, царей своих чтят свято, за землю обширную, отчасти ненаселенную и дикую, стоят всем оплотом дружно и норовисто, а посему успеха нам еще ожидать должно мало. Таким делом изведали мы быт их на суше, а ныне намерены при помощи отца-настоятеля и старосты нашего сесть на корабли их, здесь обретающиеся, и держать путь вместе с ними чинно и тихо до земли их и осмотреться там, на месте, не упуская удобного случая взять оседлость свою, как наказано нам было, там, где окажется повыгоднее и попривольнее. О чем, здравствуючи, будем не оставлять вас своими уведомлениями; а вас просим усердно находить нас таковыми же. А писано сие письмо к вам через самого того земли

пригишпанской, западной, повелителя, нашего подручника, которому срок на земле ныне вышел уже давным-давно и следует ему явиться к старосте, Стопоклепу Живдираловичу, во тьму окромешную; но, по мнению нашему, востребуется послать дюжину-другую разночинцев и послушников, нашей братьи, дабы они могли уловить и увлечь с собою того подручника нашего и представить в преисподнюю; ибо сам он, употребляя во зло долготерпение наше, день за день просрочивает и явиться к месту откладывает. А за сим, испрашивая от старосты нашего, и настоятеля, и всей братии послушников всякую невзгоду и проклятие небесное и земное, остаемся усердствующим ко соблазну общему служителем и послушником вашим

чертом Сидором Поликарповым.

Приписка. Еще уведомляем вас и о том, что оные северные страны повелитель, лишь только первый на миродавца того руку наложил, и отстоял земли и народы и веси своя, и избил всю заморскую рать его, и отобрал все оружие и до тысячи огнеметных литых орудий, то и все земли крещеные, доселе миродавцу тому раболепствовавшие, очнулись, и оперились, и противу него восстали, завопили, и начали витии велеречивые священнодействовать и писать воззвания доблестные и песни ободрительные войскам своим и всему народу; а понеже той северной страны повелитель даровал милость и пощаду всем на него посягавшим и карать их более не пожелал, а требует от них мира и дружбы, каковое изумительное великодушие поразило и врагов и новых союзников его, то и не худо бы нам заранее разослать в те иные земли послушников наших, дабы соблазнить все народы и земли крещеные забыть, что скорее, то лучше, таковое им оказанное беспримерное благодеяние и заставить их в бессилии своем и немощи обносить оговорами и клеветою северной той страны обитателей и властителей их и мстить им за вышереченное благодеяние всяким наветом злым, и словом, и делом, и где чем прилучится. О чем и прошу довести до сведения старосты нашего и настоятеля, Стопоклепа Живдираловича: ибо замечено нами на пути нашем, что наклонность к таковым нам любезным

пакостям и злодеяниям таится уже в семенах раздора многоязычных племен тех».

Отправив письмо это, соскочил Сидор с задней луки седла и чуть было не повис в тороках! «Долго ль до беды,— подумал он.— О серник споткнешься, затылком грянешься, а лоб расшибешь!» Он присел; а как было уже довольно поздно и Сидор наш уморился крепко, то и лег, свернулся, наутро встал, стряхнулся, совершил поход в один переход и сел на корабль у взморья.

«Фортуна бона,— подумал черт Сидор Поликарпович — а он думать научился по-французски,— фортуна бона,— подумал он, когда изведал службу нашу на море.— Я хоть языкам не мастер, а смекаю, что тютюн, что кнастер; мои губы не дуры, язык не лопатка, я знаю, что хорошо, что сладко. Здесь жизнь разгульная и всякого добра разливное море! Каждый день идет порция: водка, мясо, горох, масло; под баком сказки, пляски, играют в дураки и в носки, в рыбку и в чехарды; рядятся в турок и верблюдов, в жидов и в лягушек; спят на койках подвешенных, как на качелях святошных,— одна беда — простору мало, да работы много!»

Он надел на себя смоленую рабочую рубаху, фуражку, у которой тулья шла кверху уже, а на околыше были выметаны цветными нитками зубцы и узоры; опоясался бечевкой, привесил на ремне нож в ножнах кожаных, свайку, насовал в карманы шаровар каболки, тавлинку, кисет; вымазал себе рожу и лапы смолою, взял в зубы трубчонку без четверти в вершок и, проглотив подзатыльника два от урядника за то, что сел было курить на трапе, примостился смиренно к камбузу, где честная братия сидела в кружке, покуривала корешки и точила лясы.

— Что скажешь, куцый капитан общипанной команды, поверенный пустых бочек? — спросил марсовой матрос трюмного,— каково твои крысы поживают?

— Приказали кланяться, не велели чваниться! — отвечал тот.

— Не бей в чужие ворота плетью,— заметил старый рулевой насмешнику,— не ударили бы в твои дубиной! Век долга недели, не узнаешь, что будет;

может быть, доведется еще самому со шваброй ходить!

— Не доведется, Мироныч,— отвечал первый,— с фор-марсу на гальюн не посылают! Без нашего брата на марса-рее и штык-боут не крепится!

— Не хвалися, горох, не лучше бобов,— проворчал третий.— А кто намедни раз пять шкаторину из рук упускал, покуда люди не подсобили?

— Упустишь, когда из рук рвет,— отвечал опять тот.— Ведь не брамсельный дул, а другой риф брали!

— У доброго гребца и девятый вал весла из уключины не вышибет,— сказал урядник с капитанской шестерки,— не хвали меня в очи, не брани за глаза, не любуйся собой, так и будешь хорош!

— Запевай-ка повеселее какую, Сидорка,— сказал нашему Поликарповичу сосед его.— Что ты сидишь — надулся, как мышь на крупу! Ты волей пристал к нам, так и зазнаешься; а у нас, вишь, неволя скачет, неволя пляшет, неволя песни поет!

— Не свайкой петь, когда голосу нет!— отвечал Сидор, оскалив зубы, как мартышка.— Запевай-ка ты свою:

Здравствуй, милая, хорошая моя,
Чернобровая, похожа на меня!

— На тебя? — спросил урядник.— Надо быть, хороша была! Неужто и с тобой какая ни есть слюбилась?

— Нет такого мерзавца, чтобы не нашел своей сквернавки,— отвечал Сидорка.— Кабы люди не сманили, и теперь бы со мной жила!

— Кабы нашего сокола вабило не сманило, сто лет бы на месте сидел,— подхватил марсовой.— А какая твоя любка была, Сидорка, чернавка или в тебя, белянка?

— Была белобрысая, была и черномазая,— отвечал Сидорка,— было, да быльем поросло! Нашему брату за вами, в бубновых платочках, не угоняться!

— Да, мы таки постоим за своих,— подхватил тот же марсовой,— и поспорим хоть с кем, что против нашей, ниже у косноязычного француза, не найдешь ни одной! Бывало, моя как приоденется да приумоется, так хоть водицы испить!

— Чистоплотен больно,— промолвил Мироныч,— что за дворянин! Когда горох в котле, так, стало быть, и чист; брюхо не зеркало, что в зубах, то и чисто!

— Горох горохом,— отозвался кок за камбузом,— а в рассоле из-под солонины, ребята, нечего греха таить, наудил нынеча угрей!

— Эка невидаль,— отвечал Мироныч,— будто то и черви, что мы едим; по-моему, так то черви, что нас едят! Смазной, да затягивай хоть ты сдуру песню свою про червяка черемхового!

— Погоди,— отвечал Смазной,— вишь, трюмный наш, Спирька, задремал, так чтоб не потревожить!

— Чего тут годить; на посуле, что на стуле, посидишь да и встанешь,— сказал опять первый.

— Встанешь, пройдешься, да и опять присядешь,— отвечал тот,— посуленое ждется; что я тебе за песенник дался? Много ли вас тут охочих до песен моих? Я меньше как при двенадцати зубов не оскалю и голосу не подам!

— И дело,— подхватил марсовой.— У нас был в Касимове мещанин; как начал торговать, так, бывало, на пятак в день уторгует да еще два гроша сдачи даст; а расторговался, поднялся с мелочного на оптовой-валовой, так в нитках пасмы не разбивает, в варгаиах полудюжины не рознит!

Дудка просвистела на шканцах, и осиплый голос прокричал в фор-люк: «Пошел все наверх!» Все кинулись, кто в чем сидел, и Сидора Поликарповича нашего подле трапу семь раз с иог сбивали! Он вылез последним, и вахтенный урядник, сказав ему, что ои скор как байбак, поворотлив как байдак, спросил: «Не угодно ли прописать боцманских капель?» — «Не все линьком,— отвечал Сидор,— можно и свистком!» — «Да, можно,— ворчал тот,— засядете под баком, так вас оттоле калачом не выманишь, ломом не выломишь, шилом не выковырнешь! Пошел на марсафал!» Сидор кинулся на марса-фал, а его в шею. «За что?» — «Не трёкай!» Опять по шее. «За что?» — «Иди ходом, лежи валом, не дергай!» Кричат: «На брасы на правую!» А Сидора в шею. «За что?» — «Не тяни без слова!» Опять в шею. «Отдай»,— говорят; отдал — «Тяни!» Ну, словом, замотали бедного Сидорку нашего до того, что он и не знал, куда деваться; куда ни

сунься — урядник; за что ни ухватись — линек! «Из бухты вон!» — раздалось с юту, и Сидор наш, который еще не знал ни бухты, ни лопаря, оглянуться не успел, как боцман отдал пертулинь; якорь полетел, потащил за собою канат, а с канатом и Сидорку, который не успел выскочить из свернутых оборотов каната, из бухты, и Поликарповича в полтрети мига вместе с канатом прошмыгнуло в обитый свинцом клюз, выкинуло под гальюном, перед носом корабля! Он вынырнул, ухватился за водорез, за ватерштаги, вылез на бушприт и стоял долго, почесывая затылок и оглядываясь кругом: таких проказ он и во сне не видал! Он не мог опамятоваться. «Что за нелегкая меня сюда принесла! — подумал он, присев под кливером, у эзельгофта.— Тут замотают так, что с толку своротишь, из ума выбьешься! Попал я никак из огня да в воду! Как ни ладишь, ни годишь, а не приноровишься никак к этой *поведенции,* к морской *заведенции!* Не дотянешь — бьют, перетянешь — бьют; а что и всего хуже — работа впрок нейдет; тяни, тяни, да и отдай! Тяни, из шкуры лезь, тяни, да и отдай! Что это за каторга? По-моему бы, выдрал в струнку один раз, на шабаш, закрепи, да и не замай! А тут не успел навернуть на планку либо битенг, опять сымай, трави, отдавай — а там опять тяни! На это не станет и сил; у меня руки в плечах оттянуло так, что лапы в поликры болтаются: это не шутка! А глядишь — завтра то же, послезавтра опять то же... Служи сам настоятель, сатана-староста, когда лаком больно, а не я. Неохота лап мочить, а то бы соскочил сейчас, да и пошел! Терпеть, видно, до первого якоря, а там — и черт не слуга!»

Рассудил, как размазал, и не стал работать; отнекивался во ожидании первой якорной стоянки, а между тем стал бурлить тихомолком, задумал всполошить всю команду. Свистят: «Первую вахту наверх!» Сидорка забился на кубрике где-то, сидит, дух притаил. Кричат: «Аврал, аврал!» — и подавно то же; Сидорка и сам не идет и других не пускает! Как тут быть? Капитан хватился за ум. Он догадался, что все это проказы заморского выходца, новобранца нашего, Сидора, и вздумал повернуть делом покруче. «Свистать к вину!» — закричал он вахтенному уряднику.

Урядники собрались все вокруг грот-люка, просвистали резко и согласно «к вину», вся команда вышла, и черт Сидор Поликарпович также вылез. Тогда капитан приказал его схватить и, как первого зачинщика, растянул его на люк и вспорол, да так, что с него, с живого, сухая пыль пошла, что, как говорится, и чертям тошно стало! А сам приговаривал: «Я тебя взял на службу государеву, одевал и кормил тепло и сытно, а ты ум свой с концов обрезал, да и в середке ничего не оставил, вздумал проказить на свою голову — закорми чушку, так будет плакаться на пролежни; трунил ты надо мной, потешусь и я над тобой; проведу и я свою борозду, поставлю над тобою пример, чтобы у тебя сдуру молодец какой-нибудь не вздумал перенимать; передний заднему дорога; не задай острастки, так, чего доброго, черниговского олуха какого-нибудь и оплетешь! Не я бью, сам себя бьешь; кнут не мука, а вперед наука — один битый семерых небитых стоит! Это тебе в задаток; а если расплачиваться начистую с тобою доведется, так знай, что дело пойдет в рост! Тогда не пеняй!»

Черт Сидор Поликарпович, вырвавшись от жару такого, какого и у себя дома, в преисподней, не видывал, кинулся со всех ног через кранбалку и уцепился за одну лапу якоря, который только что был отдан и летел в воду, пошел с ним ко дну и впился мертвым зубом в илистый, вязкий, под плитняком, грунт морской; а когда на другой день судно стало сыматься с якоря, а черта нашего едва было не достали со дна морского, то он, в беде неминучей, перегрыз зубами канат у самого рыма, и боцман с баку закричал: «Пал шпиль! Лопнул канат, щебнем перетерло и конец измочалило!» «Черт с ним, и с якорем,— подумал баковый матрос, которого выпороли заодно с Сидоркою,— у нашего царя якорей много, всех не переломаешь! По крайней мере избавились от новобранца этого неугомонного, что пришел из стран пригишпанских, западных, и сел кстати, как вахлак на мослак!»

Таким образом, черт Сидор Поликарпович пропал вторично без вести, считался год со днем в бегах и наконец из списков по сухопутному и морскому ведомству выключен. Поминают об нем старослуживые с тремя шевронами, поминают, как царя Гороха да

Ивашку Белую Рубашку! Черт Сидор пропал, концы схоронил, и след простыл! Какие приключения и похождения проходил и изведал он на дне морском,— мореплаватель ли какой, со всем причетом и пожитками своими, морем хладным объятый и во мраке багровом до искупления своего по дну морскому крейсирующий, или другой кто приняли, приютили, наставили и научили Сидорку нашего,— этого я и не знал да позабыл; а у меня память такая куриная, что чего не знаешь, того и не помнишь! Знаю только, что вскоре после того, как сбылось с Сидоркою рассказанное в сказке нашей приключение и похождение, стал показываться оборотень какой-то в кудрявых и прописных Азах, коими расчеркиваются чиновные и должностные наши. Он, Сидорка, то роги выставит, то ногой лягнет, то когти покажет, то язык высунет, то хвостом, как мутовкой, пыль взобьет,— а сам с той поры никогда и никому более в руки не дается и на глаза не показывается; удавалось, правда изредка, сбить ему рог, так вырастал опять новый, покруче первого; посадили ему было как-то язык в лещедку, так он за перо; и видел его целком один только сват мой Демьян, да и то во сне! Сидит, сказывал, лоскут красного, чернилами испятнанного сукна подостлавши, затирает чернильные орешки с купоросом, с камедью, чинит перья-скорописчики, ножички подтачивает, смолку на подчистку изготовляет; сват Демьян подошел было к нему сдуру во сне, хотел поглядеть на него, так тот накормил его палями, напоил чернилами да начал было на него писать на листе форменного формата донос; так мой Демьян от него отрекся, отчурался; я, говорит, ни вор, ни пьяница, в домостроительстве не замечен, так во мне для тебя, хоть ты двадцать стоп испиши, ни русла, ни ремесла; человек я маленький, полуграмотный, шкурка на мне тоненькая, да и та казенная; пишу я по-казацки, супостата шашкою по затылку, коня донского нагайкою по ребрам; так ты отвяжись и не пятнай доброй славы моей, чтобы всяк мог говорить и ныне, как говаривали встарь:

Козак, душа правдивая,
Сорочки немае —
Коли не пье, так вошн бье,
Таки не гуляе!

Черт Сидор Поликарпович задал еще никак острастку куме Соломониде; а впрочем, остался при хлебном и теплом ремесле своем и при месте — он выписал из преисподней супругу свою, Василису Утробовну, сыновей: Кулака, Зареза и Запоя, дочерей: Мохнашку и Сивушку, и живет с ними припеваючи! Он доходами и сам сыт и подушное за себя и за всю семью свою, по последней ревизии, сатане-настоятелю, Стопоклепу Живдираловичу, уплачивает, а супругу его, Ступожилу Помеловну, дарил неоднократно к праздникам камачею, камкою, ожерельями и платками; места же своего покинуть не думает, а впился и въелся так, что его теперь уже не берет ни отвар, ни присыпка!

Вот вам сказка гладка; смекай, у кого есть догадка; кто *охоч*, да *не горазд*, тот поди, я с ним глаз на глаз еще потолкую; а кто *горазд*, да *не охоч*, тот прикуси язык да и отойди прочь!

СКАЗКА О БЕДНОМ КУЗЕ БЕСТАЛАННОЙ ГОЛОВЕ И О ПЕРЕМЕТЧИКЕ БУДУНТАЕ

А что, ребята, какой ныне у нас день? Кто скажет, не заглядывая в святцы, не справляясь у церковника нашего, ни у тещи его, у просвирни?

— А ныне трынка-волынка-гудок, прялка-моталка-валек, да матери их Софии,— отвечал косолапый Терешка, облизываясь.

— А коли так,— молвил сват,— коли праздник, то, видно, быть тому делу так: чтоб не согрешить, не ухватиться от безделья за дело, подите-тка сюда, садитесь на солнышко в кружок да кладите головы друг дружке на колени; сами делайте свое, а сами слушайте!..

Жил-был во земле далекой, промеж чехов да ляхов, старик гусляр да старуха гуслярка...

— И страх их не берет,— сказал долгополый церковник, проходя мимо наших молодцов и подпираясь терновой тросточкой своей,— и страх их не берет! Хоть бы воскресного дня дождались, да и зубоскалили б; так нет, вишь, и в будень... Погоди, вот я вас!

— Не сердись, дядя Агафоныч,— молвил сват,— что пути, печенку испортишь; позволь-ка милость твою поспрошать: у вас коли бывает воскресный-эт день?

— В воскресенье, антихристы,— гаркнул Агафоныч.

— Ан в субботу,— подхватил тот же молодец,— в субботу перед вербным у нас бывает Лазарево воскресенье!

— Вот каков, и церковника сбил да загонял,— закричали ребята, заливаясь хохотом,— ай да письмослов!

А рассказчик продолжал:

— Жил, говорю, старик гусляр да старуха гуслярка. Спросите вы: что-де за гуслярка, коли он играл на гуслях, а не она? Сами разумные вы, кажись, знаете, что по шерсти собачке кличка бывает, а по мужу и жену честят; коли муж гусляр, так жена неужто, по-вашему, пономариха? А коли этого про вас мало, так скажу вам, молодцам молодецким, что и старухе намедни прилучилось поиграть на гуслях: как полезла она за решетом да стянула их рядном с полатей — загудели, сердечные, сказывают, вечную память по себе пропели да и смолкли.

До этого греха старик наш кой-как с ломтя на ломоть перебивался; хотя, правда, родовое добро его, голос молодецкий, стал уже отказываться и подламываться о ту же пору, как и зубы, промолов с лихвою два-сорока годов; но наживное имущество, гусли, все еще служили верою и правдой безволосому и белобородому, утешали жителей села Поищихи, со проселки и выселки, и кормили старичков наших и сына их, бедного Кузю. Но теперь, после того когда старухе нехотя, как сказывал я вам, случилось поиграть на гуслях этих и в первый и последний, когда, сверх того, старички, живучи в сырой, дряблой землянке, захворали, то пришлось было им пропадать совсем. Вот они и сложили поскребыши и осколки гуслей своих в мешок, повесили его сыну, бедному Кузе, на шею и послали его собирать подаяние милосердных и жалостных прихожан; кто знал старика и помнил гусли его, тот-де не отринет и теперь, а подаст. Ходит Кузя по миру и поет под оконцами песни:

Гляньте, загляньте в дыряву котомку,
Дайте, подайте хлеба ломоть!
Тятька гусляр, моя мама гуслярка —
Где твои гусли, бедный Кузя?
Гляньте, загляньте в дыряву котомку,
Дайте, подайте хлеба ломоть!

Раз как-то в воскресный день бедный Кузя наш подошел поздним вечером под светлое оконце брусяной десятской избы, пропел песенку свою, тряхнул осколышами гуслей в мешке — нет ответу, ни привету, а шум

и тары да бары в избе слышатся большие. Подошел Кузя поближе, вплоть под окно; глянул — сидят бабы; прислушался — идут у них толки о не́чистой силе, про знахарей, волхвов, кудесников да про киевских ведьм. Всего, чего бедный Кузя наслушался у окна, пересказывать не станем. «Бабы дуры,— подумал он и сам, как отошел, и затянул ту же песню свою под другим окном,— кто бабе поверит, и трех дней не проживет»; одначе долго у него не выходило из головы, как бабы клялись и божились, что коли кто чары творит да зажмешь в это время пальцем сучок в стене бревенчатой избы, так пересилишь его; а еще говорили, что ведьму, знахаря, колдуна и всякого, кто только спознался да живет с нечистой силой, можно пригвоздить к месту и покорить себе на живот и на смерть, коли приколоть булавкой тень его к земле либо к стене; бедняга пропал тогда и с нечистым своим; будет моргать очами да повертываться, что на колу, и наконец взмолится: *аман!* перед булавкой твоей, как турок неверный перед русским штыком!

Бедный Кузя рылся как-то в золе, в сору и в навозе, собирая кости, которые он жег и продавал на ваксу и на разные снадобья какому-то засевшему в ближнем уездном городке осколышу наполеоновской армии, учителю всякой всячины и досужему делателю ваксы и помады,— как вдруг к нему, к Кузе, подошел, отколь ни взялся, цыган ли, татарин ли какой, поглядел на него и присел на кучку навоза, будто хотел стеречи ее от суковатой клюки бедного Кузи. Кузя поглядел на него искоса, стал опять разгребать сор поодаль от шабра, от соседа, и сметил, что новый сторож, на кучке сидючи, задремал. «Кто это?» — спросил тогда Кузя потихоньку шальную Мотрю, которая пасла телят и свиней. «Неужто ты эту собаку не знаешь? — сказала Мотря шальная.— Это Будунтай, чертов пай, всем ведомый переметчик; он в Вятке барсуком из норы вылез, в свояки семи шаманам сибирским приписался, под Чудовом в козла оборотился, в Вологде свечой подавился, да кабы казанские татары не сняли с него шкуры на сафьян, так бы и светильня за ним пропала! Он перекинулся в тройку бегунов, а из них две лошаденки белые, а одна голая,— да и ушел на три стороны; ищи его! Вот он за что и слывет

у нас переметчиком, что перекидывается, собака, во что ни задумал!»

Бедный Кузя оглянулся на Будунтая, испугавшись голосистого крика шальной Мотри, а уж Будунтая и нет: на том месте, где он сидел, лежит только камень, а камня того, кажись, прежде не было. Кузя застрогал деревянную шпильку, подкрался к камню против солнца, да и приколол тень камня того к земле. «Что-то будет?» — подумал он. Долго камень лежал да отмалчивался, а Кузя стал разгребать под ним кучу навоза. Тогда и камень не утерпел: он перекинулся пошехонцем, в поршнях, в зипуне, с берестовой котомкой за плечами, и стал просить Кузю, чтобы он не ругался над бедным, бездомным поденщиком, чтобы не подрывался под него суковатою клюкою, а вынул бы колышек, на который-де того и гляди либо скотина, а не то и прохожий человек наступит да напорет ногу. Тогда Кузя наш догадался, что Будунтай недаром о колке заговаривает, и не вынул его, доколе тот не посулил ему за волю свою любого.

— Сокрушил меня, злодей! Проси чего хочешь,— сказал наконец Будунтай, а самого сердце так и подмывает; потом снял шапку, отер пот с чела полотенцем с алыми шитками да со владимирскими городочками и вздохнул тяжело, словно в оглоблях.

— Выучи меня своему досужеству,— стал тогда просить бедный Кузя.

— Изволь,— отвечал Будунтай,— отпусти ж меня!

— Нет, врешь, обманешь, в лес уйдешь,— приговаривала шальная Мотря.

— Дай задаток,— сказал Кузя,— видно, Мотря шальная правду говорит: мужик тонет — топор сулит, вытащишь — и топорища жаль! Дай задаток, а не то не отпущу!

Будунтай разгреб, не вставая с места, под собою кучу, достал горсть алтына, золота и высыпал его Кузе в котомку.

— Врет, обманет, в лес уйдет,— приговаривала опять Мотря.

— Все это хорошо,— сказал Кузя,— да этого мало; надо мне тебя затаврить, чтобы ты не ушел, да окорнать для приметы одно ухо; пой песни, хоть тресни, а без пометы не пущу; ты не курица, ногавки на тебе не навяжешь — давай ухо!

Будунтай-переметчик осерчал, стал браниться по-своему, по-вятски:

— Чего *талы*[1] натаращил на меня *блябла*[2] те в ухо, чтоб тебя *комуха*[3] в *ромух*[4] свернула! Чтоб тебя *уроса*[5] в *вицу*[6] иссушила да *шоры*[7] и *сильки*[8] пупочки с тебя посклевали! Бери нож,— сказал он наконец,— да режь ухо!

— Нет у меня ножа,— отвечал Кузя,— доставай свой, не то зубом грызть стану!

Будунтай снял с пояса складной нож, раскинул его, подал Кузе и подставил правое ухо.

— Левое, давай собака,— сказал Кузя,— недаром что-то ты его отворачиваешь!

Будунтай подставил и левое. Кузя ухватил ухо, перегнул его, как сгибают сапожный товар, когда клюшву выкраивают, вырезал и ускорнячок углом, положил лоскут в котомку, где лежали гусли, и выдернул из земли колышек. Будунтай только крякнул, встал, встряхнулся, в черного петуха обернулся и приказал Кузе приходить в самую полночь за село, на распутье, где дороги разбегаются: в лес, на водопойное озеро, да на кладбище. Сам взмахнул крыльями, перекинулся рябой сорокой и полетел, как сороки летают, поджимая крылышки под мышку, да все прямо, что из лука стрела.

Бедный Кузя пришел домой, высыпал старикам своим пригорсть золота, сказал, что богатый человек берет его в услужение да в ученье и вот прислал-де им задаток. Старики порадовались и потужили; сын покинул им отставные гусли и пошел в полночь на перепутье.

Прислонившись к верстовому столбу, прождал он уже долгонько, стало время за полночь, а Будунтая нет. Кузя сказал про себя: «Недаром, видно, Мотря честила тебя; видно, знает она дружка! Ну да меня

---

[1] Глаза *(Прим. автора.)*

[2] Оплеуха *(Прим. автора.)*

[3] Лихорадка *(Прим. автора.)*

[4] Тряпица *(Прим. автора.)*

[5] Упрямца; это испорченное татарское *урус*, русский. И поляки говорят: uparty, jak Moscal *(Прим. автора.)*.

[6] Хворостина *(Прим. автора.)*

[7] Индейки *(Прим. автора.)*

[8] Цыплята *(Прим. автора.)*

теперь не проведешь, от меня в лес не уйдешь!» Сам вынул ухо Будунтая и укусил его зубами. Столб, у которого стоял бедный Кузя, взвизгнул по-верблюжьи и закачался. Кузя отскочил в сторону, поглядел на версту, на столб:

— Кой черт! Ты, что ли, это, Будунтай?

— Я! Да что ж ты кусаешься, знаком? — сказал пегашка-столб; пойдем, что с тобой делать, пойдем ко мне в науку; да только гляди, теперь ты мне слуга, поколе не выучишься всему досужеству моему, от аза до ижицы!

— А там что,— спросил Кузя,— как выучусь?

— А там,— отвечал Будунтай,— на свой пай сам промышляй; беркут пискленка кормит, а орла не кормит.

Будунтай взял его и продержал в науке довольно долгое время. Как он учил его своему художеству?— спросите. Да вот как: выдернет у него руки, ноги, самого в ком свернет — вот вам кочан капусты; запустит ему руку в глотку по самое плечо, ухватит там за что ни попало, вывернет наизнанку — вот вам ни то ни се, ни черт знает что. Такое ученье бедному Кузе наскучило и надоело; он стал проситься домой, уверяя, что он уже всю науку прошел и всему научился. Будунтай-переметчик позвал стариков, родителей его, вывел им трех коней и спросил: «Который ваш сын?» Старик поглядел да и указал, наудалую, на авось, среднюю. «Нет,— отвечал Будунтай,— знать, сын твой недоучился. Поди и приходи через полгода».

Вы знаете, ребята, что ждать полгода долго, страх долго; а между тем, оглянись назад, его уже и нет!

Старик пришел в срок, а Кузя как-то тихомолком шепнул ему: «Укажи-де на ту кобылу, которая будет вертеть хвостом». Но Будунтай вывел ему трех куцых куропаток и велел узнать сына. Старик указал опять на какую попало — и не угадал. Кузя известил отца, что в следующий раз будет оправлять носом перышки на шейке,— а Будунтай вывел опять коней. Средний махнул, однако ж, хвостом, старик его узнал и взял выученного сына домой. «Возьми его, — сказал переметчик Будунтай,— да слушай: береги его как око свое; если ж понадобятся тебе деньги, то вели сыну оборотиться в коня, веди на базар и продавай; да только смотри, уздечки с ним не отдавай, а сними да неси

домой, так и он дома будет». Колдун махнул рукой и пропал, словно сквозь землю провалился; а лошади оборотились в людей: вороной жеребчик — в Кузю бесталанного, рыжая кобыла — в шальную Мотрю, а чалый мерин — никак в тебя, Терешка!

Старик пришел с сыном домой, дождался торгового дня; Кузя оборотился конем, отец повел его на базар, продал, накупил сладкого и горького, квашеного и соленого — а он, вишь, держался русской поговорки: пей кисло, да ешь солоно, так и на том свете не сгниешь. Накупивши всего, чтобы было чем полакомить и старуху свою, пошел домой, а Кузя, его сын бесталанный, дорогою его нагнал, и они опять оба вместе, рассмеявшись да порадовавшись, как ни в чем не бывало воротились домой.

А ушел наш Кузя от нового хозяина своего вот каким делом: ржевский мещанин, барышник, приехавший в нашу сторону закупать лошадей, чтобы там гнать их на лебедянскую ярмарку, сторговал и купил у старика гусляра каракового коня, четырех лет, трех с половиною вершков, без тавра и без отметин, поспорил было с хозяином за то, что этот, поупрямившись, не хотел передать ему, как водится, повод новокупки из полы в полу, а с коня, не по обычаю, снял недоуздок,— известно, что корова покупается с подойником, а конь с недоуздком,— наконец однако же, чтобы не упустить сходной покупки, на все согласился и заплатил гусляру деньги. Не успел этот отойти, а ржевский барышник оглянуться на бойкую, голосистую торговку, с которой тем часом молодой калмыцкий жеребчик стянул зубами головной платок, как народ, обступив нашего коновала и барышника, стал хохотать и указывать на него пальцами. Ржевский мещанин оглянулся назад — у него в поводу не конь, а человек. Что тут было шуму, крику, брани, божбы и смеху — весь базар расходился; казаки отняли у рыжего коновала бедного Кузю; этого отпустили, а того прозвали полоумным. Хотел он было идти просить — да к кому пойдешь и на кого? Но это, слышь, не все, а была еще потеха вот какая: крымский цыган, подкочевавший на базар с походною кузницею и увидевший, что приключилось со ржевским коновалом, рассудил, что Кузькино ремесло не плохой хлеб и что не худо бы попытаться перенять

у него доброе дело; загадано — сделано; цыган продал тому же барышнику клячонку свою, а потом украл ее у него же из рук, передал товарищу, а сам надел на себя недоуздок. Когда же барышник наш оглянулся и снова увидел, что ведет в поводу не коня, а живого человека, только другой масти, смурого цыгана, то плюнул, кинул повод, перекрестился, прочел: «С нами крестная сила» и «Помилуй мя, господи!» — уехал с базару, и с той поры в Черкасск более ни ногой. Ну его, рыжего, к семи Семионам, обойдемся и без барышников! Только, окаянные, цены портят, с чужого добра сбивают, на свое наносят да набивают, а проку в них ни на волос!

Дождавшись другого базарного дня, гусляр наш опять вывел лошаденку на продажу. На грех навязался какой-то шестипалый пройдоха, подпоил нашего старика, присударивал да присударивал и купил у пьяного гусляра коня и увел его совсем, с недоуздком. Старик пришел домой, проспался, спохватился, да ожидает сына своего чуть ли не поныне.

На этот раз купил Кузю бесталанного сам Будунтай. Первым делом Будунтая было отрезать у новокупки левое ухо, на обмен, на выкуп своего, которого иверень о сю пору еще оставался за Кузею. Разменявшись, оба они стали с ушами; да уж отныне, хоть и был Кузя по-прежнему мастером науки, в которой искушался на выучке у Будунтая, не стало ему, однако же, более по-прежнему власти над учителем своим, а должен был Кузя поневоле ему покориться.

Будунтай, изморивши да загонявши коня новокупленного до бела мыла и задавши на нем концов десяток-другой по городу, прискакал домой — а дом у него стоял в чистом поле невидимкою — и привязал лошадь подле тыну. Никак у тебя, Лукашка, кобыла была из Гукеевской орды, что не терпела на себе в стойле недоузда: бывало, как ни пригонишь на нее обротъ, как ни подтянешь его пряжкою, она дотоле чешется, доколе не скинет его с головы долой. Кузя, бесталанный у нее, знать, наострился, только что Будунтай в избу, а он ну чесаться щекою, задрав голову кверху,— задел недоузком за кол плетня, да и стащил его долой с головы через уши.

Мальчишка, сын Будунтая, увидел это, на дворе стоя, и побежал сказать отцу. Тот, выскочив, пустился в погоню за конем, и тут-то пошла потеха: Кузя, видя, что лютый барс его нагоняет, ударился об землю, перекинулся белым кречетом и взмыл по-над крутым берегом реки. Будунтай ударился на него сизым беркутом; Кузя ринулся клубом об берег, перекинулся пескарем и соскочил в воду. Будунтай, таки прямо как мчался за ним, комом грянулся об воду, распластав высокий вал надвое, и щукою зубастой насел на хвост мелькавшего серебряной чешуйкой пескарика. Кузя-бедняга вынырнул стрелою из воды, сделал, собравшись с последними силами, скачок в маховую сажень, обернулся в золотое колечко и подкатился под ноги гулявшей в те поры на муравке побережной княжны Милолики, дочери владельца той земли. Княжна Милолика подхватила колечко, надела его на пальчик и с радостным удивлением оглядывалась вокруг. Будунтай вынырнул гусем лапчатым из воды, выплыл на берег, встряхнулся, оборотился в купца кашемирского, подошел к княжне и стал просить убедительно отдать ему потерянное им колечко. Княжна испугалась густой черной бороды и воровских карих очей да сурменых бровей и чалмы кашемирца, закричала и прижала колечко к груди своей. Сенные девушки да подруженьки набежали, окружили младую княжну свою, кинулись все на неотступного бородача и начали его щекотать без пощады, до того, что названый гость хохотал, и кашлял, и плакал, и чихал, и ногами и руками лягался, и снопом овсяным по мураве катался, да такая над ним беда прилучилася, что позабыл было всю науку свою; через великую силу опамятовавшись, оборотился он мигом в ежа, от которого девушки, поколов алые пальчики свои чуть ли не до крови, с криком отскочили. Пастух, прибежавший на крик и шум, взмахнул долгим посохом своим и ударил свернувшегося тугим клубом ежа, и еж рассыпался калеными орехами; запрыгали орешки по земле, а девки кинулись их подбирать, да опять-таки с криком отскочили, побросав все, что захватили в лайковые ручки свои: орешки не тем отозвались, это были раскаленные ядрышки, и барышни наши пообжигали себе пальчики.

— А я бы рукавицы надел да подобрал,— сказал косолапый Терешка.

— Знать, ты умен чужим умом; ты и в Киев дойдешь, коли люди дорогу укажут,— отвечал сват,— а сам ты, брат, и лапы обжегши, не очень бы догадался, как управиться: чай, стоял бы, вытулив очи, да поглядывал бы на диво дивное, что красноносый гусь на татарскую грамоту!

Княжна показала царственным родителям своим ненаглядное колечко да испросила позволение любить его и не сымать с пальчика своего ни день, ни ночь. Как только осталась она одна, то и начала играть колечком: надела его на тонкий шитый платочек свой и, забавляясь, покачивала да перепускала по платочку от конца до конца. Вдруг колечко как-то упало, покатилось, рассыпалось — и казак, молодецкая душа, Кузя бесталанный, стоял перед княжною. Он убрался на этот раз в малиновый бархат да в тонкое синее сукно. Никто в палатах царских не слыхал разговоров его; княжна, однако же, вышла к браному столу и грустна и радостна, и опять-таки с заветным колечком на руке. Она сказала только батюшке, что сего дня-де, наверное, опять явится тот страшный купец, кашемирская борода, и будет просить выдачи колечка, и умоляла отца не отбирать у нее этого сокровища. Когда же и на самом деле по вечеру явился купец, у которого все еще не прошла икотка после вчерашней щекотки да хохотни, когда пришел, говорю, кашемирец за потерянным будто бы на берегу реки колечком, то царь-отец позвал дочь свою и приказывал отдать купцу кольцо: «Нам чужое добро таить, дескать, не идет». Княжна отвечала, что не смеет ослушаться дорогого родителя своего, но и не может передать мужчине колечко из рук в руки, а поэтому и кинула его на пол, пусть-де не прогневается да сам подымет. Но колечко рассыпалось мелким жемчугом; купец живо встряхнулся, перекинулся черным петухом и начал проворно подбирать жемчужинки; а подобравши все, взлетел он на окно, захлопал крыльями и закричал петухом: «Кузя, где ты?» — да за словом и выпорхнул в окно. Но княжна, которую наш Кузя, видно, наперед уже поучил да настроил, кинув колечко, уронила в то же время, будто невзначай, платок свой да им и при-

крыла одну самую крупную жемчужинку. Она-то вдруг выкатилась теперь из-под платка, отвечала на спрос петуха, словно петухом же: «А я здеся!» — и ринулась соколом из окна; грянул сокол с налету — только шикнул крыльями по воздуху,— грянул клубом в черного петуха, подпорол ему заборным ногтем левый бок да черканул по левому крылу, помял и поломал все перья правильные; упал камнем петух замертво в крутоберегий поток, и понесло его волною вниз по реке, по зеленой воде. Почернела и побагровела вода от пенистой крови; а подрезанное левое крыло вскинуло и подняло ветром, оно и запарусило туда ж по пути, вниз по реке, поколе не завертело петуха встречным теченьем в заводи,— там, сказывают, сомина, чертова образина, им было подавился, да нет, справился, проглотил; не подавится он, чай, и самим сатаной, не токма конем его подседельным.

Сокол взмыл над теремом царским, впорхнул в широкое окно, сел на руку княжны своей и поглядывал на нее ясными, разумными очами. В это самое время черный петух испустил дыхание свое, а ясный сокол спорхнул на пол и предстал в том же виде, как колечко давеча перед княжною: перекинулся молодцом молодецким. Со смертию Будунтая Кузя лишился, правда, силы и уменья перекидываться и принимать иной образ, да и не тужил уж об этом; живучи в довольстве и в богатстве с супругою своею, бывшею княжною Миloликою, вскоре наследовал он престол царский, жил да княжил, правил да рядил, солоно ел, да кисло пил, стариков своих, гусляров, поил да кормил, а Терешке косолапому велел братчиной да складчиной насыпать песку за голенища! Держите его, дурака, ребята, держи его!

СКАЗКА О ГЕОРГИИ ХРАБРОМ И О ВОЛКЕ[1]

Сказка наша гласит о дивном и древнем побыте времен первородных: о том, что деялось и творилось, когда скот и зверь, рыба и птица, как переселенцы, первородцы и новозданцы, как новички мира нашего, не знали и не ведали еще толку, ни складу, ни ладу в быту своем; не обжились еще ни с людьми, ни с местом, ни с житьем-бытьем, ни сами промеж собой, не знали порядка и начальства, говорили кто по-татарски, кто по-калмыцки и не добились еще толку, кому и кого глодать и кому с кем в миру и в ладах односумом жить; кому с кем знаться или не знаться, кому кого душить и кого бояться; кому ходить со шкурой, а кому без шкуры, кому быть сытым, а кому голодным.

Серый волк, по-тогдашнему бирюк, обмогавшись натощак голодухою никак сутки трои, в чаянии фирмана, разрешающего и ему, грешному, скоромный стол, побрел наконец на мирскую сходку, где, как прослышал он мельком от бежавшей оттуда мимо логва его с цыпленком в зубах лисы, Георгий Храбрый правил суд и ряд и чинил расправу на малого и на великого.

Пришел серый на вече; стал поодаль, поглядел, присел на задние лапы по-собачьи и опять поглядел,

[1] Сказка эта рассказана мне А. С. Пушкиным, когда он был в Оренбурге и мы вместе поехали в Бердскую станицу, местопребывание Пугача во время осады Оренбурга. *(Прим. автора.)*

прислушался маленько, вздохнул, покачал головой, облизался и поворотил оглобли назад. «Тут не добьешься и толку,— подумал он про себя,— крику и шуму довольно; а что дальше — не знаю. Чем затесываться среди белого дня в эту толпу, отару, ватагу, табун, гурт, стаю, стадо — в это шумливое и крикливое стоголосное скопище, где от давки пар валит, от крику пыль стоит, чем туда лезть среди белого дня, так лучше брести восвояси. Я не дурак; хоть и знаю, что и мне, наряду со всеми, сказано: век живи, век учись, а умри дураком; так по крайности до поры до времени, поколе господь терпит грехам моим, поколе смерть сама на меня не нашатнулась, быть дураком не хочу. Нашему брату в сумерки можно залезть промеж других людей, а кабы в темь полуночную, так и подавно; а среди белого дня — *бармоймин,* не пойду». Итак, он пришел домой, залез в трущобу глухую, повалился на бок и стал, щелкая зубами, искать по шубе своей. Настала ночь, и серый смекнул и догадался, что эдак сыт не будешь. «Совсем *курсак* пропал,— ворчал он про себя,— животы хоть уздечки вяжи, а *поашать* нечего!» Что станешь делать: вылез из терновника, ожил и освежился маленько, когда резкий северяк пахнул по тулупу его, взбивая мохнатую шерсть,— очи у него загорелись в теми ночной, словно свечи; подняв морду на ветер, пустился он волчьей скачкою по широкому раздолью и вскоре почуял живность. Но, как это была только первая попытка серого промыслить самоучкою кус на свой пай, то он и не разнюхал, на какую поживу, по милости шайтана, наткнулся, а только облизывался, крадучись да приседая, поддернув брови кверху и приподняв уши зубрильцем, и прошептал: «Что-то больно сладкое!»

Он заполз на первый раз в стадо сайгаков; а как и самоучкою удаются ину пору мастера не хуже ученых, а сайгаки сердечные о ту пору были посмирней нынешних овец, то серый наш без хлопот пары две отборных зарезал наповал, словно век в мясниках жил, да еще другим бедняжкам кому колено, кому бедро, а кому и шею выломил. Сайгаки всполошились, прыснули по полю вправо и влево да подняли тревогу; кто живой да с ногами был, все сбежались, звери и птицы налицо, а рыбы, по неподручности сухопутного перехода, послали от себя послов, трех черепах с черепашками, ко-

торые, однако же, уморившись насмерть, к сроку запоздали, а потому дело на сходке обошлось и без них. И с той-то поры, сказывают, рыбы лишены за это навсегда голоса. Видите, что уже и о ту пору был порядок и расправа и вина без наказания не проходила: всякая вина виновата.

Итак, звери сбежались, день проглянул, и серого нашего захватили врасплох уже над последнею четвертью третьего сайгака. Он, знать, себе на уме; думает: запас хорошо, а два лучше, а потому серый наш о ту пору, как и ныне, шутить не любил. Но ему не ладно отозвалась эта первая попытка: дело новое, дело непривычное; ныне шкуру снять с сайгака не диковинка; а тогда еще было не то. Звери и птицы все ахнули, на такую беду небывалую глядючи; один только молодой лошак, вчерашнего помету, стоял и глядел на изуродованных собратов своих, что гусь на вечернюю зарницу. Но мир присудил по-своему: костоправ-медведь осмотрел раненых, повытянул им изломанные шейки да ножки, повыправил измятые суставчики и ворчал про себя, покачивая головой и утираясь во все кулаки: «Неладно эдак-то делать; эдак что же пути будет? Руки-ноги выломил, а которому и вовсе карачун задал — это дело неладно!» Между тем бабы сошлись и стали голосить по покойникам: «Ах ты мой такой-сякой, сизой орел, ясный сокол! На кого ж ты нас, сирот круглых, покинул? А кто ж нам, сердечным, кто нам будет воду возить, кто станет дрова рубить? Кто будет нас любить и жаловать, кто холить да миловать, кто хлебом кормить да вином поить?» Наконец принялись люди и за серого: «Кто он, греховодник? Подайте-ка его сюда!» Он бы за тем не очень погнался, что ему на первый раз поиграли в два смычка на кожаном гудке, причем мишка с отборным товарищем исправляли должность ката и, присев на корточки, надев рукавицы и засучив рукава, отсчитали серому честно и добросовестно сто один по приговору, так что на сером тулуп гора-горой вздулся,— а на нем шкура, правда, и не черного соболя, да своя,— ну, это бы, говорю, все ничего, да ему то обидно было, что и вперед не велели таскать сайгаков, а на спрос: «Чем ему кормиться?»— не дали ни ответу, ни привету; кричали только все в голос, чтобы серый не смел ни под каким видом резать да губить живую скотину, чтобы не порывался

лучше на кровь да на мясо, а выкинул думку эту из головы. Живи-де смирно, тихо, честно, не обижай никого, так будет лучше. Серый наш, встряхнувшись да оправив на себе сермягу свою, плакал навзрыд, подергивая только плечами, и спрашивал: «Что же прикажете есть, чем быть мне сытым? Я не прошу ведь на каждый день ужина да обеда, да хоть в неделю раз накормите: неужто круглый год скоромного куска в рот не брать?» Но никто на это ему не отвечал, и сходка по окончании *секуции* на том и кончилась; каждый побрел восвояси, разговаривая с дружкой и вслух подсмеиваясь над серым, приятелем нашим, который сидел подгорюнившись, как богатырь недотыка, поджав хвост и повесив голову, и глядел на недоглоданные копытца, рожки и косточки.

По этой мирской сходке видим мы, что Георгий Храбрый, набольший всем зверям, скотине, птице, рыбе и всякому животному, успел уже постановить койкакой распорядок, указал расправу, расписал и порядил заплечных мастеров, волостных голов, писарей, сотских и десятских — словом, сделал все, как быть следно и должно.

«Эдак неладно,— сказал серый, покачивая головой на повислой шее,— совсем *яман булыр,* будет плохо. Да на что же меня, грешного, с этими зубами на свет посадили?» Сам вздохнул, отряхнулся и пошел спросить об этом Георгия Храброго: «Пусть-де сам положит какое ни есть решение, ему должно быть известно об этом; пусть укажет мне, чье мясо, чьи кости глодать, а травы я себе по зубам не подберу».

«Георгий! — сказал он, присев перед витязем и наклонив униженно неповоротливую, да покорную шею свою.— Георгий, пришла мая твая просить, дело наша вот какой: мая ашать нада, *курсак* совсем пропал, а никто не дает; на что же,— продолжал он,— дал ты мне зубы, да когти, да пасть широкую, на что их дал мне, и еще вдобавок большой мясной *курсак,* укладистое брюхо? Ему порожний жить не можно; прикажи ты меня, Георгий, накормить да напоить; не то возьми да девай куда знаешь; мне, признаться, что впредь будет, а поколе житье не находка. Я вчера наелся, Георгий, и теперь до четверга потерпеть можно; а там, воля твоя, прикажи меня кормить!»

Георгий Храбрый был о ту пору занят делами по управлению новорожденного разношерстного народа своего и войска, и Георгию было не до волка. Большак поморщился и отправил его к сотнику: «Ступай, братец, к туру гнедому, он тебя накормит».— «Ну вот эдак бы давно,— сказал серый, вскочил и побежал весело в ту сторону, где паслось большое стадо рогатого скота.— Я бы вчера и не подумал таскать сайгаков самоуправством, коли б кто посулил мне говядинки: *куй-иты, сухыр-иты,* баранина ль, говядина ль, по мне все равно, был бы только, как калмыки говорят, *махан,* мясное».

Он подошел к быку туриному и просил, по словесному приказанию Георгия Храброго, сделать какой там следовать будет распорядок, как говорится в приказной строке, об утолении законного голода его. «Стань вот здесь,— сказал бык,— да повернись ко мне боком». Серый стал. Бык, задрав хвост и выкатив бельмы, разогнался, подхватил его рогами и махнул через себя. «Сыт, что ли?» — спросил он, когда серый наш, перевернувшись на лету раза три через хвост и голову, грянулся об землю навзничь крестцом. У серого отнялся язык; он вскочил и поплелся без оглядки, приседая всем задом, как разбитая старуха на костылях. У быка на каждом рогу осталось по клоку шерсти, не меньше литовского колтуна.

Серый добрел кой-как до логва своего, прилег и лежал, обмогался да облизывался трои сутки, и то насилу отдохнул. Обругав мошенником и быка и Георгия, пошел он, однако же, опять искать суда и расправы.

«Ну, дядя Георгий,— сказал он, заставши этого опять за делом,— спасибо тебе! Я после закуски твоей насилу выходился!» — «А что,— спросил Георгий,— нешто бык не дает хлеба?» — «Какого хлеба? — отозвался серый.— Бойся бога, дядя; у нас, когда вставлял ты мне эту скулу да эти зубы, у нас был, кажись, уговор не на хлеб, а на мясное!» — «Ну а что ж, бык не дает?» — «Да, не дает!» — «Ну,— продолжал Георгий,— ступай же ты к *тарпану,* к лошади, она даст». Сам ушел в свои покои и покинул бедняка.

Серый оглянулся; косячок пасется за ним недалечко. Он подошел, да не успел и заикнуться, не только скоромное слово вымолвить, как жеребец, навострив

уши, заржал, наскакал на него и, не выждав от серого ни «здравствуй», ни «прощай», махнул по нем, здорово живешь, задними ногами; да так, слышь, что кабы тот не успел присесть да увернуться, так, может быть, не стал бы больше докучать Георгию своими зубами; еще, спасибо, не кован был жеребец о ту пору, а то беда бы. Серый мой взвыл навзрыд, закричал благим матом, подбежал тут же к Георгию Храброму и бил челом неотступно, чтобы сам поглядел, как народ с ним, с серым, обходится, да сам бы уж и приказал туру или гнедому, тарпану ли его накормить. «Видишь,— говорил он,— видишь, что сделал со мной жеребец этот при тебе, в глазах твоих и при ясном лице твоем; благо, что сам ты видел, а то бы, чай, опять не поверил!» Георгий осерчал на серого, что больно докучает, не дает покою.

«Все люди как люди,— говорил он,— один ты шайтан; пристает, что с ножом к горлу, подай да подай; поди, говорят тебе, да попроси из чести, смирно, чинно; да не ходи эдаким сорванцом, забиякою; погляди-ка на себя, на кого ты похож? Чего косишься исподлобья да свинкой в землю глядишь? Вишь, тулуп взбит, колтуны с него висят, рыло подбито, сущий разбойник; не мудрено, что тебя и честят по заслугам. Нешто люди эдак ходят? Поди к архару, к дикому барану, да попроси честью, так он накормит тебя, да и отвяжись от меня, не приставай, что больной к подлекарю».

Серый пошел, прежде всего скупался, постянул зубами с шубы своей сухари да колышки, встряхнулся, прибрался, умылся, расчесался и отправился, облизываясь уже наперед, к архару, к барану. Этот, поглядев на нашего щеголя и наслушавшись сладких речей его, попросил стать над крутым оврагом, задом в чистое поле. Волк стал, повесил хвост и голову, наострил ухо и распустил губы; баран разогнался позадь его, ударил по нем костяным лбом, что тараном в стену; волк наш полетел под гору в овраг и упал замертво, на дно глубокой пропасти. У него в глазах засемерило, позеленело, заиграли мурашки, голова пошла кругом, что жернов на поставе, в ушах зазвенело и на сердце что-то налегло горой каменной: тяжело и душно. Он лежал тут до ночи, очнувшись просидел да прокашлял до рассвета, а заутре во весь день еще шатался по оврагу, словно не на своих ногах либо угорелый. Как он

тужил, как он охал, как бранился и плакал, и клял божий свет, и жалобно завывал, и глаза утирал, как наконец вылез, отдохнул и опять-таки поплелся к отцу-командиру, к храброму Георгию,— всего этого пересказывать не для чего, довольно того, что Георгий послал его к кабану, да и тот добром не дался, а испортил серому шубу и распорол клыком бок. Серый, как истый мученик первобытных и первородных времен, когда не было еще ни настоящего устройства, ни порядка, хоть были уже разные чиновники, сотские, тысяцкие и волостные,— серый со смирением и кротостью коренных и первоначальных веков зализал кой-как рану свою и пошел опять к Георгию, с тем однако же, чтобы съесть его и самого, коли-де и теперь не учинит суда и расправы и не разрешит скоромного стола. «Еще и грамоты не знают,— подумал серый про себя,— и переписка не завелась, а какие крючки да проволочки по словесной расправе выкидывают! Ну, а что бы еще было, кабы далося им это письмо?»

Серый пошел и попал в добрый час; Георгий Храбрый был и весел, и в духе, и на безделье; он посмеялся, пошутил, потрепал старого по тулупу и приказал ему идти к человеку. «Поди,— говорил он,— поди в соседний пригород и попроси там у добрых людей насущного ломтя; проси честно, да кланяйся и не скаль зубов, не щетинь шерсти по хребту, да не гляди таким зверем».— «Ох, дядя,— отвечал волк,— мне ли щетиниться! Опаршивел я, чай, с голоду, так и шерсть на мне встала; бог тебе судья, коли еще обманешь!»— «Поди же, поди,— молвил опять Георгий,— люди — народ добрый, сердобольный и смышленый, они не только накормят тебя и напоят, а научат еще, как и где и чего промышлять вперед».

Серый на чужом пиру с похмелья, веселого послушав, да не весел стал. Ему что-то уж плохо верилось; боялся он, чтобы краснобай Георгий опять его не надул, да уж делать было нечего: голод морит, по свету гонит; хлеб за брюхом не ходит: видно, брюху идти за хлебом.

Добежав до пригорода, серый увидел много народу и большие белокаменные палаты. Голодай наш махнул, не думав, не гадав, через первый встречный забор, вбежал в первые двери и, застав там в большой избе много рабочего народу, оробел и струсил было

сначала, да уж потом, как деваться было ему некуда, а голод знай поет свое да свое, серый пустился на авось: он доложил служивым вежливо и учтиво, в чем дело и зачем он пришел; сказал, что он ныне по такому-то делу стал на свете без вины виноват; что и рад бы не грешить, да *курсак* донимает; что Георгий Храбрый водил его о сю пору в дураках, да наконец смиловался, видно, над ним и велел идти к людям, смышленому, сердобольному и многоискусному роду, и просить помощи, науки, ума и подмоги. Он все это говорил по-своему, по-татарски, а случившийся тут рядовой из казанских татар переводил товарищам своим слова нежданного гостя. Волк попал не на псарню и не в овчарню; он просто затесался в казармы, на полковой двор, и, перескочив через забор, забежал прямо в швальню. Служивые художники его обступили; хохот, смех, шум и крик оглушили бедняка нашего до того, что он, оробевши, поджал хвост и почтительно присел среди обступившей толпы. Сам закройщик, кинув работу, подошел слушать краснобая нового разбора и помирал со смеху, на него глядя. Наконец все ребята присудили одного из своих, кривого Тараса, который состоял при полку для ради шутовской рожи своей, с чином зауряд-дурачка, присудили его волку на снедь, на потраву, и начали с хохотом уськать да улюлюкать, притравливая волка на Тараску. Но серый наш не любил, да и не умел шутить: он зверем лютым кинулся на кривого зауряд-чиновника, который только что успел прикрыться от него локтем, и ухватил его за ворот. Ребята с перепугу вскочили на столы да на прилавки, а закройщик, как помолодцеватее прочих, на печь; и бедный Тараска за шутку ледащих товарищей своих чуть не поплатился малоумною головушкой своей. Он взмолился, однако же, серому из-под него и просил пощады. «Много ли тебе прибудет,— говорил он,— коли ты меня теперь съешь? Не говоря уже о том, что во мне, кроме костей да сухожилья, ничего нет, да долго ли ты мною сыт будешь? Сутки, а много-много что двое; да коли и с казенной амуницией совсем проглотишь, так будет не подавишься, и то не боле как на три дня тебе станет; пусти-ка ты лучше меня, так я тебя научу, как подобру-поздорову изо дня в день поживляться можно; я сделаю из тебя такого молодца, что любо да два, что всякая живность и ско-

ромь сама тебе на *курсак* пойдет, только рот разевай пошире!».

«За этим дело не станет,— подумал волк,— только бы ты правду говорил. Пожалуй; господь с тобой, я за этим и пришел, чтобы вас честно просить принять меня по этой части в науку; закройщиком быть не хочу, да я знаю, что вы не в одни постные дни сыты и святы бываете, а обижать я и сам не хочу никого».

Тараска кривой отмотал иглу на лацкане, побежал да принес собачью шкуру и зашил в нее бедного волка. Вот каким похождением на волке проявилась шкура собачья; каков же он до этого случая был собою — не знаем, а сказывают, что был страшный.

«Вот тебе и вся недолга,— сказал Тараска, закрепив и откусивши нитку,— вот тебе совсем Максим и шапка с ним! Теперь ты не чучело и не пугало, а молодец хоть куда; теперь никто тебя не станет бояться, малый и великий будут с тобой запанибрата жить, а выйдешь в лес да разинешь пасть свою пошире, так не токма глухарь — баран целиком и живьем полезет!» — «Не тесно ли будет?» — спросил серый, пожимаясь в новом кафтане своем. «Нет, брат, ныне, вишь, пошла мода на такой фасон,— отвечал Тараска косой,— шьют в обтяжку и с перехватом, только бы полки врозь не расходились, а на тебя я потрафил, кажись, как раз рихтиг; угадал молодецки и пригнал на щипок, оглянись хоть сам!» Серый наш уж хотел было сказать: «Спасибо»,— да оглянулся, ан господа портные соскочили с печи да с прилавок, сперва смех да хохот, а там уж говорят: «Да чего ж мы стоим, ребята? Валяй его!» И, ухвативши кому что попало, кинулись все и давай душить серого в чужом нагольном тулупе; а этому, сердечному, ни управиться, ни повернуться, ни расходиться: сзади стянут, спереди стянут, посередке перехвачен; пустился бедняга без оглядки в степь и рад-рад, что кой-как уплелся да ушел, хоть и с помятыми боками, да по крайности с головой; а что попал из рядна в рогожу, догадаться он догадался, да уж поздно. Он стал теперь ни зверем, ни собакой; спеси да храбрости с него посбили, а ремесла не дали; кто посильнее его, кто только сможет, тот его бьет и душит где и чем попало; а ему в чужих шароварах плохая расправа; не догонит часом и барана, а сайгак

и *куйрука* понюхать не даст; а что хуже всего — от собак житья нет. Они слышат от него и волчий дух и свой; да так злы на самозванца, что рыщут за ним по горам и по долам, чуют, где бы ни засел, гонят с бела света долой и ходу не дают, грызут да рвут с него тулуп свой, и бедному голодаю нашему, серому, нет ни житья, ни бытья, а пробивается да поколачивается он кой-как, по миру слоняясь; то тут, то там урвет скромный кус либо клок — и жив, поколе шкуры где-нибудь не сымут; да уж зато и сам он теперь к Георгию Храброму ни ногой. «Полно, говорит, пой песни свои про честь да про совесть кому знаешь; водил ты меня, да уж больше не проведешь». Серый никого над собою знать не хочет; всякую веру потерял в начальственную расправу, а живет записным вором, мошенником и думает про себя: «Проклинал я вас, кляните ж и вы меня; а на расправу вы меня до дня Страшного суда не притянете; там что будет — не знаю, да и знать не хочу; знаю только, что до того времени с голоду не околею».

С этой-то поры, с этого случаю у нашего серого, сказывают, и шея стала кол колом: не гнется и не ворочается, оттого что затянута в чужой воротник.

СКАЗКА О БАРАНАХ

(Восточная сказка)

Калиф сидел однажды, как сидят калифы, на парче или бархате, поджав ноги, развалившись в подушках, с янтарем в зубах; длинный чубук, как боровок, проведенный от дымовья печки до устья в трубу, лежал, кинутый небрежно поперек парчи, атласу и бархату, вплоть до золотого подноса на вальяжных ножках, с бирюзой и яхонтами, на котором покоилась красная глиняная трубка, с золотыми по краям стрелками, с курчавыми цветочками и ободочками. Пол белого мрамора; небольшой серебристый водомет посредине; усыпительный однообразный говор бьющей и падающей струи, казалось, заботливо услуживал калифу, напевая ему: покойной ночи.

Но калифу не спалось: озабоченный общим благом, спокойствием и счастием народа, он пускал клубы дыма то в уст, то в бороду, и хмурил брови. Ночь наступила, а калиф и не думал еще о нынешней своей избраннице гарема, и старый беззубый цербер, неусыпной страж красоты и молодости, дряхлый эфиоп, не переступал еще с обычным зовом заветного порога, не растворял широкого раструба безобразных уст своих для произнесения благозвучного имени одного из прелестнейших существ в мире.

Калиф тихо произнес: — «Мелек!» — и раболепный Мелек стоял перед ним, наклонив голову, положив правую руку свою на грудь. Калиф, молча и не покидая трубки, подал пальцем едва заметный знак, и Ме-

лек стоял уже перед повелителем своим с огромным плащем простой бурой ткани и с белой чалмой, без всяких украшений, в руках. Калиф встал, надел белую простую чалму, накинул бурый плащ, в котором ходит один только простой народ, и вышел. Верный Мелек, зная обязанность свою, пошел украдкой за ним следом, ступая как кошка и не спуская повелителя своего с глаз.

Дома в столице калифа были все такой легкой постройки, что жильцы обыкновенно разговаривали с прохожими по улице, возвысив несколько голос. Прислонившись ухом к простенку, можно было слышать все, что в доме говорится и делается. Вот зачем пошел калиф.

«Судья, казы, неумолим»,— жаловался плачевный голос в какой-то мазанке, похожей с виду на дождевик, выросший за одну ночь. «Казы жесток: бирюзу и оправу с седла моего я отдал ему, последний остаток отцовского богатства, и только этим мог искупить жизнь свою и свободу. О, великий калиф, если бы ты знал свинцовую руку и железные когти своего казы, то бы заплакал вместе со мною!»

Калиф задумчиво побрел домой: на этот раз он слышал довольно. «Казы сидит один на судилище своем — размышлял калиф,— он делает, что хочет, он самовластен, может действовать самоуправно и произвольно: от этого все зло. Надобно его ограничить; надобно придать ему помощников, которые свяжут произвол его; надобно поставить и сбоку, рядом с ним, наблюдателя, который поверял бы все дела казы на весах правосудия и доносил бы мне каждодневно, что казы судит правдиво и беспристрастно».

Сказано — сделано; калиф посадил еще двух судей, по правую и по левую руку казы, повелел называться этому суду судилищем трех правдивых мужей; поставил знаменитого умму, с золотым жезлом, назвав его калифским приставом правды.— И судилище трех правдивых сидело и называлось по воле и фирману калифскому; и свидетель калифский, пристав правды, стоял и доносил каждодневно: все благополучно.

«Каково же идут теперь дела наши?» — спросил калиф однажды у пристава своего, «творится ли суд, и правда, и милость, благоденствует ли народ?»

— Благоденствует, великий государь,— отвечал тот,— и суд, и правда, и милость творится, нет бога кроме бога и Мохаммед его посол. Ты излил благодать величия, правды и милости твоей, сквозь сито премудрости, на удрученные палящим зноем, обнаженные главы народа твоего; живительные капли росы этой оплодотворили сердца и уста подданных твоих на произрастание древа, коего цвет есть благодарность, признательность народа, а плод — благоденствие его, устроенное на незыблемых основаниях на почве правды и милости.

Калиф был доволен, покоясь опять на том же пушистом бархате, перед тем же усыпляющим водометом, с тем же неизменным янтарным другом в устах, но речь пристава показалась ему что-то кудреватою; а калиф, хоть и привык уже давно к восточной яркости красок, запутанности узоров и пышной роскоши выражений, успел, однако же, научиться не доверять напыщенному слову приближенных своих.

— Мелек!— произнес калиф, и Мелек стоял перед ним, в том же раболепном положении. Калиф подал ему известный знак.

— Удостой подлую речь раба твоего,— сказал Мелек,— удостой, о, великий калиф, не края священного уха твоего, а только праха, попираемого благословенными стопами твоими, и ты не пойдешь сегодня подслушивать, а будешь сидеть здесь, в покое.

— Говори,— отвечал калиф.

— О, великий государь, голос один: народ, верный народ твой вопиет под беззащитным гнетом. Когда был казы один, тогда была у него и одна только, собственная своя, голова на плечах; она одна отвечала, и он ее берег. Ныне у него три головы, да четвертая у твоего пристава; они разделили страх на четыре части и на каждого пришлось по четвертой доле. Мало было целого, теперь еще стало меньше. Одного волка, великий государь, кой-как насытить можно, если иногда и хватит за живое,— стаи собак не насытишь, не станет мяса на костях.

Калиф призадумался, смолчал, насупил брови, и чело его сокрылось в непроницаемом облаке дыма. Потом янтарь упал на колени. Калиф долго в задумчивости перебирал пахучие четки свои, кивая медленно головою.

«Меня называют самовластным,— подумал он,— но ни власти, ни воли у меня нет. Голова каждого из негодяев этих, конечно, в моих руках; но, отрубивши человеку голову, сократишь его, а нравственные качества его не изменишь. Основать добро и благо, упрочить счастие и спокойствие каждого не в устах работепных блюдолизов моих, а на самом деле,— это труднее, чем пустить в свет человека без головы. Перевешать подданных моих гораздо легче, чем сделать их честными людьми; попытаюсь однако же; надобно ограничить еще более самоуправство, затруднить подкуп раздроблением дел, по предметам, по роду их и другим отношениям, на большее число лиц, мест и степеней; одно лицо действует самопроизвольно, а где нужно согласие многих, там правда найдет более защиты.

И сделалось все по воле калифа: где сидел прежде и судил и рядил один, там сидят семеро, важно разглаживают мудрые бороды свои, замысловатые усы, тянут кальян и судят и рядят дружно. Все благополучно.

Великий калиф с душевным удовольствием созерцал в светлом уме своем вновь устроенное государство; считал по пальцам, считал по четкам огромное множество новых слуг своих, слуг правды — и радовался, умильно улыбаясь, что правосудие нашло в калифате его такую могучую опору, такой многочисленный оплот против зла и неправды.

— Еще ли не будут счастливы верные рабы мои,— сказал он,— ужели они не благоденствуют теперь, когда я оградил и собственность и личность каждого фаудтами, то есть целыми батальонами недремлющей стражи, оберегающей заботливо священное зерцало правосудия от туску и ржавчины? Тлетворное дыхание нечистых не смеет коснуться его; я вижу: зерцало отражает лучи солнечные в той же чистоте, как восприяло их».

Опять позвал калиф Мелека, опять сокрылся от очей народа в простую чалму и смурый охобень, опять пошел под стенками тесных, извилистых улиц; часто и прилежно калиф прикладывал чуткое ухо свое к утлым жилищам верноподданных — и слышал одни только стенания, одни жалобы на ненасытную корысть нового сонма недремлющих стражей правосудия.

— Растолкуй мне, Мелек,— сказал калиф в недоумении и гневном негодовании,— растолкуй мне, что это значит? Я не верю ушам своим; быть не может!

— Государь, — отвечал Мелек, — я человек темный, слышу глазами, вижу руками: только то и знаю, что ощупаю. Позволь мне привести к тебе старого Хуршита — он жил много, видал много; слово неправды никогда не оскверняло чистых уст его, он скажет тебе все.

— Позови.

Хуршит вошел. Хуршит из черни, из толпы, добывающий себе насущное пропитание кровным потом.

— Хуршит, что скажешь?

— Что спросишь, повелитель; не подай голосу, и отголосок в горах молчит, не смеет откликнуться.

— Скажи мне прямо, смело,— но говори правду — когда было лучше: теперь или прежде?

— Государь,— сказал Хуршит, после глубокого вздоха:— при отце твоем было тяжело. Я был тогда овчарником, как и теперь, держал и своих овец. Что, бывало, проглянет молодая луна на небе, то и тащишь на плечах к казыю своему барана: тяжело было.

— А потом?— спросил калиф.

— А потом, сударь, стало еще тяжеле: прибавилось начальства над нами, прибавилось и тяги, стали мы таскать на плечах своих по два барана.

— Ну, а теперь, говори!

— А теперь, государь,— сказал Хуршит, весело улыбаясь,— слава богу, совсем легко!

— Как так? — вскричал обрадованный калиф.

Хуршит поднял веселые карие глаза свои на калифа и отвечал спокойно:

— Гуртом гоняем.

ПРИМЕЧАНИЯ

ПОВЕСТИ, РАССКАЗЫ, ОЧЕРКИ

БЕДОВИК

Впервые — «Отечественные записки», 1839, том 3, кн. 5, за подписью: *В. Луганский.*

Стр. 19. *Бочка Данаид.*— Данаиды — дочерн аргосского царя Даная; по сказаниям древних греков, в наказание за убийство своих мужей были обречены в преисподней на вечную бесполезную работу — наполнять водою бездонную бочку.

Стр. 20. *Гражданская палата* — губернская инстанция гражданского суда.

Стр. 21. ...*вербное воскресенье* — воскресенье перед праздником пасхи, когда, согласно мифу, Христос прибыл в Иерусалим и ему под ноги бросали ьетки вербы.

Стр. 22. ...*выносной* — сидящий верхом на передней лошади при езде цугом; то же, что форейтор.

Стр. 26. *Академический календарь* — «Месяцеслов... сочиненный на знатнейшие места Российской империи в СПб, прн имп. Академии наук».

Килиан Конрад — лейпцигский профессор медицины, автор многих трудов. В 1810 году был приглашен в Петербург в качестве врача-консультанта при Александре I и здесь через год умер. Полное названне его лечебника: — «Домашний лечебник, или Обстоятельное и ясное показание, как во всех опасных, скоропостижных н хронических как наружных, так и внутрениих болезнях, при отсутствии врача, можно подать нужную помощь и посредством одних домашиих средств и диеты; сверх того, как поступать касательно предупреждения болезней и хранеиия своего здоровья, и проч.» («Соч. Килияна; пер. с нем. Петр Бутковский. СПб., 1823 г.»).

Енгалычев Парфений Николаевич (1769—1829) — автор лечебника (1799 г.), пользовавшегося большой популярностью и неодиократио переиздававшегося. Полное название: «О продолженни человеческой жизни, или Домашний лечебник, заключающий в себе: средства, как достигать здоровой, веселой и глубокой старости, предохранять здравие надежнейшими средствами и пользовать болезии всякого рода, с показанием причин и лекарств, почти всюду перед глазамн нашими находящихся, состав-

ленный из лучших отечественных и иностранных писателей кн. Парфением Енгалычевым».

Стр. 30. ...*знаменитый поборник разговорного языка*...— Это примечание отсутствует в журнальном тексте. Подразумевается здесь известный в первой половине XIX века реакционный журналист О. И. Сенковский, писавший под псевдонимом Барон Брамбеус. Он усердно пропагандировал введение разговорных элементов в литературный русский язык и чрезмерно ими уснащал собственные произведения. В 1835 году Сенковский выступил в редактируемом им журнале «Библиотека для чтения» (том 8, кн. 1) со статьей-фельетоном, где в острой полемической форме ратовал за разговорный литературный язык. Статья называлась: «Резолюция в челобитную *сего, оного, таковаго, коего, вышеупомянутого, вышереченного, нижеследующего, ибо, а потому, поелику, якобы* и других причастных к оной челобитной по делу об изгнании оных, без суда и следствия, из Русского языка».

А. С. Пушкин, в общем благожелательно отнесшийся к этой статье, писал в «Письме к издателю», напечатанном в «Современнике», том III за 1836 год: «Чем богаче язык выражениями и оборотами, тем лучше для искусного писателя. Письменный язык оживляется поминутно выражениями, рождающимися в разговоре, но не должен отрекаться от приобретенного им в течение веков. Писать единственно языком разговорным — значит не знать языка» (А. С. Пушкин. Полное собрание сочинений в десяти томах, издание АН СССР, 1949, том VII, стр. 439).

Стр. 33. ...*это скопа*... скопа — птица семейства сокольных, питающаяся, подобно чайке, рыбой.

Стр. 34. *Тяжеловес* — старое название топаза.

Стр. 37. *Клок* — плащ, вид верхней женской одежды.

Стр. 40. ...*все посылают... в город*...— Городом (Китай-городом) раньше назывался торговый центр Москвы — торговые ряды с Гостиным двором (где теперь находится ГУМ), Никольская (ныне улица 25 Октября), Ильинка (ныне улица Куйбышева), Варварка (ныне улица Разина) с пересекающими их переулками.

Образцовый полк.— Так называемые образцовые кавалерийский и пехотный полки входили в состав Гвардейского корпуса и дислоцировались в Петербурге.

Стр. 42. ...*за подписью князя Хованского*...— то есть с помощью взятки, подкупа; шутливое выражение от украинского слова «ховати» — хоронить, прятать. Возможно, что это выражение ввел в литературный язык Н. В. Гоголь; см. «Мертвые души», т. 1, гл. XI.

Свинцовый сахар — ядовитая уксуснокислая свинцовая соль.

Стр. 52. *Село Грузино* — было центром аракчеевских военных поселений.

Стр. 56. ...*о кунсткамере, которую теперь, к сожалению, разорили*...— Кунсткамера (кабинет редкостей) — первый естественно-научный музей в России, основанный Петром I в 1714 году. В 30-е годы XIX века из нее выделились в самостоятельные учреждения Анатомический, Ботанический, Зоологический и др. музеи.

Стр. 56. ...*о Грановитой палате, которую привели в положение.*— Грановитая палата — замечательное произведение древне-

русского зодчества, созданная в конце XV века в Московском Кремле. Внутренняя отделка ее много раз возобновлялась.

...о самородковом столпе Александра Благословенного...— Имеется в виду Александровская колонна, воздвигнутая на Дворцовой площади в Петербурге в 1829—1834 годах по проекту А. А. Монферрана, в честь победы в Отечественной войне 1812 года.

...о царь-колоколе, выставленном недавно на фундамент...— Крупнейший в мире колокол, весом свыше 200 тонн, отлитый в 1733—1735 годах, был водружен на гранитный пьедестал в Московском Кремле в 1836 году.

...лежат две свинки...— сфинксы. Находятся не на Английской набережной (ныне набережная Красного флота), а на правом берегу Невы, перед Академией художеств. Здесь в 1832—1834 годах был сооружен гранитный спуск к реке и на верхней террасе установлены два высеченных из гранита сфинкса. Они были найдены при археологических раскопках на месте древней столицы Египта Фив и приобретены русским правительством.

Стр. 60. *Шут подновинский.*— В Москве на пустыре, где позднее был разбит Новинский бульвар (ныне улица Чайковского), со времен Екатерины II устраивались народные гулянья во время масленицы, пасхи и т. п., где происходили различные представления.

Стр. 63. *Ларец Фамусова* — то есть гроб: «Тот ларчик, где ни стать, ни сесть» («Горе от ума», д. II, явл. I).

Стр. 66. *Полгодины* — полчаса.

Стр. 67. *Патриотический институт.*— Так же, как Смольный институт,— закрытое женское учебно-воспитательное заведение. Но сюда принимали только дочерей военных дворян. Создан в 1813 году.

Стр. 78. *Фомина неделя* — следующая после пасхальной недели.

Стр. 84. *Антенорово путешествие.*— Произведение «Антеноровы путешествия по Греции и Азии» французского писателя Э. Ф. Лантье (1734—1826) было известно в России в начале XIX века в переводе П. И. Макарова.

...из романа «Павел и Виргиния»...— знаменитый в свое время «чувствительный» роман французского писателя Бернардена де Сен-Пьера (1737—1814). На русский язык переведен в 1793 году.

Малек-Адель — герой «посредственного», по выражению Пушкина, романа «Матильда, или Крестовые походы» французской писательницы Коттéн (1770—1807). По свидетельству Загоскина (в романе «Рославлев, или Русские в 1812 году»), «русские дамы бредили Малек-Аделем, искали его везде». Имя это упоминается в «Евгении Онегине», у Жуковского в «Послании к Ушаковой и Хилковой», у Тургенева в рассказе «Конец Чертопханова».

Грицько Основьяненко — псевдоним украинского драматурга и беллетриста Григория Федоровича Квитка (1778—1843).

Стр. 86. *Брыле* — губа.

Стр. 87. *Брюсов столетний календарь* — первый русский календарь, составленный библиотекарем Киприяновым под наблюдением сподвижника Петра I Я. В. Брюса и изданный в 1709—1715 годах. Его полное название: «Календарь повсеместный и месяцеслов на вся лета господня». Кроме астрономических данных о продолжительности дня и ночи и т. п., в календаре приводились

различные церковные справки и астрологические предсказания по положению планет. Брюсов календарь пользовался большим успехом и неоднократно переиздавался.

Стр. 88. *Избоина* — нахальный человек, негодяй.

Стр. 90. *Куканцы (кокандцы)* — народ среднеазиатского Кокандского ханства.

Стр. 97. *...бесплотные жильцы блаженных островов Макарийских...* — Мифические острова (греч. Makarios — счастливый, блаженный), расположенные на краю земли, где восходит солнце. В средние века существовала легенда, что Александр Македонский во время похода на восток доходил до Макарийских островов. Описание этого мифа дано А. Н. Афанасьевым в его труде «Поэтические воззрения славян на природу» (1865—1869).

УРАЛЬСКИЙ КАЗАК

Впервые — в серии очерков, издававшихся книгопродавцем Я. А. Исаковым (редактор А. П. Башуцкий), под общим названием «Наши, списанные с натуры русскими», 1842, вып. 14-й.

Стр. 101. *Ярыга* — уральское название сети на красную рыбу.

...на первом плавенном рубеже... — В первой публикации очерка к этим словам дано примечание: «Рубежами называются участки, по реке назначенные для суточной ловли; ниже рубежа никто до срока не смеет прикоснуться к воде. В каждый рубеж вступают по вестовой пушке».

Проклятов. — В первой публикации герой очерка назывался Подгорновым.

...от уряду бегает... — то есть от командирской должности урядного чина — унтер-офицера в казачьих войсках.

Стр. 102. *...на рыболовного атамана...* — В первом издании к этим словам дано примечание: «Рыболовному атаману, который назначается для каждого рыболовства особенно, даны права и преимущества, как по возлагаемой на него власти, так и по выгодам за чрезвычайные хлопоты его. Он судит и рядит все возникающие по промыслу споры по старинным обычаям; распоряжается, сообразно нужде, всем, что относится до его дела, и заведует, для охранения промышленников от набегов орды, особою яртаульною (видимо, конною.— *В. П.)* командой».

...наемки не берет... — В первом издании дано пояснение: «или мирских денег».

«Горóнит маленько». — В первом издании дано пояснение: «то есть горьковата».

Стр. 103. *Нижé* — даже.

...плавает связками... — то есть две бударки плывут по течению с одной, общей сетью.

Стр. 107. *Бузачи* — полуостров в северо-восточной части Каспийского моря, где кочевали казахи и киргизы.

Прихватывать гривки — подыматься на гору, на гребень — для усиления удара пикой по неприятелю.

Корсук (корсак) — вид мелкой степной лисы.

Стр. 108. *Катаур* — верхняя подпруга, чреспоясник по седлу, сверх подушки.

Стр. 108. *...хаживал и на косных и на посудах, кусовых и расшивах...* — *Косная* — легкая лодка на 6—12 весел; *посуда* —

парусное судно; *кусовая* — промысловая лодка; *расшива* — большое парусное судно.

Стр. 109. *Приказный* — помощник урядника в казачьих войсках.

Астраханцы — здесь калмыки.

Стр. 112. *Мартышка, или мартын,* — водоплавающая птица из семейства чайковых.

Стр. 113. *...Камыш-Самару с узенями.* — Имеются в виду Камыш-Самарские озера, в которые впадают реки Большой и Малый Узени; вернее, междуузенский участок земли с богатыми пастбищами.

...написан из малолетних в казаки... — Малолетними у казаков считались юноши от 17 до 19 лет, до принятия присяги.

Стр. 114. *Дониконовские святцы* — т. е. изданные до церковной реформы, произведенной патриархом Никоном в 1656 году и не признанной старообрядцами.

Стр. 115. *Экзекутор* — чиновник при канцелярии, на котором лежали полицейские и хозяйственные обязанности.

Полк пробыл два года в Турции, тут еще позадержали в Польше с лишком год... — Вероятно, имеются в виду русско-турецкая война 1823—1829 годов, закончившаяся Адриано-польским миром, и восстание в Польше 1830—1831 годов, жестоко подавленное генералом Паскевичем.

ВАКХ СИДОРОВИЧ ЧАЙКИН, ИЛИ РАССКАЗ ЕГО О СОБСТВЕННОМ СВОЕМ ЖИТЬЕ-БЫТЬЕ, ЗА ПЕРВУЮ ПОЛОВИНУ ЖИЗНИ СВОЕЙ

Впервые — «Библиотека для чтения», 1843, том 57, кн. 1, за подписью *В. Луганский.*

Стр. 120. *Стародумов, Прямиков* — распространенные имена действующих лиц в русской комедии XVIII века.

Стр. 142. *...стану учиться в академии...* — Медико-хирургическая академия существовала в Петербурге с 1798 года.

Стр. 147. *Россини* Джоаккино (1792—1868) — знаменитый итальянский композитор, автор 38 опер.

Стр. 153. *Мыслете* — название буквы «м» в славяно-русской азбуке.

В продолжение этого года Василий Иванович сделал только одно умное дело... — Начинающийся этими словами абзац, в котором сообщается о «деле», напоминающем известную аферу Чичикова из «Мертвых душ», отсутствует в журнальном тексте.

Стр. 154. *...для выслуги по статуту Анненского креста.* — Действительно, по статуту полагался орден св. Анны 3-й степени тому, «кто побуждаемый одной благотворительностью, советами или посредством своим, многократно прекращал разорительные тяжбы, особенно между родственниками, и заслужил тем звание миротворца, единогласно признанное как частными, так и начальствующими лицами губернии» (Свод основных государственных законов Российской империи, том 1, ч. 1, кн. VIII. Учреждение орденов и других знаков отличия, гл. 8, § 13).

Стр. 158. *Сорокопут* — хищная птица из семейства воробьиных.

Стр. 172. *Пишкет (пешкет)* — гостинец, подарок.

Стр. 183. *С «Библиотекой»* — то есть с журналом «Библиотека для чтения», весьма распространенным в 30—40-е годы XIX столетия.

Стр. 186. *...не хотелось заводить такую моду...* — К этим словам в журнальном тексте дано примечание: «Это не шутка и не клевета: лет тридцать, не с большим, ни одна порядочная дама не надевала платье свое иначе, как непосредственно *на себя:* на щеголихах бывали изредка батистовые рубашки».

Стр. 189. *Притин* — место, где ставится часовой.

Стр. 191. *Турухтан* — птица из отряда куликов, именуемая еще драчун-кулик.

Стр. 196. *Демидов.* — В 30—40-е годы XIX века владельцами уральских железных заводов были: П. Н. Демидов, прослывший благотворителем; известен как учредитель «Демидовских наград» (выдавались с 1831 по 1865 г.), и А. Н. Демидов, живший преимущественно в Италии, где он купил княжество Сан-Донато (близ Флоренции) и присвоил себе титул князя.

Стр. 196—197. *Мужик не верит предохранительной оспе...* — С этих слов и до конца главы рассуждения Негурова в журнальном тексте имеют иной характер. В частности, рассказ о взбунтовавшихся крестьянах Агеевки и усмирении их исправником совсем отсутствует.

ХМЕЛЬ, СОН И ЯВЬ

Впервые — «Москвитянин», 1843, часть II, № 3, за подписью: *Луганский.*

Стр. 210. *Киль-мунда* — иди сюда.

Кизилбаш — перс (букв. — красноголовый).

Стр. 211. *...до Кузьминок, до Козьмы и Демьяна* — церковный праздник празднуется 1 ноября (ст. стиль).

Стр. 211. *Ссыпчина* — к празднику Кузьминки у крестьян производилась складчина ячменя, солода и прочих продуктов для изготовления общественного пива и меда.

Удельное имение — имение, являющееся собственностью царской фамилии.

Стр. 216. *Волоковое окно* — маленькое оконце, в которое также выволакивает дым в курных избах.

Стр. 220. *...в те поры этих становых...* — становой пристав — полицейское должностное лицо, заведовавшее станом (часть уезда), должность, введенная с 1837 года.

Слово и дело вымолвил... — Формула, применявшаяся на Руси до конца XVIII века, которая означала, что произнесший ее может или хочет донести властям о каком-либо государственном преступлении.

Стр. 224. *Кобыла* — доска, на которой наказывали приговоренных кнутом.

...о шести в сюрах... — карточный термин; *сюры* — старшая масть, козыри.

ПЕТЕРБУРГСКИЙ ДВОРНИК

Впервые — «Литературная газета», 1844, №№ 38 и 39 (28 сент. и 3 окт.), за подписью: *В. И. Луганский;* с примечанием: «Из подготовляемой книгопродавцем А. И. Ивановым к изданию книги «Физиология Петербурга».

Книга «Физиология Петербурга», составленная из трудов русских литераторов, под редакцией Н. Некрасова, часть 1, вышла в свет в 1845 году.

Стр. 230. *...в Часть сбегай...* — В 40-е годы XIX века Петербург делился на 13 административно-полицейских частей. Здания, в которых помещались полицейские управления той или иной части Петербурга, назывались частными домами, или в просторечии «частями».

Стр. 231. *Платов М. И.* (1751—1818) — атаман донских казаков, командовавший в Отечественную войну 1812 года казачьими полками.

Блюхер Г. Л. (1742—1819) — прусский фельдмаршал, известный своим участием в сражениях с армией Наполеона I, после изгнания ее из России.

Стр. 232. *Фонарное масло.* — Улицы Петербурга освещались в 40-е годы XIX века конопляным маслом.

ДЕНЩИК

Впервые — «Финский вестник», 1845, том 2, за подписью: *В. Луганский.*

Стр. 239. *Гранвиль* (Жерар) Жан Изидор (1803—1847) — французский график-карикатурист и иллюстратор. Широкой популярностью пользовались его карикатуры «Современные метаморфозы» (1828), изображающие людей в виде животных.

Стр. 242. *...как классически выразился Гоголь...* — Имеется в виду характеристика фельдъегеря в «Мертвых душах» (том 1, гл. X).

...есть нечего до трети... — Жалованье офицерам, как и государственным чиновникам, выдавалось по третям года, за каждые четыре месяца.

ПАВЕЛ АЛЕКСЕЕВИЧ ИГРИВЫЙ

Впервые — «Отечественные записки», 1847, том 50, кн. 2, за подписью: *В. Луганский.*

Стр. 251. *Гаркушин курган.* — Семен Гаркуша — легендарный украинский повстанец конца XVIII века.

Стр. 259. *...заслужить ученую степень...* — С 1819 года студентам, окончившим успешно университетский курс, присваивалась ученая степень действительного студента и окончившим с отличием — кандидата наук.

Стр. 273. *...не навьючат ли ему... арбуз...* — На Украине поднесение жениху тыквы (гарбуза) означало отказ.

Стр. 287. *Лист* Ференц (1811—1886) — знаменитый венгерский композитор.

Виардо (урожд. Гарсиа) Мишель Полина (1821—1910) — французская певица, композитор и педагог.

Стр. 296. *Мариенбад, Теплиц* (Теплице) — австрийский и чехословацкий курорты в горах Богемии.

ГОВОР

Впервые — «Отечественные записки», 1848, том 61, кн. 3, в цикле «Картины из русского быта», за подписью: *В. Даль*.

Название цикла, как сообщал впоследствии В. И. Даль, было дано А. А. Краевским, редактором «Отечественных записок».

Стр. 332. *...распознает всякого уроженца по местности...* — Биограф Даля П. И. Мельников-Печерский сообщает такой случай, относящийся к периоду служебной деятельности В. И. Даля в Нижнем Новгороде:

«Чтобы показать, до какой степени Даль изучил местные говоры, достаточно рассказать следующее: Владимир Иванович не любил бывать в больших обществах, на балах, вечерах и обедах, но, находясь на службе, иногда должен был являться на официальных обедах и т. п. Однажды он был на таком обеде в загородном доме. Приехав по некоторому недоразумению в приглашении на дачу рано, он застал хозяев еще в суете и хлопотах. Дело было летом. Чтобы не мешать хозяевам, он вышел в палисадник, а тут за решетчатым забором собралось несколько нищих и сборщиков на церковное строение. Впереди всех стоял белокурый, чистотелый монах с книжкою в черном чехле с нашитым желтым крестом. К нему обратился Даль:

— Какого, батюшка, монастыря?

— Соловецкого, родненький,— отвечал монах.

— Из Ярославской губернии? — сказал Даль, зная, что «родимый», «родненький» — одно из любимых слов ярославского простолюдина.

Монах смутился и поникшим голосом ответил:

— Нету-ти, родненький, тамо-ди в Соловецком живу.

— Да еще из Ростовского уезда,— сказал Владимир Иванович.

Монах повалился в ноги...

— Не погубите!..

Оказалось, что это был беглый солдат, отданный в рекруты из Ростовского уезда и скрывавшийся под видом соловецкого монаха» («Русский вестник», 1873, том 104, стр. 289—290).

Впрочем, Н. Г. Чернышевский скептически относился к сообщениям о столь превосходном знании Далем всех местных наречий русского языка, что он будто бы «по выговору каждого встречного простолюдина отгадывает не только губернию, не только уезд, но даже местность уезда, откуда этот человек» (рецензия Н. Г. Чернышевского «Картины из русского быта» Владимира Даля, 2 т., СПб., 1861).

Стр. 334. *Сборная память* — письменное уведомление, извещение относительно сбора денег.

ГРЕХ

Впервые — «Современник», 1856, том 59, № 9, в цикле «Картины из русского быта», за подписью: *В. Даль*.

Стр. 336. *Рогатка* — здесь сторожевая застава с подъемной перекладиной для въезда в город или выезда из него.

Стр. 338. *Откинуться* — отречься, отказаться.
Стр. 339. *Двоеданец* — не платящий подать по двум срокам.

ДВУХАРШИННЫЙ НОС

Впервые — «Современник», 1856, том 59, № 9, в цикле «Картины из русского быта», за подписью: *В. Даль.*

Стр. 343. *...теперь пошло на серебро...*— В XIX веке существовала разница между курсом бумажных денег и звонкой монетой. Так, в 1817 году ассигнационный рубль равнялся 26 коп. серебром; в 40-х годах рубль серебром равнялся 3 руб. 50 коп. ассигнациями.

Стр. 346. *...еду на острову, около Николаевского...*— Первый металлический мост через Неву, построенный в 1850 году, первоначально назывался Благовещенским, а в 1855 году переименован в Николаевский (ныне мост им. лейтенанта Шмидта).

ХЛЕБНОЕ ДЕЛЬЦЕ

Впервые — «Отечественные записки», 1857, том 114, № 9, в цикле «Картины из русского быта», за подписью: *В. Даль.*

Стр. 353. *Следственный* — следственный пристав, чиновник, отвечающий за производство судебных следствий.

СКАЗКИ

СКАЗКИ: О ИВАНЕ МОЛОДОМ СЕРЖАНТЕ, УДАЛОЙ ГОЛОВЕ, БЕЗ РОДУ, БЕЗ ПЛЕМЕНИ, СПРОСТА БЕЗ ПРОЗВИЩА,

О ШЕМЯКИНОМ СУДЕ И О ВОЕВОДСТВЕ И О ПРОЧЕМ; БЫЛА КОГДА-ТО БЫЛЬ, А НЫНЕ СКАЗКА БУДНИШНЯЯ,

О ПОХОЖДЕНИЯХ ЧЕРТА-ПОСЛУШНИКА, СИДОРА ПОЛИКАРПОВИЧА, НА МОРЕ И НА СУШЕ, О НЕУДАЧНЫХ СОБЛАЗНИТЕЛЬНЫХ ПОПЫТКАХ ЕГО И ОБ ОКОНЧАТЕЛЬНОЙ ПРИСТРОЙКЕ ЕГО ПО ЧАСТИ ПИСЬМЕННОЙ

Впервые — в сборнике «Русские сказки, из предания народного изустного на грамоту гражданскую переложенные, к быту житейскому приноровленные и поговорками ходячими разукрашенные казаком Владимиром Луганским. Пяток первый СПб., 1832. Тип. Плюшара».

Сборник начинался предисловием, которое затем было перепечатано в Собрании сочинений В. И. Даля (т. VIII, 1861 г.):

«Где наши головы масленые, узорчатые, бороды чесаные, мухорчатые, усики витые бахромчатые. Где кафтаны смурые бархатые, шляпы бурые поярковые, кушаки шелково-бухарские,

армяки татарские, рубахи щегольские красные, рукавицы вырестковые, тисненые, шаровары полосатые, сапоги с каймою строченые, на рубахвх запонки граненые, на кафтанах застежки золочеиые? Ой, было, было время иа Руси, что ходил молодец в кафтане, ходила девка в сарафаие!

Люди добрые! Старые и малые, ребятишки на деревянных кониках, старички с клюками и подпорками, девушки, невесты русские! Идите, стар и мал, слушвть сказки чудные и прихотливые, слушать были-небылицы русские! А кто знает грамоте скорописной великороссийской, садись пиши, записывай, набело семь раз переписывай, зиай помалчивай, словечка не роняй! Из каждого листа выходит тридцать две обертки на завитки иашим барышиям-крвсавицам; ополчитеся, доблестные сыны отечества, дв не посрамим земли своея! Полно девицам-невестам нашим ходить-носить кудри вязаные-сырцовые, плетеные-шелковые; у нвс на Руси и собачкв каждая в своей шерсти ходит, а косы русские мягче шелку шемаханского, чище стекла богемского! Пишите, молодцы задориые, пишите и печатайте вирши в альбомы, в вльманахи, пишите по-заморскому, так скоро из матушки России пойдет вывоз чериовой бумаги за море в чужие края!

А вы, вычуры заморские, переводня семеии русского, вы, хваты голосистые, с брызжами да жаботами, с бадинками да с витыми тросточками, вы садитесь в дилижансы дв поезжайте за море, в модные мвгвзиины; поезжайте туда, отколе к нам возит напоказ ваша братия ученых обезьян; изыдите; ие про лукавого молитва читается, а от лукавого. Аминь».

Сборник с этими сказками был вскоре после выхода в свет конфискован и теперь является библиографической редкостью.

СКАЗКА О ИВАНЕ МОЛОДОМ СЕРЖАНТЕ...

Стр. 370. *Повытчик* — столоначальник, ведающий отделом учреждения.

Посольщик — гонец, посыльный.

Стр. 371. *Харатейный* — пергаментный.

СКАЗКА О ШЕМЯКИНОМ СУДЕ...

Осиовой этой сказки является «Повесть о Шемякином суде» — народной сатире на воеводский суд XVII века. Однако Даль сблизил текст сказки с лубочным изданием этого произведения, по-своему его переработав. Лубочная литервтура — дешевые массовые печатные издания для иарода в дореволюциоиной России, представляла собой небольшие киижки, состоящие из картинок с поясняющими текстами. Содержание таких книжек составляли переделки былин, народных сказок, притч, исторических сказвний и т. д. Даль коллекционировал лубочные произведения, передав их впоследствии СПб Публичной библиотеке.

Карл Христофорович Кнорре — астроном, директор Николаевской обсерватории, с которым В. И. Даль был особеиио близок в 1819—1822 гг.

Стр. 384. *Просить* (на кого-либо) — подавать жалобу в суд.

Стр. 385. *Протори* — издержки, расходы (по судебным делам).

Убить бобра — обмануться в расчетах.

Стр. 389. *Авраам, Хам* — в библейской мифологии — Авраам — праотец, родоначальник евреев,— в переносном смысле старый почтенный человек. Хам — сын Ноя, проклятый отцом за непочтение — в переносном смысле наглый, готовый на подлость, человек.

Стр. 389. *Палестины* — местность, край.

Лубочное (изображение) — напечатанное с лубка (т. е. с липовой доски, на которой гравировалась картина для печати).

СКАЗКА О ПОХОЖДЕНИЯХ ЧЕРТА-ПОСЛУШНИКА, СИДОРА ПОЛИКАРПОВИЧА...

Стр. 392. *Павел Михайлович Новосильский и Николай Иванович Синицын* — товарищи В. И. Даля по Морскому кадетскому корпусу.

Стр. 392. *Окрутник* — ряженый, маскированный.

Стр. 393. *Хорунжий* — корнет (прапорщик) в казачьих войсках.

Унтер-баталер — унтер-офицер на судне, ведающий провизией.

Стр. 394. *Сплечиться* — повредиться, вывихнуть что-либо.

Стр. 396. *Распазить* — распластать.

Стр. 400. *Веси* — деревни, села.

Стр. 401. *Кнастер* — сорт крепкого курительного табака, особенно распространенный у немцев.

Свайка — приспособление для сращивания веревок.

Каболка — пеньковая нить.

Стр. 402. *Шкаторина* — нижний край паруса.

Стр. 403. *Пасма* — двадцатая часть мотка пряжи, ниток.

Варган — народный музыкальный инструмент, состоящий из согнутой железной полоски с зубьями, вдоль которой двигается стальной стержень.

СКАЗКА О БЕДНОМ КУЗЕ БЕСТАЛАННОЙ ГОЛОВЕ И О ПЕРЕМЕТЧИКЕ БУДУНТАЕ

Впервые — «Литературные прибавления к Русскому инвалиду», 1836, № 17, за подписью: *В. Луганский.*

Стр. 410. *Аман* — пощади, сдаюсь.

Стр. 411. *Поршни* — род легкой обуви, сделанной из куска сырой кожи или шкуры.

Стр. 412. *Клюшва* — две боковые лопасти, образующие башмак.

Ускорнячок — треугольная вырезка в ухе лошади, являющаяся меткой животного.

Стр. 415. *...трех с половиною вершков...* — При определении роста обычно называли только вершки, опуская подразумевавшиеся два аршина.

Стр. 416. *...к семи Семионам...* — персонажи русских народных сказок, братья-умельцы.

Присударить — уговорить.
Иверень — то же, что ускорячок.
Стр. 417. *Прилучиться* — приключиться, случиться.

СКАЗКА О ГЕОРГИИ ХРАБРОМ И О ВОЛКЕ

Впервые — «Библиотека для чтения», 1836, том 14, ч. 2, за подписью: *Казак Луганский.*

Примечание к сказке в журнальном тексте отсутствует.

Пушкин, собиравший материалы о пугачевском восстании, ездил с Далем в Бердскую слободу 19 сентября 1833 года.

В сборнике А. Н. Афанасьева «Народные русские легенды» (М., 1860 г.) напечатана сказка «Волк», сюжет которой аналогичен сюжету «Сказки о Георгии Храбром и о волке», но вместо Георгия здесь выведен Христос. В примечаниях к сказке «Волк» А. Н. Афанасьев, напоминая читателю о сказке Казака Луганского, сообщает следующее:

«Георгий Храбрый между простолюдинами почитается покровителем стад и начальником волков, которым раздает приказания: где и чем кормиться. Народные поговорки гласят: «Св. Юрий коров запасает», «Что у волка в зубах, то Егорий дал». Существует поверье, что волк ни одной твари не задавит без божьего дозволения».

Изложение «Сказки о Георгии Храбром и о волке» пересыпано татарскими словами. Это, по мнению известного советского фольклориста М. К. Азадовского, дает основание предполагать, что «Пушкин слышал эту сказку от какого-либо татарина или калмыка, говорящего по-русски, во время своего пребывания в Казанской или Оренбургской губернии и тогда же под свежим впечатлением рассказал ее Далю, сохранив в своей передаче некоторые особенности речи рассказчика» (М. К. Азадовский. Сказка, рассказанная Пушкиным Далю; в «Временнике пушкинской комиссии», 1939, №№ 4—5).

Стр. 420. *Фирман* — указ. В журнальном тексте: *фетва,* то есть приговор, решение (в области дел, связанных с религией).

Стр. 428. *Рихтиг* — в меру, впору, в самый раз.

СКАЗКА О БАРАНАХ

Впервые — «Москвитянин», 1845, т. XLI, № 8, за подписью — *Луганский.*

Белинский характеризовал это произведение, как «коротенький, но исполненный глубокого значения восточный аполог» (ст. «Русская литература» в 1845 году).

Стр. 430. *Водомет* — фонтан.

Стр. 431. *Казы* (кади) — судья.

Умму — праведный, правоверный.

Стр. 433. *Фаудтам* — очень, сильно.

...смурый охобень (охабень) — плащ, свитка из некрашеного сукна.

В. ПЕТУШКОВ

СОДЕРЖАНИЕ

ПОВЕСТИ, РАССКАЗЫ, ОЧЕРКИ

СКАЗКИ

Владимир Иванович Даль

ИЗБРАННЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ

Редактор
Н. Н. Ермолаева

Оформление
Д. Б. Шимилиса

Художественный редактор
Н. Н. Каминская

Технический редактор
Л. Ф. Молотова

ИБ 498

Сдапо в набор 16.04.82. Подписаио к печатн 09.01.83.
Формат 84×108 1/32. Бумага книжио-журнальиая.
Гарнитура «Лнтературная». Печать высокая.
Усл. печ. л. 23,63. Уч.-изд. л. 23,71. Тнраж 500 000 экз.
(2-й завод 250 001—500 000).
Цена 2 р. 40 к.

Набрано н сматрнцнровано в ордеиа Ленниа н ордена
Октябрьской Революцин тнпографнн газеты «Правда»
нменн В. И. Ленниа, 125865. ГСП. Москва, А-137,
ул. «Правды», 24.
Отпечатано в тнпографии «Уральский рабочнй»,
г. Свердловск, проспект Леннна, 49.
Заказ № 173.